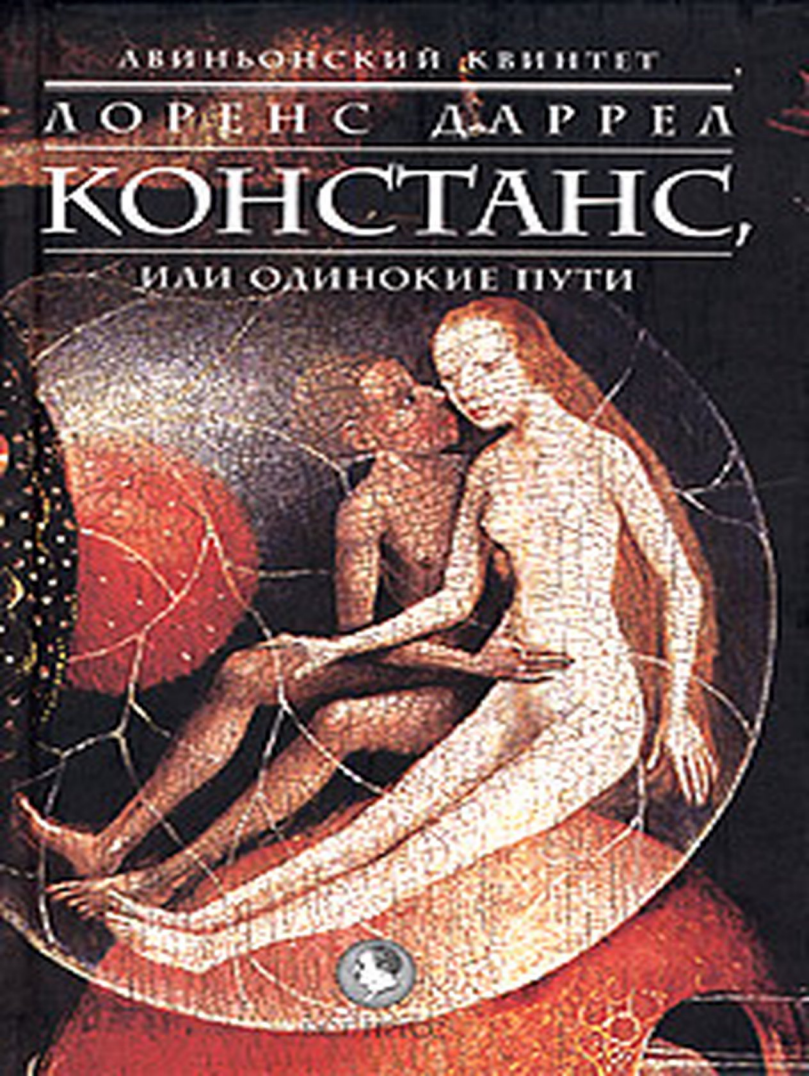
АВИНЬОНСКИЙ КВИНТЕТ

ЛОРЕНС ДАРРЕЛ

КОНСТАНС,

ИЛИ ОДИНОКИЕ ПУТИ



КОНСТАНС, или Одинокие Пути
Лоренс Даррел

Аннотация
Лоренс Даррел. КОНСТАНС, или Одинокие Пути
От автора
Глава первая. В Авиньоне
Глава вторая. Нацист
Глава третья. В Египте
Глава четвертая. Парижские сумерки
Глава пятая. В Женеве
Глава шестая. Еще один приезд принца
Глава седьмая. Способность разбираться в окружающем мире
Глава восьмая. Исповедь
Глава девятая. Вновь Ту-Герц
Глава десятая. Генерал
Глава одиннадцатая. Противостояние
Глава двенадцатая. Визит Трэш
Глава тринадцатая. Игра контрастов
Глава четырнадцатая. На берегу озера
Глава пятнадцатая. Падение города
Приложение. Последняя воля и завещание Петра Великого

Аннотация

«КОНСТАНС, или Одинокие пути»(1982) — третья книга цикла «Авиньонский квинтет» признанного классика английской литературы XX столетия Лоренса Даррела, чье творчество нашло многочисленных почитателей в России. Используя отдельные приемы и мотивы знаменитого «Александрийского квартета», автор рассказывает о дальнейшей судьбе своих персонажей. Теперь Констанс и ее друзьям выпало испытать все тяготы и трагедии, принесенные в Европу фашизмом, — тем острее и желаннее становятся для них минуты счастья… С необыкновенным мастерством описаны не только чувства повзрослевших героев, но и характеры нацистов, весьма емко и точно показан механизм чудовищной «военной машины» Третьего рейха.

Так же как и прославленный «Александрийский квартет» это, по определению автора, «исследование любви в современном мире».

Путешествуя со своими героями в простран-

стве и времени, Даррел создал поэтичные, увлекательные произведения.

Сложные, переплетающиеся сюжеты завораживают читателя, заставляя его с волнением следить за развитием действия.

Лоренс Даррел
КОНСТАНС, или Одинокие Пути

От автора

Pour faire face des Ténèbres qui a un royaume formè de cinq élèments le Père de la Grandeur évoque la Mére de la Vie qui, à son tour, évoque l'Homme Primordial qui a cinq fils: l'Air, le Vent, la Lumière, l'Eau et le Feu.
Cahiers d'Erudes Cathares, Narbonne[1]

Эта книга не является исторической, однако же в основе сюжета — бесчисленные разговоры и пятнадцать лет жизни в Провансе; и хотя изредка я позволял себе вольности с хронологией проклятой эпохи, в целом мне удалось добиться впечатляющей аккуратности в портрете французского Средиземноморья времен второй мировой войны. Я также изучал труды серьезных историков, подобных Кенварду, но в большей степени обязан французским источникам, скажем, книгам месье Эме Вьельзефа из Нима.

---

[1] Примечания: 1

Чтобы противостоять Князю Тьмы, властителю королевства из пяти элементов, Отец Всевышний призывает Мать Жизни, которая, в свою очередь, призывает Первого Человека, у которого пять сыновей: Воздух, Ветер, Свет, Вода и Огонь.
Записи ученых катаров, Нарбонн

Поначалу я предполагал включить два дополнения — «Протоколы сионских мудрецов» и «Завещание Петра Великого». Но «Протоколы…» столь многословны и нескладны и к тому же доступны в других изданиях, что я отверг эту идею; а вот завещание Петра Первого — документ не затасканный и уместный в этой книге, поэтому я решил его оставить.

В заключение мне хотелось бы выразить свою благодарность востроглазой миссис Хелен Дор, которая спасла меня от множества ошибок.

Лоренс Даррелл

Глава первая
В Авиньоне

Вначале высокие башни-ворота средневекового Авиньона, Гог и Магог его мирной жизни, назывались *Quiquenparle и Quiquengrogne*.[2] Через них жители малого Рима сновали туда-сюда днем и ночью — словно воспоминания, вопросы, ощущения через мозг какого-нибудь спящего папы. Колокола на больших башнях бросали вызов адской вони своим нарочитым грохотом, от которого вниз шла вибрация, разжижавшая кровь и оглушавшая прохожих на улицах. Совсем по-другому звучал набатный колокол — его гул постепенно нарастал, словно шум лесного пожара, захватывающего все новые рубежи, или грозное шипение воинственных пчел в нагревающейся бутылке. Умирающему от голода узнику казалось, будто он всю жизнь слушал этот гул и грохот, и даже военные сирены вроде бы напоминали их. Избив до полусмерти (он потерял сознание), его бросили в сырое узилище в кре-

---

[2] Примечания: 2
Болтун и Ворчун *(фр.)*.

пости и приковали к стене с такой изуверской точностью, что несчастный не мог лечь — из-за веревки на шее, прикрученной к железному кольцу, и связанных в локтях рук. К этому времени Катрфаж достиг той стадии благословенного забытья, когда все отдельные болевые ощущения слились в одно общее страдание, действовавшее как своего рода анестезия. Усевшись на захламленном обломками полу, он прислонился головой к стене; веревка была короткой, намеренно короткой. Каким-то парадоксальным образом давление ее на сонную артерию предотвращало его окончательный уход в мир иной. Он слышал приглушенный шум военных машин, как они взбирались на мощенный булыжником склон и въезжали на гарнизонный плац; скользили резиновые колеса, заводились и выключались моторы. Ему казалось, будто это длинная цепочка рыцарей, освещая факелами путь, отправлялась на героическое приключение, предписанное орденом тамплиеров; и ритмичное постукивание лошадиных копыт по камням подъемного моста было своего рода прощальным приветствием. Рожденное мукой и болью, видение напомнило ему о реальной стороне его жизни — ведь кто как не он рылся в еретических бумагах тамплиеров,

рассчитывая отыскать ключ к сокровищницам с мифическими, надо думать, богатствами. А теперь Катрфаж попал в руки новой инквизиции, хотя эти священники носили серую форму и свастики вместо кокард и амулетов. С ними вновь пришла смерть. Так вот он, результат долгого поиска — пытки из-за не разгаданных им тайн! Когда же от отчаянья он истерически расхохотался, его ударили по лицу и выбили несколько зубов, которые он машинально проглотил. Но это случилось много позже…

* * *

Что до Констанс и Сэма, то они не ощущали себя одинокими, хотя весь мир как будто прощался с ними; и однако же сегодняшний день был пока только преддверием ада, совсем узеньким, где в тени виноградных лоз пока царил абсолютный покой. Мощный прилив прованского лета скоро закончится великолепным урожаем, который, несомненно, сгниет, потому что почти все работники давно призваны в армию, а на земле остались лишь женщины, дети да старики, и им предстояло сойтись в бою с воинствами мирных лоз. Глядя в небо, похожее на голубое стекло, растения, во всей их красе и мощи, словно

стремились обнять его своими пышными плюмажами из листьев и пыльных плодов.

Любовники все еще были невинны как дети; они не знали, что такое война и как себя вести по отношению к ней. Из-за этого рождалась неуверенность, которая лишь усиливалась оттого, что они совсем недавно начали предаваться любовным ласкам, потеряв больше месяца на юношеские перестрелки, прежде чем дойти до желаемого. Но никакие головокружительные объятия не могли замаскировать очевидные провалы в знании физической стороны любовного акта. И вот теперь, когда они были уже на подступах к блаженству, им предстояло стать добычей нелепой войны, натравленной на них сумасшедшим немцем, возомнившим себя художником; нет, в реальность войны никак нельзя было поверить!

Однако форму Сэма уже доставили — похоже было, что война втихомолку сделала еще один шаг им навстречу. Правда, мундир требовал переделки, да и фуражка оказалась великоватой. Сэм чувствовал себя одновременно и триумфатором и дураком, когда надел на себя все это перед зеркалом, которое висело в комнате с балконом старого двухэтажного дома. Стесняясь своей наго-

ты, Констанс лежала на сине-золотом покрывале, опершись подбородком на ладони, и ничего не говорила. Полуобнаженный мужчина в военном кителе и фуражке без кокарды выглядел немыслимо печальным и сконфуженным — и немыслимо прекрасным! Сэм не сводил с себя глаз и чувствовал, как в нем что-то меняется. «Устроил пантомиму!» — сказал он наконец и, обернувшись, порывисто обнял Констанс, испытывая отчаянную нежность. Она почувствовала прикосновение холодных пуговиц к груди, когда он прижался к ней со всем пылом обреченного на неведенье новобранца. В безумии, захватывающем мир, они решили и сами совершить нечто безумное — пожениться! Вот глупость! Оба произнесли это, оба почувствовали это. Однако им хотелось стать еще ближе друг к другу, прежде чем они расстанутся, возможно, навсегда. Кстати, в то благословенное лето именно проклятая военная форма стала причиной первой ссоры четырех приятелей.

Продолжалась она недолго; а случилась лунным вечером, когда они играли в «двадцать одно» на окруженной розовыми шпалерами веранде, где весь день на крошащихся стенах дремали или устраивали стычки ящерицы. В сущности,

виноват был Блэнфорд. Это он с важностью и высокомерием рассуждал о честном отказе от военной службы, да еще добавил жара к общему негодованию, позволив себе насмешничать над мужчинами в форме, которые якобы изменили собственному «я» ради «стадного чувства». В литературных кругах это было самой модной темой. Луна светила до того ярко, что даже не требовалось зажигать старую погнутую керосиновую лампу, стоявшую тут же на столе.

— Хватит, Обри! — крикнул Хилари, и его сестра Констанс с твердостью произнесла:

— Да уж, Обри, пожалуйста.

Однако она не смогла сдержаться (потому что Сэм выглядел потрясающе в новой форме) и внесла свою лепту в обмен мнениями:

— Ты говоришь это, потому что Ливия заставила тебя жестоко мучаться, все лето продержала на коротком поводке!

Став белым, как колонна, Блэнфорд ушел в дом. Ему и вправду досталось от Ливии, сестры Констанс, которая пробуждала в нем ребяческую саморазрушительную любовь, лишь отчасти утоляя ее, зато выказывая почти такую же склонность к его юному другу — консулу Феликсу Чатто, теперь в ярости глядевшему в карты и

повторявшему: «Кажется, твой банк!»

Ливия делала дураков из них обоих. Кстати, вовсе не из каприза, и это было в ней наиболее притягательным — просто она жила импульсами, которые не предполагали продолжения, и перебегала от объекта к объекту, не задумываясь о том, какую боль могла этим причинить. Или она родилась бессердечной, или ее сердце еще не познало любви. Неприятно было так думать о ней, но ничего другого не оставалось. И Обри и Феликс ломали голову над тем, как объясниться ей в любви, а она вдруг исчезла… Она не единожды делала это в прошлом, оставляя вместо адреса название одного кафе в Париже, и еще одного — в Мюнхене. Бедняжка Блэнфорд зашел так далеко, что даже купил ей кольцо — она позволила ему зайти так далеко. Не удивительно, что он вел себя столь вызывающе, ведь он осознавал свою ошибку, и то, что бремя любви, пробужденной Ливией, ему не по силам. Тем более в преддверии проклятой войны!

…Неожиданно Констанс пронзила острая боль, — когда она смотрела на всю компанию сверху из окна своей спальни, на розовые молодые невинные лица юношей, не ведающих обмана, еще ничего не знающих и ни в чем не

уверенных. Ее брат Хилари сидел, как обычно, положив ногу на ногу и небрежно держа карты в загорелых пальцах. До чего же он был красив с этими своими светлыми волосами, великолепно четкими чертами лица и голубыми глазами! Всем своим видом он демонстрировал аристократическое недовольство, которое так невыгодно отличалось от простого и милого обхождения Сэма. Блэнфорд и Феликс ничем не удивляли — даже незнакомый человек мог бы, не раздумывая, поклясться, что они совсем недавно покинули Оксфордский университет и представляли собой книжных юношей, не ведавших, что такое реальная жизнь. А вот Хилари больше напоминал музыканта, уверенного в себе, абсолютно сложившегося, со своим отношением ко всему на свете. Временами он даже производил впечатление человека высокомерного, возможно даже слишком утонченного и благовоспитанного. У Хилари не было ни щедрого обаяния, ни теплоты его сестры. Он скрывался за маской холодности, а она так и не научилась скрывать свою уязвимость. Теперь Констанс стало жаль, что она ни за что ни про что подколола Блэнфорда, и она постаралась, как могла, загладить свою вину, в то время как Сэм из любовного половодья (в конце концов, его-то *лю-*

били) великодушно изливал на него дружескую заботу, причем совершенно искренне. Незадолго до ссоры все ходили на пруд, чтобы искупаться в холодной воде, и Сэм сказал тогда:

— Констанс постоянно спрашивает: как ты позволил Ливии довести себя до такого состояния? Ведь ее поведение легко предсказуемо, потому что никогда не меняется!

Блэнфорд застонал, так как знал, что будет дальше: еще одна доза возбуждающих венских речей, которыми Констанс забивала им уши с утра до ночи — все Фрейд да Фрейд, труды которого она изучала в Женеве.

— Ливия-женщина воюет с мужчиной внутри нее, значит она кастратка, — сказал Сэм.

Это было очень смешно — и выражение его лица, и то, как он произносил свою тираду. Сам он ничего в этом не понимал, просто запомнил фразу, произнесенную возлюбленной, которая имела обыкновение сворачивать куда-то не туда в их интеллектуальных баталиях.

— Пусть Констанс идет к черту со своей теорией инфантильной сексуальности и со всем прочим в том же духе, — твердо произнес Обри.

На самом деле, эта теория в целом и околдовывала и отталкивала его, и он с неудовольствием

посматривал на стопку брошюр на немецком языке, которую она таскала с собой все лето. «Фрейд!» Но ему ли не знать, что мужчина влюбляется совсем по другим причинам — да-да! Ливия обнаружила одну из его записных книжек и, не спрашивая разрешения, прочитала.

Она лежала на кровати, когда он вошел, и подняла голову, как ящерица, как змея, словно увидела его в первый раз. «Я *поняла*, — произнесла она наконец, удивленно вздыхая, — что ты — *поэт*». Это было незабываемое мгновение: Ливия продолжала смотреть на него и одновременно *сквозь* него, словно с помощью некоего оптического трюка заглядывая в будущее Обри. Как будто она вдруг вообразила его заново, вообразила его будущую жизнь и будущее его внутренней жизни, лишь произнеся короткую колдовскую фразу. Нельзя не любить человека, который столь недвусмысленно пророчествует, столь четко видит неясное будущее. Что она вычитала в его случайных записях? Сгустки мыслей, которые когда-нибудь в будущем станут поэзией или прозой или тем и другим вместе. «Моя смерть проделывает долгий путь в обратную сторону к тому времени, когда женщины были скромны или лукавы, или скромны и лукавы одновремен-

но, или не скромны и не лукавы, а были попросту ГРЯЗЬЮ — раскинутыми ногами из грязи, между которыми я щедро вливаю живую кровь, обещание неутолимого желания, тогда как струны моей арфы беспрерывно дрожат, отзываясь эхом тишины, где бы она ее не находила». Ей не надо было говорить о том, как это прекрасно, потому что все сказал ее взгляд. И ему, выставленному напоказ, было радостно и страшно. Хилари еще раз раздал карты и с самодовольной резкостью откликнулся на решение Блэнфорда отправиться вместе с принцем в Египет.

— Это будет похоже на бегство, — сказал он, и Блэнфорд как отрезал:

— Так оно и *есть.* У меня нет моральных обязательств принимать чью-либо сторону в этом уничтожении, поистине вагнеровском.

Констанс тотчас набросилась на брата:

— Только не порть прекрасное лето, которое у нас было…

И мгновенно образы Прованса, Авиньона, милые горы из песчаника возникли в их пресыщенной памяти. Сколько же они все пережили тут — Средиземноморье открылось им, как медленно разворачивающийся свиток.

— Прошу прощения, — произнес Хилари.

— И я тоже, — эхом откликнулся Блэнфорд.

Они уже несколько недель жили в просторном, наполненном эхом, уродливом старом доме, блюдя тесную дружбу и любовь. Но мелкие перебранки оставляли неприятный привкус. Ту-Герц — так называлось это место. Наследство Констанс. И это название как торжественный барабанный бой звучало у них в головах, подчеркивая важность всего, с чем они неожиданно сталкивались и чему радовались в течение долгого неспешного проживания рядом с деревней, от которой было рукой подать до знаменитого романтического Авиньона. Папский город![3]

Тем же вечером, но позднее, сожаления проникли в сны Констанс, однако не настолько сильно, чтобы поблекла ее радость от лунного света на подоконнике, от медового запаха трав и от нежащего тепла мужского тела рядом с ней. До чего же чудесно проводить с мужчиной всю ночь, чувствовать, как бьется его сердце, а грудь опускается и поднимается под ее ладонью, пока он спит. Постепенно их ласки становились все более изощренными. Иногда казалось, что

[3] Примечания: 3

В Авиньоне долгое время (1309–1366; 1370–1377 гг.) находилась резиденция римских пап (период так называемого «Авиньонского пленения»). *(Прим. ред.)*

они с бешеной скоростью мчатся на тобоггане по головокружительно извилистому снежному спуску. Бывало, что тобогган выходил из-под контроля. «Сэм, ради бога: я в ужасе, как бы не забеременеть». Она не рассчитывала на любовное приключение и, хотя была эмансипированной до кончиков пальцев, оставила то, что называла весьма непочтительно «рабочей экипировкой», в женевской квартире. Сэм тоже не справлялся с задачей. «Я не могу остановиться», — хрипел он и все увереннее и настойчивее направлял ее к медленному, невыразимо дивному оргазму, настигавшему обоих. Потом и она и он, тяжело дыша, лежали без сил, словно после скачек с препятствиями. Очень любивший цитировать лимерики, причем, как правило, опуская начало и конец, Сэм как-то произнес: «Он был и сплыл, отдав ей пыл, хитрый старик из Болгарии».

Он постоянно был настороже, но стоило ему заснуть, и она могла часами наблюдать, облокотившись на руку, за тайнами его гладиаторского тела, которое, словно термос, хранило нежащее тепло. Ей нравилось чувствовать теплый тюльпанчик его члена, склонившегося на ее сторону и отдыхавшего, пока он предавался сну, но готового в любое мгновение очнуться — словно по взмаху

волшебной палочки, стоило ей захотеть, и тотчас разбудить спящую кобру их юношеских страстей. У нее холодела кровь в жилах, когда она вспоминала, что он больше месяца не говорил с ней, оставался чужим и далеким, словно звезда, хотя она умирала от желания стать его возлюбленной. Как настоящая дура, она делала вид, будто у нее связь с пожилым мужчиной, психиатром, а в результате своего дурацкого бахвальства чуть не заморозила Сэма, чуть не превратила его в сосульку; потом ей потребовалось много времени, чтобы исправить глупую ошибку! Собственно говоря, весь последний год она спала с врачом, но это из любопытства, и она не собиралась к нему возвращаться, до того ей было с ним скучно. И вот теперь Сэм! Она уступила самому бездумному, бессмысленному существу, какое только можно вообразить. Но теперь она стала свирепой в любви, она почувствовала себя дикой кошкой; она решила, что одарит его необходимым ему блестящим умом, чувствительностью и проницательностью — всеми богатствами, которые сохранила для него. Благодаря ей, он разберется в себе и поймет, что она боготворит нечто, скрываемое им под грубостью и робостью, под приступами неразговорчивости; она пробьет-

ся сквозь коросту легкомыслия, сквозь милые пустячки литературных идолов, вроде старика Вуд-хауса, и непременно выбьет искры из глубоко запрятанной души! Несчастного мальчика наверняка пробрала бы дрожь, вырази она все эти помыслы словами. Он и так страдал, ощущая свою полную неадекватность. А ее программа воспитания наверняка ввергла бы его в настоящую панику.

Посреди ночи Сэм разбудил Констанс и, повернув лицом к себе, спросил хриплым шепотом:

— Скажи, дорогая, ты считаешь меня трусом за то, что я пошел к ним? — Очевидно, его ранили бездумные слова Блэнфорда. Сэма не успокоили страстные, бесконечно искренние объятия, хотя в них чувствовалась уже не только жалость. — Ответь, — упрямо проговорил он, с библейской настойчивостью.

— Конечно же нет! Несмотря на это дурацкое голосование в профсоюзе преподавателей — типично по-оксфордски! Конечно же нет! — с жаром повторила она, прижимая его к себе, пока хватало воздуха.

— Понятно, что Англия ничего не значит для Обри-с чего бы? Но мне трудно объяснить, почему она что-то значит для меня.

Сказав это, он закрыл глаза и увидел причудливую картину из серых домов, низких холмов, рябых рек, которые слились в единый романтический образ золотого кентского Уилда во время страды, и он поднял его, как небольшой круглый щит, в небо. Ему также вспомнилась короткая и нелепая любовная интрижка с девушкой, собиравшей хмель. Родители приятеля сдали ему смешной домик для сушки хмеля, якобы для занятий. Связь получилась никчемной и жалкой, хотя сборщица хмеля была храброй и прекрасной и такой же светловолосой, как Констанс. Тем не менее их невежество обернулось настоящей пыткой, потому что она боялась забеременеть, а он боялся подхватить какую-нибудь венерическую болезнь, о коих не имел ни малейшего представления! В уборной ближайшего бара стоял автомат, на первый взгляд напоминавший автомат для продажи фруктов или сигарет, но этот был битком набит презервативами. Там была надпись: «Опусти два шиллинга и хватай скорей добычу!» Какое прекрасное слово — «добыча». Какое печальное завершение любви. Какая прекрасная девушка, достойная более опытного и легкомысленного мужчины. И он — дурак, не сумевший быть ни искусным, ни ласковым! Все же,

несмотря ни на что, сверкающий Уилд, тянувший к небу блестящие колосья под одуряющим зноем, постоянно возникал в его фантазиях! В каком-то смысле, Уилд не Уилд, Констанс стала частью картины, естественно войдя в нее. (Все это как-то уляжется, когда закончится война, — если она разразится!) За ланчем он сказал: «До чего же мне хочется, чтобы эта чертова война наконец началась». Блэнфорд отозвался: «Как же мне хочется хоть чего-то хотеть!»

Итак, они лежали, обняв друг друга, загорелые до черноты, и сладко спали, не слыша ни мышиного шороха, ни доносившегося издали — с чердака — храпа одного из друзей. Странно и то, что они больше не чувствовали себя беспомощными — зато были переполнены обманчивой радостью, которую дарит любовь. Бегающие по закоулкам памяти мысли, топанье по всему дому мышиных лапок среди гниющих яблок, женщины-привидения, чьи голоса доносил ветер, — беседующие, жалующиеся, плачущие. Дом напоминал старую шхуну, которая скрипела и стонала, стоило ветру изменить направление. Увы, в их сны проникла печаль, она завладела ими, едва к ним пришли мысли о расставаньи, об утратах и смерти — да, даже смерть являлась

им; горькими слезами разлуки были полны их прощальные слова, сливавшиеся с прощальными корабельными гудками. Вот уж где было легко сбиться с толку! В снах они познавали боль, которую, проснувшись, старались не выдавать…

Причудливый особняк лорда Галена на вершине холма тоже был убран на зиму, и его последние званые обеды стали более импровизированными и более небрежными. Ну а поездка в Германию и финансовая промашка с нацистами ввергла банкира в глубокую депрессию. Однако ему было приятно видеть юную компанию из Ту-Герц — его совершенно очаровала Констанс, да и Сэма он считал весьма достойным юношей, несмотря на его бедность. Принц тоже частенько сиживал за гостеприимным столом лорда Галена, и как раз за одним из таких обедов официально предложил Блэнфорду стать его личным секретарем и через пару недель отправиться вместе с ним в Египет. Поначалу эта мысль возникла в контексте рассуждений о «совести», представлявшей, скажем так, лишь главный аргумент, но почему-то слово это причинило принцу боль, словно его укусил слепень.

— Совесть? — громко воскликнул он. — Никто не едет в Египет сражаться со своей сове-

стью! — Нахмурившись, он внимательно оглядел сидевших за столом. — Египет — *счастливая* страна, — продолжал он. — Учитывая, что по части материального неравенства, криминальной слабости власти и общественной распущенности она занимает самое высокое место в мире, трудно понять, как Египет может быть счастливым. Бедные до того бедны, что поумирали от голода и появились вновь из потустороннего мира, хохоча от радости. Богатые грубы и бездушны в немыслимой степени. Каков же результат? *Счастливый* народ! Правда, куда вы ни пойдете, люди сбрасывают с себя одежды и показывают интимные органы, хохоча от радости. Все счастливы и довольны.

Лорду Галену стало не по себе.

— Боже мой! — патетически воскликнул он. — Что за бесстыдство!

Зато Блэнфорд пришел в восторг.

— А что нужно сделать в ответ? — спросил он сквозь смех, но принц молчал.

— Продемонстрировать свое одобрение, — наконец уклончиво проговорил он.

Макс, негр с фиолетовой кожей, который был у Галена шофером и доверенным слугой, теперь с утра занимался тем, что надевал на мебель чехлы.

Начал он с верхнего этажа и постепенно спускался вниз, оставляя нетронутыми жилые комнаты. Это было похоже на постепенно осушаемый бассейн, и в конце концов не претерпели изменений лишь большой салон и столовая. Стопка пока не потребовавшихся чехлов лежала в холле. Гален вздохнул. До чего же печально таким образом обрывать лето, даже не имея *уверенности* в том, что заключенный в последнюю минуту мирный договор будет соблюдаться. И что тогда делать? Смогут ли они продолжать прежнюю жизнь, словно ничего не случилось? Нет, что-то важное в самой сути вещей претерпело штормовую встряску. Немецкие барабаны предсказывали новое направление. Однако будущее все еще было в потемках, неопределенным и — полным предзнаменований. («Заниматься с ней любовью — это смертельный номер, — подумал Сэм. — Все равно что подсунуть шпагоглотателю обоюдоострый нож вместо шпаги».) Блэнфорд лепил хлебные катышки и тоже размышлял о Ливии. У него была еще одна, тайная, причина любить ее — но прозвучало бы это довольно глупо, если бы он заикнулся об этом. Она оставила ему новенький томик Хаксли, его любимого писателя, с первым эссе о природе дзен-буддизма, с самым

первым упоминанием о Судзуки,[4] которое словно освещало тьму разума. Вновь он размечтался о далеких краях, безопасных и безмятежных, как например Лхаса, где постигают мудрость, читая золотые сутры, переписанные золотыми чернилами… Эта книга так же, как открытие его поэтического дара, стала ее подарком ему, с которым не сравнится никакой другой подарок. Кому по силам понять такое?

Все же не сложившиеся между ними сексуальные и любовные отношения сказались на нем пагубно, временами он приходил в такое бешенство, что мог бы схватить ее, как крысу, и трясти изо всех сил, возвращая к здравому смыслу, — или, наоборот, вытряхивая из нее здравый смысл! Где она теперь? Он мог лишь догадываться, хотя в основном это зависело от того, есть ли у нее деньги оставаться даже в таком не очень дорогом месте, как Фаншон. Вверх от него поднимался хулиганистый и грязный бульвар Монмартр с заведениями, где ели кус-кус, и с жестяными арабскими кинотеатрами. Ей нравился этот маленький, чуть на отшибе отель, потому что его боковая дверь выходила в Музей восковых

[4] Примечания: 4

Судзуки Дайсэцу Тэйтаро (1870–1966) — японский философ и признанный авторитет в области дзен-буддизма.

фигур. Выскользнув из нее, она могла часами бродить среди восковых знаменитостей, пролагая тропинку во французской истории (ее кровавой части), — между ее живописными эпизодами, и тогда лицо Ливии обретало новую красоту — из-за легкой отрешенности, которую навевали на нее эти затененные фигуры. Агония Марии-Антуанетты, смерть Марата (в подлинной ванне!) и выражение нежности на прозрачном лице Жанны д'Арк, всходившей на костер, — проходили часы, а Ливия все не могла покинуть музей, завороженная восковым подобием не существующего, но еще живого прошлого. Вот и праздник на венецианском Большом канале со сверкающим синим ночным небом и блестящими кусочками воды, или вечеринка, неожиданное суаре в замке Мальмезон со всей труппой стендалевских персонажей! Современные сценки практически не вызывали у нее интереса. А вот в душном маленьком холле с кривыми зеркалами она проводила много времени, принимая разные позы и внимательно, но без малейшей улыбки изучая свое искаженное отражение. Потом покупала жвачку и ныряла в кинотеатр, чтобы пофантазировать о длинном восковом носе Декарта или хитрой ухмылке на лице Фуке. Сейчас Блэнфорд думал

о Ливии с тупой болью и мысленно проговорил: «Несчастная девочка, у нее прошлое, как лапа, полная заноз-колючек».

Пусть будет Египет. «В Египте, — уверял он Феликса Чатто, — девушки сами решают, когда объявить перемирие, это последняя новость». А последней причудой, которую Чатто разделял с Катрфажем, служащим лорда Галена, были новые машины наподобие «Морриса», и в нем тот обещал увезти Констанс обратно в Женеву к ее занятиям — чтобы она могла начать их с привычной аккуратностью. Сэм настаивал на этом. Потом, когда он вернется после войны с непременной дыркой от пули в карманной библии, она встретит его там, в Женеве, с целой горой полученных за это время знаний! «Тогда ты поймешь, что я совсем глупая, и бросишь меня», — упрямо возражала Констанс. На самом деле, эти занятия помогали ей понять природу своей любви к Сэму. Тот был единственным ребенком, и мать одарила его своей любовью, однако была достаточно мудра, чтобы не мешать ему, не противиться его желанию летать. Она, как думала Констанс на новом языке, который теперь изучала, прервала

трансфер[5] в самый подходящий момент, чтобы отпустить сына на свободу. Констанс подумала, что о нем нельзя написать «Сыновей и любовников».[6] Он купался в материнской любви, кожа у него отличалась чистотой и гладкостью, как у любимых детей, — она не могла устоять перед сексуальным магнетизмом его загорелых рук. У него была бархатистая кожа, потому что в детстве его правильно, разумно любили; и ее тоже — каким-то чудом. Они были созданы друг для друга, и их чувства смешивались, как краски! «Ах, хватит *смотреться!*» — сказала она своему отражению в старом зеркале в простенке — теперь она стремилась быть красивой, утром и вечером накладывала макияж, чтобы Сэм не засматривался на других! Когда же, однако, она спросила Обри, разве не похож ее возлюбленный на донателловского Давида, он рассердил ее, ответив безразлично, устало, по-оксфордски: «Все видят себя не такими, какие они есть на самом

---

[5] Примечания: 5

Трансфер — в психоанализе — бессознательный перенос отношения к одному объекту на другой объект. Фрейд считал, что чем менее человек догадывается о таком «перенесении» (чаще всего с эротической подоплекой) своих чувств, тем оно явственнее. *(Прим. ред.)*

[6] Примечания: 6

«Сыновья и любовники» (1913) — известный роман Д. Г. Лоренса, главный герой которого из-за попыток сохранить тесную связь с матерью терпит ряд неудач в отношениях с другими женщинами. *(Прим. ред.)*

деле. Из-за этого происходят многие недоразумения, ведь каждый играет свою роль. Он видит в тебе Изольду, а ты на самом деле — русская Екатерина. Ты видишь в нем Давида, а я — всего лишь вечно влюбленного английского мальчишку, обрадованного тем, что может раздеть свою мать». Она пришла в ярость. «Пошел ты к черту!» — сказала она, упрямо продолжая заниматься своим макияжем, тогда как он с таким же упрямством продолжал бриться, уставясь в то же зеркало.

Посланная Фаруком[7] в Марсель королевская яхта сообщила о своем прибытии и была готова увезти принца в Александрию. Блэнфорд заехал к нему в авиньонский отель, чтобы спросить о планах на будущее, и застал маленького человечка за спешными сборами: тот заворачивал свои сокровища и распределял их по сундукам с великолепной турецкой филигранью, выполненной листовым золотом, — наверняка принц унаследовал сундуки от предков-хедивов.[8] Возле двери стоял огромных размеров «вагон» для больших вещей — для кресел и складывающихся

---

[7] Примечания: 7

Имеется в виду Фарук Первый (1920–1965), король Египта (1936–1952). *(Прим. ред.)*

[8] Примечания: 8

Хедив — титул правителей Египта в 1867–1914 гг.

столов (принц любил устраивать приемы с игрой в бридж); для пары пальм в кадках; богатых ваз, золотых блюд и двух соколов. Принц с видимым удовольствием показывал все это Блэнфорду, однако предупредил, что еще несколько дней пробудет в Авиньоне. Когда же Блэнфорд спросил, не следует ли ему позаботиться о каких-то специальных одеждах, принятых при дворе, принц, не задумываясь, ответил, мол, это дело принцессы.

— Приезжайте в *tenue de ville*[9] и в галстуке, чтобы я мог вас представить, а потом, полагаю, вам понадобятся смокинги из кожи акулы. Но мне известно, где в Александрии их можно купить по дешевке. Нет, вы только посмотрите.

Принц протянул Блэнфорду большую шляпную коробку из красного бархата, при взгляде на которую сразу же невольно вспоминался фокусник или актер. В таких коробках на востоке носили парики, однако тут находилась сморщенная человеческая голова, мужская голова, просмоленная толстым слоем, вся, кроме открытых глаз. Блэнфорду стало не

по себе.

— Боже мой! — воскликнул он, и принц радост-

---

[9] Примечания: 9

Здесь: повседневном костюме *(фр.)*.

но захихикал.

— Это голова тамплиера, которая прежде принадлежала важному военному начальнику на Кипре, — я проследил ее путь, после того, как схватил ее на базаре в Каире. Музею очень хотелось завладеть ею, но я подумал, что лорду Галену будет приятно иметь такую прелесть… — Он обиженно помолчал. — Но, знаете ли, он настолько суеверен, что отказался ее принять. Видите ли, боится устремленного на него Глаза.[10] Тем более теперь, когда он ищет сокровища ордена, — когда Катрфаж ищет их для него. Что ж, увезу ее обратно. Если скажу египтянам, что это пророчествующая голова, мои враги запаникуют. Египтяне суеверны не меньше англичан, даже больше.

Он постучал по крышке обитой шелком коробки с жуткими останками и приказал своему слуге Гассану завернуть ее в оберточную бумагу и отправить в «вагон» вместе с остальными вещами.

— Фу! До чего жарко! — произнес принц, обмахиваясь тростниковым веером потрясающего оттенка. — В Египте будет совсем как в душегубке. Ладно. Садитесь, дорогой юноша, и я расскажу вам

---

[10] Примечания: 10
Имеется в виду «Око Господне». *(Прим. ред.)*

кое-что забавное. Посмеемся — станет прохладнее, и еще Гассан сейчас принесет жасминового чая и замороженных фруктов. Вы смеялись, помните, когда я рассказывал вам о египтянах, которые сбрасывают с себя одежды и показывают интимные органы в знак приветствия, *n'est-ce pas*?[11]

— Конечно, — ответил Блэнфорд, — это было очаровательно.

Принц, мысли которого, словно птички, скакали с ветки на ветку, с сучка на сучок, неожиданно вспомнил о ревматической боли в пальце.

— Проклятый артрит! — вскричал он и принялся растирать суставы, пока они не затрещали. Потом он вернулся к начатой теме. — О приветствиях я расскажу вам кое-что забавное, от чего все египтяне смеются, — это говорит о том, что мы не лишены чувства юмора. Речь пойдет о сэре Чарлзе Полке, последнем британском после. Египетское приветствие так сильно на него подействовало, что он сошел с ума. Мне рассказал об этом посольский врач Хассим Над. Бедняге во сне вечно виделись крестьяне, приветствующие его таким образом, и у него самого появлялось

---

[11] Примечания: 11
Не так ли? *(фр.)*.

неодолимое желание в ответ тоже снять штаны! Это приводило посла в беспокойное состояние, и сколько Хассим ни прописывал ему успокоительных таблеток, ничего не помогало. И вот грянул гром. Из Лондона сообщили, что король решил нанести официальный визит в Египет и даже собрался совершить поездку по Нилу. Сэр Чарлз занялся необходимыми приготовлениями. Во дворце, естественно, предложили старый проверенный пароход «Мемфис», который всегда использовали в таких случаях. Неразрешимых проблем не было. Впрочем, одна была — позволю уж себе обойтись без грубых уточнений — традиционное приветствие. Нил — большая река, на ее берегах живут тысячи и тысячи *феллахов*, и ради такого случая они специально выйдут на берег. Несчастный сэр Чарлз бледнел от одной мысли, что ему предстоит пережить. Он пытался убедить Уайтхолл[12] отказаться от визита, куда там, визит считали необходимым и своевременным с политической точки зрения. — Принц тоненько то ли хмыкнул, то ли хихикнул, нежно хлопнув себя по коленке. — Представляете дилемму несчастного сэра Чарлза! Что ему бы-

[12] Примечания: 12

Уайтхолл — улица в центре Лондона, где находятся министерства и другие правительственные учреждения; английской правительство.

ло делать? Говорите что угодно о британском чиновнике, но нет в мире другого чиновника, у которого до такой степени развито чувство долга. Он объяснил положение вещей и подал рапорт об отставке. В Министерстве иностранных дел были так потрясены его мужеством и достоинством, что немедленно перевели сэра Чарлза в Москву, а египетский визит прошел под присмотром поверенного в делах, о котором потом забыли и держали *en disponibilité*[13] лет десять, пока не было забыто само мероприятие. Иногда мы встречаемся с сэром Чарлзом в Лондоне и вспоминаем старые времена, но я никогда не спрашиваю его о том, как крестьяне приветствуют царственных персон в России!

В такой приятной беседе прошло утро, пока мэр не позвал на традиционный предобеденный бокал *pastis*,[14] что вдохновило его на отчет о политической ситуации в мире, специально для принца. Мэр держал постоянную связь с Парижем, и с каждым бюллетенем новости или слухи казались все более ужасающими. Война была предрешена, и все же…

---

[13] Примечания: 13
В резерве *(фр.)*.

[14] Примечания: 14
Анисовый ликер *(фр.)*.

— *Drôle de guerre*,[15] — произнес мэр, цитируя бытовавшее в то время выражение. — Они никогда не нападут на нас, так как знают, что французская армия лучшая в мире. Это было бы безумием. И, потом, линия Мажино! — Свои надежды на мир мэр питал столь эфемерными иллюзиями. — Они попугали нас несколькими сиренами, оповещающими о воздушных налетах, — с гордостью продолжал он, — а сегодня *пожарники* собираются в три часа устроить репетицию. Не бойтесь, когда услышите их. Это продлится всего несколько минут. Но мы должны быть готовы к налету современных аэропланов.

На террасе сверкало жаркое солнце, и в воздухе была разлита такая нега, что очень трудно было воспринимать столь серьезную беседу с должным вниманием. Блэнфорд принял приглашение принца на ланч в его отеле, после чего они прошлись по залитому солнцем городу и вскарабкались на Rocher de Doms,[16] крутую скалу, с которой можно увидеть еще более крутую Мон-Сент-Виктуар, острая вершина которой

---

[15] Примечания: 15

Странная война *(фр.)*.

[16] Примечания: 16

Роше де Дом (Купольная гора) — гора в Авиньоне, на которой располагаются Папские сады.

обглодана мучительными ветрами. Естественно, снега пока еще не было, но холодный мистраль бередил зеленую Рону и клонил долу кусты и кипарисы на берегах. Принц и Блэнфорд немного задержались, чтобы посмотреть сверху на город с его коричневыми, как корочка пирога, крышами и извилистыми темными улицами. Неожиданно завыли сирены, и, несмотря на предупреждение, оба испугались — особенно потому что самый настоящий самолет медленно пролетел над городом.

— Надеюсь, это наш!

Будь все по-другому, думал Блэнфорд, не было бы большего удовольствия, чем бродить по вечернему городу в угасающем солнце, наблюдая за полетами голубей между рушащимися башнями, судача обо всяких пустяках, неспешно открывая свои мечты и мысли… Но нет, все ощущали себя виноватыми в том, что посмели наслаждаться роскошным вечером, когда весь мир трещит по швам.

Нежданно-негаданно на главной площади к ним присоединился Хилари, жаждущий за компанию *tisane* из *vervaine*[17] навязанного им

---

[17] Примечания: 17
Отвар из вербены *(фр.)*.

принцем. В Ту-Герц его целый день не было видно, потому что он отправился на раннюю мессу в часовню Серых кающихся грешников. Теперь Хилари был в глубоком унынии, хотя старался это скрыть, а настроение ему испортила долгая беседа с кюре, который стоял на том, что Франция и пальцем не шевельнет для собственной защиты, и немцы одолеют ее когда пожелают. Во всем виноваты евреи, добавил он, с их инфернальным радикализмом. Гитлер прав. Франция *pourrie jusqu'à la moelle* — прогнила до мозга костей. Хилари вздохнул и закурил еще одну сигарету.

— Молодая еврейская пара прошлой ночью совершила самоубийство в отеле «Принц», так сказал табачник. Они бежали из Берлина. Совсем молодые. Он слышал выстрелы.

Блэнфорд и Хилари покинули принца, который обещал связаться с Блэнфордом, когда надумает, если надумает, уехать. Проходя мимо высоких дверей музея, Блэнфорд заглянул во двор и мгновенно почувствовал боль в груди, как от удара — столь живым было воспоминание о стоявшей там Ливии. В сумраке она цитировала строчку из Гете своим «улыбающимся голосом». Блэнфорд пошел дальше следом за Хилари, размышляя про себя: «До чего же прекрасное, чистое, овеянное

ветрами лето мы прожили тут. У меня такое чувство, будто я — старый король, у которого умер любимый виночерпий». Он уже знал, что она бросила его навсегда, и даже если они по какой-то случайности встретятся, больше им не жить вместе. К этой мысли примешивалась даже благодарность, потому что магнетизм Ливии был из тех, что превращает юнца в настоящего мужчину. На мгновение Блэнфорд закрыл глаза, и ему почудилось, что она впереди — заворачивает за угол. Теперь у нее была походка римского раба (так ее определял Блэнфорд), а, завернув за угол, она могла выровнять шаг и помедлить, как ястреб — перед тем, как устремиться вниз. Хилари замурлыкал мелодию «Кисло-сладкой», а так как мелодия тронула Блэнфорда, то он подпел ему, чтобы замаскировать свои чувства. Итак, они шагали по знаменитому мосту в направлении гор — по извилистой дороге, которая вела к дому Констанс, как раз в это мгновение помогавшей Сэму приправлять перцем и чесноком фарш для ужина.

После того как Блэнфорд и Хилари в дружеском молчании подошли к воротам старого дома, Хилари спросил, положив руку на руку Блэнфорда:

— Не хочу быть любопытным, Обри, но, черт

побери, что за бумаги вы там рвали вечером? Да еще целую вечность, прямо как у Чехова.

— Все-то вам известно, — отозвался с недоброй усмешкой приятель. — Старые записные книжки, всякие листочки, обрывки. Пора драить палубу, положено перед отплытием. — Он помолчал. — Начало романа, — произнес он с некоторым вызовом. — Я придумал человека с фамилией Сатклифф — ничего лучше не пришло в голову — и он стал даже слишком реальным. Повсюду был со мной, словно его притягивало магнитом, и ездил у меня на спине, как Старик с острова на спине Синдбада-Морехода. Пришлось остановиться. Хилари засмеялся.

— Понимаю, — сказал он. — Вам надо было оставить их музею. Я имею в виду бумаги.

Свернув в последний раз, они увидели Блэза-возчика, который с гордым видом стоял на лестнице, ведущей на балкон, и болтал с Констанс и Сэмом. Он привез с вокзала старый кожаный диван, который Пиа прислала на хранение. *Добрался-таки!* Диван был обернут коричневой толстой бумагой. Прищурившись, Констанс посмотрела на Обри и произнесла с осуждением:

— Кажется, вы сказали, что Сатклифф — ваша выдумка.

Она держала за уголок квитанцию, на которой стояла фамилия отправителя.

— Потом поговорим об этом, — уклонился от прямого ответа Блэнфорд.

Все вместе они подняли потрепанный диван и поставили его в оранжерее среди пальм, где он был более или менее на месте. Блэз не принял участия в этом действе, но продолжал, кашляя, стоять на балконе, пока не появилась Констанс с подносом, уставленным полными до краев стаканами с *pastis.* Кашлял Блэз не для пущего эффекта — еще в ту войну, 1914 года, он отравился газом. Констанс уговорила его жену убирать и стирать для них, и это было большим подспорьем для супругов. Итак, они еще поболтали, время от времени неизбежно возвращаясь к теме войны.

— На прошлой неделе выступал президент — *quel con*![18] — беззлобно сказал Блэз. — Откуда ему знать, что такое война? Он говорил о свободе!

Это был обычный в те дни бессмысленный вздор — да и чего ждать от людей в стране, где даже лидеры выказывают себя малодушными и трусливыми? Что же до свободы… Принц заметил за обедом у лорда Галена: «Свобода — это нечто

---

[18] Примечания: 18
Вот придурок! *(фр.).*

мимолетное, о ней говоришь, когда она пропала, но ее нельзя пощупать, вот почему британцы не желают понимать нас, египтян, с нашей жаждой свободы. Конечно же, мы натворим черт знает что, но это будет наше египетское черт знает что, наше собственное — и такое, что только держись! Зато чисто египетское черт-те что!» Он гордо поднял голову и с нежностью оглядел всех…

Сэм развязал бечевку и принялся распаковывать старый диван.

— Это диван Эмили Бронте, — сказал он.

— Нет, — возразил Хилари. — Какие еще варианты?

— Пожалуйста, хватит ерничать, — попросила Констанс. — Это пророческое кресло, священный диван. Я буду проводить на нем время за чтением психо-всяких брошюрок и молиться о пастыре.

Блэнфорд получил от школьного приятеля, такого же книжного червя, как он сам, письмо, и в нем тот довольно путано писал о Париже, а о войне — не столько легкомысленно, сколько ни на гран не веря в ее реальность. «Сидя в «Дом», *невозможно* ее представить, во всяком случае, не в нашем веке, после всего того, на что мы нагляделись. Однако опасность придает окружающему нас миру странную нереальность — происходит

что-то вроде амнезии. Действуешь автоматически. Знаешь, сидя тут на *terrace,* я наблюдал за действиями волосатых грузчиков в форме, которые поднимали на пьедестал страшную статую Бальзака работы Родена; в конце концов они водрузили ее наверх, как пингвина на ледяной торос; ничего, скоро ее не будет заметно за листвой. На этой неделе очередь Жорж Санд, чей бюст поставят в Люксембургском саду под аккомпанемент речей, от которых мурашки побегут по коже. Такое словоблудие! А чего еще ждать от людей, которые с важностью вешают табличку *«Défense d'uriner»*[19] на поручнях *Chambre des Députés*![20] Они — настоящие наследники древнегреческой общественной анархии… И все же реальность, пугающая, как холодный душ, неожиданно являет себя в виде *fait diver*?[21] такого рода «Рене Кревель совершает самоубийство». (Это поэт и мой друг, которого ты не знаешь.) Я простонал трагическую новость художнику в кафе, а он обо-

---

[19] Примечания: 19
Мочиться запрещено *(фр.).*

[20] Примечания: 20
Палата Депутатов *(фр.).*

[21] Примечания: 21
Колонка происшествий *(фр.).*

рвал меня: *"Ce que lui reproche*...[22] Я осуждаю его, потому что у него не было достаточно причин для этого. *C'est pas ça la suicide! C'est pas sérieux!*[23] Из-за него у самоубийства будет *дурная слава!"»*

Розовый — под стать заходящему солнцу, Блэз-возчик поехал прочь, и его телега загромыхала на камнях в направлении города. Сэм почистил керосиновые лампы, без которых не обойтись вечером, и открыл несколько пачек свечей, которые поставил в старинные подсвечники на столе. На этой неделе все домашние «обязанности» должны были выполнять Сэм и Констанс, даже чистить засоренный туалет. Сэм стонал и ругался, однако его приводила в восторг возможность побыть наедине с Констанс.

«Они долго жили, — говорил он за работой, — в полной гармонии друг с другом, подавая людям добрый пример».

В тот вечер обедали рано — *entre chien et loup*,[24] как говорят французы о «сумерках», — а потом

---

[22] Примечания: 22

В чем его можно упрекнуть... *(фр.)*.

[23] Примечания: 23

Это не самоубийство. Это несерьезно *(фр)*.

[24] Примечания: 24

Букв: «между собакой и волком», то есть на закате солнца, в сумерках *(фр.)*.

юноши разбуянились и решили искупаться в холодном пруду, оставив мытье посуды на Констанс. Собственно, она и не возражала — ей хотелось немного побыть одной, а механическая работа успокаивала нервы и позволяла думать о чем-нибудь, например о множестве интересных брошюр, в большинстве своем неразрезанных, которые лежали рядом с ее кроватью. Любовь отчасти помешала ее занятиям, и у Констанс на душе скребли кошки. Покончив с уборкой, она сразу поднялась наверх и взяла пару брошюр, которые решила немедленно прочитать, устроившись на веранде или в оранжерее. Ей пришлось повозиться со свечами, чтобы освещение стало более или менее нормальным, после чего она со вздохом легла и погрузилась в лабиринт предположений и размышлений, полностью менявших ее восприятие мира — она теперь совсем по-другому смотрела на людей, на отдельных людей и на отдельные культуры, на разные философии и религии. Ее разум как будто высвободился из кокона общепринятых истин и обрел крылья для фантастического путешествия в мир младенческих отношений, в мир демонов и богов из детской комнаты, в звериный мир. Боже, какую ярость вызвало у нее явное безразличие

окружающих к столь важным вещам — равнодушие и самонадеянность мужского ума! Прямой, как палка, старина Обри, чей высокомерный оксфордский нос похож на флюгер; фанатичный Хилари; глупый Феликс…

Почитав с часик, Констанс стала, не очень отдавая себе в этом отчет, прислушиваться к смеху мужчин, к всплескам воды. Потом, повинуясь неожиданному импульсу, она поднялась, взяла брошюры, подсвечник и отправилась наверх, в свою комнату, которая была полна розовых теней, отражавшихся от гигантского старомодного зеркала в полную высоту шкафа. Констанс села на край кровати, поставила свечки на пол, так чтобы свет падал на нее. После этого она выскользнула из своих одежд, вновь села на краешек кровати, раздвинула, как могла, ноги и стала всматриваться в щель между ними, на отражение в зеркале. Руками раздвинув пошире две красные губы, она долго оставалась в такой позе, глядя на жуткий красный провал между белыми бедрами — отвратительную расщелину, словно вырубленную неловкими ударами сабли. Ее влагалище, ее вульва — нет ничего примитивнее и омерзительнее! Увидев такое, мужчина наверняка сойдет с ума от отвращения?! Констанс задохнулась, словно

птичка, которую в полете настигла пуля. «Мои губы, — тихо проговорила она, не сводя с них глаз. — О боже, кто только додумался до такого?» Констанс была переполнена языческим ужасом от вида собственной плоти. Он ни за что не останется с ней, если хоть раз взглянет на жуткую кроваво-красную выемку между прелестными стройными ногами. Она выгнулась назад, еще больше разведя розовые створки, и стал виден овал с остатками девственной плевы — дыра открылась, как пасть кита на картине Брейгеля. Бедняга Сэм! Бедный ее Иона! Констанс стало не по себе от отчаяния и ужаса. В своем воображении она хватала его за плечи и прижимала к себе, тогда как ее сердце кричало: «Держи меня, души меня, пронзай меня! Я умираю от отчаяния. Что хорошего могут дать несчастные женщины с такой страшной физиологией?» Вдруг она вскочила — не помня себя от ужаса — и перевернула свечи — пришлось поднимать их и снова вставлять в подсвечник. Констанс едва не расплакалась от досады, но подумала, что лучше не давать себе воли, пока рядом нет его. Тем не менее, она все-таки немного поплакала — пусть он увидит следы слез у нее на щеках и подумает, что она страдала в его отсутствие. Пусть подумает, что это его вина. Она

простит его… На сцену воссоединения Констанс предпочла набросить непроницаемую вуаль.

Сэм тоже испытывал страшный наплыв отчаяния; случайные слова Блэнфорда стали спичкой, от которой загорелся костер. Обри особенно мрачным тоном произнес:

— Власть, благодаря которой женщины наказывают мужчин, груба и ужасна; одним взглядом они могут превратить нас в умственно отсталых детей, внушить нам, до чего мелки наши мужские претензии. Благодаря своей интуиции они глядят внутрь нас и видят, какие мы слабые, инфантильные, ни на что не годные. Боже мой, до чего же страшно, как я их боюсь…

Слушая двадцатилетнего умника, Сэм чувствовал, как его поглощает волна ужаса при мысли о том, насколько Констанс выше него во всех отношениях. Ну и правильно, что хорошего представляют собой мужчины? Самое лучшее, к чему они могут стремиться, так это к роли Калибана![25] Сэм ненавидел себя, представляя совершенства Констанс, — вся воспетая Петраркой галактика добродетелей, превращавших ее, подобно Лауре, в идеал любви. Вскоре им предсто-

---

[25] Примечания: 25

Калибан — персонаж пьесы У. Шекспира «Буря», уродливый дикарь, олицетворяющий темные силы зла. *(Прим. ред.)*

ит расстаться. Он вскочил на ноги. С чего это он теряет драгоценные мгновения, беседуя с дураками, когда мог бы быть с ней? Как это по-мужски! Сэм еще раз бросился в воду и вынырнул, тяжело дыша и вытянув руки, напоминая рыбу-меч. Вода была чудесная, несмотря на плачевную участь, определенную мужчинам! До чего же он жаждал еще хоть раз заключить ее в объятия! *Он должен постараться быть достойным ее!* Сэм был до того поглощен этими мыслями, что, не заметив толстого корешка под ногами, упал, всерьез повредив себе лодыжку.

Когда же он наконец добрался до спальни, то обнаружил Констанс спящей, и на щеках ее были следы слез. Мужчины бездушны и легкомысленны! Настоящие людоеды, сексуальные маньяки и к тому же бесчувственные, грубые обыватели! Прямо с мокрыми волосами он залез в постель и крепко прижался к ее теплому телу, отчего она зашевелилась во сне. Несмотря на все свои переживания и угрызения совести, он мгновенно успокоился и тотчас, подобно пловцу, нырнул в освежающие невинные сны о своей ранней юности. Она всегда была где-то рядом, как некая мистическая мандала, представлявшая собой огромные зеленые крикетные поля, на которых

одетые в белое игроки, похожие на друидов, неспешно маневрировали с битой и мячом, пока не звучал вечерний колокол, то есть часы на павильоне не били четыре раза. В высокой траве, окружавшей поле, лежали со своими учебниками и горсткой вишен школьники. Кролики, которых было не меньше, тоже располагались на краю поля, наблюдая за игроками. (Те же кролики теперь ходили по краешку секретных аэродромов, наблюдая, как «спитфайеры» отрабатывают взлеты и посадки.) Время от времени Сэм стонал во сне, и Констанс автоматически, не просыпаясь, обнимала его.

А двумя этажами ниже усталый, с вытянувшимся лицом Блэнфорд завершал уничтожение записей, которые казались ему теперь нестерпимо самодовольными и избитыми из-за всей этой звонкой вычурности. «Кинем кости и подсчитаем очки — вот что решает, быть ли любовникам в ладу или нет, щелкнет в их душе что-то или нет, родится ли на свет чистая любовь или нечто гадкое — то гадкое, что передастся их детям». Он вздохнул и стал смотреть, как клочок бумаги горит в окружении других клочков, ибо Блэнфорд для своего аутодафе использовал камин. За это он потом получит нагоняй, его заставят убирать

в комнате. О Ливии он почти не упоминал, было еще слишком больно; а что до рассуждений о ней, новостей о ней и так далее, то он не без презрения предоставил это все Феликсу Чатто.

«Поведение Европы приемлемо для тех, кто пил символическую кровь Воскресения и жевал плоть Создателя». Так думал Блэнфордов Старик с острова из «Тысячи и одной ночи» — об англиканской церкви. Пикантный вопрос — а так ли он сам пессимистичен? Блэнфорд размышлял, курил, недоумевал и в конце концов ответил «да», он довольно потрудился, чтобы не бояться подобной опасности.

> Больная пара, вся в грехах,
> На наш воззрилась бред и страх!

Потом ему попалась на глаза другая бумажка, и написанному на ней предполагалась более долгая жизнь в его размышлениях. «Если реальные люди могут сожительствовать с существами, созданными их воображением, — скажем, в романе — какие же дети родятся от такого союза: подкидыши?»[26] Он беспомощно засмеялся

---

[26] Примечания: 26

Подкидыш. Здесь — ребенок, оставляемый эльфами взамен похищенного.

голосом Сатклиффа и вышел на террасу. Ночь стояла прекрасная, шелковисто-синяя, и звезды выстроились как на параде, изо всех сил сверкая в по-оперному синей тьме.

Блэнфорд улегся в постель и, мечтая забыться сном, спрятал голову под подушкой, пахнувшей повисевшим под дождем, свежевыглаженным бельем. Дождь! Он не проснулся в четыре часа — когда заря только занималась — послушать шорох солнечного душа, пролившегося на деревья и на каменный пол веранды сквозь окна. Летняя жара, поднимавшаяся от коричневой потрескавшейся дубленой кожи земли, была обычной причиной нестабильной погоды — то ненадолго устанавливался летний зной, то вдруг нависали клочковатые облака, так низко, что их почти можно было коснуться руками. Они располагались на некотором расстоянии друг от друга окруженные нежной голубизной, и дождей они посылали всего ничего — разве что в знак приветствия побарабанить немного по виноградным листьям и зарослям травы.

Бэнг! Звук был до того громкий, что вскочили и любовники, и Хилари с Чатто, которые спали на походной кровати в кухне.

— Какого черта! — воскликнул Сэм.

Неужели бомбят город? Кто? Бэнг! От этого второго удара они вполне проснулись и уже смогли понять, с какой стороны слышен шум. Он доносился из густого леса наверху, куда они как-то ходили в дубровник за трюфелями. Однако кому удалось втащить пушку на такую высоту, да и зачем? *Certes*,[27] весь Авиньон лежит внизу за рекой, там и Вильнев поворачивает толстые щеки своего замка влево. Похоже было на легкий миномет, вот только ему никто не ответил, да и самолетов не было слышно. Донельзя удивленные и ничего не понимавшие, они принялись варить кофе и задавать друг другу вопросы.

— Надо подняться наверх и посмотреть, — с некоторым испугом проговорил Хилари. Влажный серый рассвет пробивался сквозь лес.

— Правильно, — отозвался Сэм.

Они продолжали пить кофе, и за это время невидимая артиллерия сделала еще два выстрела. Тогда они спешно заперли кухню с кофе и едой на засов и стали подниматься на невысокую, но крутую вершину холма. Это заняло примерно четверть часа, однако когда они наконец оказались на зеленой площадке, то обнаружили всего

---

[27] Примечания: 27
Конечно *(фр.)*.

лишь старую *paragrele*,[28] которая стреляла густо просоленными снарядами по черным неподвижным тучам. Около нее суетились два старика, которые и заряжали, и сами же стреляли из своей малютки — снаряды летели со свистом вверх, где тучи были разбухшими, словно кошельки, набитые дождем. Через полчаса трюк сработал, и легкий дождь, словно дымка, оросил склон. Один из старых крестьян откупорил бутылку *eau de vie*[29] и пустил ее по кругу после удачного завершающего выстрела. Промокшее солнце отчаянно сражалось с тучами, отчего лица становились то серыми, то желтыми. Все чокнулись, и тут один из стариков произнес как бы между прочим:

— Они вошли в Польшу! *L'apres-midi, c'est la guerre*.[30]

Тучу наконец-то прорвало.

---

[28] Примечания: 28
Пушка для стрельбы по градовым тучам *(фр.)*.

[29] Примечания: 29
Водка *(фр.)*.

[30] Примечания: 30
К вечеру начнется *(фр.)*.

Глава вторая
Нацист

Земли, которыми владели фон Эсслины, тянулись вдоль моря в безлюдной части Фрисландии и никогда не распространялись внутрь страны. Таким образом, им доставались промозглые ветры и отвратительная погода, но похвалиться ее живописной красотой и освежающей неподвижностью влажного серого неба они не могли. Здесь были солончаки, бедные солончаки, окруженные невысокой грядой, которая придавала им обманчивые очертания и намекала на их скудость и на тяготы, которые терпели возделывавшие эти земли люди. Горы словно хмурились, а жирной желтоватой глине не хватало извести, отчего она плохо поддавалась плугу и не могла вынашивать хорошие урожаи. Зиму здесь ждали чуть ли не с радостью, и земля вновь погружалась в таинственную тишину среди заледеневших канав и прудов, где многолетний пырей с замороженными травинками выставлял свои армии фехтовальщиков. По ночам шумела капель, и деревья сбрасывали с веток сосульки. С начала

семнадцатого столетия эти земли принадлежали им, фон Эсслинам, с тех пор как первый фон Эсслин — тоже Эгон — стал профессиональным воином, заслужил некоторый почет и получил небольшое состояние, благодаря удачной женитьбе. Большое уродливое феодальное поместье исхитрилось сохранить две нелепые башни и небольшой ров, в котором теперь плавали утки. Дом был неудобным, к тому же холодным, сколько его ни отапливай. Да и подобно большинству семейств, то ли считающихся, то ли не считающихся аристократией меча и шпаги, фон Эсслины постоянно испытывали финансовые затруднения. Свой доход они получали от двух гравиевых разработок и от отличной белой глины, которую продавали гончарам в Чехословакию. У старого генерала была вполне весомая пенсия, ну а жалованья самого Эгона, как он считал, хватало лишь на самое необходимое. Поэтому он не мог позволить себе влезать в карточные долги, тем более содержать лошадей и актрис, в отличие от офицерской братии, располагавшей большими средствами. Но это его не расстраивало, потому что он был серьезным благочестивым человеком, как и полагается католику, чьи предки по материнской линии жили в Баварии. В целом

семейство представляло собой юнкерскую породу, и, соответственно, отличалось некоторой закоснелостью и мракобесием. Но члены семейства имели одну слабость, скажем так, сезонную слабость, — к музыке, которая каждый год перемещала их в Вену, в любимую столицу, где у фон Эсслинов были апартаменты с прелестным видом на знаменитый лес. Увы, Гартнер, родовое гнездо в деревне с тем же названием, внушал уныние, но никак не любовь. И так как теперь мать проводила там чуть не весь год, фон Эсслин ощущал некоторый стыд и неловкость: ведь он почувствовал почти радость, когда настало время исполнить воинский долг, это позволило ему без угрызений совести покинуть постылый дом.

Такими были не до конца сформулированные мысли и не совсем осознанные чувства солдата, сидевшего в приземистом служебном автомобиле, быстро двигавшемся вдоль дюн то на север, то на восток, где изредка о чем-то вздыхало в летней тишине море и где хрупкие лилии раскрывали чашечки; ему удалось, благодаря особым уловкам, добиться неслыханной роскоши — суточного отпуска; и это в то время, когда абсолютно всё — всё оружие и все люди находились на польской границе. В преддверии предстоящих событий

ему хотелось попрощаться с матерью — никто ведь не знал, где окажется, куда приведут решения фюрера. Уже несколько дней по телефонам передавали лишь военные сообщения, однако фон Эсслину удалось послать матери весточку — помог коллега, находившийся несколько севернее, откликнулся на его просьбу и отправил к ней курьера-мотоциклиста. Значит, мать должна ждать его в поместье, как всегда сидя у дальней стены длинного зеленого салона с книгой на коленях и улыбкой на губах. Когда он приезжал, то заставал ее в этой неизменной позе — предполагавшей, что все хорошо, все спокойно и не надо волноваться о хозяйстве. Горничная-полька, по обыкновению не произнося ни слова, откроет дверь и молча поклонится ему с робкой улыбкой на смуглом лице. Нет, все же… им ведь есть о чем поговорить. События сменяли друг друга с такой скоростью, что люди чувствовали, будто их сорвали с давно насиженных мест и, как ни старались, не могли угнаться за происходящим. Пока еще мир не был окончательно сражен — но напоминал впавшего в бесчувствие больного, истекавшего кровью на операционном столе, уже безнадежного…

Лето выдалось на редкость жарким: только

представьте, теплый дождь в августе! Была настоящая парилка; и вот наступила пора урожая — с ясным голубым небом и умеренной солнечностью. (Идеальная погода для польского похода.) Фон Эсслин нахмурился и пригладил кончики коротких усиков, заметив дом в конце длинной дороги, петляющей между стройными липами. «Вот и мой дом» — он мысленно повторил эту фразу, однако ощутил не радость, а обоснованные в его положении беспокойство и любовь к матери, которую он берег в своем сердце. Сын и мать были довольно близки, однако их общение затрудняла смертельная робость; любой, кто услышал бы их беседу, решил бы, что они едва знакомы — настолько в их речах отсутствовала всякая живость, тем более страстность. И эта робость еще более усилилась с тех пор, как они остались одни, после того, как не стало его сестры Констанцы (они были близнецами) и отца-генерала. Старик боготворил Констанцу и не смог оправиться после ее смерти; он зачах, как старый мастифф; во всех гостиных он развесил те ее фотографии, на которых она была еще молодой женщиной, снятой до того, как вяло текущая болезнь — склероз — дала о себе знать. До чего же прелестной была Констанца; сам Эгон тоже впал

в отчаяние из-за ее жестокой участи. Сын и мать никогда не говорили об этом, во всяком случае очень редко и немногословно.

Зато стоило им разлучиться, все менялось, ибо тогда Эгон позволял себе теплые чувства, и вновь пробуждалась его привязанность к матери; и в своих письмах он называл ее «Katzen-Mutter».[31] Пока слова ложились на бумагу, он рисовал ее в своем сердце в виде кроткой мамы-кошечки, рядом с которой прикорнула большая сиамская кошка с переливчатой шерстью. Кошки жили в поместье и теперь, они ее обожали.

Наконец автомобиль замедлил ход возле трубы, заменившей ров с водой, после чего осторожно пересек деревянный мост и остановился перед массивной дубовой дверью, за которой уже стояла горничная-полька в ожидании звонка. Она слышала, как водитель открыл дверцу, как щелкнули каблуки, как потом генерал-майор приказал отнести чемодан в дом и быть готовым к отбытию на рассвете. За короткими, похожими на лай, приказами последовал резкий звонок. Горничная-полька открыла дверь, пробормотала, как всегда, что-то такое гортанное и, наклонив

---

[31] Примечания: 31
Мама-киска *(нем.)*.

голову, присела в полупоклоне. Фон Эсслин тоже произнес нечто, отдаленно напоминавшее приветствие, и прошествовал мимо, чтобы положить фуражку на мраморный столик; он успел вновь повернуться к девушке лицом, когда она открыла дверь в зеленый салон, где мать уже поднималась с кресла с радостным возгласом.

— Я все не могла поверить, — проговорила она, порывисто обнимая его. — До чего же чудесно.

Он отступил на шаг, взял ее руки в свои и поцеловал их в знак любви и почтения.

— Я ненадолго, — сказал он и хрипло откашлялся. — Мы на пороге войны.

Она ответила быстрым кивком, словно птичка.

— Ты очень загорел. И шрам кажется белее обычного.

Он улыбнулся старой шутке. Когда-то лошадь его понесла, прямо в чащу, и он поранил щеку о моток колючей проволоки, неведомо по какой причине оказавшийся на дереве. Так как раны были чистые, ему и в голову не пришло наложить швы или хотя бы повязку — а в результате осталось на удивление точное подобие дуэльных шрамов. Несмотря на все объяснения, в его кругу считалось, что он тайно принимал участие в дуэлях в самурайском стиле, которые были давно

запрещены в армии, однако порою случались среди молодых офицеров, не всегда способных устоять перед искушением. Чем яростнее он отрицал это, тем меньше ему верили. Разве он не истинный пруссак? Подобные случаи были редки, но все же были, и время от времени кого-нибудь отдавали под трибунал за участие в дуэли.

Летом, когда кожа покрывалась загаром, шрамы действительно бледнели и становились заметнее. С одной стороны, он по-детски гордился ими, с другой — стыдился их. Они были словно стигматы, на которые их носитель не имел права, но от которых не мог избавиться. Сын и мать вместе смеялись над нелепостью ситуации.

— Сядь поближе, — попросила мать, — и расскажи мне, что происходит. Здесь мы отрезаны от всего мира, еще и радио сломалось.

Вздохнув, он послушно уселся на диван.

— Все так быстро меняется, — сказал он, — что мои сведения могут быть уже устаревшими. Отчасти и поэтому мне необходимо завтра вернуться назад. Фюрер молниеносно принимает решения.

Горничная-полька внесла поднос с напитками, и свинцовая тишина пролегла между ними, пока девушка находилась в комнате. Обычно в ее присутствии они переходили на напыщенный

неестественный французский язык, которого та не понимала. Вот и теперь мать сказала:

— Поставки глины в Чехию прекратились, но полагаю, мы найдем покупателя где-нибудь поближе. Я как раз сейчас жду ответных предложений.

Нахмурясь, он отозвался:

— Этого надо было ожидать, судя по развитию событий.

Когда дверь за служанкой бесшумно затворилась, мать проговорила:

— Она попросила у меня отпуск, чтобы навестить родителей. Я думала, она не вернется, и очень удивилась.

— *Ach,* с чего бы это? — возразил сын. — Она так давно с нами, правда, ни слова по-немецки так и не выучила. Наверно, здесь она ощущает себя дома в большей степени, чем в какой-нибудь польской лачуге — по-моему, ее родители работают на ферме, правильно?

Судьба Польши легкой тенью легла на их беседу; оба поспешили предать ее забвению, испытывая что-то вроде сожаления — назвать это ощущение стыдом было бы преувеличением. Фон Эсслин расчувствовался.

— Приятно видеть, как страна поигрывает му-

скулами перед лицом своих хулителей. Слишком долго Германия пребывала в покорности, в этом фюрер прав. Слишком долго.

Поддержав его настроение, она изобразила нечто более подходящее, решительное; потом слегка наклонила прелестную головку с лицом в виде сердечка и сложила губки, как настоящая кошечка. Честность и твердость — точно такое же выражение бывает на лице солдатской жены, привыкшей к утратам и готовой противостоять неожиданным потерям с храбростью, во всяком случае, с мужественной невозмутимостью. Сыну нравилось в матери это внешнее выражение стойкости. Многое осталось невысказанным, потому что как немцы они многого не могли обсуждать и делали вид, что все в полном порядке. Но ведь возникали и парадоксы — например, вторжение немцев в Австрию временно отрезало мать от столь дорогих ей музыкальных фестивалей. Нет, самих фестивалей никто не отменял, однако никак нельзя было приехать в любимый Зальцбург или Вену в качестве представительницы господствующей расы… Вот уж нелепость; к счастью, фюрер не страдал подобной щепетильностью. Он посвятил целый день конвульсивной музыке Вагнера и торжественно

сфотографировался с его детьми «вагнерятами» — на радость прессе. Очевидно, что он давал понять — интеллектуальное и эмоциональное начала современного немецкого духа и немецких свершений надо искать у художника. В искусстве — духовное оправдание новой веры.

А потом речь, естественно, зашла о вещах, о которых нельзя было умолчать, тешась расслабляющей светской беседой, слишком они были мрачными и слишком неопределенными, отчего требовали некой прямоты, не замаскированной всякими предосторожностями.

— Поймите, мама, сейчас нам следует действовать. *Решительно.*

Он по-особому, с придыханием, выговорил это слово, коротко взмахнув рукой, словно забивал гвоздь в дверь. Решительно. Мыслями он с мальчишеским удовольствием обращался к своим черным танкам, которые теперь мирно паслись на полях и лугах, двигаясь в направлении границы. Наверно, для кого-то они были отвратительными железными тараканами, управляемыми людьми в шлемах, не менее уродливых и таких же железных. А вот для него все было иначе, одна мысль о танках и танкистах вызывала непомерную радость. Механизирован-

ная бригада Седьмой бронетанковой дивизии — дух захватывало от стальной военной мощи, тараканьей мощи. Металлические гусеницы с оглушительным грохотом переползали через асфальтовые дороги, вознося вагнеровский пеан[32] злой силе, которой вскоре предстояло показать себя. От этой мысли сердце счастливо подпрыгивало у фон Эсслина в груди, но в то же время где-то глубоко внутри затаились и слезы. Он еще раз повторил «решительно», придав этому слову толику мрачной привлекательности. Мать и сын не отрывали безрадостных взглядов от своих бокалов.

Когда он поднялся к себе в комнату, чтобы переодеться к обеду, то, оказалось, что служанка уже разложила на кровати его форму, отпарив утюгом складки на брюках. Легкий привкус формальности был как нельзя кстати для первого вечера в обществе матери. Менять традицию не было нужды. Щетки с серебряными ручками и склянки с одеколоном уже покинули кожаные походные футляры, вновь заняв места в ванной, ибо он всегда брился перед обедом. До малейших подробностей тщедушная полька помнила осо-

[32] Примечания: 32
Пеан — хвалебная песнь *(др. — греч.)*.

бенности домашней жизни хозяев. Забавно было думать о том, как в ближайшее время ее наравне со всеми официально объявят рабыней… Лежа в горячей ванне, он размышлял об этом и хмурился. Потом, одевшись, спустился в картинную галерею, где к нему должна была присоединиться мать. Высокие окна и маленькое стрельчатое окно в дальнем конце, где было место только для дивана, и концертный рояль, придавали галерее домашнюю интимность. Здесь висели несколько портретов его предков, писанные разными художниками, был один прекрасный Климт,[33] и еще было несколько застекленных витрин с семейными реликвиями, достойными внимания посетителей. Поговаривали о некоей дальней родственнице с отцовской стороны, которая была также родственницей Клейстов,[34] и каким-то чудом в семье оказалась пара его любовных писем и рукописный вариант одной из пьес. Наверно, это был самый ценный экспонат, если не считать нескольких писем, касавшихся военных

[33] Примечания: 33

ГуставКлимт (1862–1918) — австрийский художник, использовал приемы плоскостного рисунка и «мозаику» из цветовых пятен.

[34] Примечания: 34

Имеется в виду немецкий писатель Генрих фон Клейст (1777–1811).

дел, которые отец получил от Гинденбурга.[35] Архив Клейста был несколько сомнительной добычей, хотя гений поэта уже давно был признан всеми. Однако… он все-таки обидел Гете самым неприятным образом; потом его самоубийство… это было как-то нехорошо(все-таки он происходил из военной семьи). Фон Эсслину довольно живо представилась такая картинка: красивая молодая пара расположилась на природе с большой плетеной корзиной, полной пирогов и фруктов. Фатальный пикник. На дне корзины лежал заряженный пистолет, который ожидал своей очереди, подобно гадюке Клеопатры… Фон Эсслин закрыл глаза, чтобы получше представить согретое солнцем озеро с плавающими лебедями, и услыхал резкий звук в летней тишине, потом увидел, как она падает на скамью, все еще в объятиях поэта… Нет, все-таки это отдавало дурным вкусом.

Одевшись, он достал медаль «Pour de mérite»[36] и прикрепил ее рядом со своим собственным Железным крестом под другими знаками отличия, которые его братья-офицеры обычно

---

[35] Примечания: 35
Пауль фон Гинденбург (1847–1934) — президент Германии с 1925 г.

[36] Примечания: 36
За заслуги *(фр.)*.

называли «конфетти». Медаль «Pour de mérite» (которая соответствовала германскому Кресту победы) его отец получил в конце первой мировой войны. Естественно, фон Эсслин дорожил медалью, и поскольку не мог носить ее открыто, то пришпиливал внутри нагрудного кармана, оставляя наружную сторону для своих личных, куда более скромных наград. Она тешила его и даже придавала уверенности — вроде талисмана. Он знал, что мать обратит на медаль внимание и обрадуется, хотя и не подаст вида. Фон Эсслин налил себе выпить и, усевшись за рояль, буквально заставил себя сыграть несколько мелодий из Штрауса. Пальцы стали совсем непослушными! Ему все время недоставало рояля, и прошла уже вечность с тех пор, как он в последний раз сидел за клавишами. Когда мать вошла, он сразу встал и под руку и повел ее к столу. Ему не хотелось засиживаться допоздна, так как завтрашний день обещал быть очень напряженным. Ужинали при свечах и разговаривали вполголоса — на всякий случай, чтобы никто не мог их подслушать, хотя оба были уверены, что полька не знает немецкого. Мать рассказала ему о визите молодого офицера из районной службы безопасности, который попросил разрешения установить в

кухне подслушивающее устройство. Сначала фон Эсслин не поверил своим ушам, а потом расхохотался над тупостью местных служак. От их имения было так далеко до польской границы…

— Вот и я ему так сказала. После этого он ушел. Ему даже не сообщили, кто ты.

— Вот как!

Они проговорили, пока часы не пробили десять, после чего поднялись, и она приготовилась идти в свою спальню. Это означало прощание, так как предполагалось, что утром, когда он уедет, она будет еще спать. Они обнялись.

— Пожалуйста, береги себя, — попросила она, и он дал ей обещание, провожая ее до двери; затем выключил свет и тоже поднялся по старинной лестнице вверх. В спальне фон Эсслин неторопливо, с некоторой печалью огляделся. Лампа на прикроватной тумбочке уже горела, и был отогнут угол одеяла.

Раздевшись, фон Эсслин улегся, раздумывая, не прочитать ли ему пару страниц детектива, прихваченного с собой, однако его мысли вновь обратились на его людей, на машины и на целую гамму чувств, которые были вызваны совершенно новой стратегией войны. Во-первых, никто и никогда еще не использовал военно-воздушные

силы в качестве артиллерии и, во-вторых, никто прежде не осмеливался на такую мощную концентрацию военных сил, которым невозможно было противостоять. Почему демократические страны не способны трезво оценить эту новую стратегию — ведь совершенно очевидно, что они ничего не предприняли для укрепления своих военных сил в виду предстоящей угрозы? Это все равно что регби против тенниса, мощный тобогган против *фиакра*... Фон Эсслин вздохнув, отложил книгу и стал разглядывать обои. Кроме того, нельзя не учитывать значение абсолютной секретности, оберегаемой кодирующей машиной, которую назвали «Энигмой».[37] Нет, должно получиться, хотя отец и намекал осторожно на то, что все, мол, решается на поле сражения. Там-то как раз многое зависит от случайности!

Фон Эсслин полежал, выравнивая дыхание и давая волю блуждающим в голове мыслям, которые вскоре начали, замирая, исчезать. И он спокойно заснул, но перед этим все-таки успел выключить лампу.

Проснулся он ровно в час ночи, словно на его плечо с ласковой доверчивостью легла рука. Рука

[37] Примечания: 37

Обычно ее название не переводится. Однако смысл слова «Enigma» — тайна.

женщины. Он тотчас поднялся, можно сказать, послушно, словно в ответ на беззвучный призыв какого-то животного или птицы. В жесте не было ничего похожего на намек, фон Эсслин, словно лунатик, шел по коридору, а потом поднялся по внутренней лестнице, которая вела к комнате служанки. Это продолжалось уже много лет, с тех пор как ему исполнилось сорок. И за все время они не обменялись ни единым словом. Она лежала с открытыми глазами, повернувшись лицом к стене, — и даже не делала вид, будто спит. Раздевшись догола, он потихоньку лег рядом с ней, едва касаясь пальцами ее бока, будто подавая сигнал, который давным-давно стал привычным. Тогда и она медленно повернулась, молча, но жадно изогнула жилистое тело, чтобы принять в объятия его более мясистое и более длинное тело. Наконец они соединились в немом поединке, подобно двум опытным борцам, и он ощутил в паучьей цепкости худых бедер и рук неожиданную беспомощность, агонию сексуального подчинения, даже самоуничижения. Она подалась к нему, как будто жаждала единственно, чтобы он растоптал, сокрушил ее, но это было просто уловкой, ибо она чувствовала, как нарастало его вожделение, как он проникал в нее, и все более неистово, со

всепоглощающей целеустремленной страстью приближая их обоих к оргазму, который заставит задохнуться и, забыв обо всем на свете, погрузиться в блаженное забытье. Ни одного слова, ни одного лишнего жеста как с той, так и другой стороны. Словно они были насекомыми, отзывающимися и на ритм, и на длину волн света или звука. С закрытыми глазами ее маленькое темное личико было похоже на посмертную маску в шлеме из волос — таких темных, что они напоминали волосы японских кукол. Такие же волосы — у трупов на Востоке. У нее было симпатичное лицо, но жутко истощенное, жутко худое. А голова совсем как у ужа; человеческие же черты — глаза и зубы — были даже красивы. Когда она была помоложе, то могла сойти за *petit rat de l'Opera*.[38] Она принадлежала ему, она подчинялась его воле, и это питало его вожделение; он взял ее, и точно так же его армия вскоре возьмет ее страну и ее народ, возьмет силой, прольет кровь. Добившись, наконец, оргазма, измученный, он заснул у нее на груди, грезя о своих больших игривых танках, которые, как овчарки, принюхиваясь к пыли и руинам разрушенных ими ферм, двигались вперед,

[38] Примечания: 38

Юная танцовщица театра «Опера», их еще Бальзак называл «крысами».

пробивая квадратными носами стены и изгороди, как только их бросали в атаку. Она лежала, словно мертвая, только шевелила губами, как обычно в такие моменты. Ему ни разу не удалось понять, что она так нежно шепчет, прижимая к себе его голову. Это были не немецкие слова.

Двумя этажами выше его мать лежала с открытыми глазами, глядя в темноту и с яростью прислушиваясь к тишине, изредка нарушавшейся тихими шорохами. Труба дымохода доносила до нее кое-какие звуки, говорившие о том, что творилось внизу, но этого было слишком мало, так что ей приходилось додумывать все то, что она додумывала еще во времена, когда был жив ее муж. Потом воцарилась тишина.

Перед самым рассветом девушка прикосновением разбудила его, выскользнула из его объятий и тотчас накинула на себя теплый платок. Прощания как такого не было, фон Эсслин просто встал — в полной тишине — и вернулся в свою комнату. Он принял горячий душ и тщательно оделся. Потом, взяв портфель с замочком, спустился туда, где в столовой на спиртовке исходил паром кофейник и несколько сдобных булочек из темной муки лежали в кастрюле с электрическим подогревом. Фон Эсслин налил себе кофе, взял

булочку и сел за стол, не сомневаясь, что, пока он ест, служанка торопливо уложит его вещи в два чемодана и снесет их в холл, где уже ждал шофер. Больше она ничем не проявит своего присутствия, если только не возникнет какая-нибудь необходимость, — она будет ждать за обитой зеленым сукном дверью, пока за ним не закроется дверь парадная. Это был облагороженный веками обряд.

Между двумя глотками кофе он открыл портфель и просмотрел документы, чтобы освежить в памяти то грандиозное, что должно свершиться, когда он вернется в свое подразделение. По большей части это были незасекреченные походные распоряжения и аннотации к картам: когда все так быстро менялось, вряд ли можно было успевать изобретать коды для секретных материалов. Операция «Белая», der Fall Weiss, уже была сформулирована и некоторое время назад передана для окончательного подтверждения в генеральный штаб — нацисты умели быть дотошными.

Потом он извлек наружу пакет из пластика, имитировавшего отличную свиную кожу, но такого яркого и дешевого на вид, что это портило задуманный эффект. В нем находились две инструкции, врученные доктором Геббельсом после

последнего совещания штаба и вышедшие из-под пера самого фюрера. Как там сказал тщедушный хромой доктор? «Культурный и интеллектуальный оправдательный аппарат»: Ein Kultur — und Intelligenz — Rechtfertigungsapparat! На такой фразе нельзя было не споткнуться, и доктор споткнулся, так как немного заикался от рождения. Однако настоящее счастье фон Эсслин испытал, сидя вместе примерно с двумя сотнями своих сотоварищей, своих коллег, в новом кабинете, который фюрер построил для себя в новорожденной канцелярии.

Примерно час они изнывали, прежде чем он пришел, *der Kleinmann*,[39] и чуть ли не робко скользнул в огромные двери с озабоченным, почти рассеянным видом. Они все поднялись как один, щелкнули каблуками — смачное поскрипыванье кожаных сапог было очень аппетитным. В один голос все громко и хрипло крикнули «хайль!», вскинув правую руку. Он ответил на это неопределенным мановением руки и еще более неопределенным взглядом, даже как будто смущенным взглядом. Потом разрядил атмосферу словами: «Прошу садиться, господа».

---

[39] Примечания: 39
Коротышка *(нем.)*.

Они опять расселись, как стая голубей, и подались вперед, чтобы не пропустить ни одного слова в его изначальном и точном значении в том потоке слов, что полился с губ фюрера. Сначала медленно, потом быстрее они зажигались огнем его идей, захватывающих идей, которые долго хранились и оттачивались в тишине и изгнании. Выглядел он утомленным, каким и должен был быть, — с тем грузом, что лежал на его плечах, ведь столько всего предстояло исправить и столько уладить в окружающем мире. У него было бледное лицо, и иногда он как будто терял дар речи, словно находился в эпилептической «ауре». Тем не менее, далее следовал неудержимый обличительный словесный поток, который внушал страх.

Слушатели оглядывали огромное помещение, стараясь запомнить все подробности этой знаменательной встречи с богочеловеком будущих времен, который указывал им духовные пределы нового государства. Их будоражила перспектива свободы, которую им предлагали его идеи; они почувствовали себя безгрешными пастырями, фюрер заранее обещал всяческое содействие во всех деяниях. От них требовалось одно — верить; все остальное должно было прийти само собой.

Такая риторика пьянила не хуже вина. Многих охватило сильное волнение, у большинства покраснели лица и участилось дыхание. И это продолжалось, пока вдруг не наступила тишина, словно иссяк бензин; он умолк, но они еще долго не могли прийти в себя.

Потребовалось всего лишь девять месяцев, чтобы появилась на свет Великая канцелярия из девятисот комнат, не считая просторного командного пункта и кабинета — пещеры, в которой фюрер собирался жить и работать; вести свой мощный корабль в новое тысячелетие. Он долго и с удовольствием сотрудничал с архитектором Шпеером.[40] Получилось нечто массивное, приглушенное, театральное, но торжественно-классическое, соответствующее новому времени. Что до логова самого льва, то это был классический стиль среднего класса, который присущ вкусу архитектора, привыкшего строить кафетерии. Тем не менее, этот стиль производил впечатление, потому что владелец здания, слабый человечек со щеточкой усов под носом и зачесанными на пробор волосами, никого не оставлял равнодушным. Каждый невольно себя

---

[40] Примечания: 40
Альберт Шпеер (1905–1981) — личный архитектор Гитлера.

спрашивал: как такое могло произойти? А потом обращал внимание на его глаза…

Отнюдь не подхалим по своей натуре, фон Эслин, подчинившись этому властному взгляду, подался вперед и сделал вид, будто что-то записывает; таким образом он маскировал свое необычайное волнение. Время от времени он оглядывал зал.

Помещение довольно просторное — примерно двадцати семи метров в длину, шестнадцати в ширину и десяти в высоту. Тут было душновато, воздух нагревался и еле-еле циркулировал, несмотря на хорошо отлаженную вентиляцию. На шестиметровых окнах висели тяжелые шторы из серого бархата. И всюду куда ни бросишь взгляд был специально заказанный греческий мрамор; наверняка, рабочим в Пентел икосе щедро оплатили сверхурочные, когда они рубили мрамор для своего будущего монарха. Серый, розовый, коралловый. Подчеркивая мягкие тона мрамора, рядом висели гобелены — великолепные гобелены. На потолке были вырезаны ровно двести двенадцать одинаковых кессонов, каждый из которых был обрамлен четким геометрическим рисунком. Скульптурный фриз повторялся всюду, а на каждой из колонн были шесть двойных подставок

для факелов из маслянисто поблескивающей бронзы над инициалами А. Г., выполненными в стиле, напоминающем дорический. На прохладных полах лежали безупречного происхождения ковры. Три одинаковые бронзовые лампы освещали массивный сверкающий письменный стол из орехового дерева и четыре кресла с высокими спинками, стоявшие перед ним. Это было более чем убедительно, это ошеломляло.

Когда вождь неожиданно умолк и поднялся со своего места, чтобы покинуть аудиторию, всех охватило разочарование — горечь незавершенности. Еще раз повторился ритуал щелканья каблуками и громкого приветствия. Когда фюрер удалился, в комнату вошел калека и занял его место, а тем временем ординарцы в форме разносили тонкие пластиковые папки с двумя инструкциями. Геббельс подождал, пока ординарцы раздадут все папки и за ними закроются высокие двери. Потом он откашлялся и заговорил тихим бесцветным голосом, настроенным на низкое звучание, словно для контраста с предыдущей речью. Вот тут присутствующие ощутили себя на знакомой территории — в том, о чем говорил доктор Геббельс, не было особых откровений и неожиданностей; каждый день они читали об

этом в газетах: вскоре будет исправлено то, что в настоящее время является позором Германии, им больше не придется терпеть невыносимые провокации низших рас. Говорил он очень разумно, скорее объяснял, чем внушал. Германия нашла свой путь и будет идти по нему, пока не построит новый мир. Новый порядок будет гораздо больше соответствовать законам природы. *Ordnung* — он почти пропел это слово, которое донельзя точно отражало его мировоззрение. Оно было похоже на заклепку на флангах только что созданного соратниками чудовищно огромного железного корабля, который вскоре пустится к дальним землям и морям, неся народам новый Золотой Век. И тут оратор поднял вверх палец. Дабы призвать сидевших в зале к бдительности: они всегда должны помнить о двух главных врагах — двух силах тьмы, которые им предстоит одолеть на пути к своей цели. В пластиковых папках у них лежали инструкции на сей счет. Эти брошюры следовало внимательно изучить, потому что в них содержалась вся суть германской миссии; каждый полевой командир обязан проштудировать их. Итак, только эти две вышеназванные силы противостояли новому арийскому порядку. В них заключалась суть проблемы.

Наверно, все подумали, что им вручили нечто вроде антологии цитат из Ницше, в которых отразился весь его неистовый антисемитизм (как выяснилось спустя сорок лет, ненависть к евреям философу привили сестра и ее муж); но нет, два документа в пластиковой папке представляли собой текст «Протоколов сионских мудрецов», которые свидетельствовали о еврейском заговоре завоевания всего мира, а также потрясающее «Завещание Петра Великого»,[41] также свидетельствовавшее о заговоре, но панславистском.

Самое ужасное заключалось в том, что не с кем было обсудить ни «Протоколы», ни «Завещание», разве что прикрываясь лицемерными намеками, ибо на теперешнем этапе любые сомнения по поводу этих ходульных документов были бы истолкованы, как предательство. Каждый был заперт в узилище своих опасений и страхов — без всякой надежды как-то обойти стороной эти «руководства к действию» в предстоящей войне. Нестерпимое положение для тех, кто считал себя человеком чести. Фон Эсслин сидел в углу штабной комнаты, положив документы на колени, наблюдал за тем, как солнце золотит

---

[41] Примечания: 41
См. Приложение.

деревья, и размышлял. Военные начисто лишены политического предвидения. Так лучше — ни о чем не думать, ни о чем не говорить. Лишь ощущать потрясающую свободу безответственного действа; стать частью чудовищной железной махины, направленной на Польшу, а головы ломают пусть другие, кому было известно больше, чем ему. А если и думать, то о том, что вызывает восторг — обещанная слава и возможность удовлетворения профессионального интереса — в смысле апробации танков. Доверят ли танки начальникам подразделений или представители генерального штаба, как говорится, будут сидеть у них на хвосте, чтобы держать руку на пульсе событий? Скоро все станет ясно, если, конечно, в последнюю минуту ветер не подует в другую сторону и французы с англичанами не изменят свою позицию. Но даже тогда…

Фон Эсслину не терпелось вернуться на *свой* командный пост, в свое подразделение, к своим коллегам, которые были взвинчены не меньше его; ему страстно хотелось дать разрешение на последнее действо перед началом атаки, на «последние письма домой», этот ритуал возвестят бойцам, — если они еще не знают, — что жребий брошен и приказ отдан. От этих мыслей у него за-

кружилась голова — хотелось как-то избыть свою ярость. В такие минуты ему очень не хватало рояля, с помощью которого он мог бы умиротворить свои взбунтовавшиеся мысли и побуждения.

До чего же медленна поступь истории! Каждой капле, падающей с сосульки, нужна вечность, чтобы сформироваться и оторваться от нее — или так кажется тем, кто, подобно ему, ждет решающего сигнала? Он ехал ночью, сквозь леса и мимо дорог, и повсюду было больше железной растительности, чем живой, настоящей. На повороте, около моста, видимо, случилась авария, — судя по количеству огней и человеческих силуэтов, безостановочно перемещавшихся вокруг пары грузовиков, которые лежали колесами вверх, точно опрокинутые на спину насекомые. «Столкнулись», — сказал водитель. Движение, действительно, было напряженное, машины ехали целыми колоннами, да еще ночью, так что удивляться не приходилось. Но, похоже, у них там нет ни одного старшего офицера, и взять на себя руководство операцией по освобождению дороги совершенно некому. Фон Эсслин вышел из автомобиля и направился к эпицентру аварии. Подойдя ближе, он увидел, что в грузовиках были кресты, тысячи деревянных крестов, ими

теперь была завалена канава и часть поля за ней, они сияли чистой белизной в стерильных лучах от фар стоявших машин. Кресты! Непонятно почему, но это зрелище ввергло генерала в безмерную ярость, и он принялся отдавать команды с такой истеричной злостью, которая удивила даже его самого. Солдаты, ошеломленные и его высоким званием, и неожиданной неистовостью гнева, загудели, — словно он разворошил гнездо шершней. Фон Эсслин едва не визжал. Он приказал водителям подойти к нему и хорошенько их отчитал. Всех троих он назначил старшими. Потом, все еще пыхтя и чувствуя, что еще немного — и он потеряет сознание, не вынесет такого напряжения, фон Эсслин вернулся в автомобиль и приказал ехать дальше.

Вскоре он забыл об этом случае, ибо невозможно противостоять чудовищному ритму великой армии, которая пришла в движение и поглощает все на своем пути. Все они теперь лишены личной ответственности, индивидуальность практически перестала существовать, благодаря власти этого движения. Кольца и петли накрепко стискивали их, и вся эта огромная ползущая масса, будто какая-то могучая река, неизбежно несла в сторону океана, с которым были связаны

все надежды. Но только это была особая река, из металлических сцеплений, бронированная река. Заняв свое место в дружественном и опасном кругу таких же, как он, авантюристов, фон Эсслин обнаружил себя как бы на мостике огромного парома, который, набирая скорость, мчится вдаль, к новому порядку на земле, но построить этот порядок и вдохнуть в него жизнь предназначено именно им, тем, кто на пароме. Он поглядел на запечатленный на карте караванный путь, на коричневые, напряженные, мясистые лица и большие красные руки, и его сердце переполнилось радостью и любовью ко всем этим людям. Из глубин ночи они шли навстречу рассвету — когда же на небе появится солнце, начнется новая история!

По краям тьма уже начала отступать, и то тут, то там на горизонте вспыхивали зарницы, словно отсветы далекой грозы. Однако было ясно, что это первые знаки будущих событий, что вооруженные соединения, еще не выйдя из своих укрытий, уже сцепились в схватке с вражескими разведчиками; Вся симфония была проиграна в течение двух часов одного утра; мощный зверь вырвался на свободу, поначалу робея, а потом все более уверенно и стремительно пронизывая тьму лучами

света, когда надо было прибавить скорость, — с приглушенным грохотом уже не реки, а железного океана, который, лязгая по булыжникам, объявлял о своем наступлении на сушу.

На рассвете должна была начаться бомбежка — новое слово в тактике, благодаря которой удастся проделать большие дыры в обороне противника. Им конечно же простилось бы то, что они воображали себя героями великой исторической саги, если бы не вульгарная мерзость особых частей, присоединенных к ним. Все тюрьмы были опустошены, чтобы было кем укомплектовать эти особые части. Они шли следом за бойцами, их тактикой было мародерство, насилие и уничтожение, все это тщательно прописано в официальных инструкциях, отпечатанных на землисто-серой бумаге, вдохновлявших *этих* «бойцов» на сомнительные подвиги. «Любыми средствами следует внушить страх перед рейхом. Ничто не должно быть упущено».

Это были люди особой закваски — хитрые, молчаливые, углубленные в себя. Офицеры улыбались, не разжимая губ; от них исходили флюиды преступности и жестокости, как от всех, кто наслаждается, причиняя боль, — тюремщиков, инквизиторов, профсоюзных деятелей,

палачей. Концентрационные лагеря позволяли особо отличившимся сотрудникам, этим современным центурионам, носить престижную, но ненавистную и внушавшую страх форму с черепом. Все, кто служил в регулярных войсках, знали, что этим лакеям предоставлены особые полномочия — на убийство; и их позор обжигал стыдом и самого фон Эсслина, потому что он знал: этим центурионам приказано. превратить всю Европу в дымящуюся день и ночь живодерню.

Итак, они вышли из тьмы на свет и вскоре оказались на краю бесконечного пшеничного поля, все еще накрытого лазурным небом, которое в ближайшее время должно было наполниться маленькими черными крупицами, по-сорочьи трескучими. Потом начался шум — самой разной громкости и звуковой окраски, но все эти грохоты, свисты и завывания соединились в таком мощном давлении на барабанные перепонки, что люди не слышали ни себя, ни других. Но дула продолжали палить. И медленно, с обеих сторон горизонта, земля начала гореть, пшеница начала гореть, все быстрее, видно чтобы не затягивать встречу с поджигателями.

Седьмая и Десятая бронетанковые дивизии были спущены с поводков, словно гончие псы,

и отправлены в горящее поле на случай, если там притаился враг. Предполагалось, что они на большой скорости проскочат опасное место, однако возникла неожиданная засада, огонь повел себя не так, как было запланировано, и они оказались внутри пламени. Фон Эсслин видел, как его любимые танки раскалываются, словно орехи, и в огне взрываются канистры с горючим. В растерянности командирский автомобиль повернул назад. На чем свет стоит ругая шофера, фон Эсслин приказывал ехать вперед, но на них уже полыхало огнем, а ведь они были куда более уязвимы, чем взрывавшиеся танки. Это был лишь один небольшой эпизод в непрерывной цепи удач — им даже надоело принимать рапорты о приближающихся объектах, о взятых объектах, о полностью окруженных врагах или врагах, которых, не желая терять время, объезжали стороной. У него случилась небольшая неудача, которая задела его *amour-propre*,[42] и он почувствовал себя виноватым, даже обманутым, правда он и сам не знал в чем. С облегчением фон Эсслин увидел, что сидит в луже крови, лившейся из раны на предплечье. От возбуждения он поначалу ничего

---

[42] Примечания: 42
Самолюбие *(фр.)*.

не чувствовал; но теперь рана стала болеть. Тогда он позвал санитара и снял китель, чтобы удобнее было сделать перевязку. Густой дым прятал от глаз огонь. Отдельные узлы машин валялись на выгоревшем дотла поле — и это было все, что осталось от его взорвавшихся танков. У фон Эсслина в рукаве застряла шрапнель, и санитар, вытащив ее, сказал: «Это вам на память». Ничего не значащая фраза вернула генералу уверенность в себе. Если все пойдет такими темпами, то они очень скоро будут уже в Варшаве.

Глава третья
В Египте

На королевскую яхту поднялись без всяких осложнений темной ночью, а утром она уже была далеко в море на пути в Египет.

В своей записной книжке Блэнфорд писал:

«Поэт, наверное, так должен ощущать бессмертие. Представляете, я пишу в полном покое, пока яхта плывет на восток под безоблачным небом, по тихому синему морю без единого гомеровского завитка… «Хедив» — королевская яхта, которая везет нас в безопасный Египет. Невероятно то, что я здесь, под ярким полосатым навесом рядом с невозмутимым принцем, и в руке у меня стакан виски с содовой, которое пьется медленно, задумчиво и с удовольствием. Все мысли о пропасти, разверзшейся у наших ног — о войне. Что до принца, то он теперь настоящий морской волк в своих белых штанах, словно сотканных из лепестков магнолии, в блейзере и старой яхтсменской фуражке, на околыше которой знаки королевского дома и Александрийского яхт-клу-

ба. Блейзер с надписью «Бейллиол, Оксфорд».[43]

Столь прозрачен и чист воздух, что время от времени мы на несколько мгновений впадаем в дремоту, но тотчас просыпаемся и продолжаем уроки арабского, которые должны превратить меня в полиглота. Если, конечно, земля не перестанет вертеться.

(Моя дорогая, эти строки, как ни странно для меня самого, предназначены тебе, а не Ливии. Я пишу их, потому что чувствую, что, наверное, нет, точно, никогда больше в этой жизни не увижу ни тебя, ни Сэма! В них та часть меня, которая медленно и тайно поворачивалась к тебе. Я, как всегда, не сразу разобрался в ситуации. А вот Ливия все поняла. Я видел, что она ревнует, но не догадывался почему. И оставался в неведении чуть ли не до последнего прощального поцелуя. Ливия же, сразу все сообразив, возненавидела тебя — настолько, насколько можно возненавидеть сестру. Пока поезд не увез тебя прочь, я совсем ничего не знал и не понимал.)

Ну вот, теперь я как более юная версия Тибулла, но без морской болезни. Моя поэзия мчится на всех парусах. Мама умерла, друзья разбрелись

---

[43] Примечания: 43

Бейллиол — один из наиболее известных колледжей Оксфордского университета, основан в 1263 г.

по свету, мое будущее неясно, мое одиночество — восхитительное бремя. Во всем этом я вижу подтверждение того, что мне когда-то наобещала добрая фея. Наверное, она сказала так: «Этот станет интровертом, далеким от повседневной жизни, любителем одиночества, с которым будут происходить всякие чудеса, благодаря его озарениям».

На старой яхте чего только нет — икра, шампанское, виски, и всё в большом количестве. Горячие блюда французской кухни нам подают великаны с бронзовой кожей, с голосами, как густой звон гонга, в белых одеждах и безукоризненно белых перчатках до локтей. Невозмутимо сохраняющие достоинство и естественность, словно настоящие аристократы, они излучают доброту, но без тени раболепия. Это мое первое впечатление от Египта — великолепные слуги принца, похожие на жрецов, подают нам пищу на бесподобном блюде. Иногда принц выражает беспокойство. «Я полагаю, что если бы нам грозило быть подбитыми плебейской торпедой, и спросили бы мое мнение, то я выразил бы сожаление обо всем, что тут пропало, хотя это мне не принадлежит. Естественно, Фарук пришел бы в ярость. Не сомневаюсь, он все застраховал». Вот уж о чем я никогда не задумы-

вался. У королей есть все — неужели им нужна страховка? Я зевнул и потянулся, как любимая кошка Клеопатры.

В здешней библиотеке много викторианских романов, которые покупали английские няньки Фарука. Однако среди не столь широко представленной, зато избранной арабской литературы есть пьеса, которую принц считает отличным введением в изучение своей страны. «Ее написал мой друг, — говорит он, — и она называется «Смерть Клеопатры» — Masra Kaliupatra. Вам непременно надо ее прочитать».

Приятно узнать, что Клео была известна своим подданным как «Kaliupatra». Ее рушащийся мир вряд ли очень отличался от нашего — разница лишь в масштабе. Катастрофа есть катастрофа вне зависимости от чего бы то ни было.

Всюду вокруг нас, если верить скрипучему оракулу, местному радио, бушует война. Флоты Франции и Англии грозятся скрестить мечи. Где-то притаился итальянский флот, слава богу, демонстрирующий великую осторожность. А мы тем временем (словно в заколдованном центре неистовствующего урагана, когда все сверкает и грохочет кругом) плывем себе спокойненько в непотревоженной тишине, если не считать

ровного шума мотора и лениво выходящего из большой трубы дыма. Вперед, к белым скалам Крита, а потом в Евностос, родную гавань в Александрии. Слишком хорошо, чтобы было правдой.

— Мистер Блэнфорд, мне бы хотелось попросить вас об одолжении для себя и принцессы.

— Я слушаю, ваше высочество.

— Можем мы называть вас Обри? Так было бы проще.

— Ну, конечно же.

— Благодарю вас, Обри.

— Не за что, ваше высочество.

Итак, несмотря на тысячу и одну остановку и отвлечение по воле принца, уроки арабского языка медленно шли своим чередом. Например, он настоятельно советовал мне прочитать книгу о Египте, написанную его няней, миссис Маклеод, и названную «Англичанка на Ниле». Он уверял, что в ней много поразительных наблюдений и много своеобразных замечаний о египетской жизни. Пока он говорил, я открыл ее и увидел, что она великолепно начинается, со слов: «В Египте все ведут себя импульсивно, поскольку здесь нет дождей, заставляющих думать».

Грешно покидать жаркий кокон солнечного дня, и мы заказываем обед наверх, чтобы не

уходить с располагающей к лени палубы. Время от времени мы получаем отпечатанный бюллетень с новостями и приветом радиста, однако содержание бюллетеня столь же безумно, сколь несочетаемо, несовместимо с торжественно заходившим солнцем и спокойным морем. Но вот мы уже связались с Александрией, и нас ждут до полуночи, чтобы без помех проводить в порт. Полагаю, огромная гавань с неподвижными военными кораблями и крейсерами, как французскими, так и британскими, была бы великолепным зрелищем, но нас лишили его. После обеда принц поднялся на мостик, где воспользовался телефоном, чтобы соединиться с кем-нибудь, кто передаст его послание властям, дабы те разрешили ему отправиться, вопреки протоколу, во дворец в Монтазе, а не в Великую гавань. Объяснил он это очень просто: так будет всем намного легче, к тому же избавит нас при схождении на берег от забот *douaniers*[44] и службы безопасности.

— Англичане, как всегда, будут против, им это не понравится, но если Фарук скажет «да», они смирятся, а он знает, что ему лучше согласиться!

---

[44] Примечания: 44
Таможенники *(фр.)*.

Мы разошлись рано, чтобы как следует отдохнуть, оставив все невозмутимым смуглым педелям, которые говорили вибрирующими глубокими голосами и улыбались, как рояли, о чем-то болтая между собой. Проснулся я от прикосновения смуглой руки, которая с великим почтением трясла меня за плечо.

— Хозяин говорит вам быть наверху. Он ждать.

Я оделся и, еще не совсем проснувшись, поднялся на палубу, где обнаружил принца в отличном настроении, он руководил сборами.

— Я был прав, — весело проговорил он, — англичане в ярости от меня.

На берег, прямо к морским воротам дворца, нас доставил вместительный моторный баркас, принадлежащий египетскому флоту. Стояла полная тьма, но после долгих переговоров зажгли свет, и в ночи возникло нечто среднее между Тадж-Махалом и Эйфелевой башней.

Для меня это была первая встреча с египетским барокко, и, кстати, сравнение с данным стилем на редкость подходящее. Хотелось ликующих криков и фанфар — до того много света отражалось в бесчисленных зеркалах разных оттенков — эффект это производило дивный — многоликой порочности, так сказать… Мне стало ясно, что

я полюблю это сооружение — мне привиделась в нем огромная башня несуразностей. В тишине я шагал по несравненным ширазским коврам, устилавшим просторные салоны, и мой дух был одурманен алой кожей, золочеными потолками, ляпис-лазурью, кошачьим глазом и вездесущими зеркалами, льющими свет, словно забытые всеми фонтаны. Никто нас не встречал, комнаты стояли пустыми, и нигде не было видно ни души. Роскошные туалетные комнаты были размером с Юстон,[45] однако цепочки звякали всуе, ибо бачки были пусты. Мы остановились, не зная куда двигаться дальше.

Потом на лестнице появилась полусонная принцесса, завернутая в белое кимоно из пушистых перьев и похожая на маленького зевающего лебедя. Они стояли и смотрели друг на друга, с такой страстью и радостью, что это зрелище тронуло меня до слез. По этикету им было не положено плебейски обниматься на публике, к чему обычных людей приучило кино. Они вели себя по-птичьи, как настоящие пернатые, у которых нет рук, поэтому простерли друг к другу крылья, скажем так, и с робким восторгом

---

[45] Примечания: 45
Сеть английских отелей.

прошептали имена друг друга. Принц поцеловал кончики ее пальцев, и она, всхлипнув, словно напуганное дитя, побежала одеваться. Пока мы ждали, сонный дворцовый слуга проводил нас в просторную столовую, где уже горели свечи на столах, накрытых к завтраку, то есть нас ждали кофе, шоколад, свежие круассаны и масло. Меня в высшей степени умилило то, что я увидел людей, которые столь искренне любили друг друга; это было совершенно непохоже на Европу, где всерьез уже никто не думал о любви.

Мы сели в два темных лимузина, оставив слуг разгружать яхту, что было делом нелегким, потому что поднялся ветер. Однако свои чемоданы мы получили, и я сидел во втором лимузине, в который их все сложили. Ландшафт немного напомнил мне *Grand Corniche* с бьющимися о берег волнами и раскачивающимися под порывами ветра пальмами. Потом была темная извилистая лента дороги через пустыню. Я забылся беспокойным сном, убаюканный шумом мотора и ощущением, что у времени ничего не вывихнуто, все эпохи связаны воедино.

Все это я пишу несколькими днями позже на затененном балконе, выходящем на Нил, гладкий, как лезвие бритвы, у самого края сада; стоит

адская жара, и я обливаюсь потом, пока делаю свои записи. Запястье прилипает к бумаге, до того я весь покрыт липким потом, приходится подкладывать промокашку, чтобы бумага оставалась чистой. Однако я счастлив. Передо мной открылся новый мир. Мне повезло. Я испытывал жуткий страх перед принцессой — был уверен, что она сразу же догадалась о моих пороках. Но она взяла мою руку и долго держала ее, внимательно глядя мне в глаза, причем с такой сосредоточенностью, как будто слушала священную музыку. Потом с облегчением вздохнула и отпустила меня со словами:

— Он нам *подходит!*

Принц хмыкнул:

— Она *никогда* мне не доверяет.

Так что теперь все в порядке! Что еще надо? У меня вновь появилась уверенность в себе, и я понял, что удачно сдал экзамен на довольно странную должность английского секретаря принца. Приятно ведь чувствовать себя членом семьи — мое воспитание не приучило меня к теплым семейным отношениям. Да и обязанности мои не очень обременительны; приходится, правда, много заниматься корреспонденцией, но с этой работой легко управиться в утренние часы.

Оставались светские обязанности — они пугали меня, однако и в этом ко мне отнеслись с большим вниманием. Меня никто не заставлял разносить лепешки на английских чаепитиях принцессы. Но я делаю это. Здешний старичок-портной заполнил целый шкаф отлично сшитыми для меня новенькими шелковыми костюмами.

Городской дом принца (у него с принцессой есть еще дворец в Розетте и летняя вилла в Гелване) не очень похож на замок. Размерами он примерно с охотничий домик средневекового принца с большими прилегающими территориями, нечто вроде загородного поместья набоба. Частично дом пришлось укреплять, чтобы сохранить для нормального существования, а частично его предоставили своей судьбе, и он вернулся к своему первичному состоянию — нечто черное и липкое, из чего как будто произошло все в Египте. В одном крыле полно огороженных коридоров, потому что полы в них изъедены термитами. Обстановка скромнее, чем в том дворце, куда мы прибыли, и все покрыто тонким слоем пыли: украшения, мебель, зеркала, всё, но совсем тонким слоем, словно парик пудрой. Время, отсутствие заботы и влажность изменили четкие контуры вещей. И однако при этом качество

картин, безделушек, статуэток — отменное. Сразу чувствовалось, что они тут не просто так, что их выбирали, любили, лелеяли за их эстетические достоинства. Пусть они совсем разные и не соответствуют друг другу по стилю, но сосуществуют гармонично, в неразделимом несогласии. В целом дом очень приятный, и там приятно пахнет. Полно потрясающих кошек. Вот только диссонансом звучали павлиньи крики, от которых невольно подскакиваешь на месте. От Нила исходил запах старости, печали и разочарования, он порою зелен, как окислившаяся медь, но всегда остается самим собой, не похожим ни на одну другую реку в мире. Перед рассветом я увидел рыбака, молча стоявшего на берегу, словно он ждал появления солнца; и когда оно явило себя, ожил весь мир насекомых, загудевших, замельтешивших в теплых лучах, высушивших последние клочья тумана над гладью реки. Рыбак набрал в рот воды и выплюнул ее — мелкие брызги заиграли под солнцем своим разноцветьем, будто призмы.

Утром я услышал стоны, доносившиеся снаружи, а также удары и ругань; я спросил у принцессы, что там такое, и она с обычной своей деликатностью сообщила, что это Сайд, их юный мажордом, получает, как она выразилась, «по-

учительные шлепки» за какую-то провинность.

— Ах, — вмешался ее супруг, — вы, несомненно, помните, что царским скипетром в Египте всегда был прут. А что касается наших слуг, то нет другой возможности сражаться с их прогрессирующей забывчивостью, которая постепенно переходит всякие границы, и тогда они перестают вообще что-нибудь помнить. Поэтому, когда они обо всем забывают, всё бьют, наступает время по-доброму напомнить им об их обязанностях. Это случается примерно раз в полгода. Завтра увидите, что Сайд стал совсем другим. Сегодня он будет хандрить, потому что его достоинству нанесен урон, а завтра…

— И своих секретарей — их вы тоже «шлепаете»?

Принцесса захлопала в ладоши и прощебетала:

— Я же сказала тебе, что он нам подходит.

Принц поднял одну бровь.

— Для секретарей у нас есть кое-что похуже!

Секретарь я не единственный — есть еще несколько, у каждого своя сфера деятельности, однако все они исчезают к концу дня, тогда как

я остаюсь обедать *en famille*,[46] а потом ухожу совсем один в предоставленные мне великолепные апартаменты. Тут все не так, как дома, и очень любопытно, так что я ни на мгновение не устаю от насыщенной жизни почетного атташе. Однако мне всегда нравилось уединение, и я с удовольствием несколько вечеров в неделю пишу письма или заметки, как эти спорадические комментарии на полях истории. В эти моменты мне кажется, будто я отрезан от остального мира, чуть ли не от всего остального человечества. Египет похож на фриз великолепной расцветки, по которому мы передвигаемся с немыслимой легкостью, будто так оно и должно быть. Страна объявила нейтралитет, и города стали «открытыми городами» — мерцающие бассейны хрустального света по вечерам, душные базары и улицы, заполненные машинами в дневные часы, яркие витрины магазинов и потрясающие мечети — пародия на истинный мусульманский рай. Мы читаем о затемнениях — они везде, ну а в Городе Мертвых можно читать газету и при луне, когда она полная. Я чувствую себя одновременно довольным и брошенным, торжествующим и

[46] Примечания: 46
В кругу семьи *(фр.)*.

отчаявшимся. Мир отрезан, остался только этот освещенный, окруженный пустынями город, где ни в чем нет недостатка. Надолго ли? Никому не хватает храбрости думать об этом.

Многие почтовые пункты разрушены, и приходится пользоваться новыми услугами — авиапочтой; я запасся множеством конвертов, но куда их посылать? Ко времени, когда они доберутся до цели, может, и Англии уже не будет? Всеобщий упадок духа властвует над этой преисподней страхов и дурных предчувствий — то же самое я говорю моим хозяевам. Они начинают осознавать всю глубину своей привязанности к туманному острову, на котором провели так много счастливых летних сезонов, ненавидя англичан. Да и к Франции тоже. «Франция, *halas!*»[47] На арабском звучит печальнее и решительнее, напоминает опрокинутую статую. В этом есть намек на унылые Aman-Aman (увы-увы) песни, которые передают по радио в молчаливых кафе в исполнении Умы Калсум, соловья из Танты… Полагаю, *kaput* это перевод *halas?*

Принц сам представил меня моим коллегам. Профессор Балади оказался высоким и худым, и

---

[47] Примечания: 47
Конец *(араб.)*.

он свободно говорит по-английски. У него голубые глаза и свежий цвет лица, и он щегольски носит алую феску. Он очень мило изображает из себя бывалого человека, отлично знающего столицу, и намекает, что мог бы сопровождать меня в моих странствиях по городу — очень полезное предложение. При нем всегда палка с эбонитовым наконечником, как невероятно драгоценный скипетр. Кажется, мы понравились друг другу. То же самое могу сказать о более медлительном и менее изысканном «почвенном» господине, копте Кханне, который поначалу показался мне несколько застенчивым и неразговорчивым. Из-за оспинок его кожа напоминает дуршлаг. Он предпочитает говорить по-французски, и ему приходится прилагать немало усилий, чтобы выразить свою мысль. А вообще-то у него чудная душа, спрятанная глубоко внутри, — он никому не доверяет. Была некая настороженность, однако никакой враждебности, вот чего я больше всего боялся.

Самым влиятельным человеком в тени трона, так сказать, является юный и очень обаятельный сириец по имени Аффад. Насколько я понимаю, он миллионер и появляется рядом с принцем, когда тот нуждается в его поддержке, исклю-

чительно из симпатии к нему. На редкость привлекательное создание с туманным серовато-зеленым взглядом, по виду — очень изнеженное. Худой, высокий, и при первой встрече с ним на ум непременно приходит андрогин. Полагаю, он должен быть великолепным гомосексуалистом — в старинном стиле, ибо, подобно Алкивиаду, тоже слегка шепелявит. Говорит он увлекательно, с юмором, не щадя ни себя, ни других, очевидно, что вряд ли кто-нибудь может устоять перед его беспощадным обаянием. В одежде он небрежно элегантен, будто сошел с картинки модного журнала. Его английский язык безукоризнен, он владеет им в совершенстве, а его почти кроткая мягкость на самом деле лишь уловка, способ расположить к себе собеседника. Когда ему требовалось, его речь становилась на редкость колкой, язвительной.

— Что ж, я уже давно вас ждал, — обескуражил он меня при первой встрече. — Ему понадобилось много времени, чтобы подыскать нужного человека, и как только он познакомился с вами, тотчас телеграфировал мне, что вы идеально ему подходите и он постарается вас уговорить.

Интересно, чем же я произвел впечатление на принца еще там, в Провансе? Словно читая

мои мысли, Аффад улыбнулся и удивил меня еще больше.

— Принц слышал, как вы говорили что-то необычное об Аполлонии Тианском, и ему стало ясно, что в Египте вы будете как дома.

Что же я такое говорил? Я напряг мозги, стараясь вспомнить. Наверно, упомянул что-то о гностицизме в Египте в связи с ересью тамплиеров — в беседе с Катрфажем или, может быть, с Феликсом. Ничего из ряда вон выходящего. Принц не был ни эрудитом, ни интеллектуалом, так почему же такая фраза?... Тут мне вспомнилась высушенная и просмоленная голова в его красной шляпной коробке. Интересно, где она теперь?

Тем временем Аффад наполнил мой бокал и стал уверять меня, что пост придется мне по нраву — по многим причинам. В это я уже начинал верить. Никогда еще мне не приходилось быть среди столь славных, милых людей. Работать для них, видимо, окажется нетрудно и даже приятно.

Оставались еще мои соотечественники, пришлось провести с ними утро и всю вторую половину дня, поскольку порядок требовал, чтобы я зарегистрировался в консульстве и заполнил анкету на случай, если вдруг понадоблюсь. Мой

паспорт был изучен невероятно высокомерным лавочником (такое он производил впечатление) по фамилии Телфорд — *мистер* Телфорд, сэр, если позволите! Таким угодническим манером к нему обращался временно исполняющий обязанности консула.

— Пока вы остаетесь тут до первого распоряжения. Ничего не могу гарантировать.

Принца разозлил его тон.

— Что ж, думаю, мне удастся все уладить, — холодно проговорил он. — Сегодня я встречаюсь с министром, а ему уже известно, что мистер Блэнфорд приехал сюда как мой секретарь.

Телфорд пожал плечами и с неудовольствием вернул мне паспорт.

— Пусть так, — проговорил он и взмахом руки отпустил нас на шумную улицу, где стоял в ожидании автомобиль принца.

Днем мы отправились в консульство расписаться в книге гостей и выразить свое почтение министру. Он сидел в шезлонге на пыльной лужайке довольно далеко от дома — худой, высокий, по-своему привлекательный. Место он выбрал очень остроумно — посередине между двумя большими дождевальными установками, которые работали на полную мощность, чтобы,

несмотря на жару жизнь сухой, как бумага, лужайки была сохранена. Выплескивавшаяся вода подталкивала к креслу несколько охлажденный воздух, отчего создавалась иллюзия прохлады и свежести. Мы прошли между колоннами, стараясь не замочить брюки, и были довольно мило встречены министром, слуги которого уже несли дополнительные шезлонги, которые позже были расставлены в соответствии с «охлаждающей» стратегией, стол, на котором в соответствии с английским обычаем чаепития тотчас появились печенье, имбирные бисквиты и булочки. И это в Египте! Я что-то сказал по их поводу, и наш хозяин, улыбнувшись, заметил:

— Вас это должно успокоить, не правда ли? В данной ситуации нам потребуется весь имеющийся у нас морально укрепляющий чай. — Он покрутил чашку. — В течение года вы были, так сказать, официально «заморожены». А это значит, что в верхах вашу работу воспринимают как особенно важную, если учесть надвигающуюся войну.

Я не совсем понял, что это значит, и уже было открыл рот, чтобы переспросить, как принц, повернувшись ко мне, воскликнул:

— Вы же не знаете, что я полковник военной

миссии и глава Красного Креста в Египте! Поэтому в Англии хотят, чтобы вы приглядывали за мной и не допускали с моей стороны никаких проделок вроде приглашения на ланч Махир-паши,[48] правильно?

Министру было не до смеха, более того, он не скрывал, что расстроился.

— Скоро вы узнаете, — сказал он, поворачиваясь ко мне, — как нам повезло, что принц консультирует нас в политических вопросах. В Египте политика дело непростое, особенно если учесть современное положение.

Беседа перешла на более общие темы, касающиеся военной ситуации, которая, несмотря на удачи с нашей стороны, все еще была смертельно опасна. Это придало некую неопределенность приказам министра и его расположению, и вообще было весьма заметно, что министр очень подавлен страшными обстоятельствами, из-за которых мы очутились между двумя пустынями и к тому же с неадекватными военными силами, на случай если противник затеет что-нибудь похуже. Ничего такого он не сказал, но его тон говорил о многом — и, конечно же, ситуация в мире

[48] Примечания: 48

Махир-паша, Али (1882–1960) — премьер-министр Египта, ярый националист. *(Прим. ред.)*

была настолько хорошо известна, что для любого регулярно читающего газеты не было никакой тайны в его словах. Наша чайная церемония закончилась на дружелюбной, но минорной ноте.

— Мне известно, что вы будете посещать канцелярию по всяким делам, — сказал министр, когда мы поднялись, чтобы обменяться прощальным рукопожатием. — Я дам указание, чтобы вы получали все приглашения. Если вам понадобится увидеть меня лично, не стесняйтесь, звоните и приезжайте.

Мы поблагодарили его за теплый прием. Дождевальная установка обдала нас прохладой и сдунула листок бумаги с плетеного столика. Я поднял его и положил обратно. Поначалу мне показалось, что это шифровка. Потом я понял, что это шахматная партия в телеграфном варианте. Министр поблагодарил меня и, взяв листок, сказал:

— Я видел, что вы обратили внимание на расстановку фигур. Играете в шахматы?

Мне пришлось его разочаровать.

— В канасту, бридж и очко — это всё.

И мы ушли.

Итак, начался долгий период моего секретарства, оказавшийся не лишенным прелести

новизны и разнообразия. У принца были многосторонние интересы; как президенту Красного Креста ему были положены отличные офисы в центре столицы, где и мне отвели комнатку рядом с телетайпом, из которого я получал богатый урожай корреспонденции; кроме того, принц довольно часто посещал пропыленное консульство, где нас очень мило встречали, хотя делать ему там было нечего. Еще была канцелярия. Во дворце мой офис был центральным, ключевым по отношению ко всем остальным. Однако у принца, как почетного полковника Египетской полевой артиллерии, был еще внушительный офис в штабе, который он обожал посещать, надев военную форму — британскую форму полковника — с традиционной феской. На груди он носил набор наград, и было очевидно, что это доставляет ему невероятное наслаждение, потому что он поглаживал их во время официальных бесед с подобострастными молодыми офицерами своего полка.

Ну да, этот новый мир поразил меня разноцветьем и новизной; невозможно переоценить красоту великолепного пропыленного города с его похожими на круглые леденцы куполами, увенчанными узенькими полумесяцами, с его

ошеломляющими изобилием суками,[49] с его ярко освещенными прибрежными районами, с его лопающимися от товаров магазинами. Вся Европа во тьме, а мы тут всю ночь жжем свет, что разрешено только городам, объявленным «открытыми». С бархатисто-синего ночного неба на нас не падают бомбы. Никаких признаков войны, разве что разгуливают солдаты, отпущенные в увольнительную. Возможно, перед самым рассветом, украдкой, танки выйдут из укрытий и бесшумно помчатся по безлюдным дорогам, словно на цыпочках, ринутся к пустыне; и продвижение их будет до того осторожным, что шума они произведут меньше, чем верблюды на асфальте, — как раз перед рассветом длинный караван верблюдов привозит на городские базары и овощи, и все остальное, что необходимо городу, например хлопок, папирус, *bercim* — клевер для животных.

— Принцесса насмехается над моей формой, — сказал принц, — но я ношу ее, потому что она дает нам право в любое время устроить пикник в Западной пустыне; а без нее я стану просто гражданским лицом, для которого пустыня закрыта.

---

[49] Примечания: 49
Сук — восточный базар.

Кстати, я ведь должен через газету официально приписать вас к египетской армии в качестве второго лейтенанта, добровольно вставшего в строй. И вы будете моим советником.

Заманчивая перспектива — носить британский мундир и на голове — алый цветочный горшок. Как ни странно, и принц и принцесса были весьма тронуты, когда я вошел к ним в комнату при полном параде — в форме и в феске.

— Теперь вы и вправду один из нас, — воскликнула принцесса, и по щекам ее побежали слезы.

В феске я выглядел дурак дураком.

Англия отныне стала не постоянной, а случайной болью, вызывая изредка уколы совести; новая жизнь захватила меня целиком своим разнообразием, а легко доступная информация заставляла воспринимать эту древнюю страну не как прозябающий в руинах пережиток истории, а как все еще захватывающе современную, все еще полной дьявольского колдовства и тайны. Естественно, пониманием этого я был обязан Аффаду, хотя поначалу, пока устраивался, виделся с ним редко; мои коллеги занимали авансцену. Профессор Балади, например, с его странной на слух речью в стиле викторианских романов мог бы прославиться как музыкант, стоило ему толь-

ко этого захотеть.

— Мистер Блэнфорд, я понял, что в природе нет ничего более возвышенного, чем бюст английской дамы.

Склонив голову набок, он наблюдал за моей реакцией.

— Знаете, профессор, вы вгоняете меня в краску.

Он весело рассмеялся и ответил с определенной дозой лукавства:

— Я сказал это, чтобы проверить вас.

Пришлось фыркнуть — издать нечто среднее между смешком и хихиканьем.

— Мне говорили, будто египтяне сходят с ума по розовой коже, а пошло это от сутенера в Порт-Саиде, который предлагал свою маленькую дочь, крича: «Она вся розовая внутри, как английская леди».

Это была очень старая шутка, но он не знал ее и задергался в конвульсиях пристойно беззвучного смеха, так что слезы выступили у него на глазах. Он вытер их рукавом. Но мы совершили бестактность. Это стало ясно, когда мы обратили внимание на лицо нашего коллеги — на лицо бедняги Кханны-копта, красное от гнева и глубокого потрясения. Едва мы увидели, что с ним

стало, как Балади торопливо сглотнул — совсем по-лягушачьи — и покаянно завздыхал, хотя время от времени продолжал содрогаться (в голове, видимо, снова мелькала старая шутка), утыкаясь лицом в рукав. Я счел наилучшим замолчать и минут на пятнадцать полностью погрузиться в работу, чтобы все улеглось само собой. Снаружи вовсю светило солнце, и на зеленых лужайках работали дождевальные установки, словно подсолнухи, поворачивавшие тонкие шеи. Где-то во дворце слышался тихий перезвон телефонов — звонки приглушили специально, потому что громкий шум якобы нарушал здешнюю благопристойность. Прочитав военные новости в «Иджипшн Газетт», я на мгновение ощутил болезненную тоску по Англии, однако в глубине души я мечтал о своей путеводной звезде — о Провансе, о том Провансе, в котором теперь для меня навсегда поселились Феликс, Констанс, Хилари, исчезнувшие Друзья последнего мирного лета. Где они сейчас? Насколько я понимал, в потустороннем мире. И больше всего меня мучили воспоминания о Ливии. В последний раз я слышал, что она в Германии — та самая девушка, на которой я, как дурак, жаждал жениться.

Когда Кханна, не в силах унять взыгравшую

ярость, удалился в туалет, находившийся рядом с приемной, Балади показал большим пальцем на его удаляющуюся спину и прошептал:

— Думаю, мы задели его за живое.

Я с важным видом согласился.

— Если вы свободны в субботу вечером, — сказал Балади, явно желая вознаградить меня за остроумную беседу, — приглашаю вас в веселый дом немного развлечься.

Я принял его приглашение, но без особой радости, потому что у меня только-только начал завязываться роман с юной офицершей из Полевой транспортной службы, из добровольческого отряда сверхпородистых девиц, которые пополняли армию шоферами, секретарями, курьерами. Одна из них обратила на меня внимание и пригласила на обед к себе домой. У Анны Фарнол, лет двадцати восьми студентки Слейд-скул,[50] были потрясающие голубые глаза, в которых светились незаурядный ум и доброта. Она очень выделялась среди несколько фригидных куколок своего подразделения, ибо излучала тепло и женственность, плохо сочетавшиеся с военной формой. И все же когда она приблизилась к моему столу,

[50] Примечания: 50

Слейд-скул — художественное училище при Лондонском университете, основано в 1871 г., названо в честь известного мецената Ф. Слейда.

отдавая честь, жест этот был полон очарования. Она привезла в посольство документы Красного Креста, которые принял я в качестве главного вассала при принце. Пока я проглядывал документы, она согласилась присесть и выкурить полсигареты, отрезанные мной офисными ножницами. Приятный ритуал и сопровождающая его ничего не значащая беседа стали частью моего существования по понедельникам и пятницам. У меня теплело на душе от улыбчивого взгляда молодой женщины, которая носила на голове шляпку-лодочку[51] (потом я узнал, что сами девушки называли их срамными шляпками) и курила свои полсигареты, постоянно отказываясь от кофе.

Итак, приглашение на обед было с удовольствием принято, и однажды вечером я оказался перед вполне приличными домами на Шария-Эль-Нил и на лифте поднялся на третий этаж, где находилась ее квартирка. Дверь была приоткрыта, и записка гласила, что хозяйка скоро вернется, а я могу располагаться как дома — так я и сделал. Пока Анны не было, я занялся шпионажем, осмотрел скудные сокровища, которые сопровождали

---

[51] Примечания: 51
Видимо, имеется в виду пилотка.*(Прим. ред.).*

ее в кочевой жизни, — открытки с видами Гастингса, фотография всей семьи, матери, отца и симпатичного молодого человека с обиженным взглядом, одетого в блузу скульптора. В руках у него был молоток. Муж, подумал я, потому что еще прежде обратил внимание на кольцо на ее безымянном пальце. Вдруг меня охватила непонятная печаль. Я стал торопливо пролистывать ее записные книжки. В комнате пахло цветами — нигде в мире цветы не пахнут так, как в Египте, словно они побывали в преисподней, да еще рядом с открытой печью.

Какое-то время я постоял на ее балконе над оживленной улицей, куря сигарету и размышляя о том, как она прелестна и независима и как я хочу ее, это правда. Однако мое дьявольское английское воспитание сопротивлялось любым отношениям, которые могли из случайного свидания изгнанников вырасти в нечто большее, хотя я так далеко от осажденного острова. Наконец она вернулась и была несколько бледнее обычного, как мне показалось. Оказывается, она ходила в часть за своей порцией виски, принесенной в мою честь. Мне стало стыдно, ведь принц платил мне достаточно, чтобы я мог принести виски сам. Я мысленно записал в памяти — при-

слать бутылку.

Она была столь же разумна, сколь красива, и, благодаря ей, моей глупой неуверенности в себе, которую довольно часто принимают за дурное расположение духа, как не бывало, и вскоре я уже рассказывал Анне кое-что из моей жизни и даже задавал вопросы о ней самой. Как замужней женщине, причем в звании офицера, ей предоставили отдельную квартиру, другие же девушки из ее подразделения жили в некоем подобии общежития, где действовали строгие правила и были определенные часы посещений. Было уже довольно поздно, когда я неловко поднялся и сделал вид, будто хочу уйти. Но сначала наведался на прохладный балкон. Опустилась темная густая пушистая ночь, внизу горели фонари, освещая улицу. Мы стояли в темноте, глядя вниз, словно горгульи на крыше средневекового собора — всего-навсего две головы, выступающие в темноте. Наконец я набрался смелости и сказал:

— Мне бы хотелось остаться.

Она положила руку мне на плечо.

— Я ждала, что ты это скажешь, — я скучаю по дому, плохо сплю, и этот город наводит на меня тоску.

Когда мы выключили свет, квартира стала

похожа на обжитую нору, со стороны улицы освещаемую, как сцена. Едва ли не с отчаянием мы бросились друг другу в объятия. Она все еще была в форме, и я чувствовал холодное прикосновение металлических пуговиц к моей коже. Я был очень возбужден, и она тоже, до того, что даже заплакала, и я воспламенился еще сильнее. Потом мы лежали рядом в постели, не включая света, и я чувствовал, как ровно бьется ее сердце и постепенно уходят судороги наслаждения. Я зажег спичку, чтобы заглянуть поглубже в спокойные голубые глаза, смотревшие на меня сквозь нечаянные слезы.

— В первый раз я занимаюсь любовью с офицером регулярной службы. Ты меня очень возбуждаешь своей формой. Давай повторим.

Но она уже выскользнула из формы и лежала в моих объятиях обнаженная. От нее потрясающе пахло какими-то каирскими духами, смешавшими свой аромат с нашим собственным запахом. Наши поцелуи становились все горячее, в них было все больше страсти, больше целеустремленности, меньше случайностей. Всю ночь мы не разнимали объятий, слишком возбужденные, чтобы предаться сну, разве что урывками. И еще мы разговаривали — шепотом, то и дело засыпая

на середине фразы.

На другой день я смотрел с ее балкона, как солнце поднимается над пустыней, а она спокойно спала в ворохе сбитых простыней. Та ночь одарила нас обоих потрясающим плотским счастьем и забытым покоем. У меня было желание петь, когда я ставил чайник на плиту в крошечной кухоньке и накрывал стол для завтрака, так как нам обоим надо было появиться в своих конторах, пока не наступила жара. Сонная, непричесанная, Анна выглядела божественно прекрасной и уязвимой. Зевнув, она присоединилась ко мне и позволила налить ей кофе.

— Удивительно, как мне хорошо, — сказала она, качая головой, — хотя у нас нет будущего, и в происшедшем нет смысла. Всё стало временным, недолговечным. Ведь на следующей неделе я могу погибнуть или меня переведут в другое место. То же самое и ты… нет, я забыла, ты пока еще не совсем на войне, и не испытал это странное ощущение бессмысленности всего и вся. Какая разница, что мы делаем? Если нет будущего, то нет и смысла.

— Если ты собираешься философствовать в такой ранний час, я процитирую тебе Валери.

— Что он сказал?

— *Elle pense, done je fuis*.[52]

— Нечестно по отношению к женщинам.

— Прости.

Меня переполняло великолепное чувство физического здоровья, и мне не приходило в голову, что, несмотря на столь разнообразную и приятную деятельность, я все-таки буду испытывать одиночество — хотя бы из-за отсутствия того общества, которое было бы мне предпочтительнее. Я рассчитывал, что наша связь продолжится и укрепится, несмотря на угрозу перевода Анны в другое место, например в Сирию. В своем оптимизме я даже придумал кое-что на время разлуки. Мне было известно, что мои хозяева (я не мог заставить себя называть их нанимателями, столь добры и заботливы они были) совсем не возражали бы, если бы я подыскал себе англичаночку, чтобы вместе с ней посещать музеи или устраивать пикники в пустыне… Казалось, судьба решила быть благосклонной ко мне, возможно, чтобы я забыл горькие воспоминания, лелеемые мной, о Ливии и о прованском лете, которое она совершенно испортила своим поведением — если

---

[52] Примечания: 52

Она думает, значит, пора бежать *(фр.)*.

говорить прямо, об этой *allumeuse*.[53] Теперь она как будто уменьшилась в размерах, но все еще крепко мучила меня, поэтому я рассчитывал, что новые отношения помогут мне трезво оценить тяжесть застарелых ран. Возможно, я слишком торопился, так как Анна не отвечала мне тем же волнением, в ее реакции чего-то не хватало, хотя она соглашалась со мной в принципе и даже позволила пригласить ее на концерт народной музыки.

Через два дня она должна была прийти ко мне в офис, и я ждал ее, даже разрезал пополам сигарету.

Однако ее не было. Прошло довольно много времени, прежде чем появилась другая девушка — кажется, начальница Анны — с документами. Положив их передо мной на стол, она сказала:

— Вы, верно, уже знаете, что случилось с Анной?

Я был озадачен, наверно, как любой на моем месте, и покачал головой. Девушка подвинула стул и уселась напротив меня со словами:

— Мы все в шоке. Она умерла. Ее нашли мертвой в четверг утром.

---

[53] Примечания: 53
Поджигательница *(фр.)*.

— Но мы вместе обедали.

— Я знаю. Она сказала, где будет, если вдруг в ней возникнет срочная необходимость.

— Несчастный случай?

— Нет. Самоубийство.

Выяснилось, что она взяла большой автомобиль, принадлежавший подразделению, заполнила бак до отказа бензином, потом припарковалась напротив гаража, словно ожидая срочный приказ. В этом не было ничего подозрительного, им ведь приходилось работать в самое разное время — в конце концов, они на регулярной службе. Однако после обеда, когда механики ушли домой и сторож-араб запер помещение, она взяла ключи у ночного сторожа, а его самого отослала домой. Потом завела автомобиль внутрь, в ангар, где их моют, — они закрываются почти герметически. И даже не видно, что там есть машина. Сначала она заперла гараж изнутри, потом выключила весь свет и завела мотор большого автомобиля. А утром ее нашли мертвой — на шоферском месте, она отравилась выхлопными газами.

— Записки она не оставила. А теперь мне предстоит неприятная задача — сообщить о происшедшем ее матери в Гемпшир.

— Но почему? — с досадой воскликнул я. Это было нелепо, но я заметил, что многие ведут себя нелепо в подобных случаях, — словно им нанесли смертельную обиду. — Она казалась такой спокойной и счастливой.

Начальница Анны смерила меня долгим взглядом. — Она ведь вам ничего не сказала, верно? Когда Анна пришла за виски, то получила известие о том, что ее муж пропал без вести. Он служил на морском тральщике. Она положила письмо в сумку и пошла к вам. Никто ничего не заметил. Думаю, причину надо искать в этом. А вы как думаете? Что я мог сказать? У меня не было слов. Появиться и исчезнуть с такой ошеломляющей быстротой… Я чувствовал себя совершенно опустошенным, ведь она лишила меня не только своего непосредственного присутствия, но и, возможно, свиданий, которые ждали нас в будущем. Она словно перевернула стол, за которым я работал. Даже если моим коллегам и показалось, что я более задумчив и погружен в себя, чем обычно, они не выдали этого ни единым словом. Я был совершенно ошеломлен. А ведь впереди — целый рабочий день. К счастью, работы оказалось много; меня дергали за рукав чуть ли не каждые полминуты, и я хотя бы этим

мог объяснить свою невнимательность. У меня не было сомнений, что ее образ скоро поблекнет, ведь я почти ничего о ней не знал; а она, вопреки всему этому, с поразительной ясностью являлась мне в воспоминаниях. Я воспринимал ее, словно статую, стоящую в нише и ни с чем не соотносящуюся, вне времени и пространства, но это нисколько не умаляло ее значимости. Анна Фарнол! Многие месяцы это ничем не примечательное имя звучало у меня в ушах, пока она не исчезла со сцены, с театра военных действий, из тогдашнего времени.

* * *

Война! Принц был занят не только экономическими проблемами собственной страны, но и теми, что угрожали разрушить европейскую структуру. Поначалу казавшаяся мне откровенной профанацией, зряшной потерей времени, «служба» принца в Красном Кресте обернулась бесценным источником информации, это было своего рода окно в новую нацистскую Европу; более того, центральный офис находился в Женеве, а традиционно нейтральные швейцарцы оставались свободными. По крайней мере, номинально немцы не отрекались от своей подписи под кон-

венцией, и служащие Красного Креста все еще имели квази-дипломатический статус во всем мире. Меня удивило, когда однажды утром принц объявил, что намерен посетить Францию, как только «все немного утрясется». И неожиданно мой собственный мир, потерянный мир дружбы и юношеского счастья, который я поместил в дальний уголочек памяти, вернулся ко мне въяве — в виде письма в алом ящике. Оно было от Констанс. Письмо от *Констанс!* Я едва верил своим глазам, когда смотрел на знакомый почерк, ведь, если честно, я никак не ожидал увидеть его снова. В одну секунду вся исчезнувшая реальность воскресла вновь; меня затопили воспоминания. Это была лишь короткая записка, «пробная» записка, как она назвала ее, чтобы проверить, нельзя ли отыскать меня через принца. Ей было известно о его связях с Красным Крестом, к тому же пока еще действовала почтовая связь через Турцию. Однако в записке Констанс содержалось нечто еще более важное — Сэм получил назначение на Ближний Восток и скоро должен быть там — если уже не приехал. Я соскочил со стула, как будто Сэм был тут, рядом. Сэм! Фантастическая новость, тем более что ему наверняка известно, где меня искать. Номер телефона принца можно

было найти в любом справочнике.

«Передай ему, что я считаю его дерьмом, так как он не написал мне настоящего письма. Он, видите ли, терпеть не может писать, подобно всем вам. Последней была открытка с толстухой из Вортинга на одной стороне, а на другой такие строчки:

Погода тут весьма ласкает тело,
И мне армейское по сердцу дело.

Вот я доберусь до него. Тогда докажу, что Хилари был прав, обозвав брак военным искусством. Ах, Сэм, грязная свинья, прикрывать свою лень якобы требованиями военной цензуры!»

Письмо я носил с собой как талисман, безгранично радуясь неожиданному напоминанию о прошлом; от моего одиночества не осталось и следа, вот так, а уж тронут я был чуть не до слез, потому что обо мне она тоже писала с любовью. «Ты сидишь там один в тишине, как нарождающаяся луна, сочиняешь свои стихи из изысканных умолчаний, ну, пожалуйста, *пожалуйста,* напиши!» Я сделал лучше, послал через Красный Крест остроумный телекс с несколькими библейскими цитатами, вернее с ссылками на них, восходящими к короткому письмецу. Внешне это должно

было производить впечатление личного письма о делах Красного Креста, зашифрованного цитатами из Библии. Однако важнее всего была искра контакта, и, точно, через неделю или две на моем столе лежала куча писем для Сэма, пришедших по полудипломатическим каналам. Оставалось только дождаться самого Сэма, и когда он явился, я с радостью узнал, что он с недавнего времени — в наших местах. Действительно, юный загорелый офицер, который однажды днем приветствовал меня, появившись в дверях миссии Красного Креста, был в полном обмундировании «крысы пустыни» — защитного цвета рубашка, ботинки почти до икр и все прочее. Отрекомендовался он «капитаном Стэндишем из подразделения "Блюбелл гёрлз"».[54] Мы обнялись, прильнув друг к другу будто кусочки рахат-лукума, и слезы стояли у нас в глазах, так глубоко мы прочувствовали судьбоносность нашего свидания.

— До чего же здорово видеть, как ты сидишь тут, ни капельки не изменившийся, наш мрачный старина Обри с вечной записной книжкой и хитрым видом. Это возрождает мою веру в природу, если не в армию, которая доставила меня сюда в

[54] Примечания: 54
Танцовщицы из Фоли-Бержер.

целости и сохранности. А все для чего? Чтобы мы встретились. Давай поспорим из-за какой-нибудь чепухи, а? Ты и твои старые Дзен-Коены. — Так он произносил слово «коан».[55] — Единственный «коан», которому я научился в британской армии — заливай не стесняйся.

— Ну вот! — вскричал я. — Чуть не забыл.

Я открыл сейф и достал пачку писем Констанс, которую торжественно положил перед ним на столе.

— Боже мой, — взволнованно произнес он, и мне показалось, что он слегка спал с лица. Сэм был в нерешительности — возможно, потому что не писал ей. Он стоял неподвижно и смотрел на стопку писем, не накидываясь на них, как это сделал бы я на его месте.

Вместо этого он неловко взял стопку и, продолжая говорить, похлопал ею по костяшкам на левой руке. Наверно, ему хотелось прочитать письма, оставшись в одиночестве? Ну, конечно же! И я перестал об этом думать.

— Я не появлялся прежде, потому что хотел дождаться *настоящего* отпуска, и теперь у меня

---

[55] Примечания: 55

Коан *(яп.)* — в дзен-буддизме — особый метод обучения адептов, основанный на решении нестандартных задач, что способствует развитию интуиции. *(Прим. ред.)*

целая неделя. Кроме того, мне пришлось побывать в Греции со сборным отрядом из остатков подразделений, и представь, откуда я сейчас — никогда не догадаешься. Из *Фермопил!* Действительно, очень теплые ворота.[56] Поработал взрывником у новозеландцев, и обратно сюда. И вот я к твоим услугам. Или ты возьмешь меня под свое крыло, или я пойду на хрен?

Условия во дворце легко решали эту дилемму, ибо я занимал приличные апартаменты с двумя раздельными спальнями, соединявшимися дверью; одну из них я с готовностью предоставил моему гостю, который радостно пел и свистел под душем, выбирал блох из белья, настоящих античных блох, не преминул заметить он, и попросил одолжить цивильное платье, чтобы отправить свою одежду в стирку. К вечеру ей полагалось быть не только выстиранной, но и выглаженной. Вот в такой роскоши я жил. Это дурно для творчества, сказал Сэм, для писателя хуже ничего и быть не может, чем жизнь в тепле и холе.

— Так ты никогда не привыкнешь к абсенту и

---

[56] Примечания: 56

Теплые ворота — так переводится с греческого слово «Фермопилы» — название легендарного ущелья (с серными горячими источниками), у которого произошла знаменитая битва греков с персами в 480 г. до н. э. Ныне этого ущелья не существует. *(Прим. ред.)*.

не заболеешь сифилисом, что совершенно необходимо.

Я покачал головой.

— Наоборот, все пороки открыты мне и все наркотики. И тебе гашиш, и алый пояс, который меня, кстати, уговорили носить с белым вечерним смокингом. Обещай не смеяться, когда мы будем ужинать с принцем — ему приятно повидаться с тобой, и принцессе тоже.

Сэм согласился, правда с неохотой, предвидя многолюдный прием, и облегченно вздохнул, когда оказалось, что в огромной гулкой столовой накрыт ужин лишь для нас четверых. Он полагал, что мы должны тактично отмалчиваться по поводу странного поведения принца в Провансе, но к своему удивлению мы быстро обнаружили, что принцесса довольно полно осведомлена о разнообразных «шалостях» принца и относится к ним с пониманием. Было очевидно, что в этом и была ее сила, в этом и крылась причина столь невероятной взаимной привязанности. Это был настоящий брак, не имеющий ничего общего с артефактом. Мы выпили — на радостях — довольно много шампанского и решили сравнительно рано разойтись по спальням, после чего лежали в смежных комнатах и сонно переговаривались,

обсуждая все на свете. Я обратил внимание на то, что письма Констанс лежали нераспечатанными на каминной полке, и вяло пытался определить, в чем причина такого пренебрежения. Наверно, он боится, что не сумеет ответить на них так, как они того заслуживают. Он всегда укорял себя за неразговорчивость и скованность, причиной которых была застенчивость. Но ведь они теперь муж и жена… Я был заинтригован, но не стал задавать вопросы. Всему свое время.

И это время пришло. Я проснулся после полуночи и увидел, что Сэм стоит обнаженный на залитой лунным светом террасе (на которой правила бал луна) и, не шевелясь, глядит в сад. Наверно, он услышал, что я ворочаюсь, или както иначе почувствовал, что я уже не сплю, так как в конце концов обернулся, пересек террасу и, остановившись у моего окна, заговорил, хотя свет я не включил.

— Дело в том… — сказал он, и я сразу же понял, что он собирается объяснить причину своего пренебрежения к письмам. — Знаю, что веду себя как предатель по отношению к Констанс, по отношению ко всему, во что она верит, во что мы оба верили. Но я боюсь читать ее письма. Понимаешь, Обри, я не чувствую к войне нена-

висти, она мне даже нравится. И очень хорошо, что для нее есть моральное оправдание. Наша война против гансов справедливая война, и мы должны ее выиграть. Естественно, не все войны таковы, но некоторые были в высшей степени полезны человечеству, например война древних греков с персами. Ты попросту не представляешь, каково это — участвовать в битве. Кровь стынет в жилах, сердце убегает в пятки. Раньше мне не приходилось испытывать такое. Но по сравнению с этим любовные радости и переживания — всего лишь милое приключение, не больше. Я знаю, что говорю ужасные вещи, но это правда. Теперь я понимаю, что родился и был воспитан для риска, для авантюр. Если мне удастся выжить в теперешней чертовщине, я останусь в армии, на военном жалованьи!

Он стоял, не двигаясь, опустив голову, словно чувствовал себя виноватым и ждал упреков, которые были бы естественными в такой ситуации. Я не знал, что говорить. Его бойкая говорливость и тупой мальчишеский азарт были отвратительны.

— Знаю, что ты хочешь сказать, но ведь я всего лишь честно признаюсь в том, как представляю свою жизнь. Отсутствие личной ответственности

потрясающая штука — это побуждает целую расу действовать функционально, быть в полном повиновении. Трудность и опасность — великолепные лекарства от мягкости и деликатности. Девушки доступны теперь, как никогда прежде. Они нюхом чуют лису, нюхом, как гончие, чуют кровь. Они счастливы, когда тебя вырывают из их объятий и швыряют в бездну — скажем так, еще живого! Это все равно, как если бы ты был ребенком и тебя вырывали из материнских объятий. А какие поцелуи мы получаем! Ну, могу ли я объяснить это Констанс? Я вернусь к ней совершенно другим человеком, не в силах ничего объяснить и чувствуя себя дерьмовым предателем — ведь это именно так с твоей точки зрения.

Я взял с тумбочки сигареты. Мы оба яростно курили, погруженные в свои мысли, как математики, которые тщетно ломают голову над задачкой из физики.

— Как мне рассказать ей? — продолжал он. — Все, что я знаю, лишь подтвердит ее представление о войне. Я видел ужасные вещи, от которых леденеет кровь. Но эта война в пустыне потрясающая — ты сражаешься и, если проигрываешь, то откатываешься миль на сорок и перегруппировываешься. Великолепно! Я был свидетелем

нескольких ужасных случаев с обеих сторон, нескольких самоубийств. Я видел штыковую атаку англичан, в ней было столько расчетливой злобы, что мне не верилось, будто я принадлежу к той же нации. Я видел ребят, у которых буквальным образом отлетали руки-ноги, срезанные пулеметом. У него лента шириной в детское запястье, и снаряды — летят один за другим, да еще с такой скоростью, что съедают кислород, и ты задыхаешься в куче человеческих обрубков. Это ужасно, это неправильно… что я могу сказать? Но я бы ни за что на свете не пропустил такое. Ах, Обри, ну скажи же что-нибудь!

Мне было не по себе. В какой-то мере мне даже стало стыдно, что меня поймали на нравственной дилемме, которую я был не в силах решить; возможно, я был неискренен в своих мыслях и в своем осуждении. Теперь уже ничего не поделаешь, но тогда я, сам того не желая, занялся нравоучением.

— Мне пока еще не пришлось воевать, — сказал я. — Человечеству и без того хватает несчастий — неужели надо добавлять еще и войны? На прошлой неделе меня попросили поехать в Порт-Саид и в выходные дни что-нибудь почитать оставшимся в живых солдатам из австралийско-

го дивизиона. Их было примерно двести, совсем еще молодых людей с разной степенью слепоты. Они ждут отправки домой. Никогда не забуду их белые страдальческие лица, трепещущие веки, их ужас перед миром вечной тьмы. Мне было стыдно, словно я пришел к ним голым. Я читал им из «Библии, предназначенной для художественного чтения», ну этой, в издании Голланча. Странно было слышать шестнадцатый псалом в обстановке салона первого класса туристического лайнера. Вместо того чтобы опустить головы, как всегда делают, когда слушают стихи или музыку, они поднимали головы, словно цыплята, на которых слова сыплются из облака. Когда через час настало время уходить, я был счастлив. Несмотря на жаркую благодарность офицера, отвечающего за образование, я понял, что мое «британское» произношение многих обидело и испортило впечатление.

Пока я рассказывал, Сэм включил свет в своей комнате и достал бутылку виски; мы выпили при театральном лунном свете египетской ночи.

— Я хочу попросить — об одолжении, — сказал он чуть погодя. — Я вписал твою фамилию в ту анкету, ну, знаешь, где ближайшие родственники.

— Зачем?

— Ну… вдруг меня убьют, мне было бы приятно, если бы именно ты сообщил об этом Констанс; ты объяснишь все лучше, чем кто-либо еще, и утешишь ее, как полагается в таких случаях. Это для меня как бы возможность сохранить особые узы, возникшие прошлым летом в Провансе, — почему бы нет? Ты-то сам не против? Может быть, тебе в тягость такая ответственность — сообщить неприятную новость о том, что я отправился в мир теней…

— Да ладно тебе, — сказал я, забираясь обратно в постель и выключая свет. — Давай немного поспим до восхода солнца.

— Отлично, — отозвался он, широко зевая в предвкушении сладкого здорового сна. — Отлично!

Я крутился, вертелся, мечтая заснуть до рассвета и первых москитов, и слышал, как он бурчал, продолжая развивать мысль, которая стала причиной нашей откровенной беседы.

— Ужасно, как все мы так или иначе жаждем получить сертификат славы, — печально проговорил Сэм и со стоном заснул.

Поднялся он задолго до меня и с пристальным вниманием читал на террасе письма — наша беседа развеяла его сомнения и страхи. Издалека

донесся мягкий звон гонга, призывающий к завтраку, и я, тяжело вздыхая, отправился в душ.

— Наконец-то проснулся, — крикнул Сэм, вновь обретя привычное отличное настроение. — Я смотрел, как ты лежишь, бесстрашный, как связка сосисок, и храпишь так, что чуть голова не отрывается, и не мог не оценить твой вклад в защиту отечества. Грохот стоял, как при дальней канонаде.

У принца было брюзгливое настроение, в отличие от обычного жизнерадостного. Он читал военные новости в «Аль-Ахрам» и качал головой из-за ни к чему не обязывающих коммюнике. Это был один из тех редких периодов затишья, когда не случалось ничего особенного. Однако говорить он хотел не об этом.

— Иногда я задаюсь вопросом, — сказал он нам, — действительно ли англичане хотят выиграть войну; потому что ведут они себя очень странно. Вам известно о нашем агенте? У нас в саду живет немецкий агент — в летнем домике. Его обнаружили садовники, и он предложил им денег, чтобы они оставили его в покое. Представляете? Немецкий археолог, к тому же идеально говорящий по-арабски. Я, разумеется, помчался в консульство и обо всем рассказал там, думал, они

пошлют кого-нибудь, чтобы арестовать негодяя или даже убить. Ничего подобного. Этот противный и высокомерный бригадир Маскелин сказал мне: «Мы считаем нецелесообразным ворошить агентурное гнездо». А теперь они даже предлагают ему новое оборудование, И *это* называется войной, спрашиваю я себя? Если всех агентов оставят в покое и даже будут снабжать…

Ему было невдомек, что сначала необходимо выявить немецкую и итальянскую агентуру, а так как он не находил себе места от ярости, разумнее всего было оставить его в неведении относительно происходящего на самом деле.

Разговор перешел на другое: он готов немедленно предоставить мне несколько выходных в связи с приездом старого друга; я обязан постараться, чтобы Сэм провел отпуск как можно приятней. Нам тотчас предложили великолепный план — экскурсии во все четыре стороны Египта, посещение старинных памятников. Единственным врагом, мешавшим нам развернуться, было ограниченное время.

— Все равно, — решительно вскричал принц, — все мы постараемся устроить так, чтобы гость остался доволен!

Он сделал неопределенный жест, включавший

в команду по развлечению Сэма и принцессу, и дворцовых слуг, а также секретарей и своего друга Аффада.

В самом деле, банкир Аффад был самым очаровательным, самым застенчивым и самым изобретательным из окружения принца. Банкир тотчас изобразил нетерпеливого хозяина, и его приглашение было тем более соблазнительным, что предполагало путешествие по воде — по Нилу, и к тому же на снабженном всем необходимым небольшом судне, принадлежащем французскому посольству. Мы долго не могли прийти в себя от такой удачи, кажется, лишь на второй день осознали, что наша прелестная пирога плывет вверх по Нилу, а это совершенно особая река, не похожая ни на какую другую. К сожалению, путешествие было коротким, потому что на полпути к ближайшему большому городу мы должны были сойти на берег, чтобы на машине вернуться в Каир, ведь мой друг не мог задержаться в отпуске, не мог даже помыслить о подобном риске, а наше возвращение позволяло ему немного повеселиться в компании принца и принцессы, которые ему очень нравились. Наше маленькое путешествие было очень приятным — словно естественное продолжение того безза-

ботного лета в Провансе, — связавшие нас тогда узы еще не потеряли своей прочности. Более того, они как будто обновлялись, столь явственным казалось присутствие Констанс и ее брата Хилари, иногда нам незримо являлся консул Феликс Чатто… и даже темная тень Ливии навещала нас. Интересно, где теперь Ливия? Что сталось с Авиньоном с его миражами на фоне синего неба — с соборами, к которым Хилари всегда обращался как к «заброшенным заводам, без всякого шума производившим молящихся, в отличие от ближайших турбин». Зловещий свист мистраля в соснах. Все это было, и было здесь.

Но куда примечательнее был тот факт, что еще двое гостей Аффада оказались французами, причем с юга. Их прозвали "les ogres",[57] созвучно фамилии — «LeNogre». Это были брат и сестра, неразлучные близнецы — Бруно и Сильвейн, он старше ее на час. Юноша занимал пост младшего атташе в посольстве «свободной» Франции, а его сестра вела хозяйство и устраивала приемы. Им принадлежал, по крайней мере так он сказал на своем ровном книжном английском языке, старый, почти заброшенный шато в деревне

[57] Примечания: 57
Великаны-людоеды, обжоры *(фр.)*.

Вильфуан, недалеко от Тюбэн, где был «наш» шато, то есть шато Констанс. Кстати, они провели у себя все прошлое лето — не исключено, что мы встречались! В глазах Сильвейн промелькнула печаль, когда она говорила это. Кстати, выражение ее лица, ее черты, ее манера держать голову живо напомнили мне кого-то, но, как я ни старался, не мог вспомнить кого. Меня это раздражало, как жужжание мухи, которую никак не удается прогнать; однако память упорно не желала подсказать, чьи черты поглощены тьмой забвения. Ее брата занимало лишь падение Франции, которого он стыдился, да еще крючкотворство французского средиземноморского флота, отказавшегося присоединиться к союзникам. Однако Французское Сопротивление уже не было мифом, и в течение года у де Голля наверняка будет двадцать тысяч солдат… не все еще потеряно. Как бы то ни было, юноша, оплакивавший потерю национального достоинства, ведь страна потерпела катастрофу, отдав себя на милость нацистам… так вот, этот юноша производил очень трогательное впечатление. С горечью он проговорил:

— Сам не думал, что буду так сильно переживать — даже не представлял, что способен на такие сильные чувства. Я ведь обычный француз-

ский интеллектуал, а вам наверняка известно, до чего мы циничны!

Проявив тактичность, Сэм успокоил — дескать, нечто похожее наблюдается и в Англии.

— Меня очень ругали, — сказал он, искоса поглядев на меня, — вот Обри не даст соврать.

И правда, мы пребывали в блаженном райском забытьи. Это Гитлер сорвал тент, и мы увидели арену цирка — так называемой политической жизни.

Молодые люди были само радушие, и вскоре большая центральная каюта с огромным столом и керосиновыми лампами на стенах была занята нашими вещами — они лежали на койках, прикрепленных к стенам, стояли рядом с ними. А сами мы проводили все время за столом, усевшись на отполированные песком скамейки. За этим столом мы ели, играли в карты, на нем же раскладывали географические карты и писали свои материалы. Мы должны были путешествовать очень недолго, и багажа у нас было несравнимо меньше, ну а хозяева наши планировали двухнедельное путешествие и, естественно, запаслись в достаточном количестве консервами и патронами для спортивных ружей. Нас окружал забытый покой, да и великая

река лишь слегка морщилась, встречая на своем пути множество прелестных островов и рощ, поэтому мы совершенно забыли о том, что берега кишат перепелами и дикими голубями. По общему согласию, на то время, пока мы были вместе, стрельба была отменена. Охота начнется, сказал Аффад, когда они доберутся до настоящего севера, где живут крокодилы. Конечно, заманчиво проделать такое путешествие до конца. Тем более что в верхнем Египте нашим новым знакомым предстояло посетить дальний оазис, где каждый год бывает знаменитая ярмарка и прославленный ясновидец предсказывает судьбу.

— Мне наплевать на предсказателей будущего, — сказал Сэм, — а вот «оазис» звучит весьма притягательно. Проклятье.

Несмотря на то, что оба «ogres» клятвенно обещали не быть излишне суеверными, все же, судя по их словам и лицам, они предвкушали удовольствие от общения с предсказателем.

В тот вечер мы обедали при свете керосиновых ламп, а над нашими головами небо развернуло свой ковер с сияющими звездами и тоненьким серпом нарождающейся луны. Снаружи, на палубе, было довольно прохладно, и вечерний ветер бился о нос судна, когда мы приблизились

к берегу и встали на якорь, чтобы поесть. На нас снизошли мир и покой, так умиротворяюще подействовало шлепанье босых ног о деревянную палубу и негромкое стелющееся понизу пение людей, которые сопровождали нас в на юг. Река открывалась и закрывалась, как веер — неожиданно раздвигая свои берега чуть ли не до размеров небольшого озера, чтобы потом вновь занять узкое русло. В небе летали коршуны — словно несли бессменную патрульную службу. Но на берегу нам встретились лишь блестящие сизоворонки и зимородки, да еще сизые голуби с окраины пустыни, которые жалобно и почти неслышно лепетали: «Мало нас, — казалось, произносили они, — мало нас».

Изменчивый свет вокруг нас отвоевывал пространство, менял очертания и расстояния, так что взгляд, следовавший за ним, был заворожен очевидностью материализовавшихся фантазий.

— Господи, благослови! — воскликнул Сэм, непонятно почему перекрестив себя и повторив латинскую фразу, бывшую в ходу в Оксфорде. — Никому не расскажешь, потому что самому не верится.

Пальмы и гробницы, гробницы, водяные колеса и пальмы. Появляющиеся и исчезающие в

тумане острова. И река, как густая струя дыма между двумя пустынями в роскошном зеленом обрамлении из райских цветов и деревьев.

— Неудивительно, что дервиши танцуют, — продолжал Сэм, и Аффад поддержал его улыбкой. — Кто бы тут не танцевал?

Однако вместе со светом пришла слепящая и удушающая жара, и к полудню небо уже казалось многотонной глыбой.

— Скажите, что больше всего поразило вас в Египте? — полюбопытствовал Аффад; он не напрашивался на комплимент, его и вправду это интересовало.

Но в ответ получил:

— О, всё, — что было и слишком просто, и слишком всеобъемлюще.

Что до меня, то меня поразила потрясающая близость эпох. Казалось, откроешь ставни в «Менахаус»[58] и обнаружишь, так сказать, личного сфинкса, который улегся за окном и ждет — терпеливый, как верблюд… Сфинксы напоминали большие веселые игрушки, и несмотря на абсолютную таинственность их истории и предназначения, они казались милыми и домаш-

---

[58] Примечания: 58
Отель в Каире, столице Египта.

ними — как домашние животные, скажем буйвол или верблюд. Естественно, не могла не поражать пустыня. Стоило приблизиться к краю ковра — к краю обработанного участка, — и там словно бы невозмутимо ждал театральный персонаж, воплощавший и великое уединение, и привычный огород. И при этом она была величиной с Атлантический океан, она не позволяла бессмысленных прогулок, ибо постоянно меняла свои очертания — стоило подняться ветру, и ее контуры становились другими, а уж человеческие тропы и вовсе не выдерживали ни малейшего дуновения. Невозможно прокатиться на лодке по Атлантическому океану, наверняка попадешь в беду. Пустыня — метафорическое определение всего большого и опасного, но не кажущегося таким. Она была и прилизанной, как напудренный парик, и протоптанной до камня или глины необыкновенной расцветки, испещренной следами исчезнувших караванов, и похожей на обгоревший дуршлаг с мертвой золой. На рассвете над ней вздыхали нежно-розовые ветры, а когда налетал *khamseen*,[59] колонны злого кроваво-красного ветра поднимались, как пена,

[59] Примечания: 59
Хамсин, знойный ветер *(араб.)*.

клубившаяся среди атлантических штормовых валов. Однако, путешествуя в пустыне, нельзя не заметить животных, сумевших приспособиться к ней и пользоваться ее дарами — крысы, африканские тушканчики, американский заяц — непонятно, как они выживали в пустыне, где нет ничего, кроме колючек? Стаями проносились дикие псы, похоже, рыскавшие в поисках пищи — но чем они могли тут поживиться? Тяжелая роса на рассвете и в полночь, наверно, давала достаточно влаги для таких насекомых, как богомолы и саранча. Но как же собаки? Собственно, в пустыне есть самые разные образчики бережливости; ее ужасающая умеренность порождает самоанализ и сочувствие. Боже мой!

Кое-какие из этих рассуждений я произнес вслух, Аффад слушал меня внимательно и с интересом. Пустыня простиралась до самого горизонта, ну а мы плыли по сияющей глади Нила, который предлагал нам в качестве контраста прохладный ветер и сверкающую воду, не говоря уж о величественной панораме с речными судами, которые ласкали глаз тысячами парусов разных цветов и оттенков. Здесь фелюка была на своем месте, властвуя, как великая королева древнего мира, над той самой рекой, для кото-

рой ее и сотворили. Функциональная красота, элегантность чистых линий и движения. Нельзя не узнать в ней подсознательно воплощенный символ женственности. Но фелюкам, в отличие от дам, нет нужды заботиться о моде. Они привычно прижимаются щеками к речному ветру, повадки которого тоже все те же — это позволяет геометрически точно рассчитать траекторию. Вниз по реке они бегут под определенным углом, вызывая восхищение — и удивление, ведь им место среди лучших и редчайших творений человеческих рук, собственно, там они и пребывают. Поле их деятельности более ограниченное и требует большей точности, чем океанские просторы. Нил вытекает из самого сердца Африки и попадает прямо в историю Древней Греции — он похож на хребет кобры. Его фелюки в полной власти речных ветров, которые появляются и исчезают, как незримые слуги, заботящиеся о парусах, прикрепленных к ребрам, изогнутым наподобие ласточкиных крыльев. Весь день они трепещут, словно по ним пускают электрический ток, и скользят по реке, будто на веревке, а потом вдруг замирают, и тогда всё затихает, застыв в разгар движения, а фелюки опускают головы, как бы ожидая, что ветер, когда вернется, обез-

главит их. Ничего подобного, стеклянная гладь реки опять начинает бугриться, и они неспешно поворачивают влево или вправо, возобновляя движение. То тут, то там нам встречался везущий сахарный тростник самодвижущийся паром, украшенный одним глазом как неким эгейским эхом; тем не менее глаз был египетским — глаз верблюда, окаймленный двумя рядами ресниц. Судно непременно греческое, укомплектованное моряками из греческой колонии в Эдфу.[60] Весь Геродот смотрел этим насурьмленным глазом!

Люди, которые живут на берегах Нила, совершенно особенные, другие, не похожие на городских египетских ремесленников. Им приходится и внимательно наблюдать за перекрещивающимися водными путями, и ухаживать за финиковыми пальмами и овощами, однако они всегда находят время помахать рукой путнику и громким приветственным криком пригласить его на ужин. Но еще больше, чем мужчины, поражают тамошние женщины — до чего величественна их походка, когда они идут по неустойчивому берегу реки. Они черны, как колдуньи, и свои черные одежды носят небрежно

[60] Примечания: 60

Город на восточном берегу Нила, знаменитый в первую очередь храмом Гора.

и даже с пренебрежением. Однако их улыбки, белее бивней слона, сверкают на измученных лицах, полных царственного величия, которое может придать только голод. Они скользят мимо, как патрицианки, не ведающие о своем знатном происхождении, и в самом деле патрицианки, а их немного медвежья зыбкая походка подчиняется ритму Нила, чья зеленая кровь постоянно струится из невидимой раны в сердце Африки.

— Лично меня, — проговорил Бруно, — в первую очередь поразили гробницы с глубокими и очень узкими коридорами. Никогда не видел ничего подобного крошечным царям, которые лежат там в разрисованных коконах, а вокруг игрушки, как будто мир детства перешагнул вместе с ними через барьер смерти. Впрочем, при чем тут «барьер»? Я был поражен великолепными произведениями искусства, потрясающим разноцветием фресок, много веков скрытых от людей. Маленькие цари и царицы с их игрушками потихоньку усыхали в своих нелепых саркофагах (на греческом языке это слово означает «пожиратель плоти», верно?); их отношение к смерти было совсем не таким, как наше или даже их современников-греков, у которых был их подземный мир с неувядающими лилиями, воплощающими

искреннюю печаль раздумий о смерти. Грекам смерть не безразлична — она вызывает у них ужас, горечь и означает конец земных радостей. Греки не позволяли себе надуманных утешений. Но и они были достаточно наивны, считали, что стоит поплакать и пошуметь, и смерть смилостивится. А египтяне? Тяжелое, оцепенелое, растительное существование, а потом посмертное пеленание, мумифицирование… Я понял, что слово «вечность» имело для них реальный смысл — вечное ожидание — вот только чего им ждать они не знали. Время существовало всегда как нечто огромное — настолько огромное, что это почти непостижимо человеческому разуму. Оно было застывшим, и застывшими были мысли и слезы, замороженные ледяным склепом, но никому и в голову не приходило усомниться в реальности смерти, она существовала, как существует соседняя комната, хотя пока мы беседуем в этой. Меня поразили нелепые маленькие мумии, словно бы выращенные наподобие овощей в сланцевой долине. Даже слышать биение собственного сердца, когда сидишь рядом с ними в гробнице, и то как-то странно. А игрушки? Дотронуться до них — значит дотронуться до их прикосновения к своим игрушкам, дотронуться

до детских пальчиков! Ту же неподвижность, то же бездумное ожидание, лишенное надежды, лишенное всяких желаний, можно наблюдать у сегодняшних селян в тот момент, когда они ждут восхода или захода солнца, прибытия первого поезда, или когда откроют двери вокзала. Они точно неживые, как мешки с мукой, как мраморные плиты. В них нет жизненной энергии, только тяжкое бремя ожидания. Есть в них нечто от неподвижности маленьких царей в ярко разрисованных гробницах. Слово «вечность» тут же приходит на ум, и весь ареал сознания превращается в вечную комнату ожидания. Теперь им уже не постареть и не помолодеть, но они хотя бы получили вечную неподвижность, идеал небытия в потустороннем мире.

— До чего же тут красивые женщины! — воскликнула Сильвейн. — Им не очень-то мешают покрывала.

— Тяжело работать с закрытым лицом.

— Когда-нибудь с этим будет покончено. Но какие глаза!

— Какие глаза! — эхом отозвался Сэм. — Она

проходит в красоте, подобна Нилу,[61] — перевирая строчку, процитировал он.

Однако это был вполне подходящий парафраз для тех, кто смотрел на высоких женщин на берегу, чьи фигуры были сформированы темной водой и коричневой, как терракота, глиной. Они были плоть от плоти великой реки с ее медленным течением и внезапными водоворотами, с ее движением и истомой. Да, река заменяла женщинам часы, они подчинялись ритму Нила, прислушиваясь к пульсу его зеленой крови, различимому в бархатной гладкой субстанции. Приветливость селян была трогательно волнующей — угольно-черные, желтовато-белые, пурпурные краски улыбающихся ртов, неожиданный блеск в прорези покрывала, а потом хриплый отрывистый мужской смех — смех на бронзовых лицах, поднятые в приветствии бронзовые руки. И вся эта сцена вскоре исчезала за поворотом, отгородившим от нас селян, даже их голоса утонули в скрипе водяных колес, самом характерном звуке египетской ночи.

Капитан улыбается, отвечая на приветствия

---

[61] Примечания: 61

Скорее всего, Даррел имел в виду первую строчку из стихотворения «Она идет во всей красе...» из цикла «Еврейские мелодии» Дж. Г. Байрона.

всей деревни, однако это мимолетная улыбка — промелькнула, как последняя искра догорающих угольков, и исчезла, растворившись в его мрачной рассеянности, в нильском беспамятстве. Деревни медленно исчезают с глаз, похожие на больших хрупких мотыльков. Высокие статные мужчины и женщины двигаются со скромным достоинством свергнутых монархов. Хотя они очень бедны, изнурены нищетой и болезнями. Старики стоят с отрешенным видом — будто множество королей Лиров. Но все же их земля настоящий рай — природное изобилие, не знающее границ. На пробковые дубы нападают муравьи, жимолость оплетает пальмы, омываемые водой скалы становятся похожими на округлые головы слонов. Однако все наслаждаются этой мнимой уединенностью под жгучим небом. Сумерки — темнота — звезды. Выпрыгивает из воды рыбина. Потом другая. Потом целый сноп серебряных стрел. Это наша последняя ночь на судне.

Легкий ночной ветерок милостиво обдувает нас, отгоняя мошкару, и есть возможность поужинать на палубе при свечах — при дымном неровном свете, от которого мы скоро откажемся в честь нарождающейся луны. Мы становимся сентиментальными и говорим о том, что будет

aprés la guerre.[62] Французская пара решительно выражает намерение вернуться в Прованс и жить до самой смерти в старом разрушающемся шато своих предков. Бруно хочет написать книгу о тамплиерах — очевидно, что в шато сохранилась масса неопубликованных документов.

— Приезжайте, — восклицает он радостно. — Я чувствую, что вы приедете. Я знаю, что вы приедете. Нам будет хорошо вместе!

У меня не хватило смелости заглянуть так далеко, зато Сэм готов был обещать что угодно. Я пока не мог представить конец войны, и меня охватила глубокая печаль. Мне вспомнилась Анна Фарнол, и я подумал о том, как много подобных ей созданий уносит война. А потом вдруг «узнал» Сильвейн — удивительно, как какая-то мелочь может подтолкнуть память. Я видел ее в клинике для душевнобольных в Монфаве вблизи Авиньона. Меня привез туда лорд Гален, который навещал своего приятеля, и там я обратил внимание на темноволосую девушку, пациентку, гулявшую в розовом саду. Та девушка с темными волосами и птичьей головкой была копией Сильвейн — они могли бы сойти за близнецов. Я

---

[62] Примечания: 62
После войны *(фр.)*.

рассказал об этом, и в ответ Сильвейн, улыбнувшись, покачала головой:

— Нет, это была не я, — проговорила она. — А, может быть, и я, но в другой жизни — кто знает?

Мы настолько сблизились, что с грустью думали о неизбежном скором расставании: сразу за следующим поворотом находился городишко, в котором завтра будет ждать автомобиль, чтобы отвезти нас обратно в столицу, где нам предстоит обед с принцем. Печалило меня и то, что Сэму скоро возвращаться на фронт — а ведь всем было известно, что в Западной пустыне назревало большое сражение. У меня сердце переворачивалось при мысли о Констанс — когда я смотрел, как ее красивый беззаботный муж собирается в дорогу.

Следующий день был полон прощаний и сожалений, неподдельно искренних, — ведь путешествие было изумительным, настоящим чудом покоя и радости. Ну, конечно же, мы поклялись, что это не последняя наша встреча. Печально, стараясь ничего не забыть, мы сложили вещи в большой автомобиль с камуфляжной окраской и государственным гербом, принадлежащий штабу египетской армии. Обратное путешествие мы совершили в сумерках и в шуме, особенно интен-

сивном, когда проезжали прибрежные деревни, разгоняя скот и людей троекратным гудком клаксона. Высокая скорость была вынужденной мерой, ибо до столицы путь был неблизкий — мы прибыли во дворец всего за полчаса до обеда. Пока слуга заворачивал меня в банный халат, я слышал, как Сэм что-то говорил. Стоя под душем, то ли мне, то ли самому себе:

— Итак, Констанс пытается сделать трусов из нас всех, правильно? Кстати, я написал ей длинное письмо из Греции, но одному богу известно, доставила ли его наша армейская почта. Все-таки хорошо, что мы поговорили. Может быть, ты напишешь ей о том, что я был тут? У тебя с существительными и глаголами гораздо лучше отношения.

Я согласился.

Слуга принес сверток с одеждой и принялся раскладывать форму египетской армии. Сэм смотрел на это с любопытством, не понимая, что происходит.

— На завтрашний день я почетный лейтенант египетской армии. Место пикника можно выбирать любое, кроме расположения действующей армии.

Немного позже, когда мы пили виски в салоне,

отделанном алой кожей, принц, куря сигарету с гашишем в длинном желтом мундштуке, разъяснил подробности.

— Руины старого монастыря коптов — Абу-Фахим — были нашим любимым местом, там мы обычно устраивали пикники. Так как эта часть пустыни освобождена от итальянцев, я попросил разрешения в штабе посетить ее. Вот увидите, как там красиво, хотя от построек почти ничего не осталось. Сначала монастырь захватили итальянцы, потом британцы изгнали их, но они вернулись и снова были изгнаны. И каждый раз что-нибудь разрушалось. Там жил старый монах, который отказался уехать, покинуть руины, так и ползал между камнями, будто ящерица. Его кормили и итальянцы и британцы, и он стал и для тех и для других чем-то вроде талисмана. Однако во время последней атаки британцев монах исчез, и больше его никто не видел. Для верующих коптов он наверняка станет легендой; но это нас не касается, а пока посмотрите, до чего там красиво.

Наутро мы доехали в автомобиле до края пустыни, где нас поджидали лошади и верблюды. Куда более медленное средство передвижения, так сказать, но гораздо более приспособленное

для перевозки тяжелого багажа, палаток и так далее. Все были в приподнятом настроении. К нам присоединились два штабных офицера из Военной миссии, офицер связи из египтян и член Королевской академии медицинских наук, который, вроде бы, был в дружеских отношениях с принцем и принцессой и отзывался на имя майор Дрексель. Он так же, как Сэм, обожал «приключения». С некоторым высокомерием принцесса отказалась от лошадей и верблюдов, которых назвала «бедуинским фольклором» и заявила, что поедет впереди в своем удобном авто со специальными шинами. Итак, наш несколько растянувшийся караван отправился в путь, соблюдая все меры предосторожности, ибо сначала дорога вилась между минными полями, пока мы не достигли последнего проволочного заграждения, где стояли военные машины и танки. Здесь мы предъявили документы и были пропущены в пустыню, словно в гостиную, церемонным офицером, который, тем не менее, взял на себя труд проверить географические пункты у офицера связи и настоятельно рекомендовал нам не заходить за границы, отмеченные в наших документах.

— Во всяком случае, если вы нарушите предписание, мы снимаем с себя всякую ответствен-

ность.

Принц надул щеки и издал раздраженное пыхтение.

— Никакой опасности, — с небрежным высокомерием отозвался он. — Меня заверили на самом высоком уровне.

— Отлично, сэр, — побагровев, сказал офицер. — Поезжайте, и приятного вам отдыха.

Дул легкий ветер, песок не ворошил, но прохладу навевал — даже в полуденные часы. Светило с фиолетово мерцавшим диском четко очерчивало линии незнакомого первозданного царства дюн и *wadis*,[63] через которое мы пролагали свой путь. Очень скоро, подобно кораблю, преодолевающему горизонт, нам придется сверяться с компасом или со звездами. Как ни странно, это придает ощущение свободы. Один раз у нас над головами пролетели самолеты — так высоко, что они были похожи на стаю диких гусей, и мы не могли разглядеть их отличительные знаки. Сэм ехал вместе с принцессой, а я на лошади рядом с принцем. Вся поездка заняла не больше полутора часов. Перед нами был небольшой оазис с несколькими серыми обнажившимися фраг-

---

[63] Примечания: 63
Вади — высохшее русло реки *(араб.)*.

ментами породы, которые сформировали скалу, устремленную в небо.

— Смотрите! — крикнул кто-то, когда мы объехали дюну.

Нашим глазам явился маленький оазис, а в паре сотен ярдов от него коптский монастырь. Наверное, когда-то Абу-Фахим был очень красив, а теперь оказался основательно разрушен. Чтобы проникнуть в тайну его стиля и очертаний, пришлось бы расчищать башенки и готические звонницы. Однако почти любое здание в этом странном романтическом ансамбле поражает воображение. Два главных амбара соединялись сходнями, соединенными в виде моста. Принцу все очень нравилось, и он пристально вглядывался сквозь очки в памятное ему место.

— Ну вот! — воскликнул он. — Старый Мост Вздохов все еще на месте. Его не удалось разрушить.

Он сам лично с детским удовольствием проверил большой шатер, даже стукнул по колышку деревянным молотком, но пришедший в ужас слуга отобрал у персоны королевской крови молоток и даже произнес что-то негодующее на гортанном арабском языке.

Были расстелены ковры, поставлены диваны

и даже последнее изобретение итальянцев, переносной холодильник, в котором оказались шербет и холодный чай с лимоном. Все изнывали от жажды и тотчас отдали должное чаю, усевшись большим полукругом по обе стороны от принца. Разговор сразу же перешел на политику, ну а мы с Сэмом, шепотом извинившись, пошли в монастырь.

— Почему бы нам не поискать пропавшего монаха? — с мальчишеским азартом предложил мой друг.

— Под землей наверняка есть провалы и погреба, и они находятся неглубоко, — ответил я.

Воспользовавшись биноклем принца, мы внимательно оглядели всю округу. На возвышении рядом с монастырем я заметил красные вехи, воткнутые в песок, и подумал, что кто-то производил тут замеры — возможно, эти красные штуки что-то вроде теодолитов. Немного правее на верхушке дюны на фоне неба двигались цепочкой легкие танки и командирские автомобили, выполнявшие какой-то загадочный боевой маневр. Мы обернулись, чтобы пару раз помахать колоритной компании, расположившейся внизу в оазисе. Верблюды стонали и явно были в плохом настроении. Потом мы стали

спускаться и вошли в пропекшиеся на солнце ворота перед маленьким строением. Оно было возведено из смеси соломы, кирпича и цемента, что придавало стенам, вернее тому, что от них осталось, странный вид — похоже на плетень, присыпанный землей. Однако монаха нигде не было видно, не нашли мы и никакого намека на подземное убежище, где он мог бы прятаться. Страшно разочарованные, мы постояли там пару минут и, выкурив по сигарете, пошли обратно — по крайней мере, сделали пару шагов.

И тут началось — совершенно неожиданно, так, будто, скажем, опрокинулась твоя лодка. От внезапности мы на время оцепенели и оглохли — казалось, будто целое минное поле взрывалось абсолютно беззвучно. Еще долго громыхало и трещало кругом после первой волны этого землетрясения — пустыня вздымалась живописными валами и столбами дыма — после цепи взрывов последовало долгое и глубокомысленное молчание, как мы поняли, правда не сразу, минометов.

— Господи! — вскричал Сэм. — Видно, мы зашли на их территорию.

Следующая очередь сухих щелчков и взрывов показалась нам почти демонстративной, словно подтверждавшей слова Сэма. Мы побежали,

будто испуганные цыплята, нелепо сутулясь и раскидывая в стороны руки. По-видимому, те красные вехи были пограничными столбиками, отмечавшими демаркационную линию, и мы старались убежать от них подальше, вниз, к подножию дюны, проваливаясь в глубокий песок. Краешком глаза я видел, что в оазисе тоже началась паника. Там поняли, что происходит. На нас, спотыкавшихся на бегу, показывали пальцами, и тут, в безотчетном порыве, к нам бросились слуги, словно надеялись отвести от нас опасность. И вдруг раздался мощный взрыв — у меня застучали зубы, череп как будто раскололся, казалось, мозги вообще вышибло.

Совсем растерявшись, обезумев от страха, мы с Сэмом припустились бежать к краю дюны, надеясь спрятаться за нею. Увы, прежде чем удалось достигнуть цели, нас накрыло тяжелой песчаной волной. Она упала на нас, как перина. Мы чувствовали себя как любители серфинга, попавшие в западню океанских волн, как муравьи, накрытые оползнем.

Пустыня взрывалась как будто на мне и во мне, и казалось, мозги мои распухли, переполненные тьмой и песком. Язык тоже распух, стал черным от жары и гари и не помещался во рту. Обо всем

этом я успел подумать, пока падал, едва слыша стоны и шепот где-то справа от себя. Потом глухой удар — будто кто-то ударил топором по моей спине — так, что боль завладела всем телом, и закололо в кончиках пальцев, словно по ним пропустили электрический ток. Я напряг все силы, пытаясь подняться, но не смог справиться со своими мышцами. Сэм тоже упал, угодив в такой же песчаный смерч, что и я. В момент временного затишья до моего слуха донеслось чирканье гильз о горячие камни и шипящие плевки невидимых винтовок.

Из того, что было потом, я помню только фрагменты, как из разрезанной на части киноленты, кусок оттуда, кусок отсюда, нечеткие и пугающие образы. Однако еще более пугающими были обрывки разговора, зовущие голоса. Гортанные арабские крики и рыдания — слуги, движимые своей преданностью, проявили себя отчаянными храбрецами. Они были рядом с нами, когда мы катились вниз по дюне, и кровь проступала на новенькой форме цвета хаки. Полагаю, нас подобрали уже обмякшими, как тряпичных кукол, и отнесли в брезентовую палатку — к доктору Дрекселю, который успел произвести лишь предварительный осмотр, так как стрельба

приближалась и все бежали прочь, побросав в оазисе половину вещей. В момент просветления я услышал, как принцесса воскликнула:

— Боже мой, у меня вся вуаль в крови. — В ее голосе были печаль и упрек.

Потом Дрексель сказал:

— Дайте мне немного времени, надо осмотреть их.

— Он же врач, в конце концов, — с раздражением произнес принц.

Меня, стонавшего от боли, куда-то перенесли, потом положили на брезент. Я услышал щелканье ножниц и ощутил прохладу в том месте, где на мне разрезали одежду. Потом кто-то тихо, так что я не разобрал, чей это был голос, сказал:

— Второй, кажется, отошел.

До моего слуха донеслись жалобные стоны и странное хныканье слуг — поддержать в горе хозяев считалось хорошим тоном. Крови они боялись даже больше смерти, особенно темной до черноты крови, которая текла рекой, как Нил, или била черной струей из разрезанной артерии, или красными, как от вина, пятнами засыхала на коже.

— Рядом с проволочным ограждением есть перевязочный пункт, — сказал Дрексель. — Там

можно их обмыть, но что касается всего остального… ничего не поделаешь.

— Никогда не прощу себе, — тихим свистящим голосом произнес принц. — Это моя и только моя вина.

Его слова гортанно подхватили арабы, повторяя их, заодно утешая, объясняя, прощая, по крайней мере, мне так казалось. Боль не отпускала меня, становясь все сильнее, видимо, в ней природой заложена «самоанестезия» — потому что, достигнув определенной точки, она ввергла меня на какое-то время в беспамятство.

Потом я услышал шуршание и скрип — это мы ехали на автомобиле в сторону проволочного ограждения. Кто-то предложил дать мне разбавленного виски, однако Дрексель не позволил:

— Он потерял слишком много крови, пожалуйста, не надо.

— Никогда не прощу себе, — проговорил принц.

Сочувственный гул голосов возле заграждения из колючей проволоки напоминал гудение пчел в опрокинутом улье. Нами занялись чьи-то ловкие и чуткие руки. Офицеру, правда, хотелось выразить принцу свои соболезнования, но принц едва его не растерзал:

— Хватит. Не видите, у нас двое раненых? Где перевязочный пункт?

Пыль, шорох песка, тучи мух, привлеченных кровью. Игла, глоток холодной воды, сон.

О том, что Сэм убит, я узнал позднее.

Как и о том, что оружие, из которого нас вдруг обстреляли, было нашим — это киприоты перевозили на мулах минометы и тренировались в стрельбе по мишени.

За месяц, что я провалялся в полубеспамятстве — в шоке от смерти моего друга и в послеоперационном шоке, после того как врачи хорошенько поковырялись в моем позвоночнике, — много чего произошло. Невесть откуда, вызвав у меня раздражение и ужас, взялся Кейд. Благодаря принцу, ему удалось пристроиться к египетской миссии и сделаться моим денщиком. Со стороны моих хозяев это был благородный поступок. Откуда им было знать, какой кошмар, какое отчаяние я испытаю, когда, придя в себя, увижу сидящего в изножий кровати трусливого соглядатая последних дней моей матери — слугу, читавшего ей Библию, ее Кейда? Он сидел молча, не выказывая никаких чувств, правда, с выражением глубочайшего осуждения всех и вся — Египта, войны, принца, моего состояния — все-

го. Стоило мне открыть глаза, как он принялся причитать насчет армии, немцев, войны, мира, погоды. Свои пуританские устои он таскал на шее,[64] как мертвую ворону. Каждый день у меня возникало искушение прогнать его, и все же… Я нуждался в нем. Когда-то он был санитаром в психиатрической лечебнице, поэтому умело переворачивал и мыл меня, и также массировал мои переломанные руки и ноги. А так как у меня болели глаза (видимо, из-за контузии), то я разрешил ему читать мне — новые письма из Женевы: письма Констанс, которая к этому времени уже все знала, так как получила извещение о гибели Сэма. «Констанс из всех нас делает трусов», — слышал я голос Сэма, пока Кейд читал ее храбрые письма, полные такой невысказанной муки, и начисто лишенные бравурности. «Я и не думала, что буду до такой степени ошарашена, ведь, в сущности, этого следовало ожидать. Обри, опиши мне все подробно, как бы это ни было ужасно. Я хочу как можно лучше прочувствовать весь этот кошмар, который, возможно, станет самым цен-

[64] Примечания: 64

Намек на эпизод из поэмы Сэмюэла Колриджа «Сказание о Старом Мореходе»: матросы привязывают к шее Старого Морехода убитого им альбатроса, чтобы умилостивить Духа, наславшего на корабль всякие несчастья из-за этого убийства. *(Прим. ред.).*

ным переживанием в моей жизни. Он говорил обо мне, скучал? Да нет, вряд ли. Он любил меня, но был свободен, как мотылек, и крылья несли его на юг, к солнцу. Здесь же то слякоть, то снег, и все это, и далекий Нил кажется чем-то нереальным. Кстати, я долгое время думала, будто Сатклифф выдумка, но теперь точно знаю, что он существует. Зачем тебе это понадобилось? Я лечу его жену — замещаю коллегу. Ну и *ménage!*[65] Он попросил разрешения проводить меня, и я согласилась. Едва он как-то заговорил о диване Фрейда, я сразу поняла, что это «твой» Сатклифф. Я сообщила ему, что диван доставили в целости и сохранности. Теперь мы друзья, близкие друзья. В нем много странного. Тем не менее, таких мужчин женщины вполне могут любить. Себя он называет старым бородавочником, обсыпанным перхотью. Теперь, когда Сэма не стало, так важно иметь кого-то, с кем можно поговорить. Обри, пожалуйста, выздоравливай, пожалуйста, напиши мне обо всем».

Кейд с отвращением сложил письмо и тупо стал смотреть на обои, совсем как осел. Мне захотелось вздохнуть.

---

[65] Примечания: 65
Здесь: семья, семейка *(фр.)*.

— Если бы не существовали иностранцы, англичане не знали бы, кому покровительствовать, — со злостью произнес я и попросил его написать под диктовку ответное письмо Констанс.

Он уселся за стол и, поставив перед собой портативную пишущую машинку, стал ждать, и ханжеская ненависть ко всему на свете волнами исходила от него, заполняя комнату, образуя концентрические круги. Не в силах изменить горизонтальное положение, я лишь глубоко вздохнул и все не решался начать, потому что Констанс теперь действительно сделала из меня труса. Не мог я выложить ей правду. Надо написать, что он умер мгновенно, получив пулю в голову. В конце концов, что она хочет знать? «Он дергался в судорогах, весь изрешеченный шрапнелью, и осколки от часов врезались ему в руку. Ничто не могло остановить потоки его крови, нашей крови. Кресла в автомобиле были все в крови, тучи мух облепили брезент, на котором мы лежали. Ребра сломаны, грудь вся в ссадинах и кровоподтеках, ноги — как нашинкованный сельдерей...» Отвратительно. И зачем? Хуже всего то, что ее любопытство было проявлением эгоизма. Она потребовала это не из-за любви. Ей

захотелось проверить свою профессиональную пригодность — своего рода психотерапия. Нет, я не решился написать ей правду.

Каждый день меня навещал безутешный принц, часто в тот же день приходила принцесса. Но обычно они появлялись по отдельности. Она — ближе к вечеру выпить со мной чаю, а он — перед ланчем, чтобы обсудить проблемы, возникшие утром, так как мы продолжали делать вид, что я все еще на службе; ни принц, ни я не хотели, чтобы возникшие между нами отношения распались.

Все остальное время я был при Кейде — он ухаживал за мной, одевал и кормил меня; и почему я терпел человека, который был мне настолько омерзителен? Такой наглец — свои зубные пломбы он изучал, пользуясь исключительно моим зеркалом, причесываясь то и дело в ванной, брал мои расчески и щетки! Случалось, если я что-нибудь говорил ему, он не отвечал, лишь смотрел на меня, склонив голову набок, с явным презрением. Но стоило мне повысить голос, его самоуверенности как не бывало, и опять передо мной был раб, съежившийся от страха, но все равно не способный быть более расторопным. Неужели для меня имело значение то, что он

был свидетелем смерти моей матери? Или то, что он каждый вечер читал ей Библию? Теперь он занимался тем же, нацепив на кончик носа очки. И у него шевелились губы, когда он читал… Итак, перед Кейдом машинка, голова опущена — он ждет. Но я не смог заставить себя обратиться к Констанс через такого посредника.

— Всё, Кейд, — сказал я, немало удивив его. — Опять начинаются боли. Продиктую письмо позже.

Пару секунд он внимательно смотрел на меня, потом встал, пожал плечами и убрал машинку. Мне дали на время магнитофон, и это означало, что я могу наговорить на него письмо, а напечатать в Красном Кресте, минуя любопытные глаза Кейда.

— Можешь идти, — сказал я. — А я посплю часок.

Печальные последствия тяжелой болезни — прежде я не представлял, что этот такое: становишься обузой для тех, кто за тобой ухаживает. Перевязки, лекарства, тем более что все вокруг ходят на цыпочках, — все это лишь усиливает то, о чем хочется забыть, понимание своей абсолютной беспомощности. Окружающий мир уменьшается, смотришь на него снизу, из го-

ризонтального положения, а тех, кто рядом, начинаешь ненавидеть. Для меня в то время будущее перестало существовать — наравне с прошлым. Даже если война продлится целый век, для меня ничего не изменится. И ведь как унизительно быть выбитым из жизни своими же! Иногда ближе к вечеру заходил поболтать доктор Дрексель. Он показывал мне снимки, которые сделал в тот роковой день. Так называемый Мост Вздохов с дальнего расстояния, когда Сэм и я собираемся помахать остальной компании — за минуту до взрыва! Мне были приятны его визиты, потому что он мог осмотреть меня и рассказать о моем ранении, ну а Кейд лишь сжимал кулаки и, притиснув их друг к другу, произносил:

— У вас, сэр, вот такая дыра в спине.

Первые дней десять Дрексель помогал делать перевязки.

— Вам надо перетянуть струны, как в старом рояле, увы. Слава богу, у нас тут первоклассное ортопедическое отделение — пополам с индусами. Но сначала нужно сделать еще две операции, на которые тут трудно решиться, они ювелирные, разве что у принца в рукаве припрятан какой-нибудь гений. Спросите у него.

Однако у принца не было никого на примете,

кроме опытных местных докторов, — египтяне из его окружения привыкли все, что серьезнее простуды, лечить в Цюрихе или Берлине. В черный туннель болезни я вошел в крайнем унынии, так как вся моя жизнь была поставлена под угрозу. Бывало, днем, в закрытой от солнца комнате в башне, где по потолку метались белые блики, отражения нильской ряби, и куда меня перенесли ради удобства, я просыпался в горячке и первое, что видел, — лицо слуги, склонившегося надо мной, чтобы взять градусник и зафиксировать его показания. Потом потянулись изнурительные дни ремиссии и возвращения сознания, когда я обнаружил, что в состоянии беседовать и мне нужно общество. Время от времени у меня в комнате играли дети принца; я попытался уговорить их, чтобы они принесли мне лежащую на каминной полке кобуру с револьвером — часть моей военной экипировки в качестве египетского офицера. Однако из этого ничего не вышло, более того, они наверняка нажаловались старшим, потому что Дрексель, зайдя ко мне в следующий раз, вынул из револьвера патроны. При этом мы оба не произнесли ни слова. Однажды Дрексель тихо проговорил:

— Бывают разные виды горячки. Моя — девуш-

ка с черными глазами и волосами.

Тогда я не знал, что он говорил о Сильвейн, темноволосой сестре-ogre, с которой мы вместе путешествовали вверх по Нилу. Об этом мне рассказал Аффад, который тоже регулярно заглядывал ко мне с документами и шоколадными конфетами:

— Странная любовь втроем и вполне достойная Древнего Египта. Они твердо решили после войны уйти от мира, уединившись в своем шато в Провансе.

После войны!

— Знаете новости? — спросил я.

— Ну, конечно.

Как можно мечтать о том, что будет после войны? Дрексель закурил сигарету и процитировал китайский афоризм: «В этой жизни только спящим кажется, что они бодрствуют». Что правда, то правда — мы жили как парвеню, как вульгарные провинциалы в городе Бога. А теперь я, беспомощный, в чужой стране, где для меня нет любви с ее радостями и где я распростерт на гладильной доске — по фунту свинца на каждой ноге, пластырь, прилипающий к волоскам на спине, когда температура поднимается до немыслимых… Правда, меня уверяли, что это ненадолго.

Я закрывал глаза и видел Констанс, гуляющую на берегу серого озера, на котором черные, как железо, деревья пошатывались под грузом снега. Я бы все отдал, чтобы быть сейчас с ней.

— Я отвез их в оазис Макабру — где вам стоило бы побывать. Там в это время собирается немногочисленная секта гностиков, которая блюдет старинные верования и обряды. Нас приняли, дали нам добрую дозу гашиша, после чего у нас начались видения.

Он тихо засмеялся. А я спросил:

— Как вы определяете гностицизм?

В ответ он лишь с сомнением покачал головой.

Приезд Феодоры всё изменил. Она была медицинской сестрой в александрийском греческом госпитале до того, как ее перевели в Каир. Не сказав никому ни слова, принц пригласил ее ухаживать за мной. Однажды утром она просто открыла дверь и встала на пороге, снимая шаль и искоса поглядывая на меня желтыми, как у козы, глазами, словно прислушиваясь к невидимому источнику пульсации. Потом она уверенно произнесла «доброе утро» — по-французски и по-гречески, с очевидным плебейским произношением на обоих языках. После этого закатала рукава и стала медленно, но неуклонно, прибли-

жаться ко мне, словно боксер, намеревающийся нанести удар противнику. И тут пришел Кейд. Она внимательно посмотрела на него желтым взглядом и указала ему на дверь со словами:

— Moi massage le Monsieur. Sortez.[66]

Слуга, ни разу не обернувшись, выскользнул из комнаты.

— Ego eimai Theodora, — проговорила она по-гречески, стуча себя в грудь длинными умелыми пальцами. — Je sui votre infirmiére Theodora.[67]

С этими словами она принялась массировать мои лодыжки и пальцы, которые словно целый век пролежали под землей. Она крутила меня по-всякому со сладострастным видом маленькой девочки, играющей с куклой; и, наконец, когда она добралась до груди, вот тогда-то начались настоящие игры, я почувствовал, что жизнь возвращается ко мне и легкие наполняются кислородом. Сосудистая система под ее руками начала вполне сносно выполнять свою задачу.

— Et comment ça va?[68] — спросила она нако-

---

[66] Примечания: 66
У меня послание для господина. Выйдите *(искаж. фр.)*.

[67] Примечания: 67
Я ваша медсестра Теодора *(искаж. фр.)*.

[68] Примечания: 68
Ну и как там?

нец, берясь своими сильными пальцами за мой дрогнувший тюльпанчик и разминая его, словно собираясь испечь в духовке. — Они не проверяли, как он работает?

Она была в ярости и одновременно довольна результатом, потому что бравый тюльпан достиг уже размеров Монгольфье[69] и не желал на этом успокаиваться.

— Assez![70] — вскричал я, но голос отказал мне, так как ощущение было потрясающее. Наклонившись надо мной, она довела меня до такого бурного оргазма, что, я думал, швы разойдутся. Никогда мне не приходилось испытывать такого изумительно долгого оргазма — как волны Нила, он всколыхнул всю мою нервную систему. Этим смелым «массажем» женщина вернула меня к жизни, и теперь я знал, что пойду на поправку. Ощущение было настолько острым, что я заплакал, а она нежно слизнула слезы с моих щек и утерла носовым платком глаза.

— Enfin! — торжествующе воскликнула она. —

---

[69] Примечания: 69

Имеется в виду воздушный шар, построенный братьями Монгольфье для полетов с людьми.

[70] Примечания: 70

Довольно! *(фр.)*.

C'est ça. Tout va bien.[71] — А потом добавила по-гречески: — Sikoni monos tou.

Позднее я выяснил, что это значит: «Стоит что надо». Так оно и было. Каждый день она испытывала его, а я оживал все больше от такой восхитительной тренировки.

Когда я поднабрался сил, она села на меня, широко расставив длинные изящные ноги и повторила чудо, правда еще медленнее, на сей раз деля со мной удовольствие. Это было изнасилование, детская мечта о том, как тебя свяжет и изнасилует кто-то с запахом твоей матери и глазами козы. Высокая длинноногая Феодора была, так же как ее великая тезка,[72] настоящим сокровищем. Благодаря ей, я восстал из мертвых.

---

[71] Примечания: 71

Наконец-то!.. Вот так. Все хорошо *(фр.)*.

[72] Примечания: 72

Имеется в виду византийская императрица Феодора (ок. 500–548 гг.), супруга Юстиниана Первого. *(Прим. ред.)*

Глава четвертая
Парижские сумерки

Немецкое наступление развивалось с такой быстротой, что члены Германского генерального штаба едва переводили дух от восторга. Как будто все, к чему они прикасались, тотчас превращалось в золото — им требовалось немало усилий, чтобы не отстать от армии. Их не оставляло ощущение неожиданности, а так как победы доставались легко, недорогой ценой, то жизнь стала казаться большим приключением. Списки убитых и пропавших без вести были потрясающе невелики, и с трудом верилось, что за несколько месяцев удалось разбить все сильные армии. Они остались одни на поле битвы — на том поле, которое теперь будет простираться без всяких препон и усилий, разве что маячил вдалеке Кавказ как предел германских амбиций. Сомнения рассеялись как дым. Все были без ума от Вождя, превращавшего, как им теперь казалось, зло в добро, покорявшего вечных врагов Рейха. Ощущение собственной непобедимости пьянило. Их пораженному взору, словно на огромном

экране, открывалось будущее Германии. История перевернулась с ног на голову, и за одну ночь возникла новая Германская империя.

Фон Эсслин никогда еще не был так уверен в справедливости своих чувств. Чуть ли не со слезами, которым он неожиданно для себя позволил заполнить свою душу, он стоял на залитых солнцем Елисейских полях, не отрывая взгляда от Вождя, который рассекал надвое замершую в молчании толпу в своем триумфальном автомобиле, и лицо его было бледным и отрешенным. Неудивительно, что после организации таких маневров, после сведения и разведения грандиозных армий во имя достижения цели он выглядит таким бледным. Гигантский мозг этого тщедушного человека отправил фон Эсслина, как мстительная катапульта, сначала в Варшаву, а потом последовала резкая смена направления, через Арденны во Францию, которая этого не ждала и потому не оказала ни малейшего сопротивления. Французский генеральный штаб был в растерянности. В стране царил хаос. Танки фон Эсслина действовали с уникальным умением и напором — с такой неожиданной быстротой, что у них закончилась солярка и они потеряли связь с командованием; пришлось им, как обыкновен-

ным гангстерам, грабить частные бензозаправки. Вот уж повеселились. На каждой остановке он слышал смех своих «юных львов», когда те вылезали из машин. Иногда от избытка чувств они разражались хохотом и игриво тузили друг друга. Сопротивление? Изредка случались легкие перестрелки, вот и всё. Несколько *franc-tireurs*[73] были расстреляны у стен деревенских *mairies*.[74] В любви и на войне позволено всё! В инструкциях германским войскам было сказано: не церемониться с теми, кто встанет у них на пути или замешкается с признанием их превосходства. Испуганное население городов и деревень, в которые они входили, было не в состоянии противостоять смертоносному наступательному порыву нацистов. Оно молча погружалось в серые волны из людей и машин. Боже, до чего же красивым был быстрый пробег бронетанковой дивизии по деревенским дорогам — не хуже старта на автомобильных соревнованиях,

[73] Примечания: 73
Партизаны, стрелки *(фр.)*.

[74] Примечания: 74
Ратуши, мэрии *(фр.)*.

например, в Ле-Мане![75] Они поднимали клубы пыли, сотрясали землю с грохотом, гортанным эхом отзывавшимся в небесах. Позади оставались вереницы, группы, колонны подавленных и дезориентированных пленных, которые брели без цели кто куда. Им не на кого было положиться в мире, где их подвели и боевой дух, и коммуникации. Со всех сторон их окружали германские войска, которые могли появиться откуда угодно. Тяжелые бои все-таки имели место далеко на Западе, но и там катастрофа была неминуема; поражение было предопределено. Отличная ясная погода превратила поход на Париж в воскресную прогулку, и фон Эсслин чувствовал, как бронзовеет на солнце его лицо. Он сидел на заднем сидении автомобиля с открытым верхом. Наверно, это было глупо, но что было, то было — от победы можно опьянеть не меньше, чем от вина. Немного стреляли с воздуха, однако немецкие солдаты, впавшие в эйфорию, чуть ли не радовались обстрелу, как весеннему дождику; выстрелы прибивали к земле посевы и срезали ветки с деревьев. Неожиданно фон Эсслин поймал себя на том, что вполголоса напевает мелодию из «Дона

[75] Примечания: 75

Город во Франции, где проходили первые автомобильные гонки на Большой приз Автомобильного клуба Франции.

Джованни»,[76] читая зашифрованный приказ, предписывавший ему окружить Бельмот. В том районе было отмечено сопротивление противника, и танкам фон Эсслина в самом деле пришлось пару раз пересечь следы тяжелой артиллерии, двигавшейся в том же направлении. Однако они не нашли ни одного заграждения на дороге, на их пути не оказалось ни одной засады, да и в небе было спокойно. Расположившись под дубом, они с жадностью накинулись на еду, одновременно ведя прием радиосообщений. Вся тяжелая работа досталась правому флангу.

Пока они ели, подъехала моторизованная пехота, на долю которой выпало зачищать несговорчивые деревни, и фон Эсслин услыхал голос своего близкого друга.

— Клаус!

Они были в восторге оттого, что встреча произошла вблизи Парижа и не могли удержаться от смеха. Молодой офицер решил, что может потратить несколько минут — разделить сэндвич с фон Эсслином и обсудить достойные внимания события, которых, впрочем, почти не было за эти сутки стремительного прорыва вглубь дислока-

---

[76] Примечания: 76
Имеется в виду опера Моцарта «Дон Жуан».

ций несуществующего противника.

— Просто не верится! — восклицал Клаус.

Старший офицер похлопал младшего по спине, уверяя, что так будет и дальше.

— Через неделю, когда мы расквартируемся и все успокоится, я назначаю тебе встречу на Елисейских полях «У Фейделя». Выпьем настоящего шампанского в честь фюрера.

Младший офицер воспринял этот план со всей серьезностью, как и следовало. Он встал, щелкнул каблуками и вскинул руку, после чего, положив ладонь на руку генерала, спросил:

— Правда?

— Ein Mann, ein Wort, — сказал фон Эсслин с неожиданным подъемом. — Слово чести!

И действительно, слишком поспешное обещание было исполнено в срок, ибо оба офицера в назначенный день и час встретились и, отыскав столик на солнышке, произнесли обещанный тост и выпили шампанского. Более того, Вождь сам был там, чтобы приглядеть, как они будут пить. О таком никто не смел и мечтать, но, безусловно, его присутствие придало тосту особый смысл.

Однако пока им предстояло подавить остатки сопротивления, и фон Эсслин чувствовал, как

за спиной его катится волна — танки и пехота. Штабной офицер упрекнул фон Эсслина за легкомысленную езду в открытом автомобиле, и он с раздражением, но все же пересел в штабной броневик. Всю ночь они пробивались сквозь это невидимое сопротивление, и только ближе к рассвету «затор» рассосался, словно кто-то вынул затычку из ванны. Снова началось равномерное продвижение вперед, очередная стадия наступления была завершена.

Что его удивляло, так это то, что главные события как будто прошли мимо него, впрочем, так всегда бывает на войне. У всех появилось такое чувство, будто они чуть ли не на каникулах. Фон Эсслин смущенно вспоминал своих юных, бронзовых от загара гигантов, голых по пояс, бродивших по полям спелой пшеницы. Это было красиво — и его сердце наполнялось новой любовью к Германии. И все же, черт побери, что происходит? Он потребовал новых распоряжений и ориентировку на местности и вошел в контакт с другим своим другом и ровесником, генералом Паулюсом, который по телефону посоветовал ему оглядеться, чтобы сослепу не въехать в другую колонну. От Паулюса он узнал об ужасном исходе гражданского населения из

Бельгии и северной Франции — тысячи и тысячи людей искали призрачной безопасности в южных районах Франции, которые, как они думали, не заденет фронт.

— Какой фронт?

Немецкое наступление было таким стремительным и спонтанным, что частенько марширующие орды являлись в города и деревни, уже перешедшие в руки завоевателей! Кругом был полный хаос — ведь победа их была не просто физической, а скорее даже — психологической. Все городишки на юге уже были заполонены беженцами, о приеме которых никто не подумал заранее. В Тулузе и Ниме люди спали на тротуарах, как цыгане. Все это время смятения и беспорядка танки фон Эсслина легко продвигались вперед — и так почти до самой дороги на Париж. Невероятно. В лесах пели соловьи. По пути им попался винный погреб, и теперь генерал во время ланча цедил вино и ел бисквиты, но при этом подолгу наставлял командиров танковых частей, призывая их быть начеку и пресекать любые попытки предаться пьянству. Но до чего же прекрасной была победа, как она согревала душу! Насмерть перепуганные крестьяне раболепно приветствовали нацистов; радуясь, что

остались живы, они даже улыбались. «Французы примут нас, — подумал он, — г- потому что никогда особо не верили в реальность этой войны, а у нас есть, что предложить им в условиях Нового порядка». Нахмурившись, он кивнул, словно ему было необходимо подтвердить это, убедить себя в своей правоте.

Мир разворачивался с невероятной полифонической пышностью, и у фон Эсслина голова шла кругом от всего происходящего. Кстати, на одну из его тактических уловок обратил внимание начальник штаба, объявивший ему благодарность! Это была настоящая удача. Хотя ему самому его хитрость казалась сама собой разумеющейся, очевидной — в пылу битвы нельзя не импровизировать. При продвижении вперед им приходилось натыкаться и на заграждения на дорогах, и на судорожные попытки остановить танки. В таких случаях фон Эсслин, не останавливая машины, приказывал танкистам свернуть на ближайшие железнодорожные пути и обходил препятствие с фланга. Использование железнодорожных путей… это войдет в военные учебники по тактике. На самом деле, смешно было видеть, как танки прыгают то туда, то сюда, чтобы уступить дорогу поезду — французская железно-

дорожная система не могла смириться с войной, тем более с немецкими танками, которые то заскакивают на платформы, то скачут вниз, словно стая кроликов. Время от времени они постреливали по поездам, но, скорее, чтобы позабавиться. Один раз остановили экспресс и выгнали из него людей, которые выходили из вагонов смертельно бледные и с поднятыми руками.

— Что с ними делать? — спросил загорелый патрульный, добродушно подталкивая задержанных в сторону зала ожидания. — Тут один французский офицер — вон тот — стрелял из пистолета.

Фон Эсслин резко развернулся и рявкнул:

— Вам известен приказ.

Когда он садился в автомобиль, то услыхал автоматные очереди внутри вокзала.

Часть танковой бригады повернула направо и, проехав по полям, соединилась с основными наступающими силами на главной дороге, теперь заваленной брошенными повозками с домашним скарбом. Велико было искушение остановиться и покопаться в лопнувших чемоданах, из которых что только не вываливалось. Слава богу, они быстро двигались, и фон Эсслину не пришлось читать своим подчиненным

лекцию о недопустимости мародерства, которое еще будет, но позднее и в систематизированном виде, как репрессивная мера. Естественно, ни о какой философии в этой войне и речи быть не могло. Действовали, как Наполеон: кампания *a la maraude*,[77] как вскоре станет ясно французам. На минуту фон Эсслин напыжился от гордости, однако на смену гордости пришло нечто вроде ярости уличенного в преступлении. С Францией покончено! Он дважды с силой ударил тростью по ботинку и погрузился в приятные воспоминания о грохоте гусениц по железнодорожным путям. Прилетели самолеты, снизились и затарахтели, как сороки. Движение замедлилось. Густой дым и грохот выстрелов говорили о том, что где-то впереди — бой; дорога была залита соляркой из пробитого бака, пустые канистры дребезжали кругом, словно по ним шпарил ливень. Фон Эсслин увел своих с главной дороги на зеленые луга, раскинувшиеся по обе стороны от нее. День подходил к концу, скоро должны были наступить сумерки; надо было успеть захватить побольше земли, прежде чем разбить на ночь лагерь. Кроме того, фон Эсслин отозвал для поддержки танков

---

[77] Примечания: 77
В стиле грабителей *(фр.)*.

две машины с пехотинцами, после чего танки принялись прочесывать лес, кое-где поджигая его, чтобы выкурить оттуда противника, вражеские солдаты вполне могли прятаться в чащах.

Как только тотальная победа стала реальностью, она уже никого не удивляла, ибо казалась очевидной, неизбежной и абсолютной, уже изменившей судьбу и даже географическое расположение многих стран — речь идет о поражении британцев, крахе Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга… Бесчисленные победы достигались по-разному, и было невозможно описать их все — ибо их число постоянно увеличивалось — на всех направлениях. Когда фон Эсслина спросили, что будет дальше, он с кислой миной, не подобающей прусскому помещику, ответил: «Я — солдат Рейха, и у меня нет своей точки зрения. Я делаю то, что велит мне Вождь». Его собеседник, штабной офицер из отдела передвижения войск, явно был разочарован. Однако он вскинул руку и кивнул, изображая согласие, но пряча глаза, чтобы фон Эсслин не разглядел в них насмешку. На самом же деле фон Эсслин был сбит с толку — он не поспевал за событиями, и ему было мучительно тяжело связывать их в единое целое. Он надеялся вскоре вновь оказаться на Во-

сточном фронте — смутное ощущение *malaise*[78] преследовало его, что-то не то было в крахе Франции. Даже истеричное раболепие парижан перед немцами не унимало тревогу. Они выставили полицейских из их помещений в Авалоне и взяли в свои руки эти важные ворота в Париж. Однако очень скоро эффективные действия немецких сил позволили ему недурно устроиться, даже совершать частые наезды в Париж, причем он заметил, что французские девушки с большим почтением разглядывают его форму. Однажды *юная fille de joie*[79] спросила, не хочет ли он пойти с ней и устроить ей хорошую взбучку своей тростью. Она заплатит ему, сказала девушка, что было, по крайней мере, оригинально. Фон Эсслин впал в шоковое состояние, ему стало стыдно за французов, которые чуть ли не с удовольствием принимали свое поражение. Выругавшись, он отправился через мост на *quais*,[80] где отыскал много немецких книг; он купил их и отправил матери. Почтовое сообщение уже было налажено,

---

[78] Примечания: 78
Здесь: тревога *(фр.)*.

[79] Примечания: 79
Проститутка *(фр.)*.

[80] Примечания: 80
Набережные *(фр.)*.

и он примерно раз в месяц получал от нее письма, а в ответ расписывал ей свои приключения и Париж, который всегда находил завораживающе прекрасным, а теперь, когда он пал, тем более.

Стоило ему выпить пару рюмок куантро,[81] тут же он возбуждался, становился сентиментальным, и в таком настроении иногда сопровождал уличную красотку в ее грязное жилище. Парижский период, однако, вскоре миновал так же, как пребывание в южном секторе Франции, и уже через несколько месяцев он оказался со своей армией в Тулé — на границе оккупированной зоны, которая, как он полагал, не могла мирно сосуществовать с оккупированным севером. Франция напоминала рождественский чулок с подарками — кого тут только не было: беженцы, евреи, преступники, участники гипотетического Сопротивления; не говоря уж о том, что Союзники постоянно засылали своих агентов для сбора информации и подготовки мятежа. Ходили слухи, что фон Эсслин должен получить новое назначение, и он очень надеялся на перевод на Восток в связи с ожидаемым нападением на Россию, так как никто не верил в надежность подписанного

---

[81] Примечания: 81
Апельсиновый ликер.

пакта.[82] Это был маневр, связывавший руки России, чтобы легче было покорить Францию. Никто особенно не сомневался в развитии событий, да и скопление военных сил на севере подтверждало правильность ожиданий. Тем временем нелепая *drôle de guerre*[83] уступила место столь же нелепому *drôle de paix*![84] Французы всерьез верили, что рано или поздно два миллиона пленных будут освобождены, а после, возможно, немцы вообще покинут страну — после подписания какого-нибудь мирного договора и уплаты контрибуции. И это фатальное непонимание происходящего длилось несколько месяцев, несмотря на сражения в пустыне, несмотря на бои за Грецию, Югославию и так далее. Люди цеплялись за символ Франции,[85] который должен был вернуть ей свободу и величие, хотя старый маршал Петэн с его отеческими речами и неэффективными

[82] Примечания: 82

Имеется в виду советско-германский пакт о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа), подписанный в 1939 г. *(Прим. ред.)*

[83] Примечания: 83

Странная война *(фр.)*.

[84] Примечания: 84

Странный мир *(фр.)*.

[85] Примечания: 85

Скорее всего, имеется в виду формально свободная от оккупации третья часть страны, главой которой был Петэн, а столицей — Виши.

действиями вряд ли был способен пробудить подобные надежды. Усиливались антибританские настроения, потому что англичане своими плохо спланированными бомбардировками и враждебными выступлениями рисковали вызвать раздражение у немцев, которые потом наверняка подвергнут наказанию мирных французов. Несмотря на всю эту неразбериху им все-таки удалось на несколько месяцев наладить спокойную, как в семинарии, жизнь с частыми вылазками в Париж, ведь Авалон находился неподалеку, но почти все время уходило на перевооружение и доукомплектование новыми силами в предвидении новых сражений, когда бы они ни начались.

Тем временем, писал фон Эсслин своей матери, подошли новые части, и ему удалось разыскать нескольких верных своих друзей, которых она тоже хорошо знала, — старого Келлера, Де Фальса и Кранца, и по вечерам они теперь играют в бридж. Еще они совершают поездки на Париж в веселом баварском духе, а так как все четверо католики, то посещают много служб в знаменитых церквях и соборах Парижа. «Музыка здесь прекрасная, — писал он с чувством, — и я часто вспоминаю Вену, где мы слушали незнакомую мессу, а потом узнавали, что она написана Моцартом или Гайдном

специально для этого собора!» И все же, несмотря на то что это было время искреннего энтузиазма и беззаботности, где-то на подсознательном уровне фон Эсслин испытывал растущее беспокойство, как будто над будущим сгущались тучи, Сначала Россия предстала перед их глазами, как сплошное зарево лесного пожара, словно это пробудился вулкан — масштабы немецкого штурма ошеломляли. Потом проявилось кое-что непривычное — сопротивление в Африке, в России, на Балканах, в Норвегии… Оно медленно нарастало — так медленно густеет чечевица, если варить ее на скором огне! Фон Эсслин старался выкинуть из головы тревожные мысли как заблуждение, как обман, но ничего не получалось.

Все же… тысяча бомбардировщиков над Кельном! Да еще радио Би-Би-Си из-за моря нагнетает самоуверенность и будит глупые надежды — и всегда под угрожающие барабаны Бетховена! Фон Эсслину не терпелось принять участие в какой-нибудь операции, чтобы не думать об этом.

Новое правительство в Виши было донельзя учтиво и любезно, но очевидно, что без мощной поддержки немецких военных сил его существование было бы сомнительным, поскольку французы поровну разделились на тех, кто ис-

кренне поддерживал нацистов, и на тех, для кого оккупация была нестерпимой. И ведь люди еще не прочувствовали по-настоящему тяжесть германского ярма. Но скоро карточки и перебои в снабжении сделают свое дело. Правда, в тот момент эти соображения не приходили в голову фон Эсслина; пока его мысли о будущем были ограничены визитом трех функционеров Виши, приехавших однажды утром на старом автомобиле и потребовавших аудиенции. Судя по их словам, они представляли французское второе «бюро»,[86] и сообщили, что через несколько недель немецкой армии предстоит войти в неоккупированную зону в качестве неофициальных полицейских частей правительства в Виши. Фон Эсслину предстояло участвовать в операции.

Его охватил страшный гнев, когда он услышал, что потрепанные французишки смеют распоряжаться его будущим, и он едва не поддался искушению арестовать их. Весь побагровев, он процедил сквозь зубы, что получает приказы только от германского верховного командования — и больше ни от кого; визитеры пришли в замешательство от такой ярости. Они извинились

---

[86] Примечания: 86
Имеется в виду разведка.

за допущенную оплошность, тем не менее один из функционеров протянул ему предписание с подписью *Reichs-führer S.S. und Chef der deutschen Polizei*[87] — облеченного не меньшей властью, чем сам Гиммлер, — и у фон Эсслина упало сердце. Как солдату ему претило быть орудием в руках политиков, которые ведут свои тайные войны. Однако не было смысла спрашивать о воинском звании нового назначенца — он может быть скромным генерал-полковником и все же иметь право докладывать непосредственно в Берлин за спиной фон Эсслина и издалека манипулировать войсками. Кроме того, фон Эсслину не хотелось получить квази-гражданское назначение в тихой заводи и без всяких перспектив. Не мешкая, он подал рапорт с просьбой перевести его на русский фронт, но ответа пока не было. Наступило затишье. Напряжение росло. О функционерах из Виши, одетых в одинаковые черные костюмы, больше не было слышно.

Но однажды ординарец сообщил, что кто-то дожидается его в кабинете, и он обнаружил во вращающемся кресле Фишера; фуражка его была сдвинута на затылок, он подрезал ногти ножом

---

[87] Примечания: 87
Рейхс-фюрер СС и начальник немецкой полиции *(нем.)*.

для бумаг.

— Доброе утро, генерал, — проговорил тот со своей обычной ленивой и наглой улыбкой не поднимаясь с кресла.

Фон Эсслин продолжал стоять, молча разглядывая гостя. На Фишере была форма СС и блестящее черное пальто со знаками отличия. Очень светлые голубые глаза ярко сверкали, но в них не было никакой живости. Создавалось такое ощущение, что ты смотришь на небо сквозь глазницы в черепе, потому что эти небесные глаза не принимали участия в улыбке.

— Пожалуйста, садитесь, мой генерал, — пригласил он, оскалив безукоризненно-белые зубы. Улыбка была ослепительной, но холодной.

— Вы заняли мое кресло, — прорычал фон Эсслин.

Он не собирался довольствоваться креслом, предназначенным для посетителя, в конце концов, это его кабинет. Фишер пожал плечами и встал. Он был высоким и худым. Пальцы в перстнях. На первый взгляд это могло показаться знаком внутренней — женственной — слабости, но только на первый, потому что стоило заглянуть в эти пустые глаза, и от первого впечатления не оставалось и следа. Такие глаза подобны пу-

стым глазницам римской статуи, в них нет и намека на мысли или эмоции. Фишер медленно повернулся к окну и что-то быстро написал на нем указательным пальцем. Потом он опять повернулся к фон Эсслину и вновь одарил его своей ослепительной улыбкой, холодной, словно неоновая вывеска.

— В понедельник вы получите приказ о выступлении. Я выезжаю теперь же и буду ждать вас на месте.

Фон Эсслин тяжело опустился в кресло, глядя на посетителя с мрачной улыбкой, которая должна была показать, насколько он раздражен его бесцеремонностью.

— Где, вы сказали, место нашего назначения? — спросил фон Эсслин.

— Штаб-квартира будет в Авиньоне, и вы тоже расположитесь там. Части СС расквартируются поблизости. Назрела необходимость помочь режиму в Виши — они боятся, как бы ситуация не вышла из-под контроля: слишком много коммунистов, участников Сопротивления, разведывательных групп. Начнем с нападения. Вы получите список деревень, в которых надо взять заложников и ликвидировать их. — Неожиданно лицо его сделалось болезненно-бледным, и он

стал похож на белокурого Мефистофеля, опечаленного каким-то воспоминанием. Размышляя, он водил языком по зубам, словно собирал остатки пищи. — Надеюсь, мы с вами сработаемся, генерал. Вы играете в шахматы? — вдруг спросил он.

Фон Эсслин сказал, что не играет, хотя на самом деле в шахматы играл.

— Жаль, — отозвался Фишер и еще раз улыбнулся своей ослепительной и абсолютно механической улыбкой. У него была очень бледная кожа, щеки — бескровные, анемичные, ресницы очень светлые, почти как у альбиносов. — Жаль!

— В каком вы звании? — спросил фон Эсслин намеренно грубым тоном, ибо звание не имело никакого значения для постоянной рутинной работы. Судя по произношению, перед ним был смышленый механик из какого-нибудь мюнхенского гаража. Фишер отодвинул воротник своего блестящего пальто, и фон Эсслин увидел характерные значки — *Waffen S.S.*[88] — Так я и думал.

Фишер удовлетворенно кивнул.

— Мы с вами отлично сработаемся, — проговорил он. — Можно мне взглянуть на вашу

---

[88] Примечания: 88
Части СС *(нем.)*.

руку, генерал? — спросил он, но уже намного вежливее.

Застигнутый врасплох, фон Эсслин положил руки на стол и повернул их ладонями вверх, — молодой человек внимательно изучал их пару секунд, но не притрагиваясь к ним. Потом он выпрямился и, пощелкав языком, произнес:

— Благодарю вас.

Он направился к двери и, уже держась за дверную ручку, остановился, чтобы как можно старательнее отсалютовать правой рукой, но при этом весьма вяло свел вместе каблуки. Издевательство, насмешка? Глядя на мертвое, улыбающееся лицо, на эти назойливые глаза, фон Эсслин не мог бы поручиться за правильность своего восприятия. Он встал и ответил на обязательное приветствие, но был до того зол, что ограничился легким кивком. Едва за Фишером закрылась дверь, генерал схватился за телефон. Ему было необходимо дозвониться до Парижа и узнать, что происходит, что ждет его в будущем.

Когда его соединили с Парижем, то выяснилось, что приказ уже послан и прибудет к нему в течение нескольких часов — вместе с перечнем задействованных частей. Вот так! Пока шел разговор, фон Эсслин чувствовал, как его все

сильнее обуревают замешательство и недовольство. Предстояло захватывать власть и подавлять сопротивление; в его задачу входило консолидировать все силы вокруг ключевых городов и освобождать дорогу французской милиции — то есть призванным на службу нацистам французского происхождения. Один из друзей фон Эсслина занимал высокий пост, и он, решившись нарушить правила военного этикета, задал вопрос:

— Прости, но ты не знаешь, почему мой рапорт о переводе оставили без внимания? Почему мне предлагают почти гражданский пост? Почему?

Было очевидно, что друг не успел продумать ответ.

— Оставили без внимания? — повторил он, выдерживая дипломатичную паузу. — *Помилуй*, это не так — о тебе совсем *недавно* вспоминали, да и прошло совсем немного времени. Тебе ли не знать, какие в администрации бюрократы. Наберись терпения.

Однако фон Эсслин воспринял слова друга исключительно как утешение, и его мысли вновь закрутились вокруг того, что очень смущало его некоторое время назад. Неужели все дело в его католической вере? Об этом он уже думал, и

не раз, хотя до сих пор у него не было никаких оснований тревожиться. Что ж… пару раз ему уже приходилось слышать иронические высказывания офицеров СС, которые намекали на невозможность компромисса между верой в Бога и верой в Гитлера. Однажды некий молодой человек сказал: «Когда нацист идет на исповедь…» Конец фразы утонул в ироническом смехе. А потом как-то зашла речь о нацистском штурмовике в церковной процессии, и опять это вызвало громовой хохот. Неужели новое назначение по сути молчаливый намек на то, что его религиозные убеждения стали известны начальству? Бреясь и глядя на свое отражение в зеркале, он с досадой вспомнил о том, как несколько раз заходил в церковь со своими друзьями — *они* не могли донести на него. Ну зачем им «доносить»?

— Ты глупеешь и становишься подозрительным, — громко сказал фон Эсслин своему отражению, после чего, вздохнув и пожав плечами, полез в ванну.

В тот же вечер он получил подробный приказ, который прочитал с циничным отвращением — части СС, да еще в таком большом количестве? Будут разделываться со всеми нормами общественной морали, подумал фон Эсслин. Но-

вообразованные части были личной игрушкой Гиммлера и, соответственно, никому больше не подчинялись. С другой стороны, командование фон Эсслина отправило для прикрытия танки, которые, возможно, пригодились бы на русском фронте. Несомненно одно: в этой операции будет мало чести для командира, она не принесет ни славы, ни продвижения по службе. Собственно, сама по себе она не была проявлением неуважения, хотя генерал был почти уверен в обратном. И в генеральном штабе у него не было никого, кто бы защитил его, к кому он мог бы обратиться неофициально.

Неожиданно на него навалилось проклятое одиночество.

Глава пятая
В Женеве

Улица в Женеве, в конце которой находится старый бар «Навигация», идет от самого озера, начинаясь у нелепого подножия горы, и дальше карабкается по крутому склону. В общем-то, улица довольно странная, она как бы противоречит самой себе, ибо из скромного переулка спустя пару кварталов превращается в широкий бульвар, а потом опять резко сужается, становится темной и заканчивается вонючим двором с мусорными баками, давно стоящими без крышек. Здешняя атмосфера мрачной таинственности полюбилась нашему герою (точнее, героям, потому что Тоби тоже приехал в Женеву, желая поддержать Сатклиффа). Им это место показалось идеальным для тайного пьянства по утрам и игры в пул, для чего Министерство иностранных дел ввело словечко «перекус», имея в виду одиннадцатичасовой завтрак, когда назревает потребность наскоро выпить горячительного или устроить долгие «посиделки», как говорят в народе.

Оба были приняты на так называемую «рабо-

ту для фронта». В сыром подвале консульства (находившемся ниже уровня озера) были созданы дополнительные кабинеты, разделенные деревянными перегородками. Тут завязывались самые разнообразные отношения. Оксфорд пожертвовал Тоби, отдав его в распоряжение третьего отдела (контрразведки), тогда как недовольный Сатклифф, бежавший из Вены от неприятностей, переводил секретные немецкие документы для департамента военного атташе и сердито ждал, когда психиатры вернут здоровье его жене. Обходилось это очень дорого. Клиника, где ее лечили, располагалась по другую сторону озера. (Каждое утро он выходил на балкон своей маленькой квартирки, которую делил с другом, и громко кричал по-немецки: «Я хочу мою жену». Однако это не производило никакого впечатления на лишенных воображения швейцарцев.)

Два великана, похожие на кегли, обжили как могли уродливую квартиру, которой было невозможно придать приличный вид. Здесь царил хаос: оба не отличались аккуратностью, оба не умели готовить. Они разогревали консервы в кастрюле с горячей водой, а потом ели их без всякого удовольствия, но радуясь своему умению экономить. По понедельникам приходящая работница

делала все возможное, чтобы восстановить некий порядок в их жизни. По вечерам они обычно, надев пижамы и желтые пластмассовые козырьки, как крупье в Лас-Вегасе, играли в покер. При этом они до того расходились, что можно было подумать, будто они играют не на спички. Ах, вечера в начале войны, с голубыми уличными фонарями, почти не разгонявшими сумерки, с густыми туманами, закрывавшими озеро! Швейцарская армия была на военном положении, всех мужчин мобилизовали, города затемнили, правда не совсем. Казалось, что введен комендантский час, до того рано закрывались бары и бордели. Мир жил в болезненном напряжении, не в силах себе помочь. Власти испытывали сирены воздушной тревоги, которые работали безотказно, нагнетая уныние и побуждая людей сидеть дома и пить чай с яблочной водкой или сливовым бренди. Тоби называл эти напитки «кувыркалками», потому что после первой рюмки нельзя было не содрогнуться всем телом. Подходящее название.

Утренние «перекусы» были совсем другими, они пили горячий грог с жженым сахаром (несмотря на теплый климат) в напрасной надежде побороть хронический бронхит, результат

неумеренного курения «келтикс» — *tabac gris*[89] побежденной Франции. Из-за недомоганий утро неизменно начиналось с многозвучной какофонии кашлей, причем столь натужных, что жившие внизу швейцарские пары каждый раз размышляли, не позвать ли на помощь. Сатклифф как бы имитировал молодого кота, которого истязают бывалые взрослые самцы, а Годдард — угрюмого турецкого носильщика, которому выделили слишком большую ношу. Иногда они дуэтом изображали нечто вроде гимнов разных стран или их «музыкальный» кашель очень напоминал фразу: *"Le docteur Schwarz est un pot de chambre"*.[90] Шварц был психоаналитиком, бежавшим из Вены в компании самых любимых и богатых пациентов — ибо не у всех нашлись деньги сопровождать его. (О превышении своего кредита Сатклифф не желал думать.) Это Шварца укусил пациент-параноик, и он попросил месячный отпуск, чтобы прийти в себя и подлечить загноившуюся мочку уха.

— Вот такие любовные укусы получают психоаналитики, — с горечью прокомментировал

---

[89] Примечания: 89
Простой, грубый табак *(фр.)*.

[90] Примечания: 90
Доктор Шварц — ночной горшок *(фр.)*.

событие Сатклифф, когда разговаривал с Констанс по телефону. — Жаль, моя жена не способна на столь же решительные действия.

Однако Констанс не пожелала шутить на эту тему. Она не поддержала его легкомысленный тон, холодно сказав:

— Я, разумеется, вас приму, если вы хотите получить какую-то информацию. Я знакома с историей болезни, но только замещаю доктора Шварца, я лишь его помощница. Я не лечу ее, но несколько раз беседовала с ней, мы поддерживаем контакт. Вы можете прийти завтра в десять часов.

Она решила изобразить непробиваемую формалистку, поскольку он произвел на нее отвратительное впечатление своими грязными ногтями и вообще своей неряшливостью. Сатклифф же оробел перед ее красотой, но даже не представлял, кто она такая. Позже в разговоре был случайно упомянут Блэнфорд, и она увидела, как у него округлились глаза.

— Боже милостивый! — воскликнул он и уставился на нее. — Да вы, верно, Констанс, ее сестра.

— А вы кто? — нерешительно спросила Констанс, тут же ощутив некоторое душевное родство с этим человеком, пока еще невесомое, как об-

лако. Его слова словно оглушили ее. — Не может быть! — воскликнула она.

Еще как может! Довольно долго они просидели молча, вглядываясь друг в друга, а потом она заговорила, торопливо, перескакивая с одного на другое, все еще пребывая в нерешительности. Ее убедил диван Фрейда — так как она видела фамилию Сатклиффа на счете.

— Итак, вы существуете! — со смехом произнес Сатклифф. — Все существуют.

Сумасшедшее высказывание с точки зрения тех, кто не верит в эльфов, но Сатклиффом тут же овладел невероятный подъем — так на него действовала красота, к которой он всегда был неравнодушен. Однако холодность Констанс заставила его страдать, он решил, что перед ним настоящая сука, о чем и сообщил Тоби.

— *Une garce,* — сказал он, предпочтя английскому французское слово с широким гласным звуком, ассоциирующимся с раздвинутыми ногами, подобное тем убедительным словам и фразам, которые он очень ценил, — *gâtisme ou le relâchement des sphincters*.[91]

Его друг с интересом посмотрел на него и спро-

---

[91] Примечания: 91
Шлюха… недержание или слабость сфинктера *(фр.)*.

сил:

— Почему это вас так волнует?

— Я уверен, — ответил он с важностью и совершенно серьезно, — что Обри в конце концов влюбится в нее, и мне понятно почему. Из-за зеленых, как море, глаз и снежно-белой кожи. Но она настоящая швейцарская зануда.

— Она англичанка.

— Значит, она зануда в квадрате.

Сначала Констанс отказалась встречаться с ним где-либо за пределами кабинета, и он подумал, что это она боится нарушить профессиональный этикет, ну и, разумеется, к этому примешивается личная к нему антипатия. Так что он немало удивился, когда она позвонила в консульство и сказала как всегда торопливо и явно стесняясь:

— Мне кажется, я грубо себя вела и, наверно, обидела вас, так что прошу прощения, если правда обидела. Буду рада загладить свою вину, поэтому принимаю ваше приглашение выпить где-нибудь. Сегодня вечером, если вы не возражаете.

Сатклифф был одновременно рад и смущен неожиданной переменой в направлении ветра.

— Отлично, — сказал Тоби, услышав новость. — Если она медичка, то может посоветовать нам

что-нибудь от старости. Я все больше чувствую себя не в своей тарелке в машинописном бюро. Маленькая мисс Фартингейл очень нежна со мной, и я стыжусь себя. Проклятый урод не желает плавать, поворачивается на спину и отдыхает. У девушек есть полное право сердиться. Сатклифф недовольно прищелкнул языком.

— Мы не можем просить ее об этом. Придется вам примириться с этим унижением, Тоби. Впрочем, почему бы вам не воспользоваться «дипломатическим средством»?

— Могу я спросить, что вы имеете в виду?

— Возьмите потолще резинку и наденьте ее на вашего лучшего друга. Поместите ее как можно выше и закрепите потуже. Это делает чудеса. Меня просветила индуска из машинописного бюро. Она сказала, что в Министерстве иностранных дел…

Довольный полученной информацией, Тоби достал из портфеля кучу резинок и отправился в туалет, чтобы найти наиболее подходящую для своего нерадивого «урода». А Сатклифф зашагал к озеру встречать паром, ибо он сомневался, что она отыщет маленький бар, даже получив подробные инструкции по телефону. Наступило время вечернего чая, погода была прекрасной.

Констанс помахала ему с парома, и он помахал ей в ответ.

Выглядела она не лучшим образом — усталой, напряженной. Да и вообще, будучи девушкой, которая любит производить впечатление, сейчас она казалась чуть ли не неряхой — в этом слегка запачканном белом макинтоше с оторванной пуговицей, на месте которой сверкала булавка. Плохо постриженные волосы слиплись и висели наподобие щенячьих хвостиков. Ничего удивительного, она никак не могла отойти от шока — смертельного — после гибели Сэма. Констанс поражалась самой себе — ведь они с Сэмом всегда воображали, будто смогут пережить любое потрясение, что животворная сила их волшебной любви преодолеет даже *такую* разлуку. Любовь делает людей наивными, теперь Констанс поняла это, а они просто-напросто играли роли счастливых и бессмертных влюбленных из романтической оперы. И вот теперь они под колесами Джаггернаутовой колесницы,[92] нет, это она под колесами, а он… вроде бы убежал и оставил ее одну — думать о «смерти». Впрочем, и это еще не все. Через несколько дней после первого сообще-

[92] Примечания: 92

Джаггернаут — статуя Кришны, вывозимая на колеснице на ежегодном празднестве.

ния она к своему удивлению получила короткое письмо, пересланное в консульство армейской почтой. Оно проделало долгий путь — письмо ее мертвого мужа. Неожиданно она услышала его голос, исполненный старомодной торжественности и мощи. Казалось, вся ее маленькая квартирка в доме у озера заполнилась им. Вот почему она предпочла провести ночь в клинике, на раскладной кровати в своем кабинете. Всё, даже работа, стало ненужным, и вот случайное свидание с Сатклиффом, оно разбудило в ней противоречивые чувства. Она и не хотела говорить о Сэме, и одновременно понимала, что, поговорив о нем, могла бы выйти из охватившей ее апатии, найти дорогу обратно в жизнь. Он пришел, покорный, как старый пес, чтобы узнать новости о бледной худенькой женщине, которая теперь скользила вниз по длинной дороге меланхолии, рано или поздно приводившей к безумию.

— На вашем месте я бы не стала пока ее навещать. Она опять начнет ломать себе руки и плакать — опять будет плакать целыми днями.

— Вам, как и мне, известно, что она во всем винит меня, а это несправедливо.

Констанс покачала головой.

— Какая может быть справедливость при безу-

мии?

Сатклифф стиснув голову руками, как король Лир, сказал:

— Я уничтожил ее кукол. Надо же было быть таким дураком.

Однако на самом деле причиной срыва было не это, все коренилось гораздо глубже.

— Негритянка заезжает каждый день, при ней ей как будто немного лучше. Они сидят вдвоем, играют в крестики-нолики.

— Самое милое дело, если учесть, в какое время мы живем, — с горечью произнес Сатклифф. — Посмотришь, что творится кругом, как-то начинаешь сомневаться… стоит ли вообще возвращать ее в эту жизнь — даже если бы это было возможным.

Прежде чем присоединиться к Тоби в баре, они погуляли немного в саду возле озера, и она рассказала ему о ранении Блэнфорда, в ответ он странно усмехнулся.

— Мне нужно снова связаться с ним, — только и сказал он.

Но когда она упомянула о гибели Сэма — в качестве «теста», так сказать, проверить пульс, — Сатклифф поглядел на нее с сочувствием и грубоватой нежностью.

— Это только начало. Вы знаете, что они приготовили для евреев?

Кто же не знал?

— Тем не менее, — отозвалась она, — Фрейду удалось счастливо выбраться оттуда, хотя он и оставил там все свои рукописи. Слава богу, копии есть и тут.

Он посмотрел на нее с интересом.

— Вы знакомы с ним?

Она кивнула и улыбнулась, словно вспоминая приятную и плодотворную встречу, которая и в самом деле стала поворотным моментом в ее жизни. Констанс приготовилась горячо защищать старого философа. Почувствовав это, Сатклифф решил немного поддразнить ее и вполголоса спел пару строчек из детской песенки «Милый старый друг», естественно, в измененном виде.

Милый старый Фрейд, добрый старый Фрейд
Всегда со мной и летом и зимой.

— Ах, не надо, — попросила Констанс. — Уверена, вы не принимаете его всерьез.

Сатклифф усмехнулся, потому что, действительно, не принимал его теории всерьез.

— Мне пришлось неплохо его узнать, и он со-

всем не обманщик. Даже прочел мне несколько лекций, и свою систему изложил весьма элегантно — со скромным изяществом. Не умолчал о том, что она эффективна далеко не всегда. Да еще дал полдюжины практических консультаций — я лежал на кушетке, а он демонстрировал, как система работает, очень интересно. Вся беда в том, что она не годится — не годится для серьезных психических заболеваний.

— Он никогда и не утверждал, что годится.

— Зато Шварц утверждал, и это он виноват в теперешнем состоянии моей жены; однако вы тут ни при чем, ведь вы лишь временный заместитель.

— Я не имею права говорить о его пациентах, — произнесла она, посмотрев на него несколько воинственным взглядом. — Но мне приятно, что вы были лично знакомы с Фрейдом.

— Он очень забавный со своим по-еврейски ростовщическим складом ума. Я слегка подтрунивал над тем, что он считает любовь своего рода инвестицией — он инвестировал либидо. Однако милый старик оставался серьезным. Евреи не умеют смотреть на себя со стороны. И очень удивляются, когда им говоришь, что они такие — или не такие. Еще они очень наивны, и он тоже

наивен, очень наивен. Как вспомню его руку, протянутую за деньгами, когда прием подошел к концу и раздался бой часов, это была не рука, а немой крик. Я спросил, нельзя ли мне выписать чек, и он ответил: «Что? Платить налог?» Он признает только наличные, кстати, когда он клал деньги в карман, то специально мял их, чтобы услышать характерный шелест, что приводило его в прекрасное настроение. В такие моменты Фрейд был очень похож на фантазера Жюля Верна: поистине есть что-то общее в устройстве их нашпигованного грезами мозга. Как бы там ни было, мое сравнение ему понравилось, потому что он читал и любил Жюля Верна. Однако стоило мне сказать ему, что вся его система суть предприятие, производящее деньги, ведь люди платили ему за то, что он выслушивал их, да еще почасно, он хохотнул в ответ. «Людям нравится страдать, — сказал он, — и наше дело — помогать им. Это вполне приличное занятие. Знаете ли, не только евреи любят деньги. К тому же, оплата наличными тоже часть лечения. Пациент испытывает укол или боль, ибо он инфантилен».

Констанс сомневалась в глубине чисто медицинских познаний Сатклиффа. Одно дело бродить вокруг да около, предаваться философствованию,

и совсем другое адаптировать систему для лечебной практики.

— Вам скучно со мной, — сказал он.

Она покачала головой.

— Нет, просто я задумалась о другом, о том, как начала заниматься медициной, о том, что было после. Расскажите еще что-нибудь.

Когда они снова вернулись в бар, Сатклифф заказал напитки.

— А что еще рассказывать? Я и видел-то его всего несколько раз — но этого хватило, чтобы я проникся к нему уважением. Другого такого пессимиста не было со времен Спинозы. Напоследок я принес ему плату в самых мелких монетах. У меня был небольшой кожаный портфель, и я наполнил его фартингами и другой мелочью. Вот уж он удивился, когда я отдал ему портфель и сказал, что это плата за лечение. «Бог ты мой, — рассмеялся он, — да у вас понос!»

Тоби курил трубку, слушая вполуха. Ему было неинтересно — он почти ничего не знал о личностях, про которых рассказывал Сатклифф, зато Сатклифф, похоже, неплохо изучил все тонкости.

— Потом мы уехали из Вены, а старик Фрейд отправился к себе, в свой новый кабинет, покинув мрачные комнаты и старый диван, на котором

она посвящала его во все подробности нашей жизни, словно расставляла игрушечных солдатиков перед битвой или кукол перед пикником. Но когда я задавал старику вопросы о нас, он только качал головой со словами: «История нарциссизма у всех одна и та же». У меня появлялось нелепое искушение оплакать себя, поломать руки, но что толку? Он сказал, что я должен сублимировать несчастье в книге, которую бог знает как уже давно пытаюсь написать — начал задолго до того, как грянула беда. С ранней юности я мучился от *Schmerz, Angst,*[93] да еще как. Мой первый издатель заплатил мне аванс за кулинарную книгу о египетских блюдах. Я был вне себя от счастья и тотчас на корабле отправился в Египет. Но в первом же кушанье, не поверите, в салате, оказался презерватив. Так и пошло с тех пор.

За тщетной попыткой пошутить Констанс почувствовала тяжелую депрессию и напряжение. В его грубой неуклюжести ей привиделось нечто уютное и беспомощное, он был похож на старого слепого мишку, привязанного к столбу. Ей тоже хватало несчастий, с которыми так не хотелось оставаться наедине; она явственно ощутила, что

---

[93] Примечания: 93
Боль, тоска *(нем.)*.

ей не хочется возвращаться в свою холодную стерильную квартиру с перегруженными книжными полками и немытой посудой. С тех пор, как она получила письмо Сэма, у нее не было сил оставаться по эту сторону озера; даже в клинике ей было легче — в обществе коллег и санитаров, даже присутствие больных как будто приносило ей — парадоксальным образом — успокоение. Приблизился вечер, и Тоби вспомнил о приглашении на обед. Он церемонно раскланялся, выразив надежду еще раз… Учтивость семнадцатого столетия как нельзя лучше шла ему, он был как будто создан для нелепых поклонов и дурацких расшаркиваний. Остался один Сатклифф. «Наверно, странно существовать лишь в чьем-то дневнике, подобно Сократу, — подумала она. — Ведь о нем известно только со слов Платона».

А он думал: «Когда же наконец я закончу книгу, которую так давно мурыжу? Когда перестану дышать? Но идея-то была в создании идеальной книги — титанического труда — *le roman appareil*.[94] В конце концов, почему бы не поместить в книгу куски из других книг, черты чужих персонажей, циркулирующих в крови

---

[94] Примечания: 94
Здесь: роман-механизм *(фр.)*.

друг друга, — но чтобы все они были свежими, никакого повтора, вторичного пережевывания, вторичного дыхания. Такая книга может прозвучать вопросом: стоит ли жизнь того, чтобы жить, если все равно умрешь… Одно не может быть без другого. Я слышу голос: «Чем несчастный болел?» — «Смертью!» — «Смертью? Почему же он умолчал об этом? В смерти нет ничего особенного, если она приходит вовремя».

А она думала: «Познание боли — самое большое, что может дать любовь. Ну и дураками же мы были! Теперь мне все ясно. Одни браки чуть тлеют, у других все как у всех, а мы познали экстаз. Нам повезло! Поэтому мне трудно собраться с силами после такого удара. Что дальше? Буду жить одна, как Обри, спать одна на своей правой половине кровати головой на север; вот так, совсем одна».

Он же размышлял о своем: «Соединять и перемешивать реальности — вот настоящая игра! В конце концов, нам очень мало дано — всего несколько разновидностей характеров, типов поведения; вряд ли их больше, чем христианских имен, которыми мы пользуемся. Сколько наносной шелухи нужно соскоблить, чтобы добраться до истинно чистой поверхности, до сути? Все мы — фрагменты друг друга; каждый изначально по-

лучает кусочек от целого. От абсолюта — скажем, Аристотелева пятого элемента;[95] все персонажи по сути одинаковы и все ситуации идентичны друг другу или очень похожи. Вселенная наверняка умирает от скуки. И все-таки, я упорно мечтаю о книге, в которой не будет совсем отвлеченных персонажей, так как я дам им предков и потомков — могут ли такие люди вторгаться в чужие жизни и покидать их, не нанося никому вреда? Хм. И вся книга будет состоять из уменьшенных квинт — если говорить об оркестровке. Большая раздвижная книга, в которой всё — и суть и подходы к ней. Голгофа, а не книга. Надо поговорить о ней с Обри». Он наклонил голову, а воображаемая аудитория долго аплодировала ему.

Она думала: «Проснуться бы однажды и увидеть Абсолютное Добро! Какое оно?»

Сатклифф, сосавший трубку, чтобы не курить сигареты, отложил ее и взял еще одну сигарету, при этом с вызовом щелкнул пальцами, глядя на собственное отражение в тусклом зеркале, висевшем в кафе.

Выпитое уже начало сказываться на обоих; она

---

[95] Примечания: 95

По Аристотелю, весь предметный мир состоит из так или иначе скомбинированных четырех элементов: огонь, воздух, вода, земля. Пятый элемент — эфир, он неизменяем и лишен материи. *(Прим. ред.)*

ощущала беспокойство, ей было не по себе.

— Надо поесть, — сказал он и махнул неразговорчивому официанту, чтобы тот принес наводящее уныние меню. — Plat du jour, — печеная фасоль на тосте, — простонал он, проглядев его. — Придется взять это.

Ей не хватило сил возразить, они и впрямь должны были что-то съесть, чтобы не опьянеть совсем. Кроме того, это повод дольше пообщаться, Констанс пока не поняла, рискнет ли она вернуться к себе в квартиру, до которой было два шага, или опять потащится через озеро в клинику. Кстати, нужно было что-то решать — последний паром уходил в одиннадцать. У нее сильнее забилось сердце, а на щеках то и дело вспыхивал румянец — она чувствовала легкую растерянность. Принесли еду, и они с жадностью накинулись на нее.

— Жизнь — сплошное разочарование, — проговорил сидящий напротив Констанс великан, проглотив пережеванную порцию фасоли. — Я увидел объявление о том, что с моей конторой готова сотрудничать опытная секретарша, и отозвался на него, чтобы посмотреть, кто такая; о господи, ну и девица! Копна грязных волос на помеле. Ну, я отослал ее в департамент к Тоби.

Им там все равно.

Она не слушала его, размышляя: «До чего же ярки сны о прошлом». А вслух сказала:

— Я все еще вижу сны о прошедшем лете, когда мы все были в Провансе, — они там все как наяву. Даже подробности вижу очень ясно. Иногда нечто совсем банальное о Хилари, моем брате, и Обри. Знаете, когда Обри стал совершенно невыносим с его идеей превосходства французов над англичанами, мы ему устроили… В итоге всех своих бессмысленных рассуждений об Искусстве и Сексе он в качестве аргумента выдвигал богатство французского языка. Мол, в нем намного больше бранных слов, чем в английском, высокомерно заявил он. Мы ужасно разозлились и разыграли небольшую сценку, и потом, стоило ему сесть на своего конька, мы с жуткими гримасами хором скандировали примерно полудюжину ругательств, которые он всегда приводил в пример. Звучит не особенно смешно, но видели бы вы наши гримасы, а он еще ужасно краснел при этом…

— Что это было?

— *Cuistre! Mufle! Goinfre! Rustre! Jobard! Goujat!*

Fourbe! Gniaf![96]

— Отлично.

А она вздохнула.

— Интересно, что он сейчас делает, совсем один во дворце, когда Нил течет по потолку?

— Я скажу, правда, это лишь писательская догадка. С нарастающим раздражением он прислушивается к гнусавому нытью Кейда, своего слуги, который с укоризной массирует его. Кейду стало известно всё о греческой сиделке, и он говорит на своем унылом кокни: «Что до меня, сэр, то я ни за что не стал бы иметь дело с девушкой, у которой все сразу нараспашку».

— Мне пора, — сказала она, — но я столько выпила, что сама не дойду.

Покинув мрачное помещение с пыльной мебелью, они вышли на улицу и обнаружили, что идет дождь — осенняя изморось, к которой ни один из них не был готов.

— Ближе всего моя квартира, — проговорила она, радуясь, что все решилось само собой. — Тут за углом.

Они припустились бегом, как могли быстро, и сильно запыхались. Она долго искала ключ,

---

[96] Примечания: 96

Хам! Грубиян! Обжора! Невежа! Простофиля! Мужлан! Мошенник! Дубина! *(фр.).*

наконец нашла, и они поднялись на третий этаж. Внутри было полно пыли, как в нежилом помещении. Бросалась в глаза гора немытой посуды, и в открытую дверь можно было разглядеть неубранную постель. Однако сама по себе маленькая студия над озером была прелестна, и диваны были удобные. Констанс пригласила Сатклиффа располагаться как дома, пока она поищет что-нибудь выпить. В буфете оставалась только водка, но она, решила Констанс, будет для него роковой. Однако, видимо, он уже решил залечь там, куда плюхнулся; стащив с себя неуклюжие ботинки, он рассматривал большой палец на левой ноге, вылезший из дырки в носке.

— Мне нравятся эти пригородные квартиры в Швейцарии, — сказал он. — Они уютные. В холле всегда *membre fantômt*,[97] а в туалете — открытый томик Валери. В них живут психоаналитики и гинекологи, промышляющие абортами.

— Спасибо.

— Не стоит.

— Вижу, вы не верите в науку.

— Нет, верю, но в поэзию науки.

— И в счастье?

---

[97] Примечания: 97
Фантом ампутированной конечности *(фр.)*.

— При чем тут это? Нельзя создать таинственную и прекрасную энергию — *le bonheur*[98] — заступничеством или хлыстом, силой или обманом, можно лишь мольбой. Здесь начинается поэзия, и молитва тоже; поэзия и молитва ведут к мысли, а мысль создает науку. Но родословная длинная. — Он умолк из-за приступа икоты, изрядно напугавшей его. Шестипенсовик в рождественском пудинге надо принимать на веру. Надо верить, что он достанется именно тебе и действительно принесет счастье. Святая крупица истины.

— Вы слишком многословны, — с упреком проговорила она.

Он печально покачал головой.

— Смерть Сэма стала для вас ужасным потрясением.

После этих его слов оба, не сговариваясь, заплакали, схватившись за руки. С несказанным облегчением она поняла, что снова способна испытывать нормальные человеческие эмоции. Он плакал, как старая лошадь, а она плакала, как застенчивый подросток — шумно и некрасиво. Плача, она думала: «Появление на сцене

---

[98] Примечания: 98
Счастье *(фр.)*.

смерти придает всему невероятную прелесть — роскошь недолговечности, о которой человек старается не думать — боится. «Смертельное падение» существует для всех: клоунов, героев, влюбленных, хамов, дураков, уродов, королей, для здравомыслящих и сумасшедших, для молчунов и болтунов».

Она положила затуманенную, пьяную голову ему на плечо, и он, забыв про мужские амбиции, измученный пьяной истомой, гладил ее волосы корявыми ладонями и беспомощно повторял: «Ничего, моя хорошая, ничего». Она же продолжала размышлять об открытиях Фрейда: «Искусственно взращенный гнойник исповедального анализа! Истощение и неразбериха! «Стена плача» иудейского вороватого мышления, не способного отвлечься от инвестиций; сдираешь болячки с ран и еще удивляешься, почему они кровоточат. Рубцовая ткань неутоленных желаний!»

— Он прислал мне дурацкое письмо, — выпалила она, — в котором только мальчишеские шуточки и один-единственный искренний кусочек. Подождите, я принесу его. Оставила в туалете.

Она хотела разорвать его и спустить в уни-

таз, а вместо этого положила возле ванны, где соединяются раздвоенные трубы. Она достала отсыревший конверт и сняла ненужную бумагу, как кожуру с луковицы. «Конни, — прочитала она, — в смерти нет ничего особенного, и это правда. Конечно, человек немного боится боли, но вместе с ней приходит забвение. Величайшая слабость, которая никого не обходит стороной, с которой мы не можем справиться, — это любовь».

— Все листки склеились, — произнес Сатклифф.

— Я помню его наизусть, — отозвалась Констанс. — Но оно пришло слишком поздно. Вот почему мне так мучительно больно. Он пишет, чтобы я обязательно сохранила ребенка, ведь мы оба были абсолютно уверены в том, что я беременна. Я сказала ему, что не собираюсь удерживать его с помощью ребенка, так как когда он вернется, чувства его могут измениться.

Она постучала костяшками пальцев по лбу.

— Я играла в благородство. Не хотела привязывать его к себе только ради ребенка, случайно зачатого во время войны. В общем, я думала, когда мы снова будем вместе, у нас хватит времени зачать другого младенца. И я убила его. Я убила его. И сразу же пришло сообщение о гибели Сэма.

Естественно, этот ребенок стал бы для меня дороже всего на свете — если бы я сохранила его!

Теперь он понял всю глубину ее отчаяния и вины. Констанс стояла посреди комнаты, опустив голову, и восстанавливала в памяти холодный день в квартире старого врача — она лежала, раскоряченная, в кресле дантиста и смотрела на окно, в котором с поверхности озера отражались облака. Старый доктор что-то торопливо приговаривал, пока она лежала с раздвинутыми ногами. Боль и забытье от анестезии таяли, смешиваясь. Потом были горы ваты, чтобы остановить кровотечение. Старик принес помойное ведро, в котором лежал эмбрион, плод их с Сэмом любви, похожий на маленькую зеленоватую древесную лягушку, с отлично сформировавшимися пальчиками. Он лежал, как умирающий пловец, выброшенный на покинутый берег.

Поняв, что ему предназначена роль целителя-наперсника, Сатклифф начал задавать ей вопросы, и в конце концов она выплеснула на него отравленные мысли, накопившиеся в ее голове. Они все разговаривали и разговаривали, сидя в темноте, а в промежутках, когда голоса их стихали, слышали свист чаек и рев сирены, установленной на пароме, эти звуки смешива-

лись с булькающими звуками дождя, бившегося в окна. И сам предмет их беседы, и общее отчаяние оплели их умиротворяющей паутиной разделенных чувств; тем временем циркуляция алкоголя в крови медленно делала свое дело, и они заснули крепким сном. Констанс больше не плакала, а Сатклифф все громче храпел, положив голову ей на плечо. На рассвете она неожиданно проснулась, словно ее толкнули — ночь раздвигалась, наподобие экрана. На цыпочках, чтобы не разбудить своего наперсника, она пошла в кухню и принялась готовить сытный завтрак, чувствуя, что ее аппетит будет ничуть не меньшим, чем у него. Было еще очень рано, но она торопилась, потому что ей надо было перебраться на другую сторону озера, в клинику. А Сатклифф спал, время от времени похрапывая, и тогда жирные, похожие на желе щеки подрагивали. Ему тоже надо было быть на работе, поэтому, проснувшись, он был рад душу и яичнице с беконом. Вторгшаяся в их сонное царство реальность внесла свои коррективы — зазвонил телефон, разрезая, словно ножницами, его сон. Констанс коротко ответила и повернулась к своему гостю, который начал потягиваться и зевать, возвращаясь к бодрствованию.

— Это Шварц, — проговорила она с явным облегчением. — Он вышел на работу, и я наконец могу заняться своими делами. Хотите, чтобы я что-нибудь передала ему, когда мы сегодня будем вести прием? Или ей?

Сатклифф печально задумался.

— Мне обещали, что она сможет днем прогуливаться по набережной. Почему из этого ничего не вышло?

Констанс покачала головой.

— Ничего не слышала об этом. Может быть, она не захотела с вами встречаться? Я узнаю.

Он отправился в туалет, прихватив старый номер «Тайме», чтобы почитать там, а она принялась убирать в кухне и накрывать стол к завтраку, что она проделала тщательно и быстро, предвидя серьезные недомогания после чудовищного количества выпитого вчера спиртного. Опустошенная бутылка из-под водки лежала, оскалив зубы, так сказать. Неужели они и в самом деле столько выпили? На ее вопрос ответили громкие звуки в туалете. Она постучала в дверь и спросила, все ли в порядке.

— Да. Спасибо, — ответил он. — Я заблудился среди лиан своих трудов, читая передовицу в «Тайме». Строгая очищающая проза, теперь я

потопаю в свою контору прекрасный, как древняя богиня — девственница с рогами. Ох, моя голова!»

На улице прояснилось, солнечные лучи прогнали туман с озера. Расставаясь, они нежно обнялись.

— Ах, огромное вам спасибо, милый! — импульсивно воскликнула Констанс, и он благодарственно развел руки в стороны.

— Пятьдесят на пятьдесят, — ответил он.

И это было правдой.

— Помните, если надумаете послать Обри письмо, у меня есть возможность сделать это по телетайпу Красного Креста. — Сатклифф хохотнул и энергично кивнул. — Конечно, пошлю, — улыбнулся он. — И, вообще, Конни, не пропадайте и помогите мне, если придумаете как.

— Конечно.

В маленьком кабинете пахло турецкими, а не французскими сигаретами, и Сатклифф сразу понял, что утром тут побывал его коллега Райдер. Это было ясно и по кипам газетных вырезок и отпечатанных страниц, которые украшали соседний стол. За неделю надо было перевести ужасное количество технических статей из немецкой и швейцарской периодики. Напряженно работая,

сходя с ума от скуки, иначе не скажешь, они искали что-нибудь, что помогло бы расшифровать коды немецкой «тайной машины», не поддающиеся сотрудникам разведки. Тысячи и тысячи статей уже были обработаны, и тысячи еще ждали своей очереди. Они с Райдером заполняли «папку шифратора», которая должна была содержать все что только известно о таинственном предмете. Райдер — что удивительно для военного — великолепно знал немецкий, почему его и отправили заниматься этим тягомотным делом, но он работал вполне прилежно и нисколько не роптал. Маленький желчный молодой человек с усами щеточкой никогда не опаздывал. Он мало пил, мало курил и нечасто терял терпение. Сатклифф ненавидел его, так как понимал, что профессионализм Райдера подчеркивает его собственную нерадивость. Бывало, когда Райдер критиковал что-то в его переводе, Сатклиффа душила ярость. Он скрипел зубами, чувствуя, как на висках его вздуваются жилы от бешенства.

Однако критику приходилось принимать — ведь она исходила от человека более знающего; к тому же Райдер был начальником сектора, и их переводы шли в другие отделы с его подписью. Сатклифф всего лишь исполнял обязанности

клерка. Но до чего же он ненавидел свое положение подчиненного!

Сатклифф тяжело опустился на стул и почувствовал, как съеденное утром поднимается к горлу, — это когда он одним пальцем перевернул кучу вырезок из немецкой прессы. Он уже собирался взять свою папку, но тут в кабинет вошел сияющий Райдер, держа в правой руке два бокала для шампанского, а в левой — бутылку, обернутую мокрой салфеткой. Благодаря хорошему настроению его петушиная походка была еще более комичной.

— Сегодня, — сказал он, — будем праздновать. Я всё принес. Пьем шампанское. Г.Э. выразил нам вчера благодарность, так что звоним во все колокола.

Сатклифф чуть не застонал от раздражения и едва не спросил: «Всего-то?» — но Райдер продолжал:

— Однако повод для праздника совсем иной. Вчера вечером я добрался до Лондона и выяснил, что там наконец-то начали что-то понимать — пока немного — из того, что мы надергали у фрицев.

Вот эту новость стоило торжественно отметить, так как она освобождала от научных статей в

ближайшем будущем, и Сатклифф почувствовал себя счастливым. Однако… как ему ни хотелось присоединиться к «колоколам» Райдера, из-за отвратительного похмелья, накатывавшего волнами дурноты, это удовольствие было для него, видимо, недоступным.

— Совсем немножко, — слабым голосом попросил он.

Однако Райдер наполнил его бокал до краев.

— Пейте, старина. За нас!

По иронии судьбы вино было однолетним чувственно-нежным «боллинджером», и в то время как желудок Сатклиффа в ужасе пасовал, нёбо жаждало наслаждения. Сатклифф закрыл глаза и со страстным отчаянием, как человек, бросающийся со скалы в воду, поднес бокал к губам и выпил большую часть драгоценной влаги. На вкус она была чудесной, с этим не поспоришь, но по мере того, как шампанское продвигалось внутрь, в желудке началась предвиденная реакция, — слабые, но потом все более сильные спазмы. Сатклиффу было необходимо попасть в туалет, и поскорее; неописуемая ярость охватила его из-за отвратительных ощущений. В какой-то степени это состояние показалось ему символичным, учитывая тот бедлам, в котором они

пребывали, — тот бедлам, в котором пребывал весь мир: бедлам в сердцевине самой реальности.

— Первый добровольный бокал по поводу гитлеровских фокусов, и видите, что происходит!

Фронтовые сводки были ужасны, будущее неясным, и вряд ли можно было вскоре рассчитывать на вторую бутылку.

— Похмелье, насколько я понимаю! — воскликнул Райдер не без восхищения.

Белый, как рис, Сатклифф со стоном занял место за своим столом.

— Великий Климактерий, — сказал он. — Я знал, что однажды он меня настигнет… Великий Климактерий, — с достоинством ответил он на вопрос Райдера, — это момент, когда проблема близящейся смерти становится актуальней проблемы «как жить».

Зеркало в туалете упрекнуло и глубоко обескуражило его — глаза были красными, как сырая печенка. Легче ему не стало даже после звонка доктора Шварца, который сообщил, что прогулки его жене разрешены, но при одном условии: она будет гулять там, где не будет его; он не должен видеться с ней, пока ей кажется, будто ее преследуют.

— Преследуют! — презрительно отозвался Сатклифф, и тогда добрый доктор добавил:

— Ее будет сопровождать подруга-негритянка, — она согласилась приехать и гулять с ней между тремя и четырьмя часами.

Он надеялся, что Сатклиффу эта новость придется по душе.

Так и возник ритуал, которому теперь была подчинена дневная жизнь Сатклиффа; бледная блондинка и стройная пышущая здоровьем негритянка (обычно одетая в нечто фиолетовое, оранжевое, пурпурное) рука об руку медленно прогуливались по берегу серого озера. Позади, на большом расстоянии, шел Сатклифф в черных очках, в шляпе, подняв воротник пальто. Он хотел видеть ее; он не мог сопротивляться желанию видеть ее, его все еще мучили воспоминания о ней, она постоянно присутствовала в его мечтах. Болезнь, разворачивающаяся медленно, как питон, своими ремиссиями и путаными метаморфозами сводила на нет его старания не раскисать. Он следовал за двумя девушками, как следуют за похоронной процессией, что-то бормоча едва слышно, иногда постукивая слева или справа своей тростью, словно сбивая головки цветов, воображаемых, потому что ничего не росло на

сером мрачном бетоне у подножия горы.

Изредка чернокожая девушка останавливалась, что-то показывала, говорила, часто смеялась, и тогда ее большой рот становился похожим на открытый зонтик. Зато ее белокожая подруга никогда не улыбалась и никогда ничего не говорила. Хотя время от времени она тихо, но внятно повторяла то или иное слово, удивленная его незнакомым звучанием. Весь ее вид свидетельствовал о том, что панический страх вернул ее в ту пору, когда ей было лет десять.

Далеко, очень далеко позади шагал третий одинокий член этой не святой троицы, лелеявший убийственные мысли о судьбе и методах лечения доктора Шварца. «Вам чертовски хорошо известно, — мысленно говорил он невидимому доктору, — вам, Шварц, чертовски хорошо известно, тут с подсознанием ничего не выйдет, она превратилась в худенького ребенка. Вы возвращаетесь к уже апробированному, приятель, хотя ваша электрошоковая терапия устарела. Любой поэт скажет вам, что в основе болезни эго, которое приводит к стрессу, вносящему беспорядок в реальность. А потом еще тайные прогулки с

гномами и *Doppelgängers*;[99] однако стоит только уяснить это, как от позитивизма не остается и следа. Монета падает, жетон срабатывает, и вот уже сам далай-лама на проводе; получается одна поэзия — в высшей степени аберрантный[100] акт природы! Это другая сторона кризиса личности, стресс, вспышка, переход на другую стадию через турникет. Однажды в этих спокойных водах кто-то познает иной смысл бытия. — Так, стараясь незаметно идти вдоль озера, он остановился и внимательно поглядел на спину своей жены, прежде чем закончить монолог. — Так и только так можно стать великим любовником, укрываясь под иссеченной рубцами тканью старой высушенной любовной поэзии; несмотря на слезящиеся от непрерывного курения глаза и ухмылку миноги, я стал наконец-то Человеком, которым, собственно, был всегда. Любовником, созданным для блока интенсивной терапии в некоей великой клинике на озере. В этой клинике Конни в белом халате и со связкой ключей важно расхаживает среди игрушек, которые дают пациентам, — напрасная попытка наладить с

---

[99] Примечания: 99
Призраки, двойники из потустороннего мира.

[100] Примечания: 100
Отклоняющийся от нормы.

ними контакт. Шварц, когда ступите за пределы христианства и посмотрите на него с другой стороны решетки, у вас похолодеет кровь!»

Девушки, шедшие впереди, остановились у лотка, с которого продавались *beignets de pommes*, пончики с яблоками, и купили себе по штуке: неожиданно и Сатклифф от всех своих благочестивых размышлений ощутил дикий голод. Он не мог дождаться, когда девушки продолжат прогулку, чтобы незаметно подойти к лотку. Он хищно смотрел, как те кусают свои пончики, с удовольствием слизывая застывший сахар с губ и пальцев. Незамысловатое удовольствие вновь превратило их в школьниц, сбежавших с уроков. Белокожая девушка даже вроде бы улыбалась, как будто сахарная пудра вернула ей давно забытые воспоминания. Когда они вновь неспешно зашагали вдоль озера, желудок Сатклиффа свело от голода, и рот наполнился слюной. Ему стоило невероятных усилий дождаться, когда они отойдут на приличное расстояние, предоставив ему возможность чуть не бегом устремиться к лотку и торопливо попросить парочку восхитительных пончиков. Сатклифф со слезами на глазах смотрел вслед двум удалявшимся в сторону серых гор фигуркам, замерев на месте с пончиками в обеих

руках. Его переполняло чувство вины. Удивляясь своей ненасытности, он с жадностью откусывал, а в его памяти оживали давние картинки — как она лежала с закрытыми глазами в его объятиях и спала, словно Офелия среди лилий. Но уже тогда разум изменял ей, и Сатклифф был твердо убежден, что если он сумеет сделать ей ребенка, это благотворно отразится на ее психике. А она вела себя так, будто ничего не замечала. Она подчинялась ему, как покорный зверек, не выражая никаких чувств, позволяла ему всё, но сама оставалась безучастной. Их поцелуи бесследно испарились, а жизнь желанному ребенку они так и не дали… Сатклифф поплотнее закутался в пальто и продолжил свой беспокойный монолог, адресованный Шварцу,[101] — в сознании христиан священная Чернота символизирует смерть. Смерть, знающая толк в несчастье, всегда поблизости, терпеливо ждет, когда можно будет позвонить. Из глубины Женевы до Сатклиффа донесся колокольный перезвон, отмечающий время: ночью потемневшие старые зубы-башни болели в нежных деснах вогнутого берега.

— Какие предосторожности можно принять,

[101] Примечания: 101

Шварц — «говорящее» имя, на немецком означает — «черный». *(Прим. ред.)*

чтобы больная не совершила суицид?

Шварц спрашивал униженно, разведя руки, словно показывая совершенную невозможность этого.

— Никакие.

Христианский разум — чудесная страна непристойностей, подумал несчастный писатель и зашагал дальше. Почему так трудно вообразить реальность без свойств, иллюзорную душу? Вся Европа умирает от заражения крови из-за этой неспособности. И они с женой были смертельно больны задолго до того, как она отреклась от спасительных пут логики и причинности.[102] Прекрасно быть умным — но теперь он горько сожалел обо всех своих нарочито-ироничных изречениях, к которым он прибегал в разговоре с ней, по своей глупости воображая, будто она, благодаря им, восхитится его интеллектом. Например, когда он изрек, будто парадокс любви заключается для него в том, что человек жаждет чего-то постоянного, а любовь не бывает долговременной. За свою неискренность в любви он получил сполна! Многочисленные врачи в белах халатах и с нежными, как мотыльки, голосами

[102] Примечания: 102

Причинность — одна из наиболее характерных категорий классического рационализма. *(Прим. ред.)*

кружили вокруг да около.

Вот так началась жизнь в Вене, где были Фрейд и Юнг, — психоанализом под кисло-сладким соусом, если так можно выразиться. Оставим в покое нелепую старую рогожку Подсознания со всеми его ужасами и недоразвитыми страстями. Он довольно быстро уяснил суть и был околдован тем, что открывалось перед ним; в то первое время все горели энтузиазмом, никто еще не знал, что потрясающие перспективы ведут в *cul de sac*.[103] Если один стежок в рогожке порвался, делать нечего — разве что, естественно, совершить самоубийство, и тогда вся рогожка превратится в клочья. Тем не менее, он многому научился в Вене. Это была проверка, и еще какая. Выпивка и булочки с кремом разоряли. Кто-то, наверно сам Фрейд, уверил его, что люди с сильным характером почти всегда серьезно больны. Мы живем, стараясь компенсировать этот изъян; наши слезы, порожденные болью, превращаются в драгоценные камни проницательности. «Болезнь устрицы — жемчужина». Однако после того, как пара стаканчиков приводила Сатклиффа в чувство, он понимал, что если счастье не

---

[103] Примечания: 103
Тупик *(фр.)*.

нашло к нему дорогу, то в этом виноват он сам, так как не сумел хорошенько подготовиться к встрече. Теперь, после долгих лет злоключений, он осознал, до чего же неправильно западный человек воспользовался своими преимуществами; цель находилась не между ног, а между глаз — в шишковидной железе «белого видения».

Пока он смотрел на отдаляющиеся женские фигуры, нахлынули и другие воспоминания. Скоро подруги дойдут до конца набережной, и для него это будет сигналом — пора скрыться в боковой улочке, чтобы его не узнали. Чернокожая Трэш казалась сегодня очень оживленной, однако Сатклифф был слишком далеко, чтобы слышать ее грубоватый смех; и это к лучшему, ведь он мог бы прийти в ярость, вспомнив, как она спровоцировала сцену насилия в Сапфическом клубе, в одном из подпольных заведений Вены, и всё только из-за того, что он шел следом, рассчитывая отвадить партнершу и получить обратно жену. В ярости он погрозил Трэш кулаком и обещал побить ее, после чего получил удар в ухо, от которого у него зазвенело в голове. Дверь захлопнулась перед его носом, и какой-то Иуда щелкнул замком, оставив Сатклиффа одного на продуваемой насквозь улице, где пахло ночью и приближающимся сне-

гопадом. Он зашел в кафе рядом и напился так, что мозги едва не отказали ему совсем. Он сказал себе, что Трэш не женщина, она работает на батарейках. На вешалке у входа он приметил трость, висевшую на ручке, и его озарило. Он ворвется в клуб и примерно накажет негритянку, которая встала между ним и его больной женой. Когда Сатклифф с украденным оружием приблизился к заведению, то с удивлением обнаружил, что дверь распахнута настежь. Нерешительно войдя, он сверкнул глазами в предчувствии побоища и медленно пошел по коридору, тянувшемуся вдоль тяжелых портьер из Дамаска, от которых пахло пылью и кошачьей мочой. Едва он переступил порог салона с высокими потолками, как свет погас, и он понял, что попал в засаду. Со всех сторон из-за занавесей выпрыгнули голые люди, которые принялись бить его палками и зонтами. Шляпа помялась, галстук с него стащили одним рывком; его сбили с ног, он рухнул на колени, но яростно защищался с помощью трости, пока, несмотря на пару удачных выпадов, его не разоружили незримые девушки и не подавили его сопротивление — он нюхом чуял, что это были женщины, так как не мог их видеть. Счастье еще, что они разбили только его очки, правда

дорогие очки. Сатклифф как мог увертывался от лавины ударов. Он медленно отступал, двигаясь на четвереньках в сторону коридора, который вел к парадной двери, а как только оказался снаружи, его, покрытого синяками и вспотевшего от унижения, отпустили на все четыре стороны. Сатклифф постоял немного, посылая проклятия небу, однако легкие снежинки освежили его…

Вот так! В эту минуту его жена и негритянка повернули и пошли в обратную сторону. Настало время прятаться, и Сатклифф торопливо перебежал через дорогу, чтобы укрыться в боковой улочке, после чего медленно побрел назад в контору, где ему предстояло просидеть до шести часов, а потом — либо домой, где его поджидает чинный приятель, либо сразу в родной старый бар — плохо освещенный, мрачный и заставленный темной мебелью. Подходящий кокон для двух холостяков. Здесь он заказал себе выпивку и уселся, развернув женевскую газету, до того нелепую с виду, не говоря уж о дурацких статьях, что она вполне могла бы сойти за творение неграмотного идиота, обитающего в снегах на ближайшей горе. Одних новостей с театра военных действий было бы достаточно, чтобы ввергнуть читателей в отчаяние, но даже эти параграфы не произво-

дили должного впечатления, и отчасти в этом был виноват тот французский, на котором писал швейцарский журналист — что-то вроде овсянки, налитой в гитару.

Наконец-то появился Тоби, с важным видом переступив порог бара; ему очень нравилось быть шпионом, пусть даже кабинетным шпионом. Он носил темные очки и шляпу с чрезмерно большими полями и все время оборачивался, уверенный, что за ним идет «хвост», заглядывал под стол в поисках убийц и под кровать в поисках похитителей. Словом, не кабинетная крыса, а самый настоящий оперативный работник секретной службы. Сатклиффу надоедало смотреть на нелепые выходки приятеля, он разыгрывал его, подсовывая нечто более существенное вместо умозрительных страхов.

Время от времени он сообщал Тоби о странных телефонных звонках или о том, что загадочный черный автомобиль с закрытым кузовом — немецкий «Хорхе» с пуленепробиваемыми стеклами — проезжает по их улице после наступления темноты по нескольку раз. Так как автомобиль был полон вооруженных людей, то Сатклифф посоветовал другу обзавестись пуленепробиваемым жилетом, чтобы не бояться

нападения, когда он возвращается с работы. Однако Тоби возразил — жилет слишком тяжелый и, не дай бог, можно заработать грыжу. Тем не менее, советы друга произвели на него впечатление, и теперь, когда он ходил по улицам, вид у него был настороженно-озабоченный.

На сей раз он вошел в бар в отличном настроении и, оставив пальто и шляпу на вешалке, сердечно поздоровался с Сатклиффом, после чего рассыпался в благодарностях.

— Дорогой друг, не знаю, как вас благодарить… Ваши резинки…хитрая штуковина как нельзя лучше подходит для канцелярской работы…и для шпионской тоже… сегодня днем вы спасли мою честь… Мисс Фартингейл могла бы сказать вместе с Галилеем: *eppur si muove…*[104] теперь ей не приходится никого пришпоривать, слава богу, чтобы она передала добрые новости из Гента в Экс…

Положив портфель на стратегически идеальное место, чтобы тот постоянно был у него на глазах, Тоби пригласил Сатклиффа сыграть во французский бильярд, включил свет и проверил шары в деревянном треугольнике, предполагающем символические характеристики — квадратный

---

[104] Примечания: 104
И все-таки она вертится *(ит.)*.

корень из пяти — Великой Пирамиды: находившийся теперь вдалеке Блэнфорд когда-то внимательно рассматривал ее в большой книге с гравюрами, изображавшими разные таинственные вещи. Изредка они с Тоби произносили по паре слов, но в основном молчали, наслаждаясь возможностью поразмышлять между ударами кием и между своими репликами. Отдохнув и расслабившись, они поставили кии на место и заняли места за любимым столиком, и тут Тоби взглянул на часы и сказал, мол, пора выпить последнюю чашу, прежде чем заняться трудной проблемой обеда, которая была не по силам и тому и другому.

— Насколько я понимаю, вашего Райдера собираются наградить, — произнес он. — Ничего хорошего из этого не выйдет; проклятые военные терпеть не могут, когда старые послы вручают гражданским лицам награды, предназначенные им.

— Вряд ли он откажется, — заметил Сатклифф.

Тоби покачал головой.

— У этого человека неясно выраженный Сатурн. — Тут со стуком открылась дверь. — Наконец-то! — воскликнул Тоби. — А я уж подумал, не случилось ли чего.

Пришла Констанс! Сатклифф недовольно посмотрел на приятеля, поскольку тот, несомненно, знал о ее намерении прийти — наверное, она позвонила ему по телефону.

— Мог бы сказать мне, — прорычал Сатклифф.

Тоби принял высокомерный вид.

— Это было совершенно секретно — так она сказала — а я уважаю ее секреты, разве не так, дорогая?

Констанс выглядела гораздо лучше и опрятней, чем в первую их встречу, хотя, может быть, это сдружившись с ним, она так расцвела. Или тут иное: преодолев благодаря алкоголю и разговорам с Сатклиффом свою совестливость, она научилась справляться со своим чувством одиночества. Как бы то ни было, простота и душевное расположение, с какими она поставила свою тарелку между их тарелками, говорили об ее нежном отношении к обоим мужчинам. Более того, теперь у нее было что обсудить с ними и что ей очень хотелось обсудить. И она сказала, обращаясь к Тоби:

— Уверена, вам уже известно, что я скажу. По какой-то непонятной мне причине все считают принца двойным агентом.

Тоби с важностью кивнул.

— Но это же неправда. Иногда он очень резко нас критикует, но всем сердцем он с союзниками. Ну вот, как раз о нем я и хотела поговорить, потому что получила длинное сообщение по телетайпу, будто бы принц хочет получить разрешение на приезд сюда, чтобы обсудить некую проблему.

Обо всем этом Тоби уже знал, так как старый принц был предметом многих переговоров с Каиром, из которых следовало, что его передвижения вызывают сомнение и страх, ведь он вознамерился вернуться в неоккупированную зону Франции по причинам, которые едва ли можно отнести к «деловым переговорам». У Тоби не было собственного мнения на этот счет, однако долг обязывал его повторять то, что думали в его офисе. Ну а там полагались на выводы разгневанного Каира, где мрачный бригадир Маскелайн[105] подозревал старика в двурушничестве и считал, что опасно отпускать его в вояж по Европе, где тот начнет распространяться о своих военных симпатиях, а то и передавать немцам шифровки. Маскелайн

[105] Примечания: 105

Скорее всего, фамилия этого персонажа — намек на Джаспера Маскелайна (1902–1973), известного потомственного иллюзиониста, который, возможно, сыграл не последнюю роль в кампании, проводимой в Северной Африке во время второй мировой войны.

требовал во что бы то ни стало сорвать поездку принца и предложил задержать его в Женеве — якобы из-за проблем с визой. Однако легко сказать, но трудно сделать — посол в Египте поддерживал принца и наверняка в случае надобности с удовольствием поспособствовал бы ему — в пику армейской службе безопасности. Задержать старика можно было бы, лишь устроив такую бюрократическую неразбериху, что обескураженному принцу наскучит «воевать» и он сам отменит поездку. Всё это Тоби в подробностях изложил Констанс, наблюдая, как она теряет терпение.

— Вы не знаете старину принца, — сказала она. — Он не только очень милый, но и очень упрямый, да и довольно многие примут его сторону, а не вашей недальновидной разведки. Попомните мои слова.

Тоби вздохнул и заказал еще выпить, чтобы, сказал он себе, дать ей время остынуть; однако Констанс почти тотчас возобновила свои нападки:

— В любом случае, жребий брошен. Швейцарцы дали ему визу, и Красный Крест отправил сообщение послу.

Тоби, кивнув, вздохнул.

— У армейской службы паспортного контроля приоритет. Если они сделают вид, что не смогут выпустить его раньше, чем через два месяца… таковы намерения Маскелайна… Много ли власти, скажите мне, у Красного Креста в Каире?

Констанс хмыкнула.

— Скоро узнаете. Старина принц завтра же будет в небе Египта, в конце недели он вылетит из Турции. Он уже просил меня встретить его, а я поручила это Феликсу Чатто.

— Кажется, еще одно знакомое имя, — произнес Сатклифф, почувствовав, что вылезает из пропасти своего затворничества и отчаяния. — Это консул? Так я и думал.

— Конечно же, вы его знаете. У меня больше нет сомнений насчет вас. Вы были с Обри в Вене, когда Ливия, моя сестра… Она исчезла, едва началась война.

— Неужели Обри и вправду любил ее?

К собственному удивлению, Констанс залилась жарким румянцем.

— Естественно, любил. А кого же еще?

— И Феликс любил?

— Спросите его сами. Он в консульстве и по утрам принимает посетителей.

— А Ливия?

— Как сквозь землю провалилась. Я видела ее в хронике, в фильме о большом нацистском митинге. Она была в нацистской форме. С тех пор — никаких известий. Даже подумать страшно, Робби, что с ней.

Сатклиффу было приятно это интимное «Робби».

— Правильно, зовите меня Робби, и Обри тоже зовет меня Робби; мне кажется, я становлюсь ближе к нему. В конце концов, мы многим вам обязаны, ваш Фрейд отправил нас в Вену. Бедная моя страдалица Пиа! Увы, Вена ее не вылечила!

Констанс положила руку ему на плечо и слегка сжала его.

— Мне жаль.

Тоби вернул их к предмету разговора.

— Мы исходим из следующего: собирается или не собирается старый бродяга снова затевать тайные проекты? У меня нет никого, чтобы прикрывать его.

Констанс рассмеялась и уверенно заявила:

— Он в этом не нуждается. Если хотите, я гарантирую его *bona fides*.[106] Он остановится в «Орионе», где у него постоянные апартаменты

---

[106] Примечания: 106
Добропорядочность *(лат.)*.

с тех пор, как он еще давным-давно покидал иногда Египет.

— И он расскажет нам об Обри, — сказал Сатклифф и, сконфузившись, умолк, потому что его реплика вновь вызвала из небытия призрак погибшего Сэма. Констанс кивнула, чуть-чуть побледнев. И заметила, что Красный Крест уверен: с какими бы проектами ни приехал принц, его появление обязательно привлечет внимание разведки.

— Поэтому я прошу вас прислать своего представителя на первый большой прием, на котором он расскажет о нашей работе в Египте, а потом будет говорить по своему усмотрению. Я еду туда исключительно в качестве консультанта швейцарского отделения. Больше у меня нет никаких полномочий. Но меня попросили заодно заняться организацией этого приема, чтобы не терять зря время.

— Не могу винить Каир за такое скептическое отношение к старине принцу, — проговорил Тоби. — Если бы Фарук числился в моей картотеке — как человек, день и ночь работающий на немцев, я бы тоже был начеку. Ну, конечно же, мы пришлем кого-нибудь, может быть, я сам и поеду, поскольку я хоть что-то знаю о том, чем

вы занимались в последнее довоенное лето, а у нас проблема с агентами, абсолютно некого заслать в неоккупированную зону, пока дверь не захлопнулась, чего уже недолго ждать.

— Почему недолго ждать? — спросил Сатклифф.

— Слишком много всего происходит, — ответил Тоби. — В конце концов, они не выдержат и займут всю Францию. А пока мы стараемся подготовиться, хотя французы черт-те что вытворяют, отлично ладя с бошами.

Втайне Сатклифф был очень раздосадован: Тоби утаил от него, что в бар собралась приехать Констанс. Он жаждал мести и объяснений — оба должны были загладить грех сговора. Но приятель, сразу поняв причину раздражения Сатклиффа, решил угостить их с Констанс обедом в «Лукреции», где хорошо кормили, правда, за высокую цену. Разговор о принце был отложен на потом, и вечер прошел в Дружеском подшучивании друг над другом.

Глава шестая
Еще один приезд принца

Пророчества Констанс насчет возможностей принца подтвердились: не прошло и недели, как Сатклифф и Тоби стояли на ветреном летном поле, в темноте — светилась лишь взлетная полоса, — и ждали самолет с принцем на борту. Принцу удалось с поразительной легкостью обойти все препятствия на своем пути.

— Мой босс злится, — сказал Тоби. — Он запретил мне упоминать имя принца, так как у него сразу начинают болеть зубы. Каир в ярости.

— Все в ярости, — отозвалась Констанс, — ну и что?

Состав встречающих был таков: сама Констанс, тучный швейцарский банкир, который представлял Красный Крест, Феликс Чатто из консульства, Тоби с видом заправского шпиона и египетский Chargé d'Affaires[107] с гладким, как яйцо, лицом. Они слышали шум самолета, подлетающего к Женеве между горными пиками, который ста-

---

[107] Примечания: 107
Поверенный в делах *(фр.)*.

новился то громче, то тише — в зависимости от высоты полета; предположительно, это был старый английский самолет с большим количеством пассажиров. Во всяком случае, они надеялись, что не обознались. В здании аэропорта царил мрак, и только несколько слабых ламп освещали зал ожидания. Было холодно, в воздухе чувствовалось дыхание осени. Нетрудно было представить темные замерзающие европейские города, которые, наверняка, из-за комендантского часа и недостатка продовольствия уже погрузились на несколько тихих враждебных часов нацистской ночи в сон или тревожное ожидание. Бар в полутемном зале не работал, иначе можно было бы выпить кофе, чтобы согреться, или виски, чтобы забыть о людских бедах. Наконец в черном небе материализовался самолет, видимо, тот самый. Он вырулил на взлетную полосу и остановился в конце ее, и вот начали выходить пассажиры, в основном военные и дипломаты, среди которых неторопливо шагал принц, щеголевато одетый и со свежим цветком в петлице. Небольшая группа ожидающих образовала полукруг, в который он вплыл, с улыбкой всматриваясь в лица, пока его взгляд не остановился на Констанс, и тогда раздался негромкий возглас, а улыбка погасла.

В мановение ока она очутилась в его объятиях, он так сжимал ее плечи, что ей стало больно. В конце концов они разомкнули объятия, и она увидела в его глазах слезы.

— Должен признаться, это случилось по нашей вине, — произнес он едва слышно. — Принцесса наказала ничего от вас не скрывать. Это мы с ней виноваты, не надо было устраивать тот ужасный пикник. Его гибель, *aïe!*

Он поднял руку и пальцем несколько раз стукнул себя по лбу.

Констанс стиснула руки принца, словно желая утешить, смягчить остроту горя. Ее порыв помог ему совладать с собой и уделить внимание остальным, он поздоровался с каждым из встречавших, щепетильно соблюдая правила этикета. Нашлись у него особые слова и для Феликса Чатто, которого он помнил по Провансу. Молодой консул был приятно удивлен тем, что принц с пониманием отнесся к его политическому мировоззрению.

— Я не забыл ваши суждения о политике, — сказал принц, — и воспользовался ими, когда ваш глупый дядя делал один промах за другим.

Для слуха Феликса это звучало как прекрасная музыка. Исполнив свой долг, принц, сослав-

шись на поздний час и на усталость, попросил извинить его. Чтобы утром быть в форме, надо немного поспать — что тут возразишь?

Несколько служебных автомобилей последовали за темным лимузином Красного Креста, который вез принца и банкира в любимый отель египтянина, но, въехав в город, рассеялись в разных направлениях. Феликс довез Констанс до ее дома, поцеловал в щеку и пожелал спокойной ночи. Принц передал ей большой конверт от Обри Блэнфорда, в котором были его послания и рукописи, и Констанс не терпелось хотя бы бегло просмотреть их перед сном.

На другой день все встретились в бальной зале консульства, которую часто использовали как зал заседаний, и здесь принц, так сказать, отмытый и отстиранный, с апломбом должен был председательствовать на совещании. Сегодня он уже привычно пустил в ход свою обходительность, умение зажечь слушателей и четко определить суть. Начал он свою речь с обзора военного положения, как оно видится египтянину.

— Я очень раздражаю англичан, — признался он, — потому что моя разведка работает намного лучше; понимаете, придерживаясь политики нейтралитета, мы все же сохраняем дипло-

матическое представительство по ту сторону германской границы, а также нормальные личные связи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я неплохо знаю сложившуюся ситуацию. Естественно, мы передаем все материалы союзникам, но нам часто не верят, считая нас двойными агентами и обвиняя в передаче недостоверной информации… Господи, до чего же подозрительны и недоверчивы европейцы!

Центральное отопление работало на всю мощь, и принц, которому стало очень жарко, вынув из внутреннего кармана маленький японский веер, принялся обмахивать им лицо, не прекращая говорить. Он был само здравомыслие и, начав с захвата Польши, упомянул все события по порядку, так что слушателям пришлось набраться терпения. Все важные сражения и несчастья вколачивались в их сознание, как гвоздь, забиваемый в стену. Дюнкерк, Судан, где Франция потерпела поражение, сражение за Британию, падение Парижа.

— Чего еще ждать? — спросил он. — Я скажу вам, хотя не могу точно назвать даты. Только не говорите англичанам, они все равно не поверят. Тем не менее, все мои знакомые и все мои поставщики информации уверены в нападении немцев

на Россию в ближайшее время. Давление на Западном фронте несколько ослабнет, но только не в пустыне, где гитлеровская Германия и ее союзники вновь накапливают силы.

Потом он говорил исключительно о бюджете, балансовом отчете и распределении средств Красного Креста.

— Мой вояж заинтриговал всех, но на самом деле в нем нет ничего из ряда вон выходящего. У меня есть письма к некоторым людям, и я должен еще заехать в Швецию и Париж. Надеюсь на этой неделе получить соответствующие документы. Однако, пока я веду переговоры с немцами, предлагаю послать наших представителей в неоккупированную зону Франции. Может быть, в Экс? Или в Марсель? Или в Авиньон? Не знаю. Наверно, вам это кажется делом не срочным, но я уверен, что неоккупированной эта зона пробудет недолго; англичанам совсем нетрудно забросить туда своих агентов, так как там намного проще, чем на индустриальном севере, организовать сопротивление немцам. Вам-то известно, каковы французы. Они не станут подчиняться приказам, притом, они совершеннейшие эгоисты, так что рано или поздно возникнет недовольство, и немцы закрутят гайки. Нам нужны там люди, чтобы

они наблюдали за поставками и распределением медикаментов между врачами. Не думаю, чтобы немцы отказали нам в этой просьбе, поскольку они не дезавуировали свою подпись под договором и официально нас ниоткуда не прогнали.

Комитет слушал принца в почтительном молчании. Все довольно смутно представляли, что предстоит делать и насколько неодолимы бюджетные проблемы. В Египте как будто все шло хорошо, и даже военные силы оси Берлин — Рим не могли поколебать тайной самонадеянности его правителей.

— Итак? — продолжал принц. — Война продлится года четыре, раньше мир не наступит; и даже я не могу сказать вам, что это будет за мир и на каких условиях! А ведь казалось бы, мне многое известно… но есть определенные границы. Хотите знать больше, обращайтесь к Нострадамусу!

В тот же вечер в консульстве состоялся прием в честь принца, на который был приглашен только Феликс. Констанс надо было заниматься своими делами, а департамент Тоби никогда не фигурировал в списке приглашаемых из-за своей секретности. Принц был в отличной форме.

— Феликс! — вскричал он. — Можно вас так

называть, ведь мы с вами старые провансальцы, правильно? Знаете, Феликс, я хотел поговорить с вами откровенно о вашем дяде, о лорде Галене. Боюсь, англичане погорячились с его назначением, ведь его иногда заносит не туда.

Феликс Чатто со стоном воздел руки к потолку.

— Увы, не могу с вами не согласиться. Назначение ужасное. Премьер-министр, наверно, сошел с ума!

Лорд Гален был назначен министром культуры и информации и принял новый пост с величием и свойственной ему изощренной непоследовательностью.

У всех это назначение вызвало изумление. Не то чтобы лорду Галену не хватало культуры — просто у него ее было не больше, чем у любого другого человека, который провел всю жизнь на фондовой бирже; существовали и иные возражения. Тот факт, что он слыл весьма авторитетным членом еврейской общины, мог быть использован нацистской пропагандой — для комментариев насчет культуры государств-членов антифашистской коалиции; более того, это назначение вызвало недовольство и у всех евреев-интеллектуалов, уже втянутых в борьбу с фашистами.

— Кстати, ваш дядя в качестве министра произнес на своей первой пресс-конференции речь, которая была фантастически неуместной.

С этими словами принц встал на цыпочки, раскинул руки, подражая манере публичных выступлений лорда Галена, и произнес, то и дело запинаясь, словно от избытка чувств: «Культура… наше наследие… мы обязаны… сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить ее… она бесценна… я хотел сказать, а?» Тут же выйдя из образа, — словно скинув пиджак, — принц поджал губы и недовольно покачал головой.

— Это невозможно. Ему везде аплодируют, но ведь над ним смеются. Напоминает манеру Рамсея Макдонадда[108] в его лучшую пору. Знаете, как он тут до смерти напугал Обри. Бедняга проснулся — и видит лорда Галена на краю своей кровати: руки раскинуты, как крылья орла, и при этом он нараспев твердит: «О, мой милый Обри, первая жертва, понесенная нашей культурой…первый юный писатель, обожженный вражеским огнем… Я награжу вас орденом Британской империи четвертой степени». —

[108] Примечания: 108

Рамсей Макдоналд (1866–1937) — премьер-министр Великобритании, известный своими пацифистскими взглядами, из-за которых потерял кресло главы правительства в 1918 г.

Принц и Феликс засмеялись, представив себе, как Блэнфорд просыпается после дневного сна и обнаруживает этот черный призрак культуры в изножий своей кровати. — Я напомнил, что Обри был ранен своими же, — продолжал принц, — и лорд Гален ужасно рассердился. Нет, вряд ли он долго пробудет министром. Ему все-таки не хватает культуры. Вы же знаете, Феликс, я — его старый друг и очень его люблю, так что мне не к лицу злорадствовать. Но он ужасен!

Феликсу были приятны искренность и теплая доверительность старины принца; это как бы подтверждало его собственную зрелость, а он и вправду очень изменился с тех пор, как началась война. Во-первых, он получил намного более высокий пост в Женеве — судьба посмеялась над ним, ведь он-то сделал все возможное, чтобы попасть в военно-воздушные силы, но у него ничего не получилось. Министерство иностранных дел «застолбило» молодого человека на этом новом посту, и теперешние обязанности его были не слишком обременительными и секретными. Но что самое замечательное — лорд Гален, проникшись уважением к успехам племянника, предложил ему неплохое содержание, позволявшее не только сносно существовать, но

даже купить небольшой автомобиль, что весьма способствовало рождению его нового образа — образа высокопоставленного чиновника средней руки. Феликс переменился быстро и как будто к лучшему; теперь он чувствовал себя как дома в знаменитых *auberges*[109] города и, естественно, в наиболее респектабельных ночных клубах. Ему даже удалось победить свою застенчивость, и теперь он смело приглашал случайную партнершу провести ночь в его квартире. Он стал выше ростом и намного симпатичнее, а принца уверил в том, что будет счастлив когда-нибудь принять пост в Каире, если представится такая возможность.

— Конечно же представится. Министр — мой друг, — с горячностью отозвался крошечный принц. — Он всё для меня сделает. Это благодаря Оливковой Горе, так мы зовем его, я здесь наперекор пронырам из Арабского бюро. Я немедленно возьмусь за это, как только закончу с делами здесь и в Париже и вернусь в Египет. Мы еще поговорим — тут не место для подобных бесед.

Принц считал, что всему должно быть свое место и свое время; поразительно, как он умел,

---

[109] Примечания: 109
Постоялые дворы *(фр.)*. Здесь: рестораны, рестораны в отелях.

словно в картотеке, держать все в памяти. Большинство людей его ранга не справилось бы и «уполномочило» все запоминать секретаря. Но как раз из-за дотошности принца Констанс не сомневалась в том, что он непременно уделит ей какое-то время — им надо было обсудить целое море всего, о чем еще не упоминалось. Пребывая в тени, она ждала, когда он выполнит свою программу визита. И вот, спустя неделю, в течение которой ей каждое утро доставляли букет роз, принц пригласил ее на ланч и прогулку вокруг озера.

День был на удивление ясным, несмотря на свежий ветер с заснеженных гор, — обычный для Швейцарии осенний декор уже предъявлял свои права. Компенсируя недостаточную длину ног опорой в виде подушки, принц сам сидел за рулем служебного лимузина. Поначалу оба молчали, растерянные от овладевшей ими вдруг робостью.

— Странно, — с удивлением произнес наконец принц, — но я не знаю, с чего начать… Не правда ли, странно? Помогите же мне, Констанс.

Она улыбнулась и, мотнув головой, откинула с глаз волосы.

— Понимаю. Странное чувство внутреннего

запрета! Дорогой принц Хассад, простите меня. Давайте сначала поговорим о нем. О Сэме.

Он сразу осознал, что она права насчет их общего нежелания говорить о смерти, мысли о которой не давали покоя им обоим. И он начал негромко, но очень эмоционально рассказывать о фатальном пикнике и о Мосте Вздохов, чувствуя ее напряжение, ее страх, которые пока еще не выплеснулись наружу, хотя ее пальцы все же слегка дрожали, когда она закуривала сигарету… и еще она резко отвернулась к окошку и принялась смотреть на убегающий озерный пейзаж. Принц не упустил ни одной подробности, он и не хотел ничего утаить, потому что жаждал покаяния — скорее выложить весь груз своей вины, рассказать Констанс все до мелочей об этом несчастье, за которое считал себя ответственным. Как это ни парадоксально, он даже обиделся, когда она вдруг резко подвела итог:

— Ничьей вины тут нет. И не стоит больше об этом говорить, на этом и закончим. Такое могло случиться и на Пиккадилли — из-за не сладившего с тормозами шофера такси, и вам это известно не хуже, чем мне. Разве что…

— Что? — спросил он, не сводя с нее взгляда.

— С тех пор как это произошло, меня перепол-

няют нетерпение, злость и чувство собственной никчемности. Я всерьез подумываю вернуться в Англию, бросить тут все и найти там какое-нибудь по-настоящему нужное дело. В конце концов, именно там происходят реальные события, там люди голодают и гибнут под бомбами. Там настоящая жизнь, а тут мы на задворках реальности. Швейцарцы действуют мне на нервы, они все жутко скучные и прожорливые.

— Мне понятны ваши чувства, — задумчиво проговорил принц, — однако все же не стоит что-то предпринимать сгоряча. У вас тут важная работа, но если вам действительно хочется уехать, то я могу поискать более полезное для вас занятие. Только я бы не советовал.

Он строго покачал головой, подтверждая свои слова, отчего она улыбнулась ему еще ласковее и даже похлопала его по плечу со словами:

— Вы меня упрекаете.

— Нет, но не надо много ума, чтобы понять — вами владеет чувство вины. Вам хочется быть наказанной, и поэтому вы жаждете действовать, вам нужен страх и дискомфорт.

Конечно же, он был прав, и она отлично это понимала.

— Просто я сбита с толку. Устала от сумасшед-

ших. Мне нужны перемены. Кардинальные перемены. — Некоторое время они молчали. — Я стала чересчур раздражительной и впечатлительной, — продолжала Констанс. — А это — очень плохо, когда занимаешься тем, чем занимаюсь я. Вчера умирающий бросил тарелку в сиделок — в моем отделении работают одни монахини — и крикнул: «Вы совсем меня не любите. Вы любите Иисуса Христа, лицемерки! А мне нужно, чтобы любили меня! Не трогайте меня, проклятые ханжи!» Представляете, я заплакала — врач не имеет права так расслабляться.

— Что ж, значит вам и вправду нужны перемены; как насчет поездки в Ту-Герц? Мне вскоре понадобится побывать в Авиньоне. Вчера я посетил германскую миссию, и там согласились попросить у Берлина разрешения на представительство Красного Креста в неоккупированной зоне — хотя сомневаюсь, что она долго пробудет неоккупированной. Что скажете — путешествие в стан врага, так говорят? Боюсь, я выразился не очень корректно с точки зрения швейцарцев.

«Назад в Авиньон?» — мысленно изумилась Констанс, потому что эта идея показалась ей химерической, нереальной; поезда ходят плохо, граница закрыта, о чем ей было известно от

людей, проезжавших через Женеву и постоянно навещавших друзей и родственников в разных клиниках, непрерывный поток приезжающих. С незапамятных времен город был большим санаторием, а не только политическим перекрестком. Его теперешний нейтралитет не был чем-то новым; шпионаж и банковское дело процветали, а в воздухе витали прежние, хорошо знакомые разговоры о займах и объединении компаний. Принц находил все это интересным, многообещающим и вдохновляющим.

— Собственно, — сказал он, — когда представительство будет одобрено, я первый предложу вам отказаться от него. Но оно подошло бы вам, если бы ограничивалось годичным сроком и вы могли каждые две недели приезжать в Женеву? Проведать квартиру и продолжить свою здешнюю работу, только с меньшей нагрузкой. Что скажете?

Что сказать? Предложение было настолько неожиданным, что Констанс никак не могла осмыслить подобный вариант, и тем более ей было трудно принять решение. Когда они покидали Прованс, то думали, что прощаются с ним на многие годы, возможно, навсегда. Для Сэма это действительно оказалось навсегда.

Констанс закрыла глаза и представила старый разбитый балкон, на котором они проводили много времени в то лето, а теперь леса, верно, укрыты первыми зимними туманами и трещат от тяжелых утренних заморозков. Печальная дорога, бежавшая мимо соседней деревни в тихий город с его ансамблем башен и башенок, с его широкими крепостными стенами, на которых было множество гнезд аистов, с его бастионами, облюбованными цыганами.

— Не знаю. Мне надо подумать.

— Конечно, надо подумать, — отозвался он, — да и представительства еще нет, так что у вас много времени.

— Да, — сказала Констанс, и в этот момент автомобиль, въехавший в серый город, резко повернул и оказался возле египетского дипломатического представительства. Стоявший на лестнице, что вела на крытое крыльцо, молодой человек вдруг оживился и направился к ним. Он был высоким и очень красивым. Принц мягко нажал на гудок и воскликнул:

— А вот и он наконец! Это мистер Аффад, моя совесть, мой советчик, мой банкир, мой исповедник — в общем, всё и вся. Он наверняка вам понравится.

Аффад и вправду был на редкость привлекательным мужчиной: сдержанный, с прекрасными манерами, внимательный и услужливый. Он открыл дверцу автомобиля и решительно протянул Констанс свою смуглую руку со словами:

— Я — друг Обри, близкий друг, поэтому без раздумий смею просить вас принять мою дружбу. Мне довелось много слышать о вас, и я мечтал с вами познакомиться. Ну вот! Я сказал свою речь.

Констанс спросила, прилетел ли он сюда вместе с принцем, и он ответил утвердительно.

— Считается, что я его советчик в бизнесе и охраняю его от несчастий, так что я стараюсь. Но это не всегда возможно.

Подходило время чаепития, и принц направился в сад, где на застекленной веранде, заполненной экзотическими цветами, стоял чайный стол, тщательно накрытый для трапезы и уставленный разнообразным печеньем. Тотчас слуга принес воду для чайника, и принц со своими гостями удобно устроились за железным садовым столом в ожидании чашечки китайского чая. Похоже, Аффад собирался сообщить принцу что-то о делах, однако оборвал себя на полуслове и замолчал.

— Все в порядке, Аффад, при ней можете гово-

рить; она — наш близкий друг.

Аффад приятно удивился.

— Вы читаете мои мысли. Но поверьте: никаких секретов, просто я подумал, что невежливо болтать о своем в присутствии третьего лица — вот и все.

Принц нетерпеливо кивнул.

— Фу-ты ну-ты, сколько суеты! Констанс не будет возражать, если мы немножко поболтаем, не правда ли, дорогая? — Он повернулся к Аффаду. — Итак…

Банкир вынул из кармана маленькую красную записную книжку и начал ее листать.

— Отлично, — сказал он. — Ваша поездка в Швецию и Париж дело решенное. Правда, транспорт теперь очень ненадежный, так что визит может занять больше времени, чем вы рассчитываете. У меня состоялся долгий разговор с астрологом Морикандом.[110] Его действительно пригласили к Гитлеру, но он не смог пробраться через границы, где идет стрельба, и вернулся.

Принц рассеянно шарил в карманах в поисках своей записной книжки, по-видимому, желая сделать какие-то записи, однако под руки ему

---

[110] Примечания: 110

Имеется в виду астролог Конрад Мориканд (1887–1954).

попались фотографии его детей, и он принялся внимательно, с удовольствием, даже с обожанием вглядываться в них, слушая своего советчика, так сказать, вполуха.

— Астролог! — с отсутствующим видом произнес он. — Что еще? — Дети на снимке заглядывали в фотоаппарат точно любопытные оленята. — Маленькие дети всегда прелестны, — задумчиво произнес принц. — Каждый в своей маленькой душе уже несет знак судьбы, которая медленно разворачивается, как молитвенный коврик.

На принца вновь накатило чувство вины, он вдруг поник, но постарался взять себя в руки. Торопливо отложив фотографии, он повернулся к Аффаду, который сказал:

— Знаете, он живет в соответствии с предсказаниями, как какой-нибудь Тиберий,[111] так что прорицатели вовсю борются за его внимание. Позднее мы сможем воспользоваться этой его слабостью. Я рад, что вы на всякий случай захватили своих тамплиеров. Это как раз то… ладно, посмотрим. Что неминуемо, так это Россия; вся махина движется в ее сторону. Полагаю, что после падения Греции и победы Роммеля над англичанами

---

[111] Примечания: 111

Тиберий, Клавдий Нерон (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.) — римский император. *(Прим. ред.)*

в Египте этот человечек обрел свободу действий: теперь у него никаких проблем на флангах.

— У меня столько забот, — со вздохом произнес принц, обращаясь к Констанс. — Надо организовать поездку в Виши. Еврейская община в Египте предлагает огромные суммы, чтобы выкупить свою родню из Франции, и необходимо найти человека, который умеет внимательно слушать, как Лаваль.[112] Теперь вы понимаете, почему возникла идея насчет Авиньона. Кстати, англичане тоже имеют там своих агентов, которые сообщают, будто нацисты верят, что сокровища тамплиеров спрятаны где-то в Провансе и что нанятые лордом Галеном люди нашли это место, однако были вынуждены свернуть лагерь, не начав раскопки. Два его сотрудника, оставшиеся там, уже арестованы, и один умер под пытками. По иронии судьбы, это его немой секретарь, который не мог произнести ни слова! А немцам казалось, что он упрямится, вот и замучили беднягу до смерти. Что за мир, что за нелюди! — он встал. — Что ж, надо еще кое-что уладить перед отъездом. — С неохотой принц стал прощаться, он был очень нежен и пообещал немедленно

[112] Примечания: 112

Пьер Лаваль (1883–1945) — премьер-министр (1942–1944) правительства в Виши.

связаться с ней после возвращения, вероятно дней через десять. — Аффад отвезет вас домой. Он останется тут на некоторое время, кстати, у него письма для друзей Обри.

— Я могу подсказать вам, где их искать, — предложила она, — почти каждый вечер они проводят в довольно сомнительном баре. Если меня отвезут домой, я покажу, где он находится, это совсем близко от меня.

— Буду очень признателен, — ответил принц, и все трое пересекли ротонду и по мраморной лестнице спустились во двор, где их поджидал лимузин. Прощание было недолгим — принц был уверен, что скоро вернется. Время показало, что он был неправ, но этого он не мог предугадать тогда, в момент расставания среди зеленых лужаек и гравиевых дорожек египетского дипломатического представительства. Аффад вел машину медленно и осторожно, негромко беседуя с Констанс обо всяких пустяках; когда они проехали мимо бара, Аффад аккуратно записал его адрес. Аффад и в самом деле был на редкость красив, по крайней мере так показалось Констанс, однако ей не понравилось то, что она думает об этом, и она нахмурилась, отгоняя от себя ненужные мысли и сказав себе поучительно: «Красота не заменяет

характер. Вот!» Тем не менее, она еще поболтала с Аффадом, не выходя из автомобиля, оправдываясь тем, что должна быть любезной с друзьями принца. Но вскоре ей стало ясно, что она восторгается его смуглыми руками, лежавшими на руле, и легкой небрежностью в костюме. Что до него, то он нашел ее очень красивой, но несколько мужеподобной — мысленно он попытался убрать ее чудесные волосы и нарисовать ей усы. Этой уловкой, то есть мысленным изменением пола, Аффад часто пользовался, желая получше «разглядеть» характер человека. Бывало, таким образом он совершал настоящие открытия. Но в данном случае усы оказались не на месте, и даже в образе юноши Констанс выглядела прекрасным Нарциссом. Тогда Аффад, отбросив свои затеи, проговорил с улыбкой:

— Принц говорил, что вы работаете психоаналитиком. Полагаю, вы рассматриваете наши сны как закупоренные бутылки желания.

Констанс засмеялась и ответила:

— В известной степени так оно и есть.

На этом, со смехом и теплым рукопожатием, они расстались, правда Аффад попросил разрешения звонить ей и сообщать о передвижениях принца.

— Ну, конечно, — отозвалась Констанс и продиктовала номер своего телефона.

Автомобиль отъехал от дома и, завернув за угол, остановился возле старого бара «Навигация», где в эту минуту Сатклифф, не совладав с легким шаром, грубо выругался. Увидев в окно автомобиль, он крикнул своему приятелю:

— Эй, Тоби, тут черная машина. Смотрите. Какой-то вооруженный субъект только что перешел улицу. Он направляется сюда.

Происходящее было столь очевидным, что Тоби чуть не убежал прятаться в туалет. Далеко не сразу он пришел в себя, хотя Аффад совсем не был похож на убийцу. Когда же он сообщил, что привез письма от Блэнфорда, все восприняли это с огромным энтузиазмом. Аффад взял стаканчик, протянутый мрачным барменом, и подошел к посетителям, окружившим бильярдный стол, чтобы поговорить с ними, пока идет игра. Так состоялось его знакомство с двумя приятелями, и вскоре он стал с ними неразлучен.

Глава седьмая
Способность разбираться в окружающем мире

Слепящая белая лампа над бильярдным столом освещала две массивные мужские фигуры, которые резко контрастировали с изящной фигуркой Констанс, согласившейся присоединиться к ним. Бильярд давал возможность хорошо отдохнуть, скоротать вечер самым приятным образом — все трое молчали уже минут десять, не обременяя себя беседой. В кресле возле подставки для киев в непринужденной и элегантной позе устроился Аффад, который внимательно наблюдал за ходом игры и время от времени затягивался сигарой. Шары приветливо пощелкивали, катаясь по зеленому сукну. Сатклифф прервался, чтобы сделать глоток пива, и проговорил уже в четвертый раз:

— Черт меня побери, если я знаю, что вас мучает; я хочу сказать, ведь вы уже приняли свое дурацкое… я хотел сказать, романтически-драматическое решение… Правильно?

И он принялся с раздражением натирать мелом кий, словно это помогало ему избавиться от

растерянности и досады.

Констанс, по всей видимости, рассчитывала сделать серию удачных ударов, так что промолчала и не произнесла ни слова, пока не допустила промах.

— Я уже объясняла вам, зачем мне это нужно, но вы не хотите понять. Мне нужно что-то более конкретное, реальное. Что толку от несчастного психоаналитика, когда весь мир сошел с ума?

Тоби не удалось использовать удачное расположение шаров, и он шепотом выругался.

— Бабские выдумки, — проговорил он, не соглашаясь с Констанс.

— Думайте что хотите, — выпалила Констанс. — А я собираюсь во Францию, чтобы посмотреть, нет ли там более подходящей, учитывая теперешнее мое состояние, работы. Знаю я, о чем вы думаете, — что все это реакция на гибель Сэма; но его гибель лишь ускорила события! Меня уже давно разочаровала медицина, но дело не только в этом, а еще и в том, что я родилась женщиной. Да, черт возьми, всего лишь женщиной.

— Но почему же «черт возьми»? — с любопытством произнес Аффад, так как в реплике Констанс чувствовалось отчаяние и некий подтекст. — Какое отношение ваша женская суть

имеет ко всему этому — в особенности к вашей поездке?

Констанс с отчаянной решимостью терла мелом кий.

— Женщина-врач — это плохо. Мужское шаманство ей не подходит, потому что ее никогда не воспринимают всерьез, будь она даже вдвое умнее мужчины. Когда открывается дверь и вместо доктора входит всего лишь «врачиха», все надежды на исцеление сходят на нет. У больного душа убегает в пятки, когда он понимает, что ему придется иметь дело с женщиной, тогда как он предполагал иметь дело с ее мужем. Женщина может лечить, все правильно, но только мужчина, ее муж, может *целительствовать.* Конечно же, это вздор, но пациенту не объяснишь, что его инфантильная душа *чувствует* неправильно, потому что, заболев, человек снова становится ребенком, беспомощным и пассивным. Что может сделать женщина? Ну, естественно, она научилась у своего мужа паре уловок с лекарствами, однако ей не дано обладать непререкаемым авторитетом, отеческой теплотой и уверенностью мужчины-врача. Тоби, не соглашаясь, покачал головой.

— Ну знаете, Констанс, вы слишком все драма-

тизируете.

Девушка нахмурилась, продолжая играть и обдумывать ответ.

Она играла, крепко сжав губы и с сосредоточенным взглядом, но как только оторвалась от игры, сердито вздохнула, дав волю своей досаде.

— Я знаю, о чем говорю, — с грустью продолжала она. — В конце концов, я несколько лет проработала практикующим врачом, прежде чем стать психиатром. Могу лишь сказать, что будь я даже семи пядей во лбу, а мне кажется, я не самый плохой специалист, моя женская суть все портит. — Помедлив, она переложила кий в левую руку и опустила оба больших пальца вниз — римский знак «убить гладиатора!». — Даже если я продемонстрирую чудеса целительства! Мы работаем, соперничая с шаманами далекой древности, пережившими века. Потребуются еще сотни лет, чтобы примирились с женщиной-врачом — если вообще получится. Невозможно ведь представить Гиппократа женщиной — хотя, прости господи, почему?

Тоби уже собирался разразиться сердитой тирадой в ответ на ее отчаянную исповедь, но Сатклифф жестом его остановил, чтобы она могла продолжить свое рассуждение. Сам он был

искренне удивлен ее словами, а не произнесший ни звука Аффад даже отвернулся — видимо, она задела его за живое. Как же она сейчас была прекрасна — в эту минуту сомнений и раскаянья!

— Продолжайте, продолжайте, — негромко произнес Сатклифф. — Все это так необычно.

— Ладно, — отозвалась Констанс, — тогда позвольте мне привести элементарный пример. Я не могу обследовать пациента, не попросив его раздеться и не ощупав его с головы до ног. Что может быть естественнее? Но мне еще не довелось встретить ни одного мужчину, который не был бы возбужден этой процедурой, у некоторых даже возникает эрекция! Так не должно быть, но так бывает. Пришлось изобретать разные уловки, чтобы ликвидировать неловкость, которая мешает и ему и мне, потому что ни он, ни я не хотим, чтобы особенности мужской физиологии помешали нашему общению. Я все время что-то говорю, рассказываю, что делаю, локализирую его любопытство, чтоб он забыл о том, что может возбудиться, — иногда просто из-за стыда или из-за страха. Я говорю: «Теперь займемся вашей печенью! Если будет больно, скажите». Вот так все говорю и говорю, и он невольно начинает проявлять интерес к своей печени. А для того,

чтобы прикоснуться к мужчине, ведь это очень возбуждает, пришлось придумать другую уловку. Я купила короткую барабанную палочку, какую используют для фаготов. У нее резиновый конец, и я сначала касаюсь тела в нужном месте этой холодной палочкой, а уж потом пальцами! Господи, до чего же мне все надоело! А вот в психиатрии сексуальная игра лишь на вербальном уровне и противопоставлять мужскую и женскую восприимчивость можно очень легко, по крайней мере, мне так кажется. Кстати, совсем не обязательно *видеть* пациента, так даже гораздо легче.

— Разве красота не помогает исцелять?

— Мешает. Это только если любишь, Красота помогает. А в науке для нее нет места, так я думаю.

Все трое мужчин, словно эхо, отозвались:

— В науке!

— Да, — с вызовом проговорила Констанс. — В науке!

Аффад раскурил еще одну сигару и сказал:

— В идеальном мире наука станет любовью! — Он с любопытством смотрел на девушку, приготовившуюся к очередному удару, от прилежной сосредоточенности глаза ее стали совсем синими и лучистыми. — Однако вам все равно придется иметь дело с медициной, даже если вы примете

предложение Красного Креста, разве нет?

Констанс кивнула.

— В общем, да. Но по сути моя должность будет чисто административной — я буду распределять лекарства и продукты. Это гораздо проще! Впрочем, сначала надо поехать туда и самой во всем убедиться.

— Схождение в бездну, — с драматическим надрывом произнес Тоби. — Надеюсь, не случится ничего плохого.

— А что может случиться?

Но Тоби лишь покачал головой в ответ. По правде говоря, он не знал, что сказать. А Констанс при мысли о путешествии с принцем испытывала что-то вроде смутного ликования. Наверно, то же самое было с Сэмом, думала она, когда он надел форму и поезд повез его на войну. Глупо, конечно, но что есть, то есть.

Тем же вечером она должна была обедать с принцем в старом отеле «Орион», где ему очень нравилось бывать из-за обилия зеркал.

— Куда ни повернешься, куда ни посмотришь, *везде видишь себя!* — проговорил он с восторгом. — Иногда просто удивительно, потому что не знаешь, где ты настоящий, но все же ты *есть*. Иногда за тобой наблюдает кто-то из посетителей

без твоего ведома, и ты тоже можешь наблюдать за кем-нибудь. А если сидишь здесь один, только обилие зеркал поможет почувствовать себя счастливым!

Он деловито сосчитал количество своих отражений, не забывая энергично расправляться с копченой осетриной. Констанс не отставала от принца, недоумевая про себя, сколько еще времени швейцарцы смогут наслаждаться подобными деликатесами, живя в кольце сражений.

— Когда мы едем? — спросила она.

— Завтра днем, — ответил принц. — Не забудьте, никаких тяжелых чемоданов, потому что нам придется пересаживаться с поезда на поезд на границе и тащить все на себе. И наденьте серую форму со знаками отличия. Я решил отказаться от фески, чтобы меня не застрелили или не приняли за шпиона, но потом подумал, что лучше оставаться таким, как всегда, пусть даже это меня выделяет из толпы! В конце концов, нас должны встретить. Да и пробудем мы там всего дней десять. Ведь так?

— Договорились, — сказала Констанс и поехала домой собирать скудные пожитки: крепкие ботинки, твидовый костюм и теплое пальто, так как уже наступила осень, и, несмотря на жаркое лето,

зима уже была на носу. Потом, когда она проверила, не слишком ли тяжелыми получились два саквояжа, волнение ее несколько улеглось, зато его сменило любопытство, смешанное со страхом. Совсем не обязательно, что ее ждет что-то невероятно жестокое — просто немножко иное, непривычное, вот и всё, уговаривала она себя. Такси привезло ее на вокзал в назначенное время, одновременно подъехал автомобиль Красного Креста, в котором на заднем сидении, выпрямив спину, сидел принц. Он радостно помахал ей рукой.

После многочисленных препон им предоставили места в неотапливаемом поезде, что обещало много неудобств в дороге. К тому же поезд едва тащился, и принц, истинный египтянин, стонал, растирая пальцы в начищенных до блеска ботинках, пока они поднимались по заснеженной горе в направлении границы. Изо рта вырывались белые облачка; они кутались в пальто и грели руки в карманах.

— Что ж, жаловаться не на кого, — произнес принц, стараясь казаться веселым. — Никто нас не заставлял.

Это было очевидно, потому что помимо них с Констанс других гражданских видно не бы-

ло — все остальные ехали по делам службы. В вагоне было несколько железнодорожных служащих, несколько полицейских и солдат, а также *douanier*[113] в новенькой форме. Ехали медленно, как на похоронах, — словно опасаясь засады или подрыва на путях. В деревнях было много солдат, и железную дорогу, похоже, охраняли на совесть. В конце концов, на уровне Кюлоза, где двойная спираль из рельсов, поезд остановился и погрузился в темноту. По всей видимости, они пересекали временную границу. Изменилась форма, с ней изменился язык, голоса стали более громкими, интонации — непререкаемыми. "Schnell!"[114] — кричали голоса, и ноги топали по темной обочине. Душа у Констанс и принца уходила в пятки, до того было темно вокруг.

Им пришлось ориентироваться по свету фонарей и фонариков и нести свои вещи несколько сот ярдов в темноте; но наконец они вышли на французскую сторону, где был ярко освещенный вокзал, заполненный солдатами и чиновниками. В помещении таможни стояли длинные деревянные скамейки, на них сидели чиновники и

---

[113] Примечания: 113
Таможенник *(фр.)*.

[114] Примечания: 114
Быстро! *(нем.)*.

солдаты. Им в помощь прислали французских фашистов-милиционеров, которые выглядели порочными и зловещими в своих грязных макинтошах с нарукавными повязками, украшенными свастикой. С отвращением разглядывая их, принц едва слышно произнес:

— Когда канализационные коллекторы переполнены, появляются крысы!

И действительно темные лица, грубые и хищные, напоминали крысиные морды. Документы Констанс и принца проверяли с оскорбительной дотошностью, словно эта шпана собиралась на всю жизнь запомнить их фотографии. Потом они опять тащили свои вещи и поднимались в другой вагон, такой же неотапливаемый. Подождав немного, поезд с погашенными огнями двинулся дальше в ночь, стараясь не шуметь, то останавливаясь, то более или менее разгоняясь: было такое ощущение, что машинист не знает, где едет и что ждет его впереди. В окнах мелькала заснеженная земля — и Констанс с принцем даже не смели надеяться на более милосердные условия до самой Валенсии, где начинались оливковые плантации французского Средиземноморья. Было жутко. На небе появилась словно замерзшая луна. Казалось, она долго истекала кровью и оттого стала такой

бледной. Констанс задремала или пыталась задремать, а принц достал карманный фонарик и детектив, решив немного почитать, одновременно жуя имбирный бисквит.

— Я стараюсь вернуть себе хорошее настроение, — сказал он. — Это *необходимо!*

Это действительно было необходимо, и Констанс постаралась сосредоточиться на сне. Потому что сама она никак не могла избавиться от плохого настроения, которое, как ни странно, было навеяно ей еще на границе французскими солдатами; несмотря на их неопрятный вид, это были настоящие солдаты, с азартом обсуждавшие, что вкуснее — жареные улитки или улитки под соусом. Это было так по-французски, что Констанс захотелось смеяться и плакать одновременно! Французское отношение к жизни!

— Расскажите об Аффаде, — попросила она.

— Странный и довольно загадочный тип, — отозвался принц, мысли которого были по-птичьи шустрыми, переполненное эмоциями сердце часто бились о грудную клетку, тогда как сам он продолжал, так сказать, неподвижно сидеть на ветке. Он видел своего друга «мысленным взором», если использовать распространенное выражение. — Понимаете, мать его жены была

нашей приятельницей, она до сих пор наша приятельница, так как училась в школе вместе с моей женой. Теперь она живет в Женеве и приглядывает за его сыном. У нее просторный дом рядом с озером, и она все еще очень красивая, высокая, смуглая и похожа на статую, никогда ничего не говорит, только смотрит большими черными глазами. Мы обычно подшучивали над Аффадом, что он вечно между двух Лилий. И мать и жену зовут одинаково. У нее нет отца, тогда это считалось неприличным. Мать и дочь очень похожи, обе темноволосые, с фигурами, как у статуэток, и обе постоянно молчат, а глядят на тебя так, будто смотрят в колодец. И от их молчания, и от их взглядов становится неловко. Поначалу он дружил с Лилией-матерью. Рассказывал, что она часто звонила ему в дверь, а когда слуга впускал ее, то шла в гостиную, где стояла потом возле камина, глядя на Аффада и не произнося ни слова. Иногда она закуривала сигарету и задумчиво курила некоторое время — тоже молча. Потом, словно подчиняясь новому импульсу, она разворачивалась и покидала комнату — такая же неулыбчивая и непонятная. Аффад привык к таким визитам, во время которых они практически даже не здоровались. Правда, говорит, что

поначалу ему было жутковато. Потом он познакомился с дочерью Лилией и, к удивлению всех, женился на ней. Она так же поразительно хороша, как ее мать, суровая, как египетская богиня, эгоистичная до безумия, зато очень целомудренная и порядочная. Многие мужчины находили ее привлекательной, но она как будто не замечала этого. Однажды Лилия-младшая услышала, как Аффад произнес: «В благочестии есть своего рода независимость». И эта фраза — не уверен, что правильно ее процитировал, но что-то в этом роде — произвела на нее невероятное впечатление. Она безнадежно влюбилась в Аффада. Я лишь повторяю, что он сам мне рассказывал. Было это на многолюдной вечеринке с коктейлями. Она попросила его, словно желая оправдать свой сердечный порыв: «Пожалуйста, повтори еще раз, что ты сказал». Он повторил. И она осталась с ним, ее тянуло к нему, словно магнитом. Вот такие наши египетские женщины — летят на светоч разума, как мотыльки на свет.

— А сын? — спросила Констанс со странной тревогой. — Он где?

— Здесь. Поэтому Аффад часто приезжает сюда. У мальчика глаза его матери, собственно, и бабушки тоже. В глазах Лилии, в ее страстных

бездонных глазах столько боли, они горят как два солнца, правда, Констанс, как два солнца.

Он умолк, погрузившись в раздумья, восстанавливая в памяти драгоценные образы, мысленно оживляя их. Потом заговорил снова:

— В английской поэзии глаза называют «светилами», правильно, так оно и есть, у него два черных «светила»! — Слово обрело странный оттенок, когда он громко произнес его. — Думаю, они надеялись вылечить его, может быть, с помощью новейших методов типа вашего психоанализа, например… Но пока ничего не помогает. *Светила!* — повторил принц, с трепетом прислушиваясь к звучанию собственного голоса.

— Психоанализ! — печально повторила Констанс, вдруг осознав свою профессиональную беспомощность. У него очень узкий диапазон, у их драгоценного психоанализа. Можно достичь некоей глубины, а после этого сплошной компромисс и случайность, словно вдруг начинаешь читать слова, написанные азбукой Брайля для слепцов, — неизбежны искажения. Видимость делается все хуже. Все возможности продвижения исчерпаны, корабль напоролся на скрытые рифы. Интеллектуальная несостоятельность — так называемое лечение это всего-навсего век-

сель. — Он не поможет, — сказала Констанс. — В таких случаях от него мало толку.

— Это похоже на кульминацию, которую он унаследовал и от матери, и от бабки, я имею в виду его… как вы это называете? Ну да, аутизм. Ах, нам всем ужасно жалко бедняжку Аффада; стоит вспомнить о его семье, становится очень грустно. Поначалу у них сложились необыкновенные отношения, словно это были два неразлучных облака. Создавалось такое впечатление, будто они думают одинаково, даже дышат в одном ритме. Прошло довольно много времени, и Аффад уже как будто успокоился. Однако постоянно приезжает сюда навестить сына. Он рассказывал, что каждый раз перед тем, как идти в дом, спускается к озеру — он знает время — и смотрит, как большой черный автомобиль едет вдоль озера. Каждый день Лилия недолго катает там мальчика. Она все еще прекрасна и невозмутима, не видно даже тени недовольства, и она смотрит прямо перед собой так же, как мальчик. Он — в матроске от «Гарродс» и с «Г.М.С.Милтон» на бескозырке — сидит рядом с ней. Понимаете, о чем я? Однажды я вместе с Аффадом смотрел, как они едут мимо. Потом он спросил, что я думаю, а я не знал, что ответить. Я не понимал смысла

его вопроса. Вот так. В глазах мальчика была жизнь, казалось, он все видит, по крайней мере, он поворачивался то в одну, то в другую сторону. Почему он не говорит? Аффад сказал, что только один раз слышал Лилию-мать — когда она вдруг заговорила — в присутствии большой толпы. Это было в театре во время представления «Федры». Она вдруг с серьезным выражением лица поднялась с кресла и, подняв руку, крикнула глубоким хрипловатым голосом, но без негодования: «Нет! Хватит. Это слишком». Потом неспешно и спокойно развернулась и покинула театр, зажав уши ладонями. Люди такие странные, вы не находите? Ее красота была феноменальной, а ее серьезность усмиряла людей, как колдовские чары.

Констанс наконец-то почувствовала, что засыпает.

Поезд медленно катил между заснеженными полями, везя спавшую девушку и читавшего принца. Они проехали Гренобль, невидимый в темноте, и поплелись дальше в сторону Валенсии. Было уже довольно поздно, когда они въехали на пустой и тихий вокзал. Город спал, хотя то тут, то там мелькал луч света в окнах домов. Слишком усталые, Констанс и принц не сразу поняли, что поезд остановился. Из сонного забытья их

вывело лишь появление группы серых солдат с вещмешками на спинах, которые торопливо протопали по платформе и погрузились в поезд, только они нарушили тишину, которая казалась совершенно невероятной. После этого, словно получив заряд энергии от нового пополнения, поезд поехал быстрее, и они обнаружили, что мчатся по схваченным утренним морозом, но не тронутым снегом полям вдоль «священной памятной Роны» — эта фраза пришла Констанс на ум, когда она смотрела на скользившую рядом реку, а еще ей припомнилось веселое плаванье на пароходике, которое было как будто уже сто лет назад. Ивы, замки, виноградники — они никуда не делись. Это было непостижимо. Осознав, как судьба разбросала в разные стороны всю их компанию, Констанс с грустью вспомнила последнее мирное лето. И ведь с виду будто ничего не переменилось, Прованс был таким же, как всегда.

Словно чтобы отпраздновать наступление холодного рассвета, принц достал термос с горячим кофе и разлил его по чашкам. Кофе был вкусным, так же как имбирные бисквиты, которые он всегда возил с собой на всякий случай.

— Вы подумали и об этом! — воскликнула Констанс. — А я как дура воображала, что можно

будет добыть кофе, чай и сэндвичи.

Почему-то война у нее не ассоциировалась с лишениями, хотя что может быть очевиднее? «Мне еще многое придется узнать, насколько я понимаю», — мысленно произнесла она, кутаясь в пальто. Слава богу, проглянуло солнце, сверкавшее между оливами и шелковицами. Итак, познания Констанс о войне были еще недостаточными — ей предстояло их существенно пополнить.

Не доезжая до пункта назначения, они увидели древний виадук, который тянулся параллельно железной дороге, и, случайно глянув на него, Констанс различила медленно крутившиеся под порывами мистраля шесть фигур, в которых она по какому-то наитию сразу узнала мертвых людей. Они были сброшены с железной балюстрады, огораживавшей арку виадука, и висели в воздухе. Наверное, у них была недолгая агония — прежде чем они заплатили за то, в чем их обвинили. Они как будто парили в небе, повиснув на красноватых перекладинах старого виадука, словно куклы, медленно поворачиваемые на вертеле. У всех головы были нелепо закинуты, и они напоминали вопрошающий греческий хор или неведомых птиц. Зависшие высоко в небе

фигуры были неким преднамеренным предостережением — но кому и о чем? Когда-то Констанс пришлось видеть мертвых сорок, прибитых для острастки к двери сарая. Она похолодела.

— Смотрите! — крикнула она, будто отдавая приказ, и принц, выглянув в окно, долго не оборачивался.

Потом сказал:

— Приметы и предостережения господствующей расы! Шесть человеческих жизней!

А про себя он подумал: «Их долгая игра с реальностью, обстоятельствами и случайностями закончилась быстро и зловеще! Тихий, совсем тихий щелчок, хрустнула маленькая косточка — и все». Вдруг он почувствовал себя очень старым и очень уязвимым. Снова повернувшись к окну, он смотрел на раскачивавшиеся фигуры, пока они не скрылись из виду, как будто желал впитать в себя образ настоящей войны, реальной войны.

— Я смотрю, немцы чувствуют здесь себя как дома, — с горечью произнес он и, прежде чем вернуться на свое место, поцеловал Констанс руку.

Они погрузились в мрачное молчание, прерванное лишь скрежетом колес о рельсы, когда поезд опять замедлил ход, — они прибыли в Авиньон, пункт своего назначения.

На вокзале было почти пусто, если не считать военных, приехавших вместе с принцем и Констанс, поэтому они сразу увидели небольшую группу встречавших их людей в штатском. Сбившись в кружок, они уныло вглядывались в вагонные окна и переговаривались, однако, завидев принца и Констанс, сразу заулыбались. Встречавших было трое. Бор, швейцарский консул, представлявший интересы не только своей страны, но и некоторых воюющих государств — например Британии, Нидерландов, а также Бельгии. Рядом с ним со злобно-смиренным видом стоял врач, отвечавший за связь между военными медиками и Красным Крестом. Увидев, что ему придется иметь дело с красивой женщиной, он преисполнился провинциальной галантности — Констанс тотчас поставила диагноз: скучный французский юбочник. Его следует немедленно поставить на место! А третьей была невысокая и потрясающе красивая женщина лет тридцати с лишним — с такими же светлыми и блестящими волосами, как у самой Констанс. Во всем ее облике и улыбке было столько теплоты и естественности, что буквально сразу начинало казаться, что она — твоя лучшая подруга. По крайней мере, так показалось Констанс.

Встретили их радушно, но все трое держались несколько настороженно — словно за ними следили невидимые соглядатаи, записывали каждое их слово. С Бором Констанс была знакома — через Феликса Чатто, представившего его ей в Женеве. Это был крупный увесистый мужчина с невыразительным лицом, тягостно вежливый и немногословный, облаченный в плотный черный костюм. Фамилия врача была Беше, а женщину в меховом пальто звали Нэнси Квиминал. Констанс знала — из имеющихся документов, — что она замужем и у нее двое маленьких детей, что муж прежде играл в городском оркестре, но теперь прикован к постели непонятной болезнью. Уже несколько лет мадам Квиминал представляла Красный Крест в южной провинции, где главным городом был Авиньон — *chef lieu.* Держалась она очень просто и дружелюбно, чем немедленно очаровала и Констанс и принца. Обе женщины, можно сказать, рука об руку двинулись к выходу из вокзала. Военные охранники уткнули носы в их документы, словно вынюхивающие добычу мастиффы, но ничего не сказали, лишь помахали, мол, проход свободен. На первый взгляд как будто ничего не изменилось, но потом обнаружилось,

что исчезли все *fiacres*,[115] их заменила пара древних такси и два-три автобуса. Пальмы выглядели больными, словно были поражены милдью.

До чего же грустно, посетовала Констанс, и доктор мрачно заметил, что, по его сведениям, лошади были… он сделал широкий и выразительный жест… съедены, поскольку с мясом совсем худо. Увы, мяса нет, а если появляется, то стоит бешеных денег; с недавних пор его и по таким ценам не достать, даже по карточкам получить невозможно. Констанс стало не по себе.

— Пожалуйста, простите мне мою бестактность.

Но Нэнси Квиминал лишь сжала ее руку и, хмыкнув, сказала:

— Мы тут немножко голодаем, сами увидите. И все-таки все считают маршала Петэна богом и вполне доверяют нацистам.

В ее высказывании прозвучала откровенная ирония, и доктор, верно, найдя его слишком резким, не смог промолчать:

— Надо во всем видеть хорошую сторону, моя дорогая. Доктора обеспокоены нехваткой еды, потому что теперь никто не будет болеть и они

---

[115] Примечания: 115
Фиакры *(фр.)*.

останутся не у дел. Голодание в разумных пределах даже полезно.

— У вас нет детей, доктор, — сморщившись, отозвалась Нэнси. — А что до Петэна и Лаваля… — проговорила она, но заканчивать фразу не стала.

Усевшись в самое большое такси, они поехали вдоль старых стен. Река была мутной и беспокойной. Принц нетерпеливо потирал руки — в предвкушении горячей ванны и рюмки чего-нибудь согревающего. Однако старая «Европа» выглядела безнадежно запущенной. Милый внутренний дворик был засыпан листьями. Сумерки, самодельные приспособления вместо обычных ламп говорили о явном недостатке электроэнергии. К тому же отель не обогревался. В главном холле было холодно и сыро. Вышел управляющий — он был знаком со всеми, однако без радости пожал протянутую принцем руку.

— Ваше высочество, — печально произнес он, сделав неопределенный жест, который тем не менее емко отобразил печальные обстоятельства, с которыми ему приходилось иметь дело при теперешних порядках.

— Черт побери, — воскликнул принц, — здесь всегда так уютно потрескивали дрова в каминах!

Управляющий кивнул головой:

— Дрова реквизированы на нужды железных дорог, и не только дрова, ваше высочество, но и паркет. *Kaput!*[116] Никто ничего не понимает. Неужели так много поездов? Тем не менее, вот так…

В баре горели свечи, и он выглядел почти как в старые времена. Им подали напитки, и они присели за столик, чтобы немного поболтать с новыми знакомыми, прежде чем попрощаться. Швейцарец сообщил, что они приглашены на обед к военному губернатору. Он повернулся к Нэнси Квиминал и доктору и сказал:

— К сожалению, вас не включили в список приглашенных, не знаю уж почему.

Их испуганные лица тотчас просветлели, и оба радостно вскинули вверх стиснутые кулаки.

— Слава богу, — проговорил доктор и стал прощаться.

Нэнси Квиминал его уход явно обрадовал, в ее поведении чувствовалась некоторая напряженность, которая теперь исчезла, словно она не могла свободно разговаривать в его присутствии. Насколько Констанс успела понять, нынешняя ситуация была тут ни при чем, просто так уж

---

[116] Примечания: 116
Конец! *(нем.)*.

сложилось издавна: в средиземноморских странах никто не доверяет ближайшему соседу, его вечно подозревают в каких-то кознях и моют ему кости. Квиминал — протестантка из гористой местности рядом с Ла Саль, а Беше родом из Арля и, скорее всего, католик.

Итак, теперь женщины заговорили свободнее. Констанс стала деликатно расспрашивать, и Нэнси, набравшись храбрости, рассказала, каково это — жить, в условиях жестокого дефицита — и еды, и топлива, и одежды, да еще этот комендантский час, из-за которого вечера казались бесконечными. Летом они будут, можно сказать, задыхаться, лишенные возможности подышать свежим воздухом. И еще, разумеется, постоянный страх, что тебя кто-то выдаст милиции, которая передаст сведения в гестапо, и все может закончиться депортацией, арестом и даже пытками, которые применяют эти головорезы. Примерно через полчаса этих откровений швейцарец посмотрел на часы и сказал, что скоро прибудет служебный автомобиль, — вероятно, гости хотят помыть руки и приготовиться к испытанию.

— Ладно, я поехала, — торопливо проговорила мадам Квиминал. — Можете передать им от меня пламенный привет.

С гримаской горечи она пожала всем руки и торопливо побежала в темноту, на ходу крикнув, что ей еще надо приготовить обед для детей. Видимо, она каким-то образом нашла общий язык с немцами и получила карточки, на которые могла прокормить их. Даже страшно подумать, каким именно образом…

Служебный автомобиль с адъютантом ждал на маленькой площади, окруженной полуободранными зимними деревьями. Все трое уселись в машину, почувствовав себя дипломатами, собирающимися вручать верительные грамоты — в общем-то, почти так и было, несмотря на то, что официально немцы тут хозяевами не считались. Хорошо еще, что нацисты не запретили Красный Крест, хотя и присматривали за ним. Наверняка им захочется оказывать давление на его сотрудников — по крайней мере, все предвещало именно это. Да и страшноватый прием наверняка организован неспроста.

Сердце Констанс забилось быстрее, когда автомобиль, проехав по мосту, свернул на узкую деревенскую дорогу, вившуюся между холмами, которая вела к вилле, где когда-то устраивал приемы лорд Гален, беззаботно высказывавшийся по поводу жизни и искусства, и где за хозяйством

приглядывал лиловый шофер Макс, оберегавший своего господина от посягательств реальной жизни.

Вилла была занята под резиденцию генерала, но жили на ней и просто старшие офицеры — такое положение совсем не устраивало фон Эсслина, он усматривал в этом очевидное пренебрежение со стороны Партии. И чувствовал себя кем-то вроде консьержа: виллу занимал он один, но при этом вынужден был есть, пить и общаться с целой командой высших чинов СС, включая Фишера, у которого было в подчинении все гестапо. Оказавшись в этом, мало сказать, неприятном положении, Эсслин все больше мрачнел и все меньше разговаривал. Чтобы смирить мятежные мысли, он вновь стал носить старинный монокль с золотым ободком, в котором больше не нуждался, но которым пользовался в особых случаях, стратегически важных. С мрачным видом впихивая монокль в глаз, он был у верен, что тот придает ему аристократический и неприступный вид. За столом генерал обычно сидел надменно распрямив спину, безмолвствуя, будто глухой, и катал хлебные шарики — холодный, как айсберг. И вот, когда он пребывал в столь двусмысленном положении, пришел приказ

командования «позволить и помочь» представителю Красного Креста, который прибудет из Женевы, осмотреться и установить контакты. Оставалось много непонятного — в первую очередь, будет представитель гражданским или военным лицом. Пока это обсуждалось, поступил еще один сигнал, на сей раз из консульства в Женеве, предписывавший в лучшем виде принять принца из правящего дома в Египте. Этот принц представляет Красный Крест! Египет! Событие обретало политически важное значение. Восьмая армия[117] сражалась с Африканским корпусом[118] в пустыне, и от такого гостя можно было получить полезную информацию. Фон Эсслин решил взять на себя ответственность за прием, не подозревая, насколько неуместно было принимать гостей на старой вилле лорда Галена, пробуждающей у них множество воспоминаний.

Констанс сжала руку принца, и он с пылким сочувствием стиснул в ответ ее пальцы, разделяя ее волнение, когда автомобиль свернул в знакомую

---

[117] Примечания: 117

Имеется в виду британская 8-ая армия под командованием фельдмаршала Окинлека. *(Прим. ред.)*

[118] Примечания: 118

Имеется в виду «Африканский» корпус под командованием немецкого фельдмаршала Эрвина Роммеля. *(Прим. ред.)*

лощину, всю в *maquis*,[119] которая вела к безлюдным полянам, где начиналась железная изгородь — старая граница владений лорда Галена.

— Вот и дом! — воскликнула Констанс, после чего принц снова взял ее руку и уже не отпускал до тех пор, пока они не ступили на гравиевую площадку перед крыльцом.

В сущности, он не отпускал ее еще дольше, так как поддерживал Констанс, пока они поднимались по лестнице портика с полыми греческими колоннами и входили в просторную гостиную, будто актеры — на сцену. Позади них тяжело шагал запыхавшийся швейцарский консул, который чувствовал себя немного неловко в окружении молчаливых офицеров, вышедших из-за стола, чтобы приветствовать гостей. Офицеры же были заметно удивлены, так как их никто не предупредил, что на обеде будет присутствовать красивая женщина, да и принц совершенно поразил их своей экзотической феской. Швейцарец пробормотал более или менее внятные объяснения, и офицеры начали подходить к ним по одному, чтобы, как полагается, пожать руку и поприветствовать. Однако более всего был пора-

---

[119] Примечания: 119
Лесные заросли *(фр.)*.

жен сам генерал, у него даже монокль вывалился из глазницы и со звоном ударился о пуговицу мундира. Фон Эсслин побагровел и, похоже, собрался галантно поклониться гостье, вместо того чтобы пожать ей руку. Когда же произнесли ее имя, смущение генерала отнюдь не уменьшилось, потому что перед ним была почти точная копия его исчезнувшей сестры Констанцы — та же изысканная красота, такой же независимый и ясный ум. Подчиняясь неожиданному импульсу, он почти вырвал у нее свою руку, словно его укусил комар. А ей он показался великаном, простодушным бесхитростным увальнем; он был румяным и трогательным — подобно многим жестоким людям! Генералу удалось совладать с собой, однако внутри у него все кипело, потому что она заговорила, и он услышал твердый ганноверский выговор и специфическую интонацию. Эта девушка из приличной семьи!

Принц запинался, говоря по-немецки, однако слов ему вполне хватало, по крайней мере для сегодняшнего мероприятия. На первый план выдвинулся Фишер, как всегда, уверенный в себе, правда, несколько косноязычный. Фон Эсслин сразу догадался, в чем дело — этот лакей был сражен наповал произношением девушки и

ее умением держаться с безупречной светской непринужденностью. В нем же она с отвращением распознала жиголо с обильно напомаженными и зачесанными назад волосами. Красавец, но насквозь фальшивый, как манекен. Наверняка где-то в глубине души он прятал обиду на жизнь — Констанс попыталась представить его характер, женщины обычно любят это делать, ибо мужчины кажутся им существами страшными и непредсказуемыми. Типичный акт самозащиты, присущий женскому племени. Гораздо спокойнее Констанс восприняла молчаливого болвана Маля и близорукого Смиргела, носившего очки с толстыми линзами, из-за которых его глаза казались сделанными из голубого твида, без единого светового блика. Однако в нем угадывалась профессорская чопорность, и Констанс не удивило, когда чуть позднее его назвали «профессором» — он и был до войны профессором. Появились бутылки и бокалы — естественное продолжение обмена светскими любезностями. Офицеры пили крепкое сладкое вино или виски. Констанс предпочла виски, чтобы снять усталость и заглушить голод, ибо сэндвичей и бисквитов, которыми пришлось довольствоваться в поезде, было явно недостаточно, и она рассчитывала, что немецким

офицерам хватит ума как следует накормить гостей.

В ожидании обеда Констанс вежливо отвечала на вопросы и с беспечным видом принимала комплименты от хозяев — мол, в первый раз им приходится слышать, чтобы девушка из Швейцарии говорила на таком аристократическом немецком языке; трудно поверить, что она не немка, тем более, что у нее такие светлые волосы; а еще труднее поверить, что она будет представителем Красного Креста в Авиньоне, где почти никто не говорит на немецком. За обедом, который был наконец подан и оказался вполне съедобным, Констанс и принц сидели друг против друга по обеим сторонам от фон Эсслина, который играл роль хозяина. Фишер сидел за дальним концом стола рядом с консулом. Слева от него разместился высокий мрачный офицер по фамилии Лансдорф. Он был почти глухим и прекрасно это осознавал. В середине обеда принц стал рассказывать о том, что часто бывал на этой вилле в мирное время и часто обедал здесь. Профессор Смиргел и Фишер тут же оживились. Фишер спросил: — Вы имеете в виду — у лорда Галена?

Принц ответил утвердительно.

— Это тот богатый еврей, который пытался отыскать сокровища тамплиеров?

Он весь напрягся, как кошка перед прыжком, в ожидании того, что скажет принц.

— Да, это он. Но, насколько мне помнится, без особого успеха. Так он говорил мне, ведь сейчас он в Египте. Мы с ним виделись в прошлом месяце.

Смиргел склонил голову набок и долго смотрел на принца своими твидовыми глазами, прежде чем сказать:

— Но что-то он все же выяснил — хотя бы их приблизительное местоположение, или нет? Нам повезло, потому что его клерк и секретарь остались тут, чтобы помочь нам в поисках. Знаете, фюрер очень в этом заинтересован, ведь он верит в существование сокровищ. Ему не единожды предсказывали, что он отыщет их.

Втянув щеки, Смиргел, чтобы скрыть легкую улыбку, игравшую у него на губах, опустил голову, уставившись в белую скатерть. Улыбка не была насмешливой, нет, она была робкой и смущенной.

— Полагаю, все это чепуха, местные сказки, — храбро проговорил принц.

Офицеры поглядели на него с любопытством, но ничего не сказали, продолжая жевать и как

будто выжидая, что он еще что-нибудь произнесет, однако и принц тоже решил помолчать. Маль кашлянул разок, довольно громко, и Лансдорф, решив, что обращаются к нему, поднял голову и приложил ладонь к уху.

— Ничего, — успокоил его Маль. — Ничего.

Констанс была искренне озадачена очевидной робостью генерала, который едва осмеливался глядеть в ее сторону. Только один раз, когда принц объявил, что, возможно, она станет представителем Красного Креста, он в упор смотрел на нее пару мгновений, а потом застенчиво взялся за монокль.

— Что касается меня, — весело проговорил принц, — то я приехал из нейтральной страны, и у меня есть несколько предложений, которые я хотел бы обсудить с людьми, обладающими властью, — если найду таких. Например… — Он набрал полную грудь воздуха, прежде чем перейти к вопросу, который мог вызвать у немцев непредсказуемую реакцию. — Евреи! — Ну вот, слово вылетело, и его уже не вернуть! — С кем мне обсуждать проблему евреев? У меня есть очень серьезное предложение от египетских евреев. Так с кем же мне говорить об этом?

Пять немецких офицеров переглянулись, ста-

раясь под наигранным высокомерием скрыть свою растерянность — видимо, упомянув евреев, принц грубейшим образом нарушил приличия. Фон Эсслин смотрел вдаль, настроив слух на Фишера, который, подумав минуту, в течение которой все всматривались в него, как в колодец, словно хотели увидеть его детство, улыбнулся и облизнул губы. Констанс поразило, что ни один не смутился, ни один не почувствовал себя преступником. Все они верили в справедливость того, что делали! Как-то не по себе было лишь генералу, но он, похоже, размышлял о чем-то своем, давно миновавшем.

— Вам надо поехать в Виши, — сказал Фишер. — У Лаваля бюро, где занимаются еврейскими проблемами. Но учтите, что из этого ничего не выйдет. Вам ничем этого не остановить — он называет это *профилактикой.*

Перекладывая нож и вилку, Фишер еще раз улыбнулся, вернее изобразил змеиный оскал, глаза его в этой «улыбке» не участвовали. Маль лениво усмехнулся и добавил:

— Теперь, когда у французской милиции своя форма, все будет в порядке.

Это замечание как будто отворило шлюз, и все с готовностью заулыбались.

— Что за форма? — поинтересовался принц, и высокомерный Фишер дал ему подробное описание: брюки цвета хаки, синяя рубашка и берет.

— Не удивлюсь, если они потребуют, чтобы мы салютовали им на улице, — произнес он веселым тоном, и его аудитория, состоявшая из мужчин, тоже облаченных в форму, вежливо расхохоталась.

— Отлично, придется обратиться к Лавалю, — сказал принц, — если у вас нет полномочий, если вы лишь инструменты в руках старого маршала.

Немцам это не понравилось, и Констанс, ощутив их враждебность, решила разрядить напряжение и обратилась к генералу.

— *Aber*,[120] мою проблему, генерал, можете решить вы, я в этом уверена. У меня есть дом рядом с деревней Тюбэн. Если я приму предложение Красного Креста, вы позволите мне там жить, пока я буду работать в Авиньоне? Прежде я проводила там лето, так что, надеюсь, смогу приспособить его для нормальной жизни. Вы позволите?

Немцы вздохнули с облегчением, так как решить вопрос с домом было делом нетрудным. Они даже почувствовали, что их переполняет

---

[120] Примечания: 120
Однако *(нем.)*.

старомодная галантность.

— Не вижу причин для отказа, — любезно отозвался генерал. — Кстати, здесь находится нужный вам человек. Эй, Лансдорф!

Глухой офицер приставил ладонь к уху, и профессор Смиргел пересказал ему суть вопроса, не сводя голодного и восхищенного взгляда с Констанс, поразившей его своим патрицианским произношением. Несколько секунд у Лансдорфа было удивленное лицо, но потом он энергично закивал головой, показывая, что понял проблему Констанс, сердце которой екнуло от радости.

— Однако вам будет там очень холодно и не совсем безопасно, — подумав, произнес генерал. — Но я не сомневаюсь, что вы сумеете все устроить, может быть, предпочтете разделить дом с кем-нибудь? А у Красного Креста есть автомобиль или нет?

Все начали высказывать свои догадки и предположения, а Маль оказался весьма сведущ в ценах на бензин — как на черном рынке, так и выдаваемого по карточкам. Тема еще не была исчерпана, когда всех пригласили пересесть в обитые кретоном кресла, стоявшие там же, в столовой. Смиргелу удалось обогнать всех и скользнуть в кресло рядом с Констанс, так что его ретивость

она поначалу приняла за домогательство — даже испугалась, что стала предметом обожания этого козлоподобного существа. Но вскоре выяснилось, что у него совсем другое на уме.

— Вы были знакомы с лордом Галеном? — спросил он, как только представилась возможность, и Констанс кивнула. — Вам известно, чем он занимался?

Этот вопрос был опасным, и Констанс помедлила.

— Очень приблизительно. Он был деловым человеком. Наверно, принц расскажет вам больше.

Однако принц решил быть сдержанным.

— Я был лишь так называемым «спящим партнером».[121] А он хотел найти сокровища тамплиеров. Чего только мы не нашли, но только не это… Греческие и римские скульптуры, средневековые изделия, оружие античности…

Все слушали его с почтительным вниманием.

— *Не было* никаких сокровищ! — воскликнул он уверенно. — *Не было!*

Наступило долгое молчание. Офицеры повернулись к Смиргелу, словно к оракулу, который, единственный, имел право на свое мнение об

[121] Примечания: 121

«Спящий партнер» — член товарищества, внесший пай, но не принимающий активного участия в управлении компанией. *(Прим. ред.)*

этом предмете, — собственно, так оно и было, ибо никаких других обязанностей, кроме поиска сокровищ, у него не имелось. С насмешливым видом он закурил сигарету, потом, внимательно глядя на Констанс, видимо, чтобы понаблюдать за ее реакцией, сказал:

— От старшего клерка Катрфажа мы слышали совсем другое. Мы арестовали его, и я лично его допрашивал. Должен прибавить, что этот вопрос очень важен для нас, так как сам фюрер выразил к нему горячий интерес. Я здесь с особым заданием — раскрыть тайну сокровищ.

На лице принца появилось раздражение, ибо он заподозрил что, возможно, лорд Гален нашел сокровища, но никому не рассказал об этом, так что в тайну посвящены были только сам лорд Гален да еще Катрфаж, в тайну сада с непростым расположением деревьев — quincunx.[122] Нет, такого не может быть! Лорду Галену не хватило бы ума вести двойную игру, ничем себя не выдав. Он решительно покачал головой и произнес:

— Нет, это невозможно! Во всяком случае, *нам* не удалось его найти. Мы даже не установили, существует ли оно на самом деле. А Катрфажа уже

---

[122] Примечания: 122

Расположение пяти предметов особым образом: четыре в углах квадрата, пятый в центре.

уволили, когда… вы, господа, пересекли границу Франции.

Смиргел лгал, чтобы выяснить, что им известно, — такой итог подвел принц. Очевидно, что самим нацистам ничего неизвестно. Но им надо дать отчет Гитлеру, и в этом все дело. Принц вздохнул. Он решил еще раз поговорить о сокровищах с лордом Галеном, когда встретится с ним в Египте. А пока необходимо что-то предпринять, чтобы облегчить участь несчастного клерка.

— Где вы держите этого парня? — спросил принц, однако ему никто не ответил, и он не стал настаивать, переключившись на приготовления к поездке в Виши, в печально известное бюро, занимавшееся делами евреев.

Тем временем Констанс согласилась показать Лансдорфу, где находится ее дом, — он предложил заехать за ней назавтра и отвезти ее в Тюбэн, просто чтобы выяснить, стоит ли овчинка выделки, не слишком ли дом далеко от города и от военных, на случай если понадобится защита. Прозвучало это фальшиво.

— Вряд ли меня застрелят *французы!*

Лансдорф слегка покраснел.

— Тем не менее! — произнес он, и они скрепили договор рукопожатием.

Немного погодя дежурный автомобиль повез гостей обратно в Авиньон. На мосту его остановил военный патруль, рьяно отслеживавший нарушителей, — комендантский час начинался в одиннадцать часов, однако адъютант, сопровождавший Констанс и принца, назвал свое имя и поручился за них. Отель был погружен во тьму, но стоило им постучать, как в дверях возник управляющий, — он дремал прямо в кресле — дожидаясь их. Он приготовил кое-какую горячую еду и бутылки с горячей водой, чтобы согреть постели. Оба, и принц и Констанс, были рады вновь оказаться в отеле, так как устали от путешествия и были подавлены увиденным и услышанным. Утомление и уныние не оставляли их, к которым добавлялось еще и раздражение. Оно усилилось из-за ощущения некоей нереальности, словно все вокруг было укутано в вату. Уныние и безысходность выплескивались из людских душ в атмосферу и заражали ее; даже едва взглянув на город из окна машины, они не могли не замечать, что повсюду — лишь унылые лица. Они почуяли теперь смердящий запах войны; это было хуже, чем запах безумия, запах беды. Ведь это был запах интеллектуального бесчестья, человеческой лживости. Констанс села на край

кровати, согревая руки чашкой кофе, и стала вспоминать прошедший вечер. Зажженная свеча разгоняла тьму вокруг. Констанс стала вспоминать, о чем говорили немцы; она педантично восстанавливала все в памяти, словно пыталась найти ключ, который заводит солдат, заставляя их подчиняться страшным приказам. Вдруг промелькнула мысль: *«Они не стыдятся того, что делают!»* И Констанс похолодела от ужаса. Легла в кровать, тихонько задула свечу, а потом начала устраиваться поудобнее в холодных простынях, пропахших сыростью. В ночном кошмаре ей привиделся голубой пристальный взгляд Фишера, его глаза, напоминавшие камни, старые стершиеся геммы. Это был взгляд, полный подсознательного эротизма. Этому человеку ничего не стоило вас совратить одной своей улыбкой. В нем чувствовалась глубоко запрятанная загадка, которую еще никто не сумел разгадать. И в нем был некий магнетизм, в отличие от остальных, которых было легко понять и легко классифицировать. Генерал — безобидный дурак, способный и на хорошее и на плохое, в зависимости от того, какой получает приказ. Его очень смутила ее красота, значит, им будет нетрудно управлять, если понадобится…

Объект этих нелестных суждений тоже улегся

в постель — улегся, чтобы, наконец, поспать, но, увы, в этот вечер надеяться на сон было бы глупо, до того его поразила эта незнакомка, может даже и не женщина, а оживший призрак. Констанца! И фон Эсслин погрузился в воспоминания о ее светлых волосах, о теплых голубых глазах; его чувства обрели необычную нежность, особенно глубокую, наверное, потому, что они относились к давно умершей женщине. Досаждали встречные течения, быстрины, мели, которые меали ему погрузиться в обычное оцепенение. Например, он получил письмо от Katzen-Mutter, которое вызвало в нем угрызения совести. Это было короткое печальное письмо об их родовом поместье, и на середине оно прерывалось сообщением о самоубийстве польской горничной; она ударила себя в сердце старым кинжалом, который был атрибутом уже забытой полковой формы и всегда висел на стене в его комнате, над письменным столом. На столе она оставила записку, написанную на топорном немецком языке: «Я не хочу быть рабыней». Его мать даже намеком не упрекнула его и ничем не выдала, что она знала об их отношениях… и все же! Похоже было, что она знала, и ему стало очень стыдно из-за того, в чем его лично никак нельзя было обвинить.

Вспомнил он и об «акции» в поле, на которой он, будучи начальником, не мог не присутствовать, — «приведение в исполнение смертного приговора». Тогда были расстреляны двадцать жителей деревни, возле которой *franc-tireur* стрелял в его танкистов и двоих убил. У него появилось ощущение, будто он сразу и намного постарел, что он устал до безумия, но держался он твердо, как ему велел долг, вышагивая туда и обратно мимо убитых. На них почти не было крови. Лежали они в самых разных позах. В своей потрепанной черной зимней одежде они были похожи на пыльных кур, улегшихся возле крошечного военного мемориала. К себе в кабинет он возвратился с раскалывавшейся от боли головой, ощущая, как два разных чувства, вызванные двумя разными событиями, лишают его покоя. А может быть, он подхватил грипп? Однако и в ту ночь, и в следующую он видел в снах польскую горничную, а, проснувшись, мечтал найти способ исповедоваться. Где-то должен быть священник. И опять проклятая двусмысленность его католической веры придавила его тяжким грузом. Почему бы не пойти в собор? И, правда, почему бы нет? Но он не мог, будучи военным начальником, передвигаться без охраны. Он боялся, что

его пристрелят. Остается выкрасть священника? Он хрипло рассмеялся. Может, вместе со всеми здешними прихожанами пойти к мессе? Но он плохо говорил по-французски, очень плохо.

Неприятности сказывались на его здоровье. Опять мучили запор и колит — его детские болезни, на которые больше не действовали ни сенна, ни касторка. Зато теперь, после встречи с Констанс, все чудесным образом уладилось. Он знал, что найдет в себе мужество и побывает на исповеди — может быть, пойдет в часовню Серых Грешников, возьмет Смиргела и отправится в Монфаве; на что ему нужны охранники? Никто и не заметит. Фон Эсслин ликовал, словно эта странная встреча была добрым предзнаменованием. Констанс! Почитать бы что-нибудь, да нечего, а ему были необходимы полчаса спокойствия, прежде чем сон предъявит на него свои права. Тогда он вновь с растерянностью и с почтением взял в руки тонкую брошюру для служебного пользования — образец интеллектуального «абсолюта», предложенный доктором Геббельсом. Читалась она трудно — из-за «Протоколов сионских мудрецов». Кстати, фон Эсслин не был убежден в том, что роль золота была действительно исторической; он чувствовал чрезмерность в подаче

материала, однако документ официальный, и кто он такой, чтобы оспаривать факты, представленные Розенбергом? Розенберг сам еврей — ему ли не знать? И это было еще более непостижимо. Все же фон Эсслин неожиданно успокоился, даже впал в эйфорию. Доказательство: его заблокированные внутренности исполнили свой долг с шумом, с расточительностью, словно возмещая страдания во все те дни, что он мучился запором. Радуясь облегчению, он заснул, мысленно отметив, что завтра же должен побывать в часовне Грешников.

К Констанс сон пришел не так легко, ибо ей было не по себе от воспоминаний об обеде и пустого пристального восхищенного взгляда голубых глаз Фишера. Ее беспокоило собственное беспокойство, и она решила проанализировать загадочную силу его взгляда, в конце концов придя к выводу, что все дело в склонности Фишера к интригам и жестокости, которые и придавали его взгляду почти сексуальный блеск. Она злилась на себя за то, что не осталась к этому равнодушной, и с горечью размышляла о том, что женщины постоянно держат в мыслях гипотетические сексуальные контакты как искусительные запреты, те или иные возможности, которые обстоятель-

ства могут им предоставить. Затем Констанс обратилась мыслями к человеку, еще более ее нервировавшему, — к Аффаду. Когда она приехала в женевский отель, принц попросил ее осмотреть Аффада, так как тот плохо себя чувствовал.

— Проще всего было обратиться к вам, — сказал принц, — хотя он никак не соглашался, так как не хотел вас беспокоить.

Констанс поднялась в элегантный номер и обнаружила, что Аффад лежит неподвижно, уставившись в потолок. Увидев Констанс, он покраснел от досады и выразил недовольство в адрес принца.

— Чепуха, — торопливо произнесла Констанс. — Зато я сразу выпишу нужный рецепт.

— Отлично, — с несчастным видом отозвался Аффад. — У меня не осталось плюдонина, вот и все.

Констанс села рядом с кроватью и сказала:

— Я достану.

Тем не менее, она взяла его руку, чтобы посчитать скачущий пульс, и тотчас вспомнила свой разговор с Тоби и Сатклиффом тогда, в баре, о проблемах медиков-женщин при осмотре мужчин. Наверно, и ему приходится тяжко, иначе

почему он стал совсем красным и отвернулся к стене, словно застенчивая девица? Констанс как будто осталась наедине с его пульсом, выполняя свой врачебный долг — и потеряв вдруг дар речи. Аффад выглядел беззащитным словно рука, выскользнувшая из перчатки. И тут ей пришло на ум нечто, смутившее и ее саму. Ум ее отказывался верить этому, но сердце точно знало, что она права, что он отчаянно в нее влюблен. Эта мысль и стесняла и ласкала ее. Именно благодаря этому открытию Констанс стала воспринимать Аффада как человека, которого она могла бы полюбить.

— У вас же высокая температура, — сказала она, чтобы заполнить неловкую паузу, и он кивнул, все так же не оборачиваясь и не открывая глаз.

— Если бы вы могли прямо сейчас выписать рецепт, — проговорил он, и по его тону стало ясно, что больше всего на свете ему хочется увидеть, как за ней закрывается дверь. Однако у нее, оказывается, не было при себе бланков, и она решила, сходить в аптеку на углу.

— Я пришлю лекарство с *chasseur*,[123] — сказала она. — Оно быстро снижает температуру — да вам и самому это известно.

---

[123] Примечания: 123
Охотник *(фр.)*.

Аффад кивнул, но глаз так и не открыл, делая вид, что почти уснул.

— Спасибо, — произнес он. — К завтрашнему дню все пройдет.

Спускаясь в лифте, Констанс тщательно проанализировала случившееся. В сущности, в реакции Аффада не было ничего особенного, однако воспоминание об этом эпизоде вибрировало у нее внутри, словно эхо чего-то давно и страстно желаемого. За обедом она попросила принца рассказать ей об Аффаде и с большим вниманием слушала о том, как складывается его деловая карьера, и о том, как он учился в трех странах.

— В нем странно сочетаются деловой человек и мистик. Возможно, он гомосексуалист, который сам этого не осознает — не знаю. — Принц поморщился, выражая свое отношение к данной гипотезе. — Сам я так не думаю, — добавил он с горячностью.

И это, и свою растерянность, возникшую при встрече с Аффадом, Констанс вспомнила с необыкновенной живостью, граничившей со страхом, из-за очевидной двусмысленности своего положения. В ней не созрела еще готовность к новой любви. Беспокойно крутясь в постели, она положила бутылку с горячей водой к заледеневшим

ступням. Сон в конце концов пришел, но очень поздно, и она не выспалась и не отдохнула. На рассвете Констанс уже была на ногах, одетая для ранней прогулки по городу. Спускаясь по лестнице, она топотом разбудила спавшего ночного портье, который послушно отпер входную дверь, но всем своим видом выражал неодобрение.

— Что вам там понадобилось? — спросил он, не скрывая удивления.

— Просто посмотрю, — ответила Констанс и торопливо отбыла на прогулку, чтобы убить время, остававшееся до назначенной на десять часов встречи с мадам Квиминал, которая собиралась показать ей помещения, предназначенные для центрального офиса Красного Креста. Авиньон всегда был грязноватым и ветшающим, так что на первый взгляд он мало изменился. Но вскоре Констанс почуяла вонь скопившегося мусора и увидела горы отходов, уже не помещавшихся в мусорных ящиках, кругом валялись и переполненные пакеты — в общем, раздолье для бродячих собак, которые растаскивали все это по главной площади, где мусор смешивался с опавшими листьями. В такую рань еще не открылось ни одно кафе, а единственная телефонная будка напротив почты явно использовалась в темное время суток

как туалет. Многие стены были увешаны портретами маршала Петэна, однако почти все они были оборваны или покрыты неумелыми рисунками и надписями. Но гораздо более впечатляющими, поскольку они отражали нынешнюю жизнь города, и в высшей степени актуальными показались Констанс висевшие на стенах домов и на деревьях объявления властей; это были смертные приговоры, вынесенные пойманным *franc-tireurs* немецким высшим командованием. Удивительным образом буквы на них как бы прижимались друг к другу, что придавало им сходство с весьма уместным в данном случае готическим шрифтом, тогда как красный фон, на котором все это печаталось, напоминал своим цветом артериальную кровь. С незапамятных времен на такой бумаге печатались афиши, сообщавшие о бое быков. Темно-красная кровь быков, на которой красовалась нацистская свастика. Вздохнув, Констанс с тяжелым сердцем стала читать приговоры, не понимая, почему человеческие особи, которым отмерена столь короткая жизнь, хотят именно таким способом придать ей смысл, к тому же сократить ее своим невротическим шутовством. Это было для нее тайной. Глубоко сидящее в человеке саморазрушение — вот и все,

что можно было диагностировать в этом случае. И ведь происходившее здесь касалось всех без исключения. Нельзя было устраниться. Даже благополучные хранители нейтралитета из Женевы, пусть даже они вне физической досягаемости, вовлечены в этот пагубный исторический период — со временем он затронет и их тоже. Констанс бесшумно одолевала средневековую паутину улочек, прошла мимо отеля «Принц», где когда-то (как рассказывал Феликс Чатто) Блэнфорд провел день с девушкой в номере, принадлежавшем Катрфажу. Она начисто забыла об этом — и вдруг вспомнила. Потом остались позади изогнутые стены внешних бастионов, маленькая булочная, которая всегда открывалась первой, потому что снабжала хлебом привокзальный буфет. Но сейчас в ней было темно, а на двери висело объявление *«Plus de pain»*,[124] которое, вероятно, глубоко ранило французскую душу; прежде и представить было нельзя подобный скандал. Может, это заставит понять, что такое Новый Порядок. Констанс двинулась дальше; поднявшийся северный ветер взвился в голубое небо.

В отеле, в зале, где обычно подавали завтрак,

---

[124] Примечания: 124
Здесь: хлеба нет *(фр)*.

за столом сидел принц, мрачно черпая ложкой жидкую кашу, а напротив него с заискивающим видом устроился козлоликий профессор со вчерашнего приема, Смиргел, который как будто испытывал величайшее расположение к своему новому другу.

— Вчера у нас не было возможности поговорить откровенно, — сказал он, — а я хотел бы попросить вас о содействии в поисках сокровищ тамплиеров.

Принц с раздражением ответил:

— Я рассказал вам все, что мне известно.

Смиргел жестом попытался успокоить принца.

— Знаю, сэр, знаю. Понимаете, я совсем недавно сюда приехал. Меня послал фюрер, чтобы я специально занялся этим вопросом, поэтому я нахожусь в довольно деликатном положении. С вашим клерком Катрфажем, например, нам пришлось нелегко. Сначала он врал, потом делал вид, будто его замучили пытками, а теперь симулирует сумасшествие. Я говорю «симулирует», но я не уверен.

— С какой стати ему симулировать? Наверно, он умрет во время допросов, как секретарь лорда Галена, — он ведь тоже «симулировал», притворялся глухонемым, насколько мне известно?

Смиргел опустил голову, позволив искреннему негодованию принца накатить высокой волной. Он даже кивнул, словно принимая на себя весь груз ответственности.

— Это было до меня. Теперь все по-другому. Теперь мы действуем иначе, осторожно и честно.

У принца был такой вид, словно еще секунда, и он запустит в Смиргела тарелкой. Он набрал полную грудь воздуха, а потом, чуть помедлив, на выдохе произнес:

— Последняя информация, которую мы получили от Катрфажа, была такова: теперь нам известны имена пяти рыцарей, хранившиеся в тайне. Оставалось с их помощью найти знаменитый сад, в котором деревья посажены в определенном порядке — quincunx. Должен признать, что это дело безнадежное.

— Вы не верите в существование сокровищ?

— Этого я не говорил. Лорд Гален как будто убежден, что сокровища существуют, но он странный человек, с причудами, он способен поверить во что угодно. Однако Катрфаж нас обнадежил, вот, собственно, и все. Естественно, ваши инквизиторы свели его с ума, так что на получение другой информации, если он владел ею, теперь рассчитывать нельзя. Вот так всегда!

Где он теперь? Можно с ним увидеться?

Профессор надолго задумался, прежде чем ответить.

— В клинике для душевнобольных в Монфаве — там его лечат сном, чтобы вернуть ему разум. Он был в крепости, однако цыгане сделали попытку освободить его — он ведь дружил с ними, правда?

— Конечно, дружил. Они много копали для него в районе под названием Ле Баланс — они нашли там кучу статуэток. Которые мы потом покупали по очень высокой цене.

Профессор издал странный смешок.

— А наши люди думали, что его хотела освободить британская разведка — из-за тех секретов, которые ему известны. Поэтому его и допрашивали. Но вы подтвердили мои догадки — это был дружеский жест со стороны его приятелей-цыган. Благодарю вас, ваше высочество. — Он встал, поскольку заметил в зеркале между пальмами в бочках завершившую свою прогулку Констанс. — Не хочу вас больше беспокоить. Но если вы еще что-то вспомните, пожалуйста, дайте мне знать — вот мой телефон. Если вам угодно, я мог бы организовать встречу с ним — и для вас тоже, — повернулся он к Констанс, которая,

поприветствовав обоих кивком головы, уже сидела за столом и переводила взгляд с одного на другого, стараясь понять, о чем речь.

— Мы говорим о Катрфаже, — пояснил принц. — Он в здешнем сумасшедшем доме. Проклятое сокровище — теперь за ним охотится Гитлер, один бог знает, зачем ему это. Не могу представить, чтобы он нуждался в деньгах!

— В интересах фюрера нет финансового мотива, уверяю вас! — с внезапным благоговением воскликнул профессор. — У него исключительно мистический интерес к сокровищам. Он хочет узнать корни верований тамплиеров и тайну их падения. Немецкие масоны тоже замешаны в этой истории — полагаю, вам об этом известно.

У него было явное желание оправдаться и возобновить беседу, однако принц не поддержал профессора, всего лишь коротко кивнул и, как бы отпуская его, проговорил:

— А вот и мадам Квиминал пришла. Закажем для нее завтрак, как вы думаете?

Профессор понял намек и раскланялся, но прежде вручил Констанс свою карточку с телефонным номером.

— Это на случай, если у вас будут для меня новости или какая-нибудь информация, — торопливо

проговорил он и, отсалютовав, удалился, освобождая место подошедшей мадам Квиминал.

Она приблизилась к столику с улыбкой, радуясь тому, что может провести с принцем и Констанс несколько минут, прежде чем откроется офис.

— Буду с вами откровенной, мне сказали, что в отеле есть, из чего варить настоящий кофе, ведь он в руках военных.

Однако, даже несмотря на хороший кофе, отель как будто пустовал. Нэнси Квиминал была привлекательной женщиной: типаж — редкостная белокожая блондинка, но одевалась она весьма небрежно, к тому же позволяла себе ходить в сношенных туфлях. Она перехватила взгляд Констанс.

— *Eh bien*,[125] знаю. Вас удивляют мои туфли.

— Совсем нет, — отозвалась Констанс. — Я прошлась сегодня по городу, посмотрела на магазины — в них пусто! А ведь я помню, какой *chic*[126] тут царил, кто только не делал тут покупки.

Квиминал поморщилась. Но больше ничего говорить не стала. Разве что когда все поднялись, чтобы идти, спросила, нельзя ли взять оставший-

---

[125] Примечания: 125
Здесь: ну что же *(фр.)*.

[126] Примечания: 126
Шик, роскошь *(фр.)*.

ся хлеб и круассаны с собой, потому что никогда не знаешь… Быстро завернув все в бумажную салфетку, она положила сверток в ношеную-переношеную сумку. Потом повела принца и Констанс туда, где им предстояло открыть новый офис, за красивое здание мэрии, которое выделялось на знаменитой площади с ее официозным Памятником Погибшим, окаймленным с захватывающей дух пышностью металлическим барельефом, который резко контрастировал со строгой архитектурой просторного театра. Большой центральный двор мэрии с громоздкими колоннами в классическом стиле продувался ледяным ветром — настало время мистраля.

— Мы пойдем к мэру, — сказала Квиминал принцу и Констанс, — только будьте осторожны, он один из них.

Квиминал презрительно тряхнула головой, и вид у нее был такой, будто ей очень хочется плюнуть. Поднимаясь молча по прекрасной лестнице, принц и Констанс обдумывали слова своего ментора. Не было ничего странного в том, что немцы доверяли важные посты людям, на которых могли положиться, и Констанс сказала

об этом, *sotto voce*.[127] Однако Нэнси Квиминал возразила ей:

— Нет, он был тут прежде. Впрочем, судите сами.

Она широко распахнула дверь на втором этаже и пригласила их в кабинет с высоким потолком. M. le Maire[128] сидел за большим столом, согнувшись под стеганым одеялом, без которого он не мог бы заледеневшими пальцами подписывать документы, сочиненные его департаментом. На первый взгляд это был приятный и умный человек, который любезно, но с легкой надменностью предложил им сесть.

— Официальных сведений у меня нет, но, судя по слухам, вы приехали, чтобы утвердиться тут в качестве представителей Красного Креста. Я бы сказал вам «добро пожаловать», если бы не все эти трудности. Несчастная моя страна! — Увидев, что посетители не сводят глаз с портрета Петэна за его спиной, он поморщился — с какой-то брезгливой грустью. — Ах да, маршал, — нежно произнес мэр. — Без него было бы еще хуже — *тотальный* разгром! Он спас что мог, но ведь и он

---

[127] Примечания: 127
Вполголоса *(ит.)*.

[128] Примечания: 128
Месье мэр *(фр.)*.

всего лишь человек.

Наступила неловкая пауза; мадам Квиминал поднялась и, сославшись на то, что ей нужно осмотреть помещения, предназначенные для принца и Констанс, удалилась.

— Полагаю, M. le Maire есть о чем поговорить с вами наедине, — тактично добавила она.

Мэр, видимо, никак не ожидал такого поворота. Он задал несколько вопросов о целях организации, которую они собрались создать, и как будто был очень доволен, что через Красный Крест теперь можно будет получать лекарства и продуктовые посылки и распределять их среди постоянно поступавших узников.

— У нас тут сейчас хаос. Строятся новые лагеря, их используют как транзитные… А еды всегда не хватает.

Потом, к искреннему удивлению принца и Констанс, он сказал, что всем известно, как мадам Квиминал необходима Красному Кресту, и все же она… тут он помедлил, подыскивая нужные слова: это «не та женщина, которой можно все рассказать». Констанс даже не пыталась скрыть свое изумление, и мэр торопливо заявил, что ничего не имеет против нее лично, так как она прекрасно работает.

— Ходят всякие слухи. Говорят, например, что она принимает ухаживания немецкого офицера, который у нас возглавляет гестапо!

Констанс была озадачена, но возникшее было негодование сменилось удивлением и печалью.

— У нее должны быть на это свои причины, — резко ответила Констанс, и мэр жестом дал понять, что согласен с нею.

— Тем не менее, сомнения есть. Понимаете, здесь много людей, которые открыто встали на сторону… врага. Надо быть осторожным. Однако не хочу портить вам настроение. Пойдемте, я сам провожу вас в ваши кабинеты.

Вместе они одолели несколько коридоров и подошли к распахнутым дверям, за которыми открывался вид на анфиладу комнат, и в одной из них сидела за пустым столом Нэнси Квиминал, что-то вязала, одновременно читая. Мэр распрощался с ними — очень сдержанно и чинно.

С площади донесся грохот шагов — ее пересекали солдаты, направлявшиеся в сторону крепости, где они были расквартированы. Констанс задумчиво смотрела на них, вспомнив, что больше никого не видела. Интересно, куда же подевались жители знаменитого Авиньона, прославившиеся тем, что так любили праздники: стоило им

услышать где-нибудь звук марша или барабаны с трубой, как они высыпали на улицы и площади, влекомые неодолимой жаждой смешаться с процессией или присоединиться к танцующим. Несколько домохозяек в потрепанной одежде шныряли тут и там, как бездомные кошки, с пустыми сумками в руках. Новые милиционеры — их тотчас стали называть *les barbouzes*[129] — слонялись по городу в новенькой форме. Французы становятся особенно опасными, когда за деньги служат в сомнительном ведомстве. Однако смеяться над их внешним видом было бы безумием, так как у них имелось пусть устаревшее, но все же действующее оружие.

Они дали клятву спасти французскую нацию от засилия евреев, и на них уже возложили обязанность устраивать на них облавы. Подобные процессии стали таким же обычным явлением городской жизни, как когда-то пустые бачки для мусора, которые, возможно, опять будут регулярно опорожнять, если удастся наладить жизнь. От осознания узаконенной «праведности» происходящего перехватывало дыхание, ведь речь шла о жизни и смерти. Констанс не верила

---

[129] Примечания: 129
Шпики, тайные агенты *(фр.)*.

собственным глазам, наблюдая, как пленники покорно шагают по бульвару в окружении — со всех сторон — мотоциклистов.

Самое главное, подумала Констанс, стоя на балконе мэрии, который был самым удобным бельведером для осмотра города, не выделяться, одеваться как можно хуже и носить стоптанные туфли, чтобы быть такой же, как все. Стоявший рядом принц потопал ногами в тонких ботинках и сказал, правда без особой уверенности:

— Полагаю, все рано или поздно уладится.

Все утро он налаживал, и небезуспешно, старые, времен его пребывания в Провансе, контакты и с облегчением обнаружил, что многие его знакомые теперь получили ответственные посты — кто-то в *police des moeurs*,[130] кто-то в милиции, кто-то занимался перевозками или спекулировал земельными участками. С помощью старых друзей он даже сумел нанести короткий визит в любимый бордель, куда в прежние времена иногда наведывался, однако девушки показались ему несколько унылыми и подавленными. Теперь их клиентами были высокопоставленные военные чины, не желавшие расставаться с деньгами. У

[130] Примечания: 130
Полиция нравов *(фр.)*.

всех девушек были свастики из слоновой кости, которые они носили поверх оловянных крестиков и медальонов, подаренных на день рождения. Принца они встретили с радостью, хотя сразу причислили его к приверженцам нацистов, что несколько поубавило их восторги. Что бы он ни говорил, ему так и не удалось убедить девушек в своей верности Франции. Впрочем, у него было совсем немного времени, которого хватило лишь на то, чтобы угостить бледных рахитичных детишек сладостями. Прощаясь, он даже почувствовал, как сердце сжалось от боли.

В те дни всем казалось, ничего хорошего не предвидится, война растянется лет на десять. Как можно было винить людей за то, что они не верили в союзников,[131] что пытались хоть как-то наладить свои искалеченные разбитые жизни, пусть даже под знаком черной свастики? Принц вздохнул, и Констанс, ласково посмотрев на него, спросила:

— У вас сегодня плохое настроение?

Он кивнул. Она угадала, и причин для плохого настроения было много. Ему не нравилось, что придется оставить ее одну, так как необходимо

[131] Примечания: 131

Имеются в виду страны воевавшие против Германии и ее союзников. *(Прим. ред.)*

ехать на север и обсуждать положение евреев, а он уже понимал, что это бесполезно. Он ведь думал, будто французы просто стали заложниками своей судьбы и им пришлось откупаться от захватчиков. И был разочарован до отвращения, когда понял, что ошибался… оказывается, многие в душе были ярыми антисемитами и теперь с радостью участвовали в преследовании этого талантливого и несчастного племени. Ему рассказывали о французских концентрационных лагерях, и от возмущения и ужаса у него стыла кровь в жилах. Они располагались в местах с выразительными названиями: Ривсальт и Аржелес, Ной и Ресебеду в верхнем течении Гаронны; самым близким отсюда был — camp de Gurs — в Пиренеях, который стал притчей во языцех из-за царившей там откровенной жестокости. Принц весь побелел, когда пересказывал Констанс эти истории.

— Я как раз думаю, можем ли мы что-нибудь сделать, стоит ли просить разрешения посетить эти лагеря. Знаю, нельзя спешить. Я слишком тороплюсь. Сначала надо как следует тут обжиться. Ах, дорогая, все намного хуже, чем я представлял. Эти немцы, не просто подлецы, но им как будто нравится быть подлыми. Что же мы такое сдела-

ли, чтобы получить *такое?* В двадцатом-то веке?

Констанс не знала, какие подобрать слова, чтобы утешить принца. Почти каждый день автобусы открыто, деловито, словно пчелы, перелетающие от цветка к цветку, объезжали старый город и, словно повинуясь праведному закону, собирали человеческий урожай. Операцией всегда руководил офицер в форме, с листками бумаги, на которых были отпечатаны фамилии подлежащих вывозу евреев. Кстати, жертвы не пытались бежать, они, застыв, словно парализованные, ждали, когда зеленые автобусы остановятся возле их двери. Никогда не слышалось шума борьбы, протестов. Гестапо использовало зеленые автобусы, известные парижанам, с широкой открытой площадкой сзади, загороженной железной цепью на замке. Особый щелчок, когда его замыкали, Констанс узнавала и много лет спустя в послевоенном Париже, где были на ходу такие же автобусы.

Но теперь она думала о другом.

— Завтра я снова увижу дом!

Она схватила принца за руку, когда произнесла это, стараясь говорить ровным голосом. Это было трудно, потому что волнение переполняло ее, стоило ей подумать о небольшом

белом поместье в лесу, о высоких окнах, о крыше над мансардами, так причудливо изогнутой. В ее воспоминаниях дом этот ассоциировался с человеческим лицом — лицом смиренной старушки-домоправительницы, состарившейся от домашних забот. Констанс вспомнила, как в последний раз взглянула на него, как закрылись с щелчком ворота — и с этим щелчком осталось в прошлом последнее лето в Раю перед Падением. У Констанс было непонятное предчувствие, что благодаря завтрашнему визиту многое решится, она мысленно повторяла это, хотя не могла объяснить, что именно должно решиться и почему все ее существо наполнилось ожиданием. Будто там она могла случайно еще раз встретиться с любимым — или что-то в этом роде. Вот вздор!

Холод в конце концов загнал их в ярко освещенные, с высокими окнами комнаты M. le Maire, но до этого они успели заметить, что на почти пустой площади снова началось какое-то движение. Там понемногу собиралась толпа, которая по боковым улочкам стекалась к Памятнику Погибшим. Толпа становилась все многочисленнее и медленно двигалась в сторону мэрии, расположенной на просторной центральной площади. Она и вправду двигалась еле-еле, почти топчась

на месте, как отара овец, которую задабривают уговорами; только в данном случае пастухи были в военной форме и с автоматами наготове, и это зрелище вызывало ужас. Сразу вспомнились репрессии, пытки, массовые убийства — в последние месяцы все привыкли ждать чего-то подобного. Очевидно, в данном случае все было не так, потому что подошедший к принцу и Констанс мэр небрежно произнес:

— А, велосипедисты!

— Велосипедисты! — недоуменно повторила Констанс, и он, утешая ее, улыбнулся:

— Сегодня срок сдачи велосипедов; кстати, и охотничьих ружей тоже.

Теперь они увидели, что толпа состояла только из людей с велосипедами. Их гнали, уговаривали, вели на главную площадь, где под присмотром солдат и милиционеров велосипеды складывали на землю, после чего их хозяев оттесняли за пределы площади, и они становились уже не участниками, а зрителями этого спектакля. Спустя короткое время площадь уже устилал толстый ковер из велосипедов, кстати большинство зрителей, теперь стоявших под деревьями, были школьницы с заплаканными лицами. Они как чувствовали, что с их велосипедами должно слу-

читься нечто ужасное, и не ошиблись. Квиминал нашла взглядом своих дочерей и, извинившись, побежала к ним, чтобы утешить. Грациозная, как лань, она скользнула по площади в ту сторону, где стояли ее девочки. Обняв их за плечи, она с улыбкой стала что-то им говорить.

На мгновение на площади воцарилась тишина. Потом толпа зашевелилась, и появились высокие немецкие чины, очевидно, чтобы возглавить происходившее и придать событию должную важность. Они взошли на помост и подали знак, после чего на площадь, скрипя гусеницами, выехали два легких танка. Они явились, как быки на арену, и принялись энергично крушить велосипеды. Подобно минотаврам, они бросались на лежавшие велосипеды и перемалывали их своими челюстями. Офицеры наблюдали за этим с одобрением, тогда как толпа — с презрением и печалью. Операция по уничтожению велосипедов была проведена очень организованно и быстро. Ковер из велосипедов постепенно был раскатан во все стороны, и тогда же милиционеры принялись сметать остатки металлических конструкций в кучу на середину площади, чтобы потом их убрать. То там то сям появлялись опоздавшие велосипедисты, и их средства пере-

движения отдавали на растерзание танкам, как когда-то христиан — на растерзание львам.

— Немыслимо! — воскликнула Констанс, не сводя взгляда с площади. — Что за немыслимая злоба!

— *Au contraire*,[132] — отозвался мэр, вновь вставший рядом с Констанс после того, как переговорил по телефону. — Это продуманная военная акция — чтобы предотвратить передачу информации силам Сопротивления — на случай, если они будут скрываться в горах.

— То есть как?

— На велосипеде можно сделать около десяти миль в час, — с улыбкой ответил мэр. — Они уже взяли под свой контроль бензин и автомобили. Значит, мне будет труднее доставлять сообщения в горы, а без велосипедов — еще труднее. Они очень предусмотрительны, наши друзья.

Довольно долго они молча наблюдали за превращением велосипедов в кучи пыльных металлических обломков. Потом на площадь принесли метлы, и наблюдавшей толпе тоже было предложено сгребать останки велосипедов на середину площади, — так будет удобнее на-

---

[132] Примечания: 132
Напротив *(фр.)*.

полнять грузовики.

— *Ainsi soit-il*[133] — печально произнес мэр. — Для тех, кто живет в деревнях, а продукты покупает в городе, это катастрофа. Придется вновь ездить на лошадях, но, боюсь, многих уже съели! Что тут скажешь?

Ничего не скажешь. Представление было завершено, и пастухи вновь принялись нетерпеливо разгонять несчастную заплаканную толпу, все еще окружавшую центр площади, которая как будто не имела сил разойтись, оторваться от грустного зрелища. Деревенские жители, те вообще не знали, как им теперь добраться домой. В конце концов раздались рявкающие приказы разойтись, и люди медленно, с неохотой подчинились — слишком медленно, по мнению милиции в новом обмундировании. Вслед за приказами послышались угрожающие щелчки затворов. Люди с метлами принялись мести пыль под ноги толпе, оттесняя ее обратно в переулки, из которых она явилась на это сборище — теперь ставшее сборищем всадников без коней. К этому времени к принцу и Констанс присоединилась и Нэнси Квиминал, все еще улыбавшаяся, но

---

[133] Примечания: 133
Да будет так *(фр.)*.

словно бы сквозь слезы, так сказать, от имени своих дочерей.

— Это уж слишком, — сказала она. — Каждый день что-нибудь новое. Бедняжки *lycéens*[134] возмущены до глубины души, потому что велосипеды были подарены им на первое причастие, или за хорошую работу, или еще почему-то. Слава богу, мы живем в городе, а не в деревне.

Когда пришло время уходить, Нэнси Квиминал вызвалась проводить Констанс в отель. Вместе они пересекли ледяные мраморные холлы мэрии, вместе спустились по широкой лестнице и вышли на площадь, где грузовик быстро подбирал обломки велосипедов. Холодный ветер раскачивал деревья, и Констанс с отвращением вспомнила о неотапливаемом отеле и ожидавшей ее ледяной постели. Когда они шагали по улице, Квиминал сказала:

— Приходите как-нибудь на чай — мне удалось достать немного топлива для моего старого дровяного отопления, но, увы, сегодня у меня гость! Полагаю, мэр поставил вас в известность?

— Да, — ответила Констанс, удивившись, но и ощутив некоторое облегчение оттого, что между

---

[134] Примечания: 134
Лицеисты *(фр.)*.

ними не будет никаких секретов. — Он предостерег меня насчет вас.

Квиминал усмехнулась.

— Отлично. Это его долг и его право. Он ведь за Петэна — чего же от него ждать?

— А я удивилась.

— Неужели?

— Да. Мне непонятно, почему; и особенно непонятно, почему именно Фишер. Впрочем, это не мое дело.

Некоторое время они шли молча, но в конце концов француженка сказала:

— Собственно, никакой тайны в этом нет. У меня муж, которого я люблю и который умирает от редкого спинального заболевания. Он прикован к постели. Музыкант, артист! А мои дети во что бы то ни стало должны есть каждый день — ради них я пойду на любые жертвы. Когда началась война, мою должность в муниципальной библиотеке упразднили. Работа в Красном Кресте, как вам известно, оплачивается скудно…

— Понятно. Так вот почему…

— Вот потому!

Поддавшись внезапному порыву, женщины, не говоря больше ни слова, обнялись. На углу узкой улицы в витрине книжного магазина они

увидели кучу плакатов, брошюр и портретов маршала, и это наводило на мысль о том, что хозяина с «предостерегающим визитом» навестила милиция. Тем не менее, снаружи на витрине, возможно мокрым мылом, было выведено *"le temps du monde fini commence"*.[135] Это было как холодный душ, бодрящий и здоровый; это было истинно по-французски — искренне и цинично. Квиминал громко рассмеялась, и у нее явно улучшилось настроение. "C'est trop beau"[136] — сказала она. Это было как луч света, как проблеск настоящей Франции, явившийся им во мраке нынешних дней. Они прошли еще какое-то расстояние, прежде чем Нэнси произнесла тихо, словно для себя:

— В его ведении списки тех, кого увозят из города. — Констанс поняла, что Нэнси Квиминал говорит о Фишере. Выражение усталости и печали появилось на лице ее попутчицы. — Иногда он «продает мне жизни», как он это называет. И я покупаю, сколько могу!

Констанс промолчала, не совсем поняв, что могут значить последние слова. Однако в ней

---

[135] Примечания: 135
Конец мира начинается *(фр.)*.

[136] Примечания: 136
Это слишком красиво *(фр.)*.

поднялась теплая волна жалости к Нэнси Квиминал и восхищения ее истинно французским смирением, к которому принудили ее жизненные обстоятельства и на которое она сама была совершенно не способна. Изначальные пуританство и идеализм, свойственные жителям севера, не позволяли Констанс столь философски и храбро принимать нынешнюю жизнь со всеми ее опасностями. Впрочем, кто знает, как она сама повела бы себя в подобных обстоятельствах. Пройдет время, и Нэнси Квиминал сама даст объяснения относительно своих непристойных отношений с Фишером. Еженедельные длинные списки с фамилиями евреев и других нежелательных элементов, то есть *battus*,[137] как их окровенно называли гестаповские «загонщики», доставлялись в мэрию, где уточняли Etat Civil[138] жертвы и как правильно пишется ее или его фамилия — сверяли с записью в регистрационной книге. Понимать тут было нечего, это было законно и честно, а главное — позволяло нацистам оправдывать себя. Фишер приезжал с этими листами, расстегивал ремень и бросал его на стол в хол-

[137] Примечания: 137
Побитые *(фр.)*.

[138] Примечания: 138
Гражданское положение *(фр.)*.

ле, словно борец-чемпион, заявляющий о своих правах, вызывающий соперника на бой. Ей надлежало ждать его в шелковом кимоно, которое он же и прислал, и быть готовой к выполнению своих обязанностей. Но иногда они просто сидели, разговаривали и пили вино, украденное из дома какой-нибудь жертвы. Как правило, гестаповцы ничего не брали просто так, они оставляли расписки, потому что упивались несомненной законностью своих действий. Лежа рядом с ней, он становился неуклюже игривым, прикасаясь к ее телу, к ее губам длинными свитками бумаги, похожей на пергамент, и спрашивая, кого из списка она хочет выкупить на сей раз. Таковы были сексуальные причуды этого сатрапа, позволявшего ей выбрать одну-две, иногда три фамилии рабов фортуны. Эти фамилии вычеркивались и не попадали на сверку с регистрационными списками в мэрии. На другой день удивленных людей отпускали. Но это срабатывало не всегда, время от времени он становился придирчивым и капризным, нарушал свое обещание и восстанавливал вычеркнутые фамилии. Своеобразный способ освобождения несчастных заложников — ее ласками. Странно было встречать их, все еще живых, на улицах города, ведь они ни сном ни духом

не ведали, кому обязаны своим везением. Однако жертвенность не всегда приносила плоды, так как настроение Фишера было изменчивым; иногда его переполняли мстительные мысли и желания, и тогда не получалось управлять им. Однажды он как бы между прочим спросил, почему ее дочерей не бывает дома, когда он приходит, но она не ответила, хотя по спине у нее пробежал холодок. Ей приходилось выпрашивать, вымаливать каждое су, постоянно пресмыкаться, тогда как он смотрел на нее со своей сияющей мертвой улыбкой, страстно желая, чтобы она ползала перед ним на коленях, и иногда, полушутя, она делала это, обнимала его ноги, а он стоял, положив руки ей на плечи, словно вдруг отключившись, так как мыслями он был не с ней, и, вглядываясь во что-то очень далекое, продолжал улыбаться ей из этого далека. Она называла его "un drôle d'animal",[139] однако испытывала к нему не только неприязнь и отвращение, но и жалость — неискоренимую французскую жалость к человеку, который по собственной воле выбрал для себя путь к несчастью, который получал удовольствие от самопожертвования других людей

---

[139] Примечания: 139
Странный зверь *(фр.)*.

и от их бед. Иногда он засыпал, и ему снились кошмары, поэтому он кричал и плакал во сне, а один раз он себя выдал: в большой степени его неуравновешенность порождена стыдом, пережитым когда-то в детстве, — он вдруг описался в постели. Для него это было ударом, и некоторое время он скрывался от нее — пришлось ей самой, так как у нее кончились деньги, разыскивать его. Однако обо всем этом Констанс узнала гораздо позже; в тот первый вечер женщины просто пили вместе кофе в баре отеля, прежде чем попрощаться и договориться о встрече утром, чтобы вместе ехать в Ту-Герц.

В тот вечер у принца было скверное настроение, так как ему совсем не хотелось ехать на Север — отчасти из-за начинавшейся простуды. В комнате было холодно, и ноги у него совсем закоченели.

— Нет, я должен, — мрачно сказал он себе, — в разрешении фон Эсслина точно указаны дни и часы, и мне нельзя ничего нарушить, если я хочу попасть на Север. Проклятье! Сегодня я видел, как он вышел из церкви в Монфаве, и вид у него был грустный и усталый, наверно, Создатель наставил его…

— Что вы там делали? — спросила Констанс.

— Хотел повидаться с Катрфажем, мне дали разрешение. Смиргел, скользкий тип, отвез меня. Дорогая, Катрфаж в самом деле не в себе, в самом деле *dingue*.[140] Бродит всюду, как Гамлет. Он был уверен, что я приехал из Индии с особой секретной информацией для него! Вот так! У бедняги не все дома. Наверно, действуют и лекарства, но Смиргел это отрицает. О нем очень заботятся — надеются открыть тайну… какой же все это вздор, должен сказать!

[140] Примечания: 140
Чокнутый *(фр.)*.

Глава восьмая
Исповедь

Настроение фон Эсслина было несколько иным, ибо он не стал ждать, когда волна оптимизма, поднятая приездом Констанс, спадет. Испытывая чуть ли не эйфорию, он въехал в Авиньон, желая попасть в часовню Серых Грешников, ибо его посетила новая идея насчет мессы и исповеди. Его каблуки уверенно стучали по невысокой дамбе, пересекавшей бурлящий канал со старомодными деревянными водяными колесами. Автомобиль фон Эсслина сопровождал весьма скромный эскорт, так как ему не хотелось привлекать лишнее внимание к своему генеральскому чину, кроме того, не стоило заполнять улицы вооруженными людьми без официального, так сказать, повода. Высокие двери из прогнившего дерева со вздохом отворились, и фон Эсслин перешел с каменных ступеней на деревянный порожек и из дневного света в слабо мерцающий свет расставленных повсюду свечей. В маленькой часовне никого не было, несмотря на зажженные свечи, которые как будто возвещали скорую службу. Три

исповедальни, похожие на телефонные будки, были открыты. Рядом с ними фон Эсслин заметил электрический звонок и карточку с именем дежурного священника, которого, очевидно, надо было позвать. На минуту фон Эсслин присел на скамью, потом преклонил колени и помолился, словно желая предварить ритуал, заранее очистить его, прежде чем он будет совершен. Потом нажал на звонок и слушал, склонив голову, пока звук не затих где-то внутри церкви. Снаружи слышался лишь шорох водяных колес, которые гнали воду для работавших тут когда-то и давно исчезнувших кожевников. Наконец из-за алтаря, двигаясь очень медленно, как будто лениво, вышел дородный священник с массивной квадратной головой и густыми, постриженными *en brosse*,[141] седеющими волосами. Фон Эсслин вскочил. Завидев священника и помешкав несколько мгновений, чтобы успокоиться, он спросил на своем хромающем французском:

— Отец мой, я хотел узнать. По просьбе моих офицеров. Где они могли бы прослушать мессу и исповедаться?

Дерзкие черные глаза смотрели с жабьим

---

[141] Примечания: 141
Бобриком *(фр.)*.

безразличием; лицо священника не выражало ничего, пока он предавался размышлениям. Наконец, окинув генерала взглядом с ног до головы и не выказав ни грана подобострастия, он сказал:

— В Монфаве есть священник, который знает немецкий. Я позвоню ему, и вы можете исповедаться у него когда пожелаете, только сначала надо договориться. Когда бы вы хотели быть там?

— Через час, — ответил фон Эсслин, довольный, что сумеет так быстро сбросить с себя непосильный груз. — Это возможно?

Квадратноголовый священник опустил подбородок на грудь.

— Отлично. Через час. Сейчас я позвоню в Монфаве.

Все складывалось невероятно удачно. Священник повернулся на каблуках и медленно пошел обратно к алтарю. Фон Эсслин наблюдал за ним несколько секунд, немного выбитый из колеи его безразличием. Потом тоже развернулся и вышел из сумрачной часовни на солнечный свет, наружу, где его дожидалась свита. У него на сегодня было назначено несколько официальных визитов, и он отправился на них немедленно,

чтобы не явиться в церковь слишком рано — пусть у священника будет достаточно времени для переговоров со своим говорящим по-немецки *confrére*.[142] Прошло часа полтора, прежде чем он выехал на обсаженную деревьями, петляющую дорогу, которая вела в старинную деревню. Везде в реках поднялся уровень воды, и она с шипением бежала между зелеными лугами. Высоко в синем небе летали жаворонки. У фон Эсслина вновь поднялось настроение, и он вдруг заметил, что тихонько напевает мелодию из оперы. До чего же далеким, немыслимо далеким был теперь для него мир музыки!

Автомобиль с эскортом прокатил по зеленой лужайке перед старой церковью и остановился. Фон Эсслин энергично вышел из него и пружинистой походкой проследовал в полумрак церкви. Он больше не испытывал робости, убедив себя, что и в самом деле действует во благо офицерского братства. Однако в церкви было пусто и темновато — лишь дневной свет из высоких окон падал на большие, почти неразличимые изображения святых. Помедлив, он вошел в придел под номером IV, сел на скамейку и терпеливо подо-

[142] Примечания: 142
Собратом *(фр.)*.

ждал несколько минут; потом, решив не терять время даром, опустился на колени на *prie-dieu*[143] и попытался произнести несколько искупительных покаянных молитв деве Марии, которыми как бы предварял более важный обряд — исповедь, которая должна была последовать за этим. Звук шагов — странная шаркающая поступь — привлек его внимание. Оказывается, из-за алтаря вышел священник и уже одолел половину пути к исповедальням с маняще распахнутыми дверьми. Он был крошечный, чахлый, смуглый, как почерневшая олива, и глаза его сияли умом. Нижняя часть тела приближавшегося человека была вся искорежена, ноги вывернуты вопреки законам симметрии, так что идти ему приходилось боком, раскачиваясь в вымученном ритме. Однако появление его было столь неожиданным, что фон Эсслин не успел даже толком его рассмотреть, — маленький священник, дружелюбно распахнув руки, уже приглашал в исповедальню. Фон Эсслин подчинился и, оказавшись в полумраке, стал смотреть на прорезь в деревянной перегородке, в которой никого не было видно — крошечный священник не доставал до нее

[143] Примечания: 143
Скамейка, на которую становятся коленями молящиеся *(фр.)*.

головой. До фон Эсслина доносилось неровное тяжелое дыхание, и он произнес первую обязательную фразу *peccavi*:[144] «Отче, я согрешил».

Ответы и промежуточные замечания крошечного священника действительно звучали по-немецки — но с таким явным еврейским акцентом, что генерал едва не разразился проклятиями. Боги словно смеялись над ним! Неужели они намеренно назначили еврея отпустить ему грехи? Нет, не может быть. Но почему бы и нет? Что может помешать иудею стать католиком? Что? Увы, ничто не мешает. Несколько мгновений генерал никак не мог совладать с постыдной яростью — рука его сама собой потянулась к револьверу, пальцы осторожно и бессмысленно гладили рукоятку. Только этого не хватало, картавого выговора венского психоаналитика! Ему было мучительно слышать этот хорошо знакомый порок в произношении определенных слов. До чего же глупо получилось! Ему стоило больших усилий продолжить исповедь и, запинаясь, довести ее до конца, получив наставление и мнимое наказание, которое, согласно католическим канонам, подразумевало отпущение

---

[144] Примечания: 144
Признание вины *(лат.)*.

грехов и прощение. Все эти непредвиденные обстоятельства отчасти превратили исповедь в некий фарс. Из-за этого его терзали сомнения, он спорил сам с собой. Вот в таком состоянии растерянности он вернулся в свою штаб-квартиру в крепости. Его штаб занимал целый лабиринт соединяющихся между собой помещений, вход в который был только через центральную дверь в главном коридоре — мечта любого офицера спецслужб. В кабинете на стене висели карты, много карт, на которых были отмечены не только его несколько неопределенные владения, но также расположение основных частей дальше на севере. Он смотрел на все эти карты с неизменным энтузиазмом и благодушием. Новости из России беспокойства не вызывали, но все же свидетельствовали об определенном спаде — остановки, перегруппировки, усилившееся сопротивление. Что ж, с такими растянутыми коммуникациями нужно было предвидеть временную паузу для консолидации сил.

В тот же вечер Фишер, оставшись один в столовой, перечитывал свою единственную — так сказать, единственную интеллектуальную — собственность: «Шахматные задачи» Кропотника. Он был задумчив и не хотел ни с кем разговари-

вать, что отлично соответствовало настроению подошедшего позже генерала. В высокомерном молчании генерал съел свой обед. В его памяти все еще звучал голос с напевными, словно раскачивающимися интонациями, свойственными идиш, например, в таких фразах, как: *"Welch einen Traum entsetzensvoll..."*[145] Вдруг ему пришло на ум: а не окажется ли крошечный священник в один прекрасный день в гестаповском списке? Генерала несколько покоробило от этой мысли.

На другой день с утра было холодно и туманно, потом начался дождь; немецкий офицер приехал точно в назначенный час и, несколько напряженно выпрямив спину, сидел в служебном автомобиле — эта поза почему-то сразу наводила на мысль о его глухоте. От смущения он был чересчур педантичен, но все же чувствовалось, что ему приятно сопровождать двух хорошеньких женщин — Нэнси Квиминал решила вместе с Констанс посетить Ту-Герц. Над бурлящей рекой стоял туман, когда они проезжали знаменитый мост, оставляя позади скопление церквей и колоколен и беря направление на горы. Констанс сидела впереди рядом с шофером, с нетерпением

---

[145] Примечания: 145
Что за сон, наполненный кошмарами *(нем.)*.

читая указатели, которые были для нее бесценными напоминаниями о прошлом.

Глава девятая
Вновь Ту-Герц

Что касается работы в Авиньоне, то Констанс пока еще не решила, останется она или уедет, — ее смущало очевидное раздражение принца, который не допускал даже мысли о том, чтобы бросить ее одну, когда ему пора будет уезжать. Здешнее уныние и варварство, поистине средневековая антисанитария — ну как ей справиться с этим одной? Он спрашивал ее об этом, но Констанс понятия не имела, что ему сказать в ответ. Она словно бы ждала какого-то знака, знамения, чтобы все решилось само собой. А тем временем богатый гобелен, хранившийся в ее памяти, расстилался вокруг, украшенный густыми лесами и живописными пригорками над чистыми реками. Немецкий офицер вел машину не очень ловко, но осторожно, отгороженный своей глухотой. Нэнси Квиминал тоже молчала, хотя время от времени задумчиво поглядывала на Констанс. До чего же пустынными были дороги! Пригороды выглядели в зимнем свете мрачными и угрожающими — и не только выглядели, но и были такими. Ехать

было недалеко, но Тюбэн прятался в собственной тайной лощине, так что, когда они въехали в поместье, из-за его уединенности им показалось, будто они проехали много лье.

Немец выключил мотор, и его шум, понемногу стихая, замер в лесу. Неподалеку стоял небольшой особняк, отсыревший и некрашеный, желоба для стока воды были завалены листьями, их было полным-полно и на крыльце, и на широкой каменной террасе, затененной штамбовыми розами. Прибывшие, все трое, сидели и молчали.

— Этот дом? — спросила Квиминал, и Констанс кивнула. — Я как-то была тут, давным-давно, еще девочкой. Здесь жила старая безумная дама? Да. Мы привезли ей яйца!

Констанс вышла из автомобиля.

— Мне надо посмотреть, все ли на месте.

Знакомым щелчком ее приветствовали ворота. Все канавы превратились в ручейки или болота, так как ночью шел дождь, однако теперь небо расчистилось. Сад, как всегда в эту пору, выглядел губительно заброшенным, — в ожидании лета, пчел, песен дроздов и кукования кукушек. Кухонное окно как было разбитым, так и осталось; Констанс заглянула внутрь и увидела стол, за которым вся компания часто собиралась поесть

и сыграть в карты. В очаге было полно обрезков лозы и бумаги — наверно, в доме кто-то жил, и у Констанс сжалось сердце. Неужели и вправду здесь живут? Резко обернувшись, она крикнула:

— Надо поехать в деревню и взять ключи. Я хочу осмотреть дом.

Нэнси Квиминал пожала плечами.

— *Bien sûr.*[146]

Но Констанс, когда оборачивалась, успела заметить какое-то движение в лесу, а потом увидела мужчину, топтавшегося на опушке и явно не знавшего, стоит ли возвращаться. Это был возчик Блэз, они вместе с женой присматривали за домом в последнее лето перед войной. Констанс стала настойчиво звать его, и в конце концов он с опаской двинулся ей навстречу, хотя узнал ее, только когда подошел совсем близко. Тут уж он бросился к ней бегом.

— Вас арестовали, да? — в отчаянии, едва слышно, спросил он, схватив ее за руки.

Однако Констанс, улыбнувшись, успокоила его, а так как они были довольно далеко от автомобиля, то она шепотом вкратце рассказала о своих делах и объяснила, почему вдруг оказалась в Ту-

---

[146] Примечания: 146
Конечно *(фр.)*.

Герц. Блэз, прищурившись, внимательно слушал, глядя на нее с опаской и сочувствием. Но когда Констанс намекнула, что она только и думает о том, как бы вернуться в Ту-Герц и жить тут, он откинул назад голову и громко, восторженно рассмеялся.

— Погодите, пойду скажу жене! — воскликнул он. — Вот уж она будет рада.

— Но сначала мне надо посмотреть, что творится внутри! — воскликнула она в ответ, потому что ее все еще одолевали сомнения.

— Хорошо, — сказал он, вынимая из кармана ключ. — Заходите. Тут все, как было при вас. Все что нужно для проживания.

Странно было переступить порог темной кухни, в которой буфеты были высотой до потолка, а на столе остались отметины от ножей бывших поварих, к которым Констанс имела право причислить и себя. Она провела пальцем по каминной полке и обнаружила, что на ней нет пыли; кто же убирал в доме и содержал его в такой чистоте? Из слов Блэза стало ясно, что этим занималась его жена. Обсудив домашние проблемы, он вдруг спросил:

— А как там мальчики? Как они поживают?

Его вопросы застали Констанс врасплох, и ей

стало не по себе.

— Хорошо, — ответила она, — очень хорошо.

— И Сэм?

Констанс была потрясена: ведь для Блэза Сэм все еще живой… и значит, он как бы не совсем мертв. И она тоже могла сказать себе, что он там, на службе в Египте, вместе со своим другом Обри. Неожиданно ее охватила радость, потому что она как бы получила его, своего мужа, обратно, хотя бы и таким фантастическим способом. Ей даже почудилось, будто Сэм крикнул «Браво!» и схватил ее за руку. Эхо этого возгласа и самого его присутствия перелетало из одной пустой комнаты в другую по всему дому; и Констанс могла свободно говорить о нем, потому что здесь он все еще был живой! Как психолог, Констанс осуждала себя за слабость, но как влюбленная женщина радовалась; возможность просто говорить о нем так, словно он не погиб, была счастьем, это помогало ей одолевать боль утраты, которую она загнала внутрь под напором собственной никчемной профессиональной гордыни. Более того, это был знак, которого она так ждала. Она будет жить в Ту-Герц с призрачным, мифическим Сэмом, она станет, скажем так, единственной владелицей тайны его гибели, до тех пор пока

не износит свою печаль и тоску; она пробьется в богатую жилу боли, вызванной его гибелью и ранением Блэнфорда — в жуткое несчастье, замурованное внутри еще более страшной беды, внутри терзающей мир войны.

— Я буду жить здесь, — сказала Констанс и, уже сидя в автомобиле, взволнованно повторила это Нэнси Квиминал, которая весело кивнула в ответ.

Почему бы нет? В доме вполне достаточно мебели, чтобы приспособить его для жизни. По стеклянной крыше оранжереи с разноцветными окнами монотонно барабанил дождь. Там внутри стоял тот самый диван из кабинета психоаналитика — тихий, покорный, терпеливый, будто перенявший качества идеального психоаналитика. Констанс на минутку присела на него и услышала, как запела пружина. «В снах истоки ответственности», — мысленно процитировала она; вот и это был сон, с которым ей придется жить, — Сэм, какой он был и будет, изменившийся, приспособившийся к обстоятельствам; а все так или иначе связано с воспоминанием об убитом ребенке. Сколько же всего тут было, до сих пор будившего боль; но переживания были плодотворными, ведь только печаль может по-

дарить такое богатство эмоций. Констанс будет жить в этом гористом краю, с которым связано столько воспоминаний, и плохих и хороших. Прибежала жена Блэза и стала бурно выражать свой восторг — она не смела и мечтать о том, что Констанс когда-нибудь снова вернется в Ту-Герц! Они с Блэзом обещали, что через несколько дней дом будет готов; а Квиминал сказала, что в пустовавшем сейчас доме ее сестры много постельного белья, посуды и мебели.

— Сначала надо получить разрешение, — сказала Констанс, — и проводить принца. Он рассердится, когда я скажу ему.

После продолжительного прощания с Блэзами Констанс и Квиминал повезли назад в город, и Констанс еще долго оглядывалась на свой «шато», прятавшийся среди зеленых лесов.

Принц был весьма многоречив, когда спорил с ней, — конечно же, он был против; однако его доводы лишь укрепили ее решимость.

— Хотите остаться? И что вы будете делать тут одна? — вопрошал он. — Ни телефона, ни радио, зима, снег, комендантский час… Боже мой, Констанс, *soyons raisonnables!*[147]

---

[147] Примечания: 147
Будем благоразумны *(фр.)*.

— Я остаюсь, — проговорила она, сжав его маленькие ручки своими — куда более сильными — руками. — Как только вы уедете, я переселюсь в свой дом. Мне это необходимо, неужели вы не понимаете?

— Типично по-женски! — сказал он, уже по-настоящему разозлившись.

— Ладно вам, — отозвалась Констанс. — Вы же знали, что такое возможно, когда мы собирались ехать сюда. Вы сами это предлагали. Поэтому я уложила два чемодана, которые вы пришлете мне с первым же курьером. — Принц издал рычание — оказалось, он всего лишь решил откашляться. — Я все тут организую, — крепче стиснув маленькие ручки, продолжала Констанс, — помещения, транспорт и все остальное. Фермер и его жена будут мне помогать. Если предоставят служебный автомобиль, то мне всего ничего до города.

Пожелав друг другу спокойной ночи, они печально расстались, а утром, когда Констанс спустилась вниз, принца уже не было. Ночью, еще даже не рассвело, за ним приехал автомобиль, и принц захватил с собой все свои вещи, оставив Констанс короткую и сердитую записку: «Забираю вещи, потому что, возможно, сразу

поеду в Женеву. *Пожалуйста,* приезжайте *почаще* хотя бы для того, чтобы проконсультировать Аффада».

Констанс почувствовала себя брошенной, одинокой и, разумеется, расстроилась; она-то рассчитывала, что он еще вернется и поможет ей устроиться. А теперь… Но были и добрые новости. Мэр получил в свое распоряжение служебный автомобиль для Красного Креста — с водителем в форме, правда, на автомобиле будет флаг со свастикой. А потом пришел глухой офицер и объявил, что вилла, которая находится в горах выше Ту-Герц, является опорным пунктом. Это означало, что там будет постоянный патруль, и Констанс может утром приезжать в Авиньон и уезжать домой вечером в служебном автомобиле. О таком удобстве и мечтать было нельзя, так что оставалось только радоваться удаче. Все складывалось как нельзя лучше — если бы не гнев принца. Констанс было неизвестно, заедет ли он напоследок в Авиньон или ее неповиновение рассорило их навсегда.

— Ну и ладно, — сказала Констанс. — Полагаю, за все эти милости нам надо благодарить генерала. Дай бог, чтобы не последовало каких-то особых условий.

Условий как будто никто выставлять не собирался, ибо генерал не показывался; он был занят решением личных проблем, и в конце концов ему подобрали подходящую виллу. Наконец-то он мог избавиться от столпотворения, которое действовало ему на нервы. Он даже не соизволил устроить прощальный ужин или хотя бы сообщить о своем отъезде — в один прекрасный день он просто исчез вместе с денщиком и полудюжиной чемоданов. Фон Эсслин унаследовал бывшую резиденцию лорда Банко, где его обслуживали денщик, повар, адъютант и офицер связи, который также исполнял обязанности стенографиста. Обязанностей у самого генерала прибавлялось, и его действия становились более «решающими» с точки зрения профессиональной. Его успехи совпали с первой проигранной в России битвой, а также с менее масштабными, но неприятными поражениями на Ближнем Востоке. Пунктирных линий на картах становилось все больше, попутный ветер победы несколько поутих. Фон Эсслина радовал отъезд из замка, потому что останься он там, на душе было бы гораздо тяжелее. Что-то менялось, уже изменилось, у немцев пропал прежний кураж. Надо сказать, торопливое и едва ли не тайное «передислоциро-

вание» генерала разозлило мнительного Фишера, который отпраздновал это событие по-своему, устроив пивную вечеринку, на которой сам же до чертиков напился. Пирующие наслаждались свободой, как это бывает со школьниками в отсутствие учителя. Они распевали песни, а под конец стали стрелять в свечи, поставив их на каминную полку; над нею было высокое зеркало, в котором отражались все эти игры с оружием. Пули с оглушительным треском дырявили то зеркало, то стену. Никому не удалось попасть в огонек свечи, то есть в цель. Все крепко напились, смеялись без стеснения, а в перерывах между взрывами хохота орали песни и выкрикивали боевые кличи. Когда у Фишера кончились патроны, он устало опустился на стул, стоявший возле стены, и сказал оказавшемуся рядом офицеру:

— Знаешь, что мне нравится? Брать заложников! Останавливаешь автобус или поезд с рабочими. Смотришь на их физиономии и говоришь: «Мне нужен ты, и ты, и ты». — Он попытался изобразить себя самого в образе жестокого воина. Помолчал немного. — Потом я говорю: «Выходи». — Он опять помолчал, будто выжидая, когда рабочие уяснят смысл приказа. — Тут начинается. «Кто? Я? Но я ничего не сделал. Совсем ничего.

Почему я?» А я говорю: «Мне известно, что ты сделал. Выходи и поторапливайся».

Он вскинул пистолет — для большей убедительности. И вдруг его лицо сморщилось, затем на нем появилась усмешка, после чего он разразился грубым и каким-то судорожным хохотом и, хлопая себя по коленке, еще долго повторял с большим удовольствием: «Кто? Я? Но я ничего не сделал». Твердил, что до смерти ему не забыть выражения их лиц, когда они это говорили. И продолжал хохотать до слез, до изнеможения. После полуночи веселье стало стихать. Но тут молодой эсесовец решил изобразить русских — как они швыряют в камин пустые бокалы. Но нашлось всего несколько человек, пожелавших последовать его примеру; эта выходка повергла всех в задумчивость. Мысль о том, что на данном этапе войны подобная шутка не совсем уместна, Фишера не смутила, и он с готовностью избавился от двух пивных кружек, но тут кто-то схватил его за плечо и уговорил прекратить это пьяное безумство. Когда компания решила наконец разойтись, вид у него был измученный и мрачный.

Так все распрощались с фон Эсслином — с его невыносимым аристократизмом и леденящим высокомерием. Естественно, его имени никто

не называл, да и сам факт переезда не обсуждался. Только интеллектуал Смиргел сохранял спокойствие и не очень охотно участвовал в этой попойке, но изредка выдавливал из себя улыбку, как бы говоря, что он не против такого молодечества.

Остаться одной вот так вдруг совсем не просто, остаться одной в городе, который стал совсем другим, — ничуть не походил на солнечно-золотистый разнеженный Авиньон того лета. Зимний ветер, кружащиеся листья, бурлящая река у крепостных стен — все это придавало городу совсем иной облик, но именно с этим незнакомым городом ей теперь предстояло остаться один на один. Правда, она сама жаждала этого, сама настояла на одиночестве — и не отрекалась от него, потому что оно было ей необходимо. Все же после отъезда принца Хассада начались сумерки, зимние сумерки, населенные немцами, началась нелегкая жизнь с бытовыми трудностями и комендантским часом, которую немцы принесли с собой; жизнь с продуктовыми карточками и приказами, ограничивавшими передвижение, — все это мешало нормально работать, вызывало апатию и раздражение. Люди постоянно недоедали и мерзли. Продуктов не хватало, а если и были, то

их надо было припрятывать, чтобы не отобрали немцы. Вот тут-то Констанс научилась и настойчивости и дипломатичности — да и ее знание немецкого языка помогало ей в бесчисленных препирательствах с офицерами службы снабжения или с мелкими чиновниками, старавшимися понравиться немецким начальникам. Некоторое время она даже взывала к Петэну, рассчитывая получить хоть какую-то независимость, однако образ старого маршала быстро тускнел на фоне насильственной депортации евреев и облав на потенциальных рабочих для немецкой военной промышленности, ибо у него не было почти никакой власти, и в обществе росло раздражение — из-за бесконечного его кривляния, из-за наглого злоупотребления доверием людей, а неудовольствие вскоре непременно должно было перерасти в отчаяние. Так и должно было случиться, как только люди поняли, что их хваленая независимость от немцев — пустые слова. Как ни странно, чувство стыда лишь усилило ненависть к англичанам, которые, в отличие от французов, отказались от всяких компромиссов с фашистами. Кроме того, люди и *сами* побаивались устраивать инциденты здесь, в «свободной зоне», из-за которых могли бы пострадать все —

ответные меры немцев были скорыми и не очень избирательными. Ну а рассердить их ничего не стоило. За один случайный выстрел из автомата они могли — и часто именно так и поступали — уничтожить всю деревню. Кроваво-красные объявления были очень простыми: «Германское верховное командование ведет беспощадную борьбу с *franc-tireurs.* Их ждет жестокое наказание».

Переезд Констанс назначила на воскресенье и пригласила в помощницы Нэнси Квиминал. Если у Констанс и были страхи или опасения насчет того, что в Ту-Герц ей будет очень одиноко, то они мгновенно рассеялись — с такой радостью ее приняли Блэз и его жена, не считая их троих детей. Весь дом был вымыт и вычищен снизу доверху, в небольшом камине уютно потрескивала виноградная лоза, блики пламени играли на медной посуде, которой были увешаны стены, — эта *batterie de cuisine*[148] могла пригодиться для приема гостей когда-нибудь в будущем. Посуда, скатерти, простыни и одеяла — все было заботливо сохранено женой Блэза, и теперь Констанс просто диву давалась, как преобразился ее дом.

---

[148] Примечания: 148
Кухонная батарея *(фр.).*

Снаружи стояла канистра с керосином, который наливали в маленькие уютные лампы. Констанс вся дрожала, когда садилась за вымытый стол, не сводя взгляда с огня и чувствуя, как наливаются румянцем ее щеки в тепле кухни. Бессвязные мысли о Сэме мешали ей успокоиться, и хотя Квиминал чувствовала ее волнение — она держала ее за руку, — его причины оставались для нее загадкой. А все дело было в тайной боли из-за невидимого Сэма — это он когда-то чистил газетой маленькие лампы и аккуратно ставил их в буфет до следующего лета — они все упрямо считали, что оно *настанет.* Блэз отыскал припрятанную бутылку вина, довольно крепкого, и все выпили по бокалу за «успех дома». Это было чудесно — прыгающий огонь, запах еды *(a ragout),* которую готовили на старой, топящейся углем плите, детский гомон… все это, так казалось Констанс, было добрым знаком. Работать и есть она будет в кухне, из большой, похожей на сарай буфетной сделает гардеробную, спать будет в своей прежней спальне — в той самой, что она делила с Сэмом, так как эта спальня не продувалась северным ветром. В хорошую погоду можно спать в оранжерее, которая, несмотря на частые перебои с водой, вся была густо оплетена

свежими побегами роз, защищавшими ее от солнечного света, — казалось, будто ты на дне какого-то пруда. Там же, как на якоре, стоял старый диван, дожидаясь лучших времен.

Женщины привезли с собой немного еды — рис, овощи, кофе, сыр. Констанс не сразу, но уговорила Нэнси Квиминал остаться на ночь, и жена Блэза заботливо приготовила ей постель в прежней комнате Блэнфорда.

— Совсем как летом! — воскликнула Нэнси Квиминал. — Здесь можно забыть о бошах — и все-таки мы всего в нескольких километрах от города.

В небольшой деревушке немцы и вправду почти не показывались; благодаря этому Блэз, как обычно, сделал приготовления на зиму и вообще вел себя так, словно не было ни войны, ни немцев, ни дефицита продуктов. В конце года он умудрился, как всегда, купить в Тюбэне пару гусей, двух поросят и полдюжины цыплят. Двор был со стороны леса. И можно было распределить живность таким образом, чтобы ее не видели проезжающие мимо патрули. В старинном провансальском сундуке у него хранилось немного муки, риса, чая, а также засушенные травы для лечебных чаев — *tisanes,* столь любимые французами,

которые с их помощью поправляли здоровье и уравновешивали лишние жиры в пище. Каждый год он делал домашнее вино, но в небольших количествах, пользуясь виноградниками соседей, где сборщики не замечали или нарочно оставляли несколько гроздей. Это называется *grapiller:* небогатые люди собирают оставленный на лозах виноград, чтобы сделать себе вина. Вот и Блэз тоже. Его вино было хорошего цвета — как настоящий француз он поднял бокал на свет, прежде чем выпить: у вина был «букет», едва заметная тень прохладной земли, теплого погреба, неуловимые прикосновения человеческих рук, которые срывали грозди, благоухание магмы десятилетий больших винных прессов… *любовь и ласка.* Все, что давно считалось романтикой и фольклором, продолжало существовать в этой кухне с прыгающим пламенем и розовым светом ламп, зажженных заблаговременно, чтобы как следует осветить все эти бессмертные драгоценности. Жену Блэза звали Колетт, это была гордая и сильная женщина из протестантской части Севенн, где долго загораются, «как каменный дуб», говорит пословица, «зато долго горят». Констанс давно уже пришлась ей по душе, и она была искренне рада, что эту ужасную зиму та проведет

вместе с ними в Ту-Герц. Нэнси Квиминал тоже заслужила ее расположение и симпатию, да и невозможно было устоять перед ее миловидностью, искренностью и прямодушием. Женщины привезли супругам «последние новости» из Авиньона обо всем, что творилось в мире, словно те жили за сотни миль; это были мрачные новости о взысканиях и арестах — и в некоторых случаях о непостижимой бессмысленной жестокости, к которой, как это ни парадоксально, они были абсолютно не готовы. Они не были готовы увидеть повешенных на платане людей — напротив Папских дворцов. А в другой части города на одном из балконов второго этажа болтались на веревке юноша и собака. Все кровавые эпизоды имели свою предысторию, и Нэнси Квиминал рассказывала их одну за другой своим низким мелодичным голосом. Потом наступила тревожная тишина, и черный мрачный взгляд Колетт переходил с лица на лицо, словно вопрошая о причинах и смысле происходящего.

— Вам не будет тут страшно? — спросила она Констанс и, пожалуй, успокоилась, когда та покачала головой.

— Не так страшно, как в городе, уверяю вас.

И правда, тут не действовал комендантский час

и не было патрулей, которые время от времени устраивали стрельбу по мишеням, выбирая в полной тьме освещенное, несмотря на запрет, окно.

Будучи настоящими крестьянами, Блэз и его жена все же ушли рано, чтобы лечь спать в обычный час, но прежде Блэз спустился в погреб и включил старенькое радио, настроенное на Лондон, чтобы послушать новости с фронта. Это было очень опасно и могло рано или поздно привести к страшным последствиям, однако Блэз не мог лишить себя этой последней связи с внешним миром, делавшей сносной его жизнь в деревне, которая иначе ничем не отличалась бы от жизни Робинзона Крузо на острове.

— Вот еще что, — сказала Колетт. — После наступления темноты по дороге начинают ездить автомобили. Не открывайте, если к вам постучат. Так оно надежнее. Много людей прячется в горах, чтобы не идти на принудительные работы. В конце этой дороги они сворачивают в лес, и были таковы. Здесь последний пункт. Они идут ночью, иногда слышно, как они разговаривают. Однажды я видела огоньки сигарет в темноте. Но я никогда не отпираю дверь, и ко мне никто не стучится.

Ужинали они очень рано, потому что зимой ра-

но темнеет, а потом детей послали наверх, чтобы они и «поработали» грелками — нагрели свежие, пахнувшие дождем простыни. Маленький мальчик хотел услужить исключительно Констанс, так как был безнадежно влюблен в нее с первых дней прошедшего лета. Он лежал тихо, о чем-то думал, уставясь широко открытыми глазами в потолок и вспоминая, как она выглядела в старомодном купальнике, почти голая… Он застонал. У него дух захватывало от ревности к Сэму. Он сунул руку под одеяло и стал воображать, каково ему было бы, если бы это была рука Констанс, а не послушная ручка его сестры во время их игр в сарае. Он опять застонал и начал ворочаться в постели в пароксизме желания. (Подумать только, мысленно удивлялась Констанс, что никто не замечал ничего такого до Фрейда, открывшего детскую сексуальность. Невероятно.)

Но потом она возразила себе: «Ну вот, опять я рассуждаю, как классная дама. Любая мать знала об этом, видела это, однако социальные условности не позволяли ей об этом говорить». Впрочем, может, матери ничего такого не знают. Что же касается знаменитой детской сексуальности, то памятным прошлым летом случился эпизод, который иначе как сомнительным не назовешь.

Это произошло утром, когда Сэм покинул теплое гнездышко, чтобы храбро поплескаться в пруду и порезвиться среди водяных лилий, а она лежала в постели, то ли не проснувшаяся, то ли не очнувшаяся от любовной истомы. Скоро должно было пригреть солнце. Итак, она лежала в оцепенении, дремала, когда вдруг почувствовала, что простыня приподнялась немного, ровно настолько, чтобы впустить сына Блэза, еще совсем маленького, который скользнул в кольцо ее рук и стал осыпать поцелуями сонное лицо Констанс. Удивленная, она проснулась, но некоторое время лежала неподвижно, пытаясь сообразить, как себя вести в ответ на запретное вторжение, которое показалось ей почти невинным из-за малых лет Тарквиния,[149] не умевшего справиться с собой. Его терзала любовь. Вырвавшись из-под града похожих на торопливое птичье поклевывание поцелуев, Констанс услышала свой голос: *«Non. Non. Arrête!»*,[150] чувствуя трепетное шелковистое прикосновение маленького пульсирующего

[149] Примечания: 149

Имеется в виду герой поэмы Шекспира «Обесчещенная Лукреция», в основе которой — реальный эпизод из истории Древнего Рима: Тарквиний, сын царя Тарквиния Гордого, силой завладел Лукрецией, женой одного из сограждан. *(Прим. ред.)*

[150] Примечания: 150

Нет. Нет. Перестань, *(фр.)*.

пениса к своей еще теплой промежности. Что ей делать? Ну и положение! Внезапность нападения застала ее врасплох.

Свои «нет-нет» ей удалось произнести без излишней взрослой надменности, но это уже было ни к чему — по искаженному лицу мальчика легко было догадаться о его ощущениях. Его оружие поникло и сморщилось, из груди вырвалось несколько приглушенных стонов наслаждения, и он спрятал лицо у нее между грудей. Этого еще не хватало! Констанс уже приготовилась проявить твердость и волю, но тут внизу раздался щелчок щеколды кухонной двери, и по каменному полу зашлепали босые ноги. Мальчик мгновенно каким-то чудом исчез, словно его не было, — растаял в воздухе; это был самый настоящий акт дематериализации! Он исчез так быстро, что Констанс даже не успела осознать своего позора! Уж не приснилось ли ей все это? Но нет, маленькая лужица спермы и несколько капель, повисших на волосках лобка, свидетельствовали о том, что его короткое присутствие в ее постели — никакой не сон. Констанс опять задремала, во всяком случае постаралась задремать, а потом вернулся Сэм, вновь принялся ее ласкать, и она отвечала ему, отчего его прохладная кожа

постепенно теплела. Они снова отдались друг другу, но уже не так бурно и даже немного устало; из-за случившегося перед этим и из-за своего невольного возбуждения Констанс чувствовала себя немного виноватой, и ей захотелось немедленно покаяться — насколько уж получится! Ей было необходимо своего рода очищение — посредством этого более полного и щедрого соития, теперь уже со своим любимым.

— Меня изнасиловали, — сказала она, но таким тоном, что это можно было принять за шутку, и Сэм принял ее игру.

— Это как — во сне, в мечтах, мысленно — какой-нибудь священник?

— Ага, — ответила она, не конкретизируя.

— Ах вот что, вот почему ты так возбуждена, — произнес Сэм с притворной грустью. — Всегда следует благодарить другого — *l'Autre,* временщика, нахала…

— Любимое занятие гомосексуалов, — отозвалась она, гордая своим искусством психоаналитика. — Ох уж эти частные школы.

— Было бы место и время, — с неожиданной серьезностью проговорил Сэм и прикусил ей нижнюю губу так, что боль была почти невыносимой. — Констанс, у тебя как у моего *идеала*

всегда будет золотой фаллос на случай, если ты захандришь — например, когда я буду на войне.

Она поняла, что ему очень-очень грустно.

— Вы хотите оправдать меня, милорд?

— Все, что ты делаешь, прекрасно. Потому что это делаешь ты, во всяком случае, так я чувствую.

— Только потому, что это делаю я?

— Да, так я чувствую.

Они лежали, глядя друг другу в глаза словно загипнотизированные, пока Сэм не приподнялся на локте, чтобы взять спасительную сигарету.

— Милый, — прошептала Констанс, кладя руки ему на плечи, еще прохладные после купания. Теперь он не поручился бы ни за одно произнесенное слово.

Полное очищение состоялось, и этого было достаточно… А теперь, вспоминая прошлое, такое острое и живое в ее памяти, Констанс назвала настоящую причину, почему решила остаться, — которая еще минуту назад была неведома ей самой. Суть в том, что для всех окружавших ее тут людей Сэм не погиб, он все еще был в каком-то неведомом мире, и этот мир в один прекрасный день должен был вернуть его сюда, по-прежнему веселого и здорового, в Ту-Герц, к этим людям.

Ей стало немного стыдно, едва она осознала это, потому что была по натуре очень честным человеком; но ей было необходимо еще немного времени, чтобы свыкнуться с его смертью. Сколько бы она не скрывала правду, когда-нибудь, когда она сможет вернуться к реальной жизни, необходимость лжи отпадет. И тогда она перед всем миром признается в его смерти.

Ярко полыхало пламя, и *ragoût*,[151] состоявшее из кусочков вкуснейшего мяса, один бог знает откуда взятого и столь же редкого, как домашний хлеб, источало волшебный запах. Пришли дети и объявили, что постели уже теплые-претеплые. Мать тотчас приказала им идти спать, желая сэкономить немножко на угле, но они потребовали, чтобы отец сначала показал им семейство хорьков, которое он откуда-то принес. Хорьки сидели в большой деревянной мышеловке старинного вида со множеством отдельных закутков, напоминавшей маленькую квартирку. Блэз сказал:

— Немцы приказали сдать все ружья — значит, многие будут теперь голодать; неизвестно, как людям выживать. Но, слава богу, в лесу полно кроликов, да и этих малышей тоже. Вчера я пой-

---

[151] Примечания: 151
Рагу *(фр.)*.

мал десять кроликов. Неплохо, правда?

Хорьки были гладкие, похожие на крохотных борзых, они семенили по своей клетке, скользили со зловещей настороженностью, глазки у них блестели, и еще они забавно и как-то приглушенно щелкали. Хорьков детям показали, но взять в руки не разрешили.

— Теперь спать, — велела Колетт. — Поцелуйте дам, пожелайте им спокойной ночи, и пошли прочь!

Констанс знала, что сын Блэза едва ли рискнет возобновить свои атаки, она ловко его усмирила, намекнув, что при малейших поползновениях она обо всем расскажет отцу. Мальчишка весь побелел и с того раза прятал от нее глаза, стоило им где-то столкнуться. Угроза всерьез его напугала, чего Констанс и добивалась. О самой же его провинности она почти не вспоминала, ведь прошло уже довольно много времени, и в ответ даже поцеловала его в щеку, слегка стиснув худенькое плечо. Служебный автомобиль поставили в соседском большом деревянном амбаре, где, собственно, Блэз жил, — ему поручили приглядывать за ним владельцы. В амбаре мотор уж наверняка не мог замерзнуть, не то что на ледяном ветру, поднявшемся к ночи, который

предвещал скорый снегопад. Попрощавшись, Констанс и Нэнси заперлись в кухне, сначала тщательно проверив, погашены ли в комнатах керосиновые лампы. Нэнси Квиминал разложила пасьянс на кухонном столе, чтобы, как она сказала, успокоить нервы, прежде чем лечь спать. Констанс заварила себе шалфея, нарванного в поле.

Когда они улеглись и пожелали друг другу спокойной ночи, Констанс поняла, что война началась и для нее; наступила ее первая военная ночь, и Сэм еще был жив, без особого шума спасен от крушащегося мира.

Обе они спали плохо, непривычные к ощущению изолированности от мира, которое вызывалось сугубо деревенскими звуками, долетавшими из угрюмого сада с высокими платанами и каштанами и из леса, что стоял за дорогой. Не из-за страха, а просто не освоившись пока с новым местом, они проснулись еще до рассвета и разожгли плиту, чтобы заварить чай. Они и не заметили, как подступила зима — рассвет был исполосован зловещими красными ранами, облака разорваны в клочья ночным ветром: когда они ехали в город, трещал мороз. Квиминал почувствовала это, только когда маленький служебный автомобиль

со свистом снесло к обочине — из-за гололеда:

— Началось, — проворчала она. — Скоро нагрянут простуды.

Однако пока они обе пребывали в хорошем расположении духа, освеженные поездкой; даже наглость солдат на пропускном пункте на мосту они выдержали со смирением, хоть и досадливым. Теперь они поняли, зачем нужен водитель в форме, ведь ему нипочем перепалки с солдатней. Водитель в форме в состоянии заменить многочисленную охрану.

— Как это ни странно, опасность подстерегает нас со стороны *maquisards*[152] — если они сумеют создать свои отряды.

В голосе Нэнси Квиминал звучали печаль и отчаяние, вызванные тем, что творится в Виши.

В городе их ждала хорошая новость: им разрешили ездить где угодно, чтобы снабжать госпитали и больницы лекарствами; кстати, эта обязанность возложили на Констанс — как на новенькую, и это обрадовало ее. Отныне у нее появилась возможность возобновить знакомство с Провансом, который когда-то был местом отдыха и веселья; правда, пока еще он все же не превра-

---

[152] Примечания: 152
Лесные люди, партизаны *(фр.)*.

тился в кладбище, несмотря на опустошительные набеги немцев. Даже в рабских цепях, даже без своих великолепных зрелищ, без местных «мирных» боев быков, без «корсо» — этих деревенских fêtes,[153] без религиозных и светских праздников, помогавших поддерживать жизнелюбивый дух и в благочестивом умилении, и в неукротимом язычестве; даже побежденный и захваченный врагами, Прованс не погиб, Прованс верил в будущее. До тех пор, пока остается хотя бы одно светлое пятно в блекнущем мире, сохраняется надежда. Как это ни было глупо, Констанс гордилась тем, что именно Англия поддерживает огонь надежды. Несмотря на тяжкое бремя поражения и предательства, люди начинали верить в то, что все еще поправимо. Некоторое время было достаточно и этой веры. А потом народ воспрял духом, узнав, что France Libre[154] объединяет уже двадцать тысяч вооруженных добровольцев под командованием самого молодого генерала...[155] Об этом нельзя было говорить, однако в каждом

---

[153] Примечания: 153
Праздников *(фр.)*.

[154] Примечания: 154
Свободная Франция *(фр.)*.

[155] Примечания: 155
Имеется в виду генерал Шарль де Голль.

взгляде, устремленном на немецкого солдата или милиционера, светилась надежда на этого генерала. Гансы и их приспешники чувствовали себя оскорбленными, отчего считали делом чести быть изощренно жестокими. Так они отвечали на молчаливое осуждение принужденного к молчанию общества. Все это породило еще один вид ненависти, и теперь немцы со злобой набивали вагоны поездов несчастными обезумевшими существами из лагерей, которых перевозили в лучше оборудованные лагеря на Севере. Ублажая свою гордыню, они приказывали пленникам идти медленно, прогулочным шагом, через весь город и по знаменитому мосту, так чтобы все могли их увидеть. В стародавние времена они бы поубивали всех и на пиках выставили бы их головы на стенах и воротах Авиньона. Так и было бы, если бы не чудовищное количество жертв, с которыми нельзя было расправиться в соответствии с этим средневековым обычаем; нацисты непременно возродили бы его, как они возродили ритуальное обезглавливание.

Подобные чувства трудно объяснить, если не сослаться на вполне конкретный пример, который остается в людской памяти навсегда — как знак, как последний штрих, окончательно

подтверждающий страшную истину. Вот и им выпало стать индикатором злобы.

Один такой ехавший в концлагерь поезд с детьми и подростками — среди них были и девочки — остановился в сумерках на главных путях. Шел легкий снежок, двери вагонов были открыты или слегка приоткрыты, а за ними — множество бледных лиц, отмеченных страданием или апатией. Сил не было смотреть на них и знать, что ничем не можешь помочь. Грузовик Красного Креста пересекал боковые пути, когда составу был подан сигнал ехать дальше, и Констанс, перегнувшись через водителя, смотрела, как медленно набирают скорость вагон за вагоном с обреченным на смерть живым грузом. Их собственный груз состоял из медикаментов, предназначенных для больниц Нима, и еще они везли сотню белых буханок для детей. Муку достали и сохранили с большим трудом, и теперь каждую неделю этот скромный подарок получали малыши Арля, Нима или Экса. Это была такая малость, но и она требовала много времени и усилий — не говоря уж о ловкости и бдительности. В тот раз к Констанс присоединилась Нэнси Квиминал, которой нужно было попасть в лицей, так что обе стали свидетельницами жуткого зрелища.

Смекалка работала у нее лучше, чем у Констанс, и как только поезд замедлил ход возле переезда, ей пришла в голову отличная идея. И прежде чем Конастанс и шофер поняли, в чем дело, она, негромко вскрикнув, выскочила из машины и стала стаскивать с кузова брезент.

— Скорей, — задохнувшись, хрипло произнесла она, и Констанс уже бежала следом за ней, не очень понимая, что происходит и чувствуя спиной изумленный взгляд шофера.

Они вытащили две бельевые корзины, до краев наполненные свежевыпеченным белым хлебом, и подбежали к поезду, крича на бегу, чтобы привлечь внимание детей. Это было похоже на кормление чаек; вокруг поднятых вверх бледных лиц мелькали жадно протянутые руки — вагон стоял слишком далеко от платформы, чтобы можно было отдать хлеб, его приходилось бросать. Но ни разу они не промахнулись, ни одна буханка не упала на землю, и на замерзших лицах засветилось некое подобие благодарной улыбки, но, возможно, и нечто совсем непонятное — выражение неодолимой усталости и

боли.

Корзины были почти опустошены, когда произошло то, чего и следовало ожидать: раздался

пронзительный, недовольный свист, один раз, другой. Вдалеке, на другом конце платформы, тощий лейтенант в нацистской форме размахивал кулаком, как бы отмеряя ритм ругательств, не слышных на таком расстоянии. Однако и этого оказалось достаточно — стоявшие гораздо ближе дюжие мужчины в гражданской одежде, то ли грузчики, то ли водители грузовиков, мчались к женщинам, рыча, как мастиффы, и выбивая подошвами искры из бетонного покрытия. Один на бегу стаскивал с себя ремень, другой размахивал, как оружием, парой длинных, по локоть, кожаных перчаток — чудовищно тяжелых. Уголком глаза Констанс и Нэнси видели бежавших, но упрямо делали свое дело, и к тому моменту, как первые двое приблизились к ним, корзины были пусты, в них не осталось ни одной буханки. А потом как будто раскололось небо… Подбежавшие были то ли чешскими, то ли русскими погонщиками мулов; размахнувшись ремнем и перчатками, они хлестали женщин по прикрытым лишь легкими косынками головам. Конечно же, Констанс и Нэнси гневно закричали, но это лишь еще сильнее разозлило нападавших, и те удвоили старания. Женщины отскочили в сторону, закрыв головы руками, но от этого было

мало проку. Сначала они рухнули под ударами на колени, потом — почти легли на бетон, едва дыша от ужаса и боли.

Тут подбежал и молоденький лейтенант. Его бледное лицо было перекошено от ярости, мешавшей ему говорить, отчего его ругательства и приказы звучали совсем по-мальчишески. К счастью для жертв, скрючившихся на платформе, крестьян отвлекла немецкая речь, явно им непонятная, и они повернулись к офицерику, стараясь сообразить, чего он от них хочет. Это продолжалось всего одно мгновение, однако и его оказалось достаточно. Находчивая Нэнси крикнула: «Скорей! Бежим!» Женщины помчались по платформе, едва касаясь ее ногами, и казалось, что они плывут, словно утки по озеру. Мужчины, зарычав от досады, пустились в погоню, но уже без особого азарта, так что остановились около шлагбаума. Добыча ускользнула от них: женщины стремительно влетели в переулок. К счастью, водителю хватило ума тоже заехать в ближайший переулок и там ждать своих пассажирок, которые тем временем все еще бежали, все в слезах от гнева и страха. Это бегство было чудовищно унизительным, однако обе понимали, что спаслись только чудом — они успели заметить

солдат, бежавших к ним и на ходу щелкавших затворами винтовок. Один выстрел — и череп вдребезги, вот что их ждало…

Наконец они влетели в маленькое *estaminet*,[156] известное Нэнси Квиминал и, глядя в бесстрастные глаза хозяина, стоявшего за стойкой, — все знали, что он сочувствует «вишистам», — спросили, можно ли им воспользоваться туалетом, чтобы привести себя в порядок. У Нэнси вскочила шишка на затылке, к счастью, закрытая волосами, и было еще много синяков и ссадин. Констанс получила синяк под глазом и рану на виске, из-за которых ей теперь предстояло не меньше недели носить солнцезащитные очки. Внешних следов больше не было, хотя от полученных ударов у обеих ныло и саднило все тело. К тому же сказывался сильный шок — бледные и дрожащие, они теперь и сами не понимали, как решились на такое. Когда из туалета они вернулись в бар, невозмутимый хозяин успел поставить на стойку два стакана, наполненные желтым ромом с сахаром, а теперь доливал в них горячую воду, прежде чем пододвинуть стаканы пострадавшим дамам. Кстати, этот щедрый жест

---

[156] Примечания: 156
Кафе *(фр)*.

мог стать опасным, и вообще то, что он проявил сочувствие, могло дорого обойтись и ему самому — взвод солдат прочесывал переулки, возможно (кто мог это знать?), искали сбежавших женщин.

Взяв стаканы, Констанс и Нэнси уселись в самом темном углу и с благодарностью стали пить, чтобы успокоиться, прежде чем что-то предпринимать дальше. Они решили: дальше лучше ехать порознь. Лицей, куда направлялась Нэнси Квиминал, был уже неподалеку. Итак, из кафе Констанс вышла одна, их грузовик ей удалось отыскать на одной из ближайших улочек. Повалил снег, поезд скрылся в синевато-серой дымке, устремившись к северным горам. Ехать Констанс пришлось недолго — примерно час. Ним располагался на сухой слоистой пустоши, какие называют *la garrigue.* Посты встречались часто, на равном расстоянии друг от друга, и их якобы официальный статус не спасал от бесконечных проверок. Неожиданно на одном из постов недалеко от Безауса вдруг появился давний знакомый, ринувшийся к грузовику с распахнутыми объятиями. Поистине археологическая находка из канувшего в небытие прошлого — Людовик Медовик, которого когда-то они встретили в Севеннах, а потом часто, очень часто встречали на пыль-

ных дорогах Прованса. Он был великодушный, щедрый, неистощимый на шутки жизнелюб, из тех незабываемых местных гениев, которые сохранили драгоценные свойства исконных жителей Средиземноморья.

Он шел вразвалку, словно медведь, выбравшийся из берлоги, широко раскинув руки и всем своим видом изображая горячее радушие, так как сразу узнал Констанс. У него была по-крестьянски цепкая и емкая зрительная память, натренированная ярмарочной жизнью. Ни одна местная ярмарка не могла считаться удавшейся, если на ней не было этого великого умельца и зазывалы, речь которого была сверкающей и пламенной, он рычал и трещал, как лесной костер, улещая, насмехаясь, провоцируя, вдохновляя своих покупателей потратить деньги на какой-нибудь из его отборных медов — «мед из сосцов Природы, напоенный ароматом самой Девой Марией», как он обычно рекламировал его, хотя где-нибудь еще, где жили по преимуществу протестанты, он использовал совсем другие доводы.

— Боже мой, — проговорила Констанс, — не может быть… Людовик!

Кстати сказать, с ним был его медовый фургон — так он называл большой мебельный фургон,

который приспособил под ульи.

Распряженная лошадь щипала траву у ближайшей канавы, а вместительный медовый фургон с распахнутой задней дверью стоял на лугу рядом с пропускным пунктом. Вместе со своим юным сыном Людовик продавал мед стоящим на посту немецким солдатам, которые были настроены довольно добродушно. Не обходил он вниманием и проходивших или проезжавших мимо гражданских лиц, которые, пока проверяли их документы, покупали у него банку «настоящего нектара богов». И это была истинная правда, на всем белом свете пчелы не производили такого ароматного меда, как у Людовика, кстати, по очень простой причине: он переезжал с места на место, строго придерживаясь сезонного «расписания» — следуя к распускающимся цветам вместе со своими искусно сконструированными ульями. Его ремесло отличалось особой тонкостью и изысканностью, как ремесло виноделов. Фургон тоже был замечательный: местный художник расписал его сценками праздника Тараска. Тараск — мифический дракон из Тараскона, любовавшийся праздничной процессией в свою честь. Эти картинки придавали фургону великолепие сицилийской деревенской повозки,

разрисованной с обеих сторон. Вот так Медовик и путешествовал, следуя по дорогам согласно календарю цветения: начиная с горного Прованса с его каштанами и липами, он постепенно спускался со склонов Севенн вниз, на равнины; Людовик держал в памяти подробнейшую карту с местными растениями. Скопив определенный сорт меда, он отдавал его одной из своих четырех «вдов», как он называл их, чтобы та разливала его по банкам и наклеивала этикетки. А еще он прекрасно помнил, где и когда проводят ярмарки, которые он, безусловно, украшал своим присутствием. На всякий случай он возил с собой краткое руководство "Le Lahure: les foires de France".[157] Благодаря этой книге, он мог назвать день, год, час любого праздника не только в Провансе, но и по всей Франции. Только ее он и читал, и когда делать было нечего, то есть когда «трудились пчелы», он укладывался под деревом и с превеликим интересом ее перечитывал. А когда читать надоедало, он накрывал лицо красным носовым платком и спал глубоким сном, несмотря на то, что его сотрясал храп. После каждого седьмого «рыка» его лицо искажалось, и горло судорожно дергалось, словно

[157] Примечания: 157
«Лаюр: Ярмарки Франции» *(фр.)*.

он проглотил большую мышь. После секундного затишья рулады храпа раздавались снова.

Медовик и Констанс уселись вместе под кустом рядом с фургоном, чтобы поговорить после долгой разлуки. Людовик сразу же принялся сетовать на жизнь. Новые клиенты охотно раскупали его мед, однако на дорогах стало опасно, движение затруднено, кормить лошадь почти нечем. Теперь ему приходилось буквально выискивать кусочки земли там, где прежде было полное раздолье. Большим ножом он отрезал для Констанс кусок очень вкусного сыра, который сопровождался стаканом вина. При этом Людовик мудро заметил: «Il faut le situer avec un coup de vin». Дескать, сыр полагается сдобрить стаканом вина. Как бы то ни было, правило это было очень даже приятным, а вино — вкусным.

— Ну, что скажете? — спросил Людовик с лютой тоской. — Ничего себе, мы попали в заварушку — что я вам говорил? Французская молодежь разучилась работать и разучилась воевать — и вот результат. Страна погибла, и мы во власти гуннов. — Он свирепым взглядом окинул молоденьких солдат, окруживших фургон и с любопытством осматривавших его. — Скоро я останусь без работы. Жизнь в горах теперь труд-

ная и опасная.

— Сопротивление? — вспыхнув, спросила Констанс, но он пренебрежительно покачал головой.

— Там у нас ничего такого. У нас только беглецы, которые прячутся, чтобы не угнали в Германию. В горах полно этих немецких рабов. Все они голодные и опасные. Немцы, видать, с ума посходили.

Ничего неожиданного в сетованиях Людовика не было, удивительно, что он все еще не бросил своего занятия, все еще занимался этим древним промыслом, несмотря на все трудности, связанные с оккупацией. Естественно, ему было что порассказать, как и многим другим. Он видел несчастные разоренные деревни, которые были уничтожены из-за непредсказуемой вылазки партизан или из-за крестьянина, доведенного до безумия домогательствами нацистов. Он еще не забыл вонь сожженных сараев

и домов.

— И вот что: если меня возьмут на мушку, я тоже выстрелю, хоть одну немецкую свинью прихвачу с собой на тот свет, это я вам обещаю.

Они еще поговорили в том же духе, потом Людовик сказал, что ему пора ехать, надо попасть в

Ремуден до комендантского часа, иначе не оберешься неприятностей.

— Когда мы еще увидимся? — печально произнес он. — Теперь нет ярмарок, приходится торговать в городах, откуда меня не гонят, например в Карпентрасе или Сен-Жиле. Позвольте по крайней мере записать ваш адрес.

Оказалось, что деревня Тюбэн была ему известна, и он даже обрадовался. Он запряг лошадь, сопроводив этот ритуал множеством чисто театральных жестов, грозно рыча и подталкивая ее, его сынишка от души смеялся над ним. Потом они помахали Констанс и отправились в путь; она снова уселась рядом со своим неразговорчивым водителем, и они поехали в Ним. Констанс не представляла, как объяснить пропажу хлеба, но Людовик, услышав от нее историю с поездом, тотчас предложил восполнить пропажу дюжиной больших банок отборного меда, и был так настойчив, что ей не удалось его переубедить. Людовик сам перетащил банки в машину, приговаривая, как полезен мед растущим молодым людям с хорошим аппетитом.

— Чистый мед поддерживает кишечную флору, — напоследок вдруг изрек он с солидной невозмутимостью, точно опытный доктор.

Интересно, откуда он выкопал эту фразу, подумала Констанс.

После этой теплой встречи, показавшейся ей отзвуком чуть ли не доисторических времен, Констанс опять стало холодно и страшно. Блеклые пустоши, по которым они теперь ехали, выглядели грозными и мрачными, как резко очерченные гравюры, выполненные сухой иглой, — правда, оставалось уже недолго ждать, когда снег укроет и спрячет их. У Констанс разболелась голова — из-за той истории на вокзале, а отчасти из-за общения с Людовиком, который слишком громко говорил и отчаянно размахивал руками. Беседовать с ним — все равно что прослушать сразу несколько опер. Зато она тут же почувствовала — точно наяву — аромат круассанов с лавандовым медом, которые они ели на завтрак. Блэнфорд приносил себя в жертву и каждое утро, еще до восхода солнце, отправлялся на велосипеде в Тюбэн за хлебом и круассанами. Провансальский мед — до чего же романтичным казался им тогда завтрак, когда они все сидели за столом и намазывали мед на хлеб, а Блэнфорд читал вслух газетные заголовки и серьезно, даже с некоторой торжественностью, комментировал их.

Теперь у Констанс был другой ритм жизни,

ночи удлинились, здешние места стали добычей мороза и мистраля, отчего каждое возвращение домой после посещения больных или в конце рабочего дня становилось все более желанным, более, чем когда-либо. Иногда она оставляла служебный автомобиль на ночь, иногда ее отвозил в Ту-Герц шофер. Сама мысль о том, что дрова в камине уже горят, лампа зажжена и печка горячая, наполняла ее ощущением счастья. Констанс было даже несколько совестно пользоваться материнской заботой крестьянки и доброжелательностью ее мужа, который всегда приносил с собой немного *еды,* а иногда даже вино или *marc*,[158] правда очень слабенькую.

Иногда, но это бывало редко, ей удавалось привезти с собой на ночь Нэнси Квиминал. Никаких поводов для тревоги, в сущности, не было, разве что пару раз в конце года, когда светила полная луна, Констанс слышала чьи-то шаги на дороге. Но никто не остановился у ее двери; а что до патрулей, то от машин и мотоциклов было ужасно много шума, их было слышно уже издалека, впрочем Констанс быстро привыкла даже к особенно неприятному реву «фольксвагенов»

---

[158] Примечания: 158
Виноградная водка *(фр.).*

и «мерседесов», на которых конвои с солдатами проезжали регулярно в определенные часы, и, похоже, никто не доставлял им неприятностей в этих пустынных местах, они никого не искали. Через несколько недель Констанс уже могла точно определять по ним время и старательно избегала встречи с ними, когда нужно было куда-то ехать, — с патрулями лучше вообще не иметь дела.

Однажды из-за легкого недомогания она приехала домой пораньше и остаток дня посвятила осмотру верхних комнат. В углах и на полках шкафов она наткнулась на реликвии прошедшего лета: пачку газет, несколько старых писем, порванный свитер Блэнфорда. Неярко, но все же светило солнце, и Констанс открыла окно в сад, чтобы немножко попользоваться его скудными лучами. И тогда она услыхала (или ей показалось?), тихий, но четкий звук человеческого голоса, долетевший с пруда, — голос, который звучал чуть выше равномерного плеска воды. Это был голос Ливии, пропавшей сестры, и он в точности повторял ее интонацию, когда она

произносила мантру «ом»,[159] приступая к занятиям йогой. Потрясенная Констанс высунулась из окна, стараясь разглядеть у пруда фигуру сестры, одновременно уговаривая себя, что это обман слуха, игра воспоминаний — низкий чистый звук в холодном воздухе. Дважды голос произнес это магическое слово, потом наступила тишина. Констанс со стуком закрыла окно и опрометью бросилась вниз, рискуя сломать шею. Выскользнув из двери на веранде, она помчалась по платановой аллее к пруду. На бегу она раздвигала руками кусты, заранее боясь увидеть что-нибудь страшное, отчего она лишится дара речи. Констанс сама не знала, что, собственно, ищет, и с облегчением вздохнула, не найдя ничего, что могло бы иметь отношение к услышанному слову. Прихваченная морозом трава у старого пруда была примята, да-да, примята, но, возможно, тут побывали кролики. Людей видно не было. В полном замешательстве, Констанс развернулась и пошла обратно. В конце аллеи она нос к носу столкнулась с Блэзом.

— Вы слышали? — спросил он, и Констанс

---

[159] Примечания: 159

Ом (аум) — в буддизме одна из древнейших мантр, считается сакральным звуком, появляющимся при творении, возникновении и разрушении вселенной. *(Прим. ред.)*

кивнула в ответ. — Похоже на вашу сестру, да? — Констанс снова кивнула, и он сказал, что уже два раза слышал эти звуки, но найти никого не смог. — Как-то жена сказала, что видела вдалеке девушку на велосипеде, которая ехала по дороге вниз, в Тюбэн. Но в сумерках Колетт не разглядела ее.

— Это была сестра? Это была Ливия?

Наконец внедрившись в ее сознание, эта новость потрясла ее своей невероятностью. Что здесь делать Ливии? Как ни странно, она вскоре получила ответ на этот вопрос, а в тот момент как бы отложила его в сторону, целиком сосредоточившись на работе, выполнять которую становилось все труднее из-за мороза и ветра. Для поездок приходилось дожидаться солнечной погоды, когда на дорогах становилось немного теплее. Дружба с Нэнси Квиминал крепла день ото дня, они стали как сестры — даже ближе, потому что с Ливией таких отношений у Констанс никогда не было. Они по очереди ездили по делам, деля пополам хлопоты и ответственность.

Однажды Нэнси вернулась из Экса и рассказала, что видела парижских интеллектуалов в

berets basques,[160] которые играли в *boules*[161] и горько жаловались на трудности с продуктами.

— Мне было до того противно и стыдно, что я чуть не заплакала. А, с другой стороны, что еще делать этим несчастным?

В самом деле. Констанс вспомнила об этом как-то вечером, когда, возвратившись домой, услышала, как дети Блэза играют в сенном сарае. Они без всякого стеснения ласкали друг друга и в то же время повторяли наизусть рецепты приготовления давно забытых блюд- это был один из способов отвлечься от ощущения голода, ведь продуктов становилось все меньше и меньше. Констанс была и тронута и удивлена. Вот бы Сэм был с ней, можно было бы ему поплакаться, — но в некотором смысле он был с ней. Кстати, во время бесед с Блэзом вдруг посреди фразы возникало старо-французское слово, и Констанс нетерпеливо поджидала милые сердцу присловья. Такие, как например: «Quand l'arbre est vertueux taillez le en bol». Или еще: «Madame, je vous signale que le

---

[160] Примечания: 160
Баскские береты *(фр.)*.

[161] Примечания: 161
Шары *(фр.)*.

zinc est une mati?re noble!»[162]

А однажды вечером случилось нечто необычное. Служебный автомобиль довез ее до лесной тропинки — наутро он должен был вернуться туда же — и Констанс пару сотен метров шла пешком, радуясь возможности подышать лесным воздухом. Уже наступили сумерки, быстро темнело. И вдруг она заметила, что перед садовыми воротами стоит еще один служебный автомобиль, за рулем которого сидит немецкий солдат. Констанс посмотрела на него и растерянно развела руками, надеясь на объяснение: зачем он здесь в такой час? Однако солдат даже не опустил стекло, лишь показал на дом и отвернулся с оскорбительным пренебрежением. Поняв, что от солдата ничего не добьешься, Констанс открыла ворота и вошла в садик. Заглянув через решетку в старомодные окна кухни, такой теплой и розовой от растопленной плиты, она увидела немецкого офицера, расположившегося поближе к огню. Опустив подбородок на грудь, он словно бы дремал. На мгновение ей показалось, что это генерал — невероятное предположение, но присмотревшись, она узнала профиль Смиргела.

---

[162] Примечания: 162

Здесь: Из доброго дерева и миска хороша… Мадам, имейте в виду, что барная стойка — вещь благородная *(фр.)*.

Он действительно спал, не чувствуя на себе ее взгляда и даже как будто не дыша, прикрыв серые глаза тяжелыми, как у грифа, веками да еще толстыми линзами очков. Услыхав щелканье задвижки, когда Констанс открывала кухонную дверь, он со вздохом выпрямился и виновато потер глаза. Поздоровался он несколько заискивающим тоном, но Констанс была настолько испугана, что даже не ответила ему. Без всякого приветствия она коротко и резко спросила:

— Что вас привело сюда?

Он долго молчал, не сводя с нее взгляда, и она поняла, что его отношение к ней изменилось — теперь оно стало строже, даже суровее.

— Мой долг, — резко проговорил он. — Мы ведь ни разу с вами не говорили, не правда ли? Ни разу не говорили откровенно.

Он встал со стула и стал наблюдать за ней: как она снимает пальто и вешает его на крючок за дверью, как приглаживает волосы, открывает сумку с покупками, как достает из шкафчика и ставит на стол посуду.

— Полагаю, — произнесла она, не поворачиваясь, — вам известно, кто я такая, если вы собираетесь устроить мне официальный допрос.

— Конечно же, известно, — ответил он и, слов-

но подчеркивая это, щелкнул каблуками. — Мне необходимо поделиться с вами собственными проблемами, и я надеюсь получить от вас нужные ответы. Ваша сестра очень мне помогла — естественно, вы знаете, что она приехала. — Ее испуг и удивил и порадовал его. — Не *знаете?* Значит, она не связалась с вами? Странно, потому что говорила она о вас с большой любовью, с очень большой любовью.

Констанс неловко опустилась на стул возле плиты.

— Значит, Ливия все же здесь?! — вскрикнула она почти в ярости.

Офицер кивнул.

— Она теперь военная медсестра. В Монфаве. Занимается шоковыми состояниями — Катрфаж на ее попечении. Почему вы ни разу не попросили устроить вам встречу с ним?

— А зачем? Мы с ним виделись пару раз, не больше, я ничего толком не знаю о его занятиях, только то, что он работал у лорда Галена. Ливия знала его куда лучше. Так что вас интересует? Лорд Гален и принц были деловыми партнерами — охотились за сокровищами тамплиеров — мифическими, как я полагаю. Они думали, будто напали на их след. Так мне показалось.

Смиргел проговорил с печалью:

— Мне тоже, то есть нам тоже, но пока никаких результатов. Буду с вами откровенен. От Катрфажа нам практически ничего не удалось узнать — его здоровье серьезно подорвано, так как мы довольно жестко его допрашивали. Теперь все по-другому, гестапо больше до него не доберется — вам ведь известно, что мое ведомство подчиняется Министерству иностранных дел, и я отчитываюсь непосредственно перед Риббентропом, тогда как Фишер и его коллеги — перед Гиммлером. Понятно, между нами соперничество, обычное дело. Так что многое из того, что знаю я, им неизвестно.

Он с явным презрением произнес слово «им». Но Констанс также поняла и другое. Смиргел намекал на то, что сохранит в тайне все сообщенное ею. Это привело ее в замешательство. Позднее, когда Констанс обсуждала растревоживший ее визит с Нэнси Квиминал, та сказала: «Еще бы тебе не растеряться — ты ведь в первый раз имела дело с прирожденным двойным агентом — он тебя прощупывал». Засвистел чайник. Без лишних разговоров Констанс налила настой шалфея в две чашки и села напротив Смиргела, не сводя изучающего взгляда с его лица.

— А теперь, пожалуйста, расскажите, какое у вас ко мне дело или спрашивайте, что хотели спросить. Я не могу сидеть с вами всю ночь. Я весь день работала и очень устала.

— Конечно. Конечно. — Смиргел задумался ненадолго, «сворачивая и разворачивая» (так ей казалось) длинные, похожие на шпатели пальцы. Он взял чашку в ладони, словно хотел согреться, и заговорил более дружелюбно, даже ласково, как будто совместное чаепитие сблизило их. — Я все расскажу, — сказал он, откашлявшись. — Признаюсь, на меня немного давят, просто потому что я подчиняюсь… потому что фюрер лично этим заинтересовался; дело совсем не в богатствах (даже если они есть), но другие астрологические предсказания, сделанные прежде, были бы подтверждены, если бы сокровища все-таки нашлись. Вы понимаете?

— Это же смешно, — сказала Констанс.

Смиргел закивал в ответ и продолжал:

— С определенной точки зрения, безусловно. Но все же? Наш мир удивительное место, а мы заняты его переделкой… В нашем распоряжении должно быть как можно больше всяких сведений. Позвольте мне продолжить. Когда вы приезжали сюда летом, вы все тогда очень подружились —

Гален, принц Хассад, ваш брат, консул, Катрфаж. Катрфаж был влюблен в Ливию, но она отказала ему, и он затаил против нее непреодолимую ненависть. Так *она* говорит. Так могло случиться. Вы все были молоды. Как раз тогда Катрфаж ясно дал ей понять, что ему удалось обнаружить сад с фамильным склепом или тайником, который по всем признакам соответствовал описанию в документах. Нам он в этом не признался. Мол, он мог что угодно сказать, лишь бы она отдалась ему. А нашли они лишь греко-римские вещи, которые откопали цыгане. Почти обо всех найденных цыганами ценностях у нас есть данные, кое-что было продано Лувру, кое-что — Нью-Йорку. Вы можете что-нибудь добавить к этому?

— Ничего. Только Ливия могла знать что-то еще. Но будь слова Катрфажа правдой, ни Гален, ни принц не утерпели бы и проболтались, уверяю вас. В этом чисто коммерческом предприятии не было никакой тайны, в нем не было ничего эзотерического.

— *Au contraire*,[163] — отрезал Смиргел и поднял указательный палец. — Катрфаж основательно проштудировал учение гностиков и все, что свя-

---

[163] Примечания: 163
Наоборот *(фр.)*.

зано с тамплиерами. Вся эта чушь имела для него великое символическое значение — он полагал, будто ищет Грааль, Грааль короля Артура, никак не меньше. Сокровищем могла стать и простая деревянная плошка, и бесценный кубок, или круговая чаша, спрятанная рыцарями; им могла стать чаша, из которой Иисус пил на Тайной Вечере. Нет, он охотился совсем не за деньгами! — На лице Смиргела отражалось столько же торжества, сколько на ее лице удивления. Констанс не знала что сказать, для нее эти подробности были настоящим откровением. Смиргел подался к ней — у него была длинная, как у ящерицы, шея с большим адамовым яблоком. — Вот что интересует нашего фюрера. Его интересует утерянная традиция рыцарства, которую он хочет восстановить, чтобы она стала основой для новой европейской модели рыцарства. Но черного ордена, а не белого.

— Рыцарство! — с презрением произнесла Констанс, подойдя к плите, и щеки ее покрылись румянцем от гнева и жаркого пламени. — Полагаю, вы не видели поездов, которые проезжают мимо нас каждый день?

Он изумленно на нее посмотрел.

— Вы меня удивляете, — сказал он. — Я-то

думал, вы уже осознали размах Нового Порядка, вселяющего ужас Нового Порядка, который утверждается в западном мире при помощи немецкого оружия. А вас волнует судьба горстки евреев и цыган да всякая шпана, которая скоро будет сметена с лица земли вместе со всем сводом иудео-христианских идей, который зиждется на золоте, ведь в толковании алхимиков еврей — раб золота. Наши духовные стандарты подчинены золоту как критерию еврейских ценностей. Теперь это наконец-то поняли, наконец кто-то посмел вырваться из тупика и пробить дорогу в историческое будущее. Уже невозможно уменьшить масштабы чудовищного зла, которое мы высвободили, чтобы бросить ему вызов; мы, немцы, *par excellence*[164] метафизическая раса — за пределами Добра и зла стоит новый человек, которого увидел фюрер. Но прежде чем он будет доведен до идеального совершенства, мы должны вернуться назад и начать, так сказать, с волка.[165] Мы должны стать знатоками зла, и оставаться ими, пока не будут стерты все различия. Потом

---

[164] Примечания: 164

В высшей степени *(фр.)*.

[165] Примечания: 165

Согласно общеиндоевропейским мифам, человек, совершивший преступление, становится волком. *(Прим. ред.)*

придет он, новый человек, о котором пророчили Ницше и Вагнер. Вы недооцениваете грандиозность нового видения. В основании нашего мира отныне будет не золото, а кровь — свидетельство расового могущества.

Пока Смиргел говорил, Констанс с ужасом ощущала, как все эти бьющие в одну точку фразы все сильнее давят на ее мозг, порождая дурные предчувствия. По коже Констанс поползли мурашки — в первый раз она осознала, что это очень опасно — недооценивать масштабы истерии немецких фанатиков, их веру во все эти фокусы-покусы, во всю эту вагнеровскую черную магию. Но разве можно было вообразить, что кто-то поддержит эти бредовые идеи! А тут целый народ сплотился, направив все свои помыслы и силы на варварское разрушение.

— Это же патология! — воскликнула Констанс, не скрывая своего отвращения, но, как ни странно, он улыбнулся и кивнул, словно она сделала ему комплимент. — До чего же мы были наивными, — продолжала она с нараставшим страхом, — до чего доверчивыми! Мы выросли с верой не в политику, а в человека с его стремлением к справедливости, к счастью — и на тебе.

Она пристально смотрела на него, словно на ди-

ковинного зверя или не встречавшееся ей раньше насекомое. Смиргел напоминал богомола со всей его холодной яростью, какой природа наделила это существо, пожирающее своего партнера во время любовного акта. После долгого молчания он вновь заговорил — не повышая голоса, словно убеждая самого себя:

— Природа бывает не только разумной, но и легкомысленной. Тут надо быть начеку. А еще она может быть расточительницей, транжиркой. Мы не можем во всем ей подражать. Но как только понимаешь, насколько провидчески мудра концепция нового порядка, то уже не можешь устоять перед его черным безудержным насилием и перед его поэзией. На нас нет крови христианского агнца, но есть кровь низших рас, которым предстоит стать рабами, необходимыми для воплощения наших замыслов. Не алчность и не жадность владеют фюрером, его ведет желание хотя бы однажды выпустить на волю черные силы, таящиеся в человеке, дать им полную свободу. Теперь вам понятно, что при таком взгляде на мир Зло становится Добром?

Он поднял руку и, видимо, хотел ударить ладонью по столу. Но не ударил. Теперь его лицо тоже стало красным, как будто он пил вино, а не

шалфей. Ему было трудно выдерживать устремленный на него презрительный взгляд голубых глаз; слишком очевидны были чувства Констанс, противостоявшие его собственным.

Констанс и Смиргел долго молчали, причем Констанс не сводила с немца пристального взгляда — пристального и одновременно отсутствующего, потому что, во-первых, не понимала цели его визита, а, во-вторых, была поражена и напугана столь страстной и откровенной верой в черные силы, во все эти нечестивые помыслы. Словно прочитав ее мысли, Смиргел сказал:

— Если у меня и есть сомнения в чем-либо, то лишь в выборе времени, тут мы просчитались, что и стало причиной великих тягот, выпавших нашим бойцам и технике. С моей точки зрения, сначала надо было покончить с коммунизмом — и все бы приветствовали это! А уж потом взяться за евреев, действуя более осмотрительно. Увы, что сделано то сделано, и надо идти до конца. Естественно, война отчасти игра случая. — Неожиданно он потянулся за портфелем и стал искать в нем документ среди множества фотокопий. — *Tiens,*[166] — произнес он, и французское

[166] Примечания: 166
Здесь: кстати *(фр.).*

слово прозвучало странно в его устах. — Я подумал, что это могло бы вас заинтересовать- наша разведка перехватила послание всем главам дипломатических миссий за рубежом, подписанное самим Черчиллем, как видите. В наше время лелеять какие-то иллюзии крайне опасно, вы не находите? Констанс не скрывала любопытства, беря документ в руки и поднося его к свету. Это был стандартный циркуляр Министерства иностранных дел, не зашифрованный, написанный *en clair*,[167] следовательно, не особенно секретный. Однако в тексте был безусловный энтузиазм, ибо он гласил: «К концу нынешнего года удача как будто совсем отвернулась от нас, судя по новостям с фронтов. Тем не менее, уверяю вас, и не без оснований, что нельзя терять оптимизм. Наконец-то мы видим нечто новое и очень важное. Впервые враг задумался об обороне; он накапливает силы в тылу, и это доказывает, что он предвидит будущее отступление. Возможно, историки назовут этот момент поворотным».

— Зачем вы показали это мне? — спросила Констанс, искренне не понимая своего собеседника.

Смиргел покачал головой, взял документ и

---

[167] Примечания: 167
Открытым текстом *(фр.)*.

убрал его обратно в портфель.

— Думаете, это ловушка?

Констанс рассердилась.

— Пожалуйста, уходите! Вы не имеете права допрашивать меня.

— Очень хорошо, — печально кивнув, произнес Смиргел. — Кстати, я должен передать вам, что ваша сестра хочет вас видеть, если вы сможете быть завтра в Монфаве в четыре часа дня. Могу я сказать ей, что вы приедете?

— Конечно же, приеду.

Смиргел щелкнул каблуками, отсалютовал и, не сказав больше ни слова, вышел в сад. Констанс снова тяжело опустилась на стул и попыталась справиться с удивлением и страхом, вызванными странным посетителем.

До Констанс донесся стук дверцы, потом шум мотора, стихавший по мере удаления автомобиля. Тотчас послышался шорох шагов на садовой тропинке, и в дом ворвался белый от страха Блэз с дробовиком под мышкой.

— Я подумал, что пришли вас арестовать, — выдохнул он, еще не отойдя от страха, но уже с облегчением. — Если бы что, то я был готов *les*

descendre tous les deux.[168]

Трудно было придумать что-нибудь глупее.

— Ради бога, уберите свой дробовик! — воскликнула Констанс.

— Значит, они ушли? — спросил Блэз, зачем-то оглядывая темную кухню, словно хотел обнаружить парочку спрятавшихся немцев. — Ну, конечно же, ушли!

Он глубоко вдохнул и со свистом, медленно выпустил воздух. Потом типично крестьянским жестом прихватил из солонки щепотку соли и бросил ее в огонь, отчего в нем вспыхнули голубые точки.

— *Malédiction*,[169] — воскликнул он, и это прозвучало как анафема уехавшему бошу.

— Присаживайтесь, Блэз, — пригласила Констанс и приготовила ему настой шалфея, одновременно рассказывая новости: в частности, о том, что Ливия, действительно, приехала и что завтра они должны встретиться.

Неожиданно ею овладела странная робость. Так давно не виделись, и нужно встречаться в таком месте… прямо какой-то рок. Констанс рано

---

[168] Примечания: 168
Убить их обоих *(фр.)*.

[169] Примечания: 169
Проклятие *(фр.)*.

легла в постель, но спала плохо и обрадовалась, когда наконец-то наступило утро — необъятные, прочищенные ветром небеса предвещали солнечный тихий день, долгожданную передышку после надоевшего мистраля.

Горя нетерпением, Констанс работала спустя рукава, становясь все рассеянней, а после ланча села в служебный автомобиль и отправилась в Монфаве, огибая старинные крепостные стены Авиньона и притормозив два раза у контрольно-пропускных пунктов, где, впрочем, ей махали, чтобы она ехала дальше, поскольку специальные номера. Потом начались густые леса и узкие дороги, и через несколько минут Констанс очутилась в снежном царстве; на некоторых мостиках блестел лед, кое-какие речушки промерзли до дна, а другие бились, плескались и захлестывали узкие берега. Такие же пейзажи в окрестностях Оксфорда, который она вспоминала с особой теплотой: там у нее был чудесный роман, запомнившийся ей, благодаря необыкновенной нежности тогдашнего ее друга, тоже студента. Такие моменты неповторимы… По обеим сторонам дороги мелькали густые леса. Свернув в последний раз, она въехала на обсаженную платанами маленькую площадку, возле небольшой серой

церкви — места свиданий. Констанс выключила мотор и направилась по траве к главной двери, которая оказалась открытой. Сначала она никого не увидела, когда вошла внутрь, опустила пальцы в каменную купель со святой водой и осенила себя крестным знамением. Потом вдруг разглядела Смиргела; он сидел в левом боковом приделе под огромной кричаще-яркой картиной и делал записи на листке в скоросшивателе. Через пару мгновений он с испугом взглянул на Констанс, словно не ожидал ее появления. Констанс тоже несколько растерялась.

— Она там, на площадке. Ждет вас.

Констанс вышла из темной церкви на площадку, слабо освещенную неярким зимним солнцем. Вдали, у самых платанов, и в самом деле стояла какая-то женщина в военной серой форме со знаками отличия медицинской сестры. Констанс не узнала Ливию и направилась в ее сторону с опасливой осторожностью, словно та была птичкой. Боясь ее спугнуть, она все же решилась позвать:

— Ливия, родная! Неужели это ты?

По-видимому, медсестра увидела ее, потому что кивнула, но однако же продолжала стоять боком, отвернувшись к покрытой плющом стене, которой были обнесены церковные владения.

Хриплым голосом женщина в сером ответила:

— Да.

Потом она махнула Констанс рукой, подзывая ее, словно желая что-то сообщить, так, наверное, призрак отца подзывал Гамлета.

— Констанс, пойди ко мне, — сказала она и села на камень, но так и не повернулась к сестре лицом. — Я не могла встретиться с тобой раньше, не хотела подвергать тебя риску, — я не знала, чем ты занимаешься, а отчасти из-за…

Тут Ливией как будто завладел приступ горького отчаянья, который помешал ей договорить. Если бы перед Констанс был менее черствый человек, то эта заминка означала бы подавленное рыдание, внезапно прорвавшуюся муку. Ливия же продолжала говорить жестким хриплым голосом, лишь на миг уступив почти догоревшим чувствам.

— Я приехала, чтобы помочь добиться правды от Катрфажа, — сказала она. — Но у меня ничего не вышло. Он отплатил мне.

— Ливия, — проговорила ее сестра, — почему ты отворачиваешься, почему не хочешь посмотреть на меня?

— У меня нет одного глаза, — коротко ответила Ливия, после чего стала гулким, словно

доносившимся из пустоты голосом с очевидным безразличием расспрашивать о Блэнфорде и Хилари. Узнав об ужасном ранении Блэнфорда, она резко опустила голову, но ничего не сказала.

— А Сэм? — спросила она, словно вела допрос.

Констанс, судорожно вздохнув, ответила:

— Сэм погиб… в бою.

Как только она произнесла это, смерть Сэма стала реальным фактом. Теперь Сэм окончательно умер, и она больше не чувствовала его в себе, как того так и не родившегося ребенка.

— Сэм погиб? — переспросила Ливия еще более хриплым голосом. — Ха!

Она как будто не могла в это поверить. И тогда Констанс четко и твердо произнесла:

— Сэм погиб, Ливия. Сэм погиб.

Констанс удивилась, почувствовав облегчение после этих слов, но ей и в самом деле стало легче — призрак Сэма стал отступать, уменьшаться и наконец исчез совсем — во всяком случае, занял в ее сознании место, подобающее ушедшим в мир иной. Ей стало стыдно, она никак не ожидала подобного фокуса от своих эмоций. Но жизнь любит грубо пошутить, и плевать ей на наше самоуважение. Как будто откровенно признанный факт смерти вдруг вскрыл всю никчемность

ее страдания, вывернул его наизнанку если не как притворство, то уж точно как явное преувеличение.

— Значит, так! — надсадно будто коростель, выкрикнула Ливия. — Придется тебе это пережить.

Ощутив облегчение после своего признания, Констанс тотчас почувствовала, насколько тяжким было все то, что ей пришлось испытать за время, проведенное в Авиньоне. Она просто не понимала раньше, как сильно устала. Но тут Ливия заговорила вновь, все так же не поворачивая головы, виден был только уголок двигающегося рта.

— Пару раз я заходила в поместье, но мне не хотелось тебя смущать — я ведь понимаю, что у тебя такая работа… И все же я чувствовала, что должна непременно поговорить с тобой, хотя бы попрощаться и сказать, что Катрфаж переиграл меня, отомстил, назвав нас евреями. Смиргел пытается скрыть это от гестапо, но в конце концов те узнают. Возможно, мне осталось жить всего несколько дней.

— Чепуха какая! Почему тебе не сказать им правду?

— Я приняла германское гражданство, в отличие от тебя.

— Это же чепуха. Давай я пойду сама, если ты не можешь, и скажу им, что мы англичанки.

— Сначала я посмотрю, что будет. И потом, формально ты швейцарка, не забыла? Тебе они поверят не больше, чем мне.

— Я постараюсь попасть на прием к генералу, — с неожиданной злобой произнесла Констанс, уверенная в своей правоте. — Поговорю с ним.

Ливия покачала головой и вздохнула.

— Все так запутано, что можно ждать чего угодно. Просто я хотела предупредить тебя, и не надо делать ничего такого, что может скомпрометировать меня еще больше. Ты навестишь Катрфажа?

— Надо ли?

— Не знаю. Почему бы нет? Он делает вид, будто сошел с ума, нарочно, чтобы избежать допросов. Вот так.

— Не хочу его видеть, — решительно заявила Констанс. — Тем более что он натравливает на нас нацистов.

Ливия устало пожала плечами и опять вздохнула, издав едва слышный болезненный стон.

— Ладно, Констанс, до свидания.

Она встала с камня, все так же старательно пряча лицо. И тут Констанс, не помня себя, закричала:

— Ливия, родная, ты все еще веришь?... — Она не знала, как получше сформулировать мучивший ее вопрос. — ...Веришь во все это? — произнесла она, и чтобы пояснить эту не очень вразумительную фразу, широко развела руки, словно охватывая весь мир с его несчастьями, причиной которых был нацизм.

Ливия уже было пошла прочь, но остановилась, чтобы ответить сестре:

— Да. И больше чем когда бы то ни было!

В ее тоне не было ничего такого, что позволяло бы заподозрить лицемерие. Ливия шла в сторону деревьев, и с каждым шагом ее походка становилась все уверенней и уверенней. Не в силах справиться с раздражением, Констанс постояла минуту, но любовь к сестре превозмогла все, и она бросилась за ней, крича на ходу:

— Ливия, подожди! Когда мы увидимся?

Однако Ливия не отвечала, и чем дальше она уходила, тем было яснее, что не ответит. Застыв на месте, Констанс долго смотрела вслед высокой женской фигуре, пока она не скрылась среди деревьев.

Потом Констанс вернулась в темную церковь и подошла к Смиргелу, погруженному в свои записи. Он подвинулся, освобождая для нее место, но

Констанс продолжала стоять.

— Неужели вы ничего не можете сделать для Ливии? Вам же известно, кто мы такие.

Он медленно раздвинул губы в привычной угодливой улыбке.

— К сожалению, информация была передана не в мое ведомство, а в гестапо, в этом все дело. Но пока еще рано беспокоиться. Если что-нибудь случится, то я непременно, с вашего позволения, приеду к вам за советом.

— Я подумала, не напроситься ли мне на прием к генералу, — проговорила Констанс, все еще не оставившая эту идею, хотя и знала о неподвластных друг другу службах в оккупационных войсках и соперничестве между ними.

Смиргел всплеснул руками.

— К генералу! — воскликнул он с насмешкой. — Он настолько занят своими новыми формированиями, что не может думать ни о чем другом. Похоже, предполагаемый второй фронт начинает обретать конкретные очертания, и Авиньон становится важным стратегическим пунктом для накапливания людских и технических резервов. Через несколько недель сами все увидите.

Краем уха Констанс уже кое-что слышала о

втором фронте и возможном нападении на Французскую Ривьеру, — чтобы отрезать немецкие войска, расположенные в Италии и Африке. Однако она воспринимала это как один из пропагандистских трюков, не придав значения таким разговорам. Оказывается, нацисты серьезно относятся к подобным предположениям. Это и пугало и обнадеживало.

— Фон Эсслин чувствует себя как в раю, — продолжал Смиргел. — Он все рвался воевать в России и думал, что ему не доверяют, а теперь у него очень важная задача, соответственно полно дел. Не думаю, что он найдет время для вас, даже если захочет с вами увидеться.

— Посмотрим. Должна же я что-то сделать.

Довольно циничное замечание Смиргела (удивившего Констанс своей откровенностью) было недалеко от истины, ибо фон Эсслин, пережив долгий период очевидного пренебрежения, когда весь подчиненный ему регион начальство рассматривало исключительно как места отдыха после русского фронта, вдруг оказался в центре внимания. Он в полной мере осознал возложенную на него ответственность, а заодно оценил новые возможности продвижения по службе. Иная расстановка акцентов произошла

с невиданной быстротой — результат недавних пропагандистских предположений насчет открытия второго фронта; тотчас появились дополнительные военные части и танковые соединения, причем в таких количествах, что их негде было спрятать, тем более трудно было расквартировать людей в этом довольно пустынном неразвитом районе с небогатыми городишками и огромными пустошами. Но были и другие трудности — генерала очень беспокоил этот сброд из полков, сформированных из русских, чешских и польских перебежчиков и перевезенных на юг с пока еще непонятной целью. Никакой четкости, ничего конкретного, хотя союзники уже начали проявлять внимание к мостам через реки. Именно реки стали настоящим кошмаром для фон Эсслина. В снах он часто видел оперативную карту, разложенную на столе отдела разведки, — там, в замке, — на которой Рона, Дюранс и прочие реки с немыслимой скоростью яростно вгрызаются в известняк Прованса. С начала времен они представляли собой великую опасность для воинов — из-за них римляне не достигли Британии, Ганнибал не вошел в Рим… Фон Эсслин никак не мог решить, на каком берегу Роны поставить танки, его любимые тяжелые танки, которых теперь

стало вдвое больше. Поэтому он все время перегонял их с места на место, заставляя то пересекать реку, то возвращаться обратно, то собираться вместе, то рассеиваться на местности. Напрасно тратилось горючее. Однако при *теперешних* бомбежках… Высоко летавших и паливших наугад летчиков из американских ВВС заменили англичане. Они летали низко и работали четко и методично. Гражданские объекты почти не страдали, тогда как железные дороги выходили из строя, разрушались бесценные мосты — дорога жизни танков. Несомненно, слухи о высадке противника на Ривьере были преувеличены, и все же на данном этапе войны во всем ощущалась неуверенность и настороженность. (Фон Эсслин получил еще две награды и был очень доволен. Его мать, естественно, была счастлива.)

Однако сама война замедлила ход, стала как бы прихрамывать, и скопление тяжелых орудий на подвластной генералу территории приводило его в замешательство. Пришлось послать людей на поиски пещер, которые предстояло расширить и превратить в базовые склады. Конечно же, в краю известняков было бы довольно просто пробивать проходы бурами и потом искать подходящие пещеры. Но это был долгий и утомительный

путь, да и на пустошах не проводилось никаких геодезических работ, которые могли бы подсказать хоть что-то. Проще было использовать брошенные римлянами шахты, но почти сразу выяснилось, что в них полно воды из какой-то неизвестной реки, которая подает признаки жизни исключительно в дождливое время, и тогда она поднимается и выходит из берегов. Что уж говорить о Роне, с жадностью увлекавшей за собой ил, когда она неистово мчалась из Женевы и бежала все быстрее и быстрее, а на подступах к Авиньону делала уже почти двенадцать узлов в час. Малейшее изменение в ее уровне грозило затоплением всех островов и самой дельты, а уж потом вода обязательно пробьется в подвалы и амбары центральных средневековых кварталов города.

С усилением бомбардировок горожане перестали спать по ночам; из лучшей спальни имения, когда-то принадлежавшего лорду Банко, фон Эсслин слышал сигналы воздушной тревоги, а после каждого воздушного налета — сирены машин «скорой помощи», торопившихся к месту происшествия. Обычным делом стали ямы на улицах. Тем временем он сгруппировал военные части вокруг замка в Вильнев, сожалея о том, что

его танки — удобная цель для бомбардировщиков, однако убеждая себя, что если мост выйдет из строя, то он сможет, по крайней мере, оторваться от противника в сторону запада, но… это было слабым утешением, стоило подумать о противнике, появляющемся, например, из Ниццы. Фон Эсслину не давала покоя эта весьма проблематичная стратегия. Да, все изменилось, и в воздухе уже чувствовались новые веяния.

Однажды он получил от начальства персональный приказ присутствовать на казни трех «заговорщиков», арестованных на его территории. И никаких объяснений. Холодным голубоватым предрассветным утром он наблюдал, как три молодых австрийских аристократа, загорелые, поджарые, словно овчарки, вошли в тюремный двор, где их встретил палач в цилиндре и визитке; им самым пошлым образом отрубили головы топором. В свой кабинет генерал вернулся, едва сдерживая ярость. Ему не только не назвали имена этих юношей, но и не сообщили, за что они были казнены. А сам он не удостоил расспросами ни гестапо, ни Смиргела — их отношения были сугубо формальными. Однако генерал не отказывал себе в удовольствии препятствовать обоим ведомствам, как только выдавался удобный

случай, ведь, в конце-то концов, он представлял военные силы, а они — гражданские службы.

Злополучный Фишер явился вновь, став теперь высококвалифицированным специалистом в своем жутком ремесле. Он учился и напряженно работал в нескольких более известных лагерях, однако полученный им опыт вряд ли можно было назвать вдохновляющим (да-да, он ожидал чего-то вдохновляющего и возвышающего, а также чего-то утешительного). Устал он не меньше и не больше всех остальных, но в последнее время ему стало действовать на нервы, как люди смотрели на него, молча, не говоря ни слова. Да и лагеря его разочаровали — процесс явным образом замедлялся, так как там не могли справиться с потоком мужчин и женщин, подлежащих кремации. Он прочитал скрупулезно аргументированный отчет гестапо, из которого следовало, что использовать трупы для конкретных нужд — задача трудная. Содержащиеся в них жиры и кислоты не годились для приготовления мыла, и удобрения из них получались тоже некачественные. Умертвлять же людей газом и потом еще сжигать было очень дорого. Несмотря на достаточно высокий технический уровень, количество уничтожаемых неизбежно придется

уменьшить, чтобы оно соответствовало возможностям оборудования и пропускной способности ныне существующей системы лагерей смерти, — их примерно четыреста.

Фишер с поникшим видом шагал вокруг Бухенвальда. Гестаповец был погружен в невеселые мысли, а с неба, между тем, падал легкий пушистый снежок, скрипевший у него под ногами. До чего красив был лес, окружавший лагерь. Из-за снега склоны стали пестрыми, белыми и угольно-черными, словно стерня. Здесь, среди умиротворяющих красот природы, когда-то бродили Гете и Эккерман, о котором Фишер, впрочем, никогда не слышал. Высокие трубы крематория понемногу застилали дымом голубое морозное небо. Горящие тела воняют, как старые шины, подумал он, и кровь шипит так же, как дождь, падающий на сухие листья. Все это никуда не годилось — они просчитались. Унизительное положение вещей для страны с таким потрясающим техническим потенциалом, с таким опытом и с таким количеством гениальных умов; но ничего не попишешь, весь процесс должен замедлиться, чтобы не перегружать имеющиеся производственные системы. Задержанных из последних списков придется отпустить, чтобы

они на какое-то время вернулись домой. Жаль. Среди них маленький священник из Монфаве — нетрудно было установить его еврейское происхождение. Сам виноват, незачем выставлять себя напоказ, отпуская грехи некоторым из высших чинов, приятелям фон Эсслина. На всякий случай фамилии этих офицеров были записаны. Арест маленького священника доставил особое удовольствие Фишеру, объявившему таким образом шах и мат генералу с его аристократическими замашками.

В Ту-Герц тоже произошли кое-какие перемены в темпе жизни — в связи с проливными дождями, а потом морозами, сковавшими льдом лесные дороги. В парке еще одним платаном стало меньше из-за мистраля. По ночам ветер ужасно шумел, так что совы с уханьем разлетались в разные стороны. В крыше обветшавшей теплицы образовалась трещина, и в нее беспрепятственно просачивался дождь, прямо над тем местом, где стоял старый диван Фрейда, и его было необходимо побыстрее перенести в теплую кухню, по крайней мере, Констанс могла бы на нем отдыхать прямо у печки.

К своему крайнему огорчению она заболела: высоко подскочила температура, началась миг-

рень, стали болеть зубы — весь набор мелких неприятностей, которые добавились к невыносимой усталости, накопившейся за несколько месяцев. Как ни странно, она рассыпалась, будто замок из песка, сразу после того, как объявила Ливии о смерти Сэма как о свершившемся факте. После этого, вернее, и после того, как Констанс окончательно осознала, что смерть Сэма — это непреложная истина, она почувствовала себя брошенной и никому не нужной. Что она делает в этой несчастной и прекрасной стране?

Надо попросить отпуск, иначе ей не справиться.

В спальне было так холодно, что большую часть времени она проводила на знаменитом диване — возле плиты, бросая в нее брошюры и книги, которые привезла с собой. Пока ветер стучал в окна, она думала о том, что как раз на этом диване Дора или ужасный Человек-волк… Но кому в этой, черт ее побери, стране интересны такие вещи? Одиночество казалось Констанс еще более мучительным оттого, что ей не с кем было поделиться своей информацией. Она была заперта здесь, как какой-то банковский сейф, а этот холодный мирок, в котором она теперь жила, угодил в цепкие лапы уныния и скуки,

порожденных войной. Сейчас ей больше всего был нужен чарующий покой Женевского озера, и по этому поводу она встретилась с швейцарским консулом, который навестил ее, приехав в своем старом автомобиле. Да, он планировал отпуск и был бы рад предложить ей место в автомобиле, но сначала она должна поправиться и встать на ноги. Путешествие, хоть и не очень долгое, все же будет довольно утомительным, так как в горах обычные удобства, привычные для путешественников, — отели, электричество, гаражи — отсутствуют. Однако он, несомненно, поедет и возьмет ее с собой, когда наступит время. А пока надо сделать необходимый *laissez-passer*[170] для обоих, и на это тоже требуется время, так как контактировать с Женевой можно лишь через Берлин.

Приободренная перспективой бегства от Авиньона и от здешних проблем, Констанс сразу настолько сносно себя почувствовала, что остаток отпуска по болезни посвятила прогулкам по заметенным тропинкам более чем когда-либо заснеженного леса. В свою кухню она возвращалась перед наступлением сумерек, радуясь теплу

---

[170] Примечания: 170
Пропуск *(фр.)*.

и уединенности, скрашивавшими ее оскудевшую интеллектуальную жизнь: у нее осталось еще несколько брошюр, и она вгрызалась в их текст, как собака в кость.

Смерть Ливии стала для нее полной неожиданностью. Как все, что имело отношение к Ливии. Ее смерть казалась беспричинной — или принадлежавшей к той категории событий, которые в дальнейшем интерпретируют как своего рода энтропию. Печаль, отчаянье, отказ[171] — все было в этом поступке… и в то же время мольба о помощи из самой глубины сознания, потому что как раненый зверь она приползла в убежище, которое было ее домом, пусть недолго — тем ушедшим в небытие летом. Констанс даже застонала от острой жалости, представив, как сильна была глубоко запрятанная боль ее неверной сестры, которую Ливия носила в себе, точно камень. Она висела, не шевелясь, словно иллюстрация, предназначенная для изучения тщеславия. Интеллектуальное *высокомерие*, вот что было самой темной из руководивших ее поступками сил. Как она вошла и когда? Позднее Блэз отыскал бро-

[171] Примечания: 171

В психологии: собирательное понятие, обозначающее негативные условия и факторы, ставшие причиной психического заболевания. *(Прим. ред.)*

шенный в кустах возле пруда велосипед и одну снятую с расшатанных петель высокую ставню. Больше не было никаких знаков ее вторжения, наверное, она сразу пошла наверх в «свою» комнату, даже не заглянув в те комнаты, которые занимала Констанс.

То, что она пробралась в свою бывшую спальню тайком, тоже было очень странно. Днем дул шумливый «ветер из-за гор», постоянно менявший направление и силу и своими злобными порывами разметывавший легкий снежок. Однако ближе к вечеру он неожиданно стих, уступив место влажному солнечному свету и чистому небу. Констанс не стала бы утверждать, будто ей что-то «послышалось», нет, но в какой-то момент она подняла голову от книги, как охотничья собака, почуявшая дичь. Ей показалось, будто кто-то вдалеке манит ее к себе, требует ее внимания. Констанс встала и постояла некоторое время неподвижно, прежде чем, подчиняясь своей интуиции, устремилась на таинственный зов. Лестница в холле, как всегда, манила наверх. Словно где-то там звучал мелодичный звук, который, возможно, окажется стуком капель о раковину из небрежно завернутого крана. Нет, на самом деле никаких звуков не было. Она шла на-

верх, но на втором этаже почему-то задержалась, хотя все двери были закрыты. С решительным видом она стала распахивать одну дверь за другой, но внутри были только мышиные следы в пыли, а из звуков — лишь стук бьющихся об окна ветвей. Давно она сюда не захаживала. Потом была лестничная площадка между этажами — с круглым окошком. Вот очередная дверь, которая тут же поддалась, хотя она толкнула ее одним пальцем; раздался вздох и скрип дверных петель. Констанс медленно вошла внутрь, но не сразу осознала, что эта страшная фигура, поникшая в петле, и есть ее сестра. С опущенной головой, отвисшей челюстью и очень белым лицом из-за потери крови. Кругом все было в полном порядке — нигде ничего не набросано. Пустая глазница походила на провалившийся высохший пупок средневекового святого. Лишенное света жизни лицо с призрачными плоскостями выглядело как посмертная маска, лик, укрощенный превратностями судьбы. Веревки были укреплены со знанием дела, сказывался опыт работы в гестапо — с такими веревками легко управиться самой. Уныло, устало висели пряди волос, усыпанных перхотью.

Констанс машинально стала нащупывать

пульс, но это было бессмысленно — тело уже успело закоченеть. На мгновение Констанс крепко прижалась к ногам того, что было когда-то ее сестрой, с криком: — Ливия! Ливия!

Потом ей пришло в голову, что труп надо вынуть из петли — но как это сделать без Блэза? Она устремилась по лестнице вниз, она мчалась через сад, к дому Блэза, истошным голосом выкрикивая его имя и требуя, чтобы он захватил топор и бежал к ней. Теперь уже вдвоем они поднялись по лестнице и замерли возле тела Ливии. Один удар топора — и труп с глухим стуком упал на пол небольшого чердака — прямо к их ногам. Блэз перекрестился, потом второй раз, третий, шепча какую-то молитву. Констанс опустилась на жесткий стул.

Боль, кошмарная боль, отозвавшаяся в душе бессильной яростью, боль, которая сразу отбросила ее в далекое детство, была вполне банальной — физической, хотя Констанс никак не удавалось ее локализовать. Поскольку это была невероятная смесь: болела голова, ныла язва, обострился цистит, все это наложилось на истощение от недавней простуды и усталость. Словно чьи-то незримые грубые руки вцепились в плечи Констанс и заставили ее рухнуть на жесткий ку-

хонный стул. Констанс прижала ладони к ушам, прижала очень крепко, но все равно услышала вопрос Блэза, обращенный отчасти к ней, а отчасти ко всему миру:

— Mais pourquoi?[172]

Это и вправду был самый главный вопрос, который задавали Ливии с самого детства, ведь все, что она делала, никогда не укладывалось в рамки рационального объяснения. Бесконечные «почему?» метались в мозгу Констанс, когда она стояла, обнимая Ливию за бедра, чтобы немного ее приподнять и ослабить давление на петлю (так легче было срубить веревку), и проливая слезы надо всем сразу; слезы эти были исторгнуты из той части души, где втайне хранились далекие воспоминания, оплот ее детства. Эти «почему?» возникали со всех сторон. Почему, например, они не были похожи, хотя воспитывала их одна и та же сумасшедшая, ненавидевшая собственных дочерей. Они были лишены ласки и нежности, которые формируют уважение к собственному телу, чтобы повзрослев, человек был в ладу со своей физиологией и самим собой. Именно так Констанс «читала» Ливию, когда размышляла

---

[172] Примечания: 172
Ну почему? *(фр.).*

о ней как психиатр, с профессиональной точки зрения. Ярко выраженный нарциссизм, ревность, замкнутость, меланхолия — вот что взросло на той почве, которую им с сестрой предоставила мать. Хилари все эти комплексы затронули в меньшей степени, потому что его отослали из дома. Злость поднималась внутри Констанс, когда она смотрела на лицо Ливии, на котором все явственнее проступала печать последней ее тайны на этой земле. Констанс, будучи врачом, повидала немало смертей, но совсем другое дело — смерть сестры.

Ливия упала не очень удачно, с подогнутой ногой, и теперь была похожа на манекен, который закройщики используют в качестве моделей. Блэз положил ее как подобает, а потом, подумав, снял с себя шарф и связал ей лодыжки. Констанс тем временем сидела и неотрывно смотрела на сестру, хотя на самом деле она была поглощена собственными мыслями и воспоминаниями. Годами ими владело жгучее озлобление — но они ни разу не признались в этом. А теперь это неловкое падение… И вообще этот циничный поступок Ливии подводил подо всем черту; она надеялась, в смысле Констанс надеялась, что самоубийство Ливии не помешает ее отъезду в

Женеву. Мысль эта не могла не тревожить, и, словно отозвавшись на нее, Блэз спросил:

— Что будем делать?

Сам он считал, что лучше всего похоронить ее подальше в саду и никому не говорить ни слова… Однако Констанс его не поддержала, потому что предвидела поиски и допросы, которые непременно последуют после столь таинственного исчезновения.

— Очень удачно, что мадам Нэнси приедет сегодня на служебном автомобиле, так что мы можем отвезти ее в морг, и я попрошу врача зарегистрировать ее смерть. Надеюсь, никаких проблем с этим не возникнет.

Принятое решение будто вывело ее из оцепенения, и она стала готовить тело к перевозке: связала сложенные руки, накрыла лицо. Потом они вдвоем с Блэзом завернули Ливию в одеяло и обвязали веревкой. Так ее было сподручней вынести из дома. Блэз к тому же волновался, что его жена увидит их — он сказал, что расскажет ей потом, когда все будет улажено.

— Давайте-ка выпьем. Вот несчастье! На сей раз Констанс не стала ссылаться на то, что предпочитает чай или кофе. Без лишних разговоров они положили завернутое в одеяло неподвижное

тело на диван и, усевшись по бокам от него, стали ждать, когда смогут перенести его на заднее сидение служебного автомобиля. Констанс боялась, как бы Нэнси Квиминал не помешало что-нибудь и она не забыла о своем обещании.

— Нет-нет, — успокоил ее Блэз. — Раз она сказала, что приедет, то обязательно приедет. Она же, в конце концов, протестантка.

Едва он произнес эту пророческую фразу, как послышался характерный шум мотора «фольксвагена» и жалобный скулеж его шин на гравиевой дороге перед воротами. Констанс и Блэз, не сговариваясь, поднялись и теперь стоя ждали гостью, которая прошла по садовой дорожке, распахнула кухонную дверь и буквально нос к носу столкнулась с обоими. Нэнси удивил несчастный больной вид Констанс, и у Блэза, переживавшего за Констанс, тоже был жалкий вид, который было бы трудно объяснить, если бы взгляд голубых глаз не упал на завернутый манекен на диване. Она обняла Констанс со словами:

— Расскажите всё! *Raconte!*[173]

И Констанс послушно рассказала то немногое, что было известно ей самой о мотивах, толкнув-

---

[173] Примечания: 173
Расскажи! *(фр.)*.

ших Ливию на самоубийство, а заодно и об их недавнем свидании в Монфаве. Квиминал села на стул и пальцем затянутой в перчатку руки постучала по губам.

— Надо постараться избежать неприятностей, — проговорила она твердо, и ее решительный тон придал Констанс сил.

Она тотчас подошла к раковине в углу и начала тщательно и деловито мыть лицо и руки, обдумывая, что следует предпринять в сложившихся обстоятельствах. Каким-то образом следует сообщить о случившемся, во всяком случае местным властям, — и придумать сносное объяснение. Понемногу они выработали план действий.

— Ты можешь поехать со мной? — спросила Квиминал. — Отлично! Тогда ты отвезешь ее прямо в морг, а меня высадишь около нашей конторы. Я постараюсь как можно быстрее подъехать туда вместе с врачом и Смиргелом — неплохо бы его привлечь, в этом случае он, пожалуй, сможет нам помочь. Ты согласна? С теми, кто работает в морге, ты уже знакома.

Констанс была в морге пару раз, когда ее приглашали на опознание или посоветоваться насчет трупов граждан, подобранных полицейскими. Да, кажется, придумано неплохо, да и Блэза можно

не тащить в город, его помощь не понадобится — ему совсем ни к чему афишировать, что он знаком с ней.

— Попробуем, — сказала Констанс и вскочила со стула, ощутив прилив энергии.

Блэз был разочарован, но ничего не сказал и ушел к жене. Женщины вдвоем кое-как дотащили труп до машины и запихали на заднее сиденье, не сказать что очень ловко. Потом они отправились по заледеневшей, скользкой дороге в Тюбэн, понимая, что приехать в город им надо до наступления темноты. Бледные зимние сумерки и небольшой морозец со снегом были как нельзя кстати. Из-за холода дежурные на пропускных постах пребывали в полусонном состоянии и почти нетерпеливо махали им, чтобы они ехали дальше. Вскоре они миновали мост и въехали внутрь массивных стен крепости, направляясь в сторону морга. Квиминал вышла на площади и бегом помчалась в офис, чтобы побыстрее выполнить то, что было поручено ей. Дальше Констанс поехала одна. Наконец впереди возникло уродливое небольшое здание бывшей скотобойни, где теперь был устроен морг. Констанс взбежала вверх по ступенькам, нажала на звонок и, подняв крышку, прикрывавшую прорезь для писем,

стала кричать:

— François! C'est Madame Constance. Пожалуйста, откройте. Oui, c'est le docteur.[174]

Привычно кряхтя и постанывая, старик повернул ключ, и высокие двери распахнулись.

— Кого вы привезли? — спросил он, видя как будто пустой автомобиль.

— Клиентку, — ответила Констанс, как это уже давно принято среди тех, кто занимается трупами и испытывает к ним не больше чувств, чем мясник — к мясным тушам.

Что-то проворчав, Франсуа повернулся к Констанс спиной, и она последовала за ним, чтобы получить грязные просторные носилки, в которых едва не утонуло худенькое тело ее сестры; они вдвоем перенесли ее потом в здание морга. Там Констанс сама раздела Ливию, перед тем как положить ее в один из длинных дубовых ящиков специального шкафа, занимавшего всю стену. Помогая ей, Франсуа непрестанно кряхтел и ворчал, однако в основном его недовольство было вызвано не тем, что его побеспокоили, а трудностями, которые переживал морг из-за войны.

— У нас тут теперь пахнет, — с горечью прого-

---

[174] Примечания: 174

Франсуа! Это мадам Констанс… Да-да, это доктор *(фр.)*.

ворил он. — Вы уж простите. А как прикажете проводить вскрытие в такой темноте? Напряжение совсем слабое! Никакой холодильник при таком не сможет работать нормально. Воняет ужасно.

Когда они перекладывали тело на мраморный стол, причитания его перемежались стонами. Старый мраморный стол напоминал те, на которых рыбаки полвека назад разделывали свой улов.

— Поосторожнее — это же моя подруга! — закричала Констанс, не в силах выдержать небрежное равнодушие, с каким он развязывал аккуратно и прочно затянутые Блэзом узлы. — Я сама.

— Сколько лет? — спросил он. — Женщина, говорите? — Поняв, кто перед ним, он отпрянул в сторону. — Медсестра из Монфаве! Я хорошо ее знаю. — Этого Констанс никак не ожидала. — Но она носила форму, — продолжал Франсуа, — значит, служила в армии. Мы не имеем права держать ее у себя.

Этого Констанс и боялась… Она все-таки продолжала осматривать жуткие ссадины на шее, и вдруг за спиной ее раздался знакомый голос.

— Я беру ответственность на себя, — сказал Смиргел. — Пожалуйста, продолжайте. Доктор

уже едет.

Смиргел уселся на единственный в помещении стул и как будто собрался что-то записывать: то ли заполнять соответствующую форму, то ли у него с собой были какие-то служебные бумаги. Тем временем была включена дуговая лампа над операционным столом, которая заодно осветила все вокруг. Комната напоминала большой склеп, стены которого были выложены белой кафельной плиткой с сероватым отливом; несколько шлангов свисали с потолка, и одним из них они теперь могли обмыть тело — вода была до того горячей, что потеплела даже мраморная кожа. Они срезали с головы несколько темных прядей, которые Констанс убрала в сумку, чтобы потом подарить их на память тем троим из их летней компании, кто сумел выжить. Пока она прятала пряди, Смиргел вдруг подошел к столу и внимательно посмотрел на простертое тело, потом, почти не изменившись в лице, еле слышно всхлипнул, но был ли то знак любви или раскаяния, или и того и другого, определить было невозможно. Констанс пристально взглянула на него, теряясь в догадках.

— Она что-то значила для вас? — неожиданно для самой себя спросила Констанс, но немец не

ответил.

Он вернулся на свое место, сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. А Констанс и Франсуа вновь занялись Ливией, вытерли ее полотенцем, подрезали ногти. Далее настала очередь дешевого савана, из прорези которого выскользнула остриженная голова Ливии, и на ее лице теперь проступило выражение растерянности. Тут появилась Нэнси Квиминал в сопровождении мужчины; судя по тому, что в руке его была зажата пачка формуляров, это был врач. В формуляры вписывали имена тех, кто скончался «по естественным причинам». Порядка ради он все же изобразил процедуру установления факта смерти, приложив к груди Ливии стетоскоп. (Следы от веревки были скрыты саваном.) Потом он вышел в другую комнату и тщательно, но быстро заполнил несколько формуляров и отдал их Квиминал, после чего, не обращая ни на кого внимания, снова удалился.

Наконец тело было обмыто и одето; но, прежде чем убрать его со стола, Констанс попросила обычный скальпель, который старик держал наготове, и сделала глубокий надрез на бедре, где проходит артерия, а потом на всякий случай перевязала это место. После этого труп переместили на тележку, напоминающую из-за нескольких

ножек на колесиках огромного паука, и подвезли к большому дубовому шкафу, очень похожему на картотечный, только для трупов, а не для карточек.

— А как насчет похорон? — спросил хранитель, видимо, собиравшийся вновь затянуть песню о слабом напряжении в сети и неработающих холодильниках.

— Она будет похоронена, — неожиданно вступил в разговор Смиргел, — со всеми полагающимися военными почестями. Я сам за этим прослежу.

Констанс с любопытством посмотрела на него. Ей показалось, что неспроста он так расчувствовался.

— Мне тоже надо будет присутствовать? — спросила она и обрадовалась, когда он помотал головой.

— Я не имею права вас пригласить. Это будет в крепости.

Бедняжка Ливия! Вот это апофеоз!

Наверное, подумала Констанс, они и салют устроят. В конце концов, «естественные причины» — лучшее объяснение подобных событий, какими бы странными они ни казались с точки зрения формальной логики. Откуда-то донесся

вой сирены — они тут совсем забыли, что за окнами — война. На темной улице их ждал автомобиль. Неожиданно Констанс почувствовала зверский голод, ведь она весь день почти ничего не ела. В кармане пальто ее пальцы наткнулись на жвачку, на этой «еде» надо было продержаться до дома.

— Хочешь, я поеду с тобой? — спросила Нэнси Квиминал. — Или тебе сейчас лучше в одиночестве?

Констанс кивнула в ответ на второй вариант, и тут вспомнила важную вещь:

— Если меня не будет завтра на работе, значит, приехал швейцарский консул, и мы отправились в Женеву. Не забудешь забрать автомобиль?

Пообещав, что не забудет, Нэнси крепко обняла свою приятельницу, и автомобиль повез Констанс через мост в Ту-Герц. Мрачная Рона поднялась очень высоко. Приглушенный свет фар не понравился проезжавшему мимо патрулю, и ей посигналили. Снизив скорость, Констанс крикнула: «Экстренный вызов!» — и теперь старалась выбирать дороги попустыннее и потемнее.

Она еще не отошла от всего происшедшего, волнами накатывали то усталость, то возбуждение, которые как будто сказывались и на

поведении автомобильчика — он то еле катил, то несся во весь опор. Вот и конец Ливии, и уже нельзя начать сначала, и невозможно получить объяснения. Неужели она была любовницей Смиргела? Странная мысль: Ливия всегда оставалась ничьей. Констанс думала о том, как она, завернутая в хлопчатобумажный «бурнус», лежит теперь в шкафу — а как еще назвать это сооружение? — морга в компании бродяг, подобранных в промерзших канавах, или изголодавшихся стариков, настолько слабых, что они не выдержали мороза, когда решились выйти, чтобы поискать в магазинах еду. Ливия пролежит в морге всю ночь, погруженная в свои никому неведомые размышления, и тишина будет нарушаться лишь еле слышным шумом работающего на половину мощности холодильника. Им никогда не увидеться вновь, и Констанс повторяла и повторяла «никогда», — словно хотела осознать страшный смысл этого слова. Ей казалось, будто кто-то бросил камень, чтобы пробить дыру в décor[175] их жизни, как прежде это сделала смерть Сэма; вдребезги разбита реальность, словно оконное стекло. Именно тогда Констанс осознала, до ка-

[175] Примечания: 175
Декорация *(фр.)*.

кой степени мертвые понаторели в том, чтобы обеспечить алиби тем, кто еще остался в живых; она жила отчасти потому, что была отражена в этих людях — благодаря им, она чувствовала себя материальной и живой. А потом ей в голову пришла другая, еще более неприятная мысль: как это отразится на состоянии Обри? Надо ли говорить ему или подождать, пока это сделает кто-нибудь другой? Неожиданно перед ее мысленным взором возникло его выразительное опечаленное лицо и, к собственному удивлению, Констанс ощутила прилив нежности и любви. Милый копуша из почти забытого лета. В одном из его шкафов наверху она нашла старую тетрадку, в которой были какие-то записи, ставшие почти нечитаемыми из-за сырости. Более того, тетрадка была разорвана и, очевидно, весьма непочтительно брошена на полку шкафа. Констанс не стала пытаться что-то разобрать в этих расплывшихся буквах, это было бы вмешательством в личную жизнь Обри — а он, как и сама она, был весьма щепетилен в таких вещах. Она аккуратно уложила ее в папку, решив вернуть тетрадь хозяину, когда они встретятся. Она и не представляла, что встреча эта не так уж далека: сюрприз поджидал ее в Женеве в головном офисе Красного Креста.

А пока дома Констанс был приготовлен другой сюрприз. Перед очагом сидел мужчина, грея руки, вернее пытаясь их согреть, так как огонь почти догорел. Это был швейцарский консул. Констанс удивленно поздоровалась с ним.

— Не заметила вашего автомобиля, — сказала она, и тот объяснил, что спрятал его за деревьями на поляне.

— Уезжать надо немедленно, я предупреждал, что такой вариант возможен. Сегодня вечером. Собирайте вещи. У меня есть *laissez-passer,* с этим все в порядке. Но надо спешить. Все подробности, когда мы уже сядем в автомобиль.

Констанс не понадобилось много времени на сборы, так как она была человеком достаточно аккуратным и знала, где у нее что висит и лежит.

— Отлично, — проговорила она, изнемогая от усталости, но чувствуя душевный подъем. — Отлично.

Она поднялась наверх, где был шкаф с ее немногими вещами, и быстро заполнила небольшой чемоданчик; забрав его и портфель с документами и туалетными принадлежностями, она спустилась в гостиную. Консул всем своим видом выражал нетерпение, то и дело посматривал на часы и переминался с ноги на ногу. Появился

Блэз, чтобы запереть за Констанс дверь и взять ключи. Торопливо, стараясь говорить как можно тише, Констанс рассказала ему о том, что было в морге, и заверила, что ему абсолютно нечего опасаться. После этого все трое отправились на полянку, где между высокими платанами консул оставил свой автомобиль с двумя флажками и дипломатическими номерами. Сняв кожаные чехлы, дипломат освободил флажок Швейцарии и флажок со свастикой, потом сел за руль и включил зажигание.

— Я готов, — сказал он, и Констанс попрощалась с Блэзом, обещав вернуться к концу месяца.

Довольно медленно они поехали вниз, держась подальше от городских развязок и крутых спусков северной дороги, и вскоре оказались на берегу реки. Тут уже можно было увеличить скорость, хотя кое-где Рона поднялась слишком высоко и, вопреки обыкновению, бежала буквально в нескольких метрах от колес.

Однако без сложностей не обошлось; уже в Валенсии им повстречались автомобили командного состава, жужжавшие со всех сторон, как комары, требуя, чтобы им освободили проезд. Консул свернул на объездную дорогу, и они нисколько об этом не жалели: ехать пришлось

через уединенные и красивые деревни, казавшиеся вымершими. Очевидно было, что готовился прорыв на юг; он формировался, будто туча над невидимым горизонтом. В машине было холодно, однако равномерное гудение мощного мотора успокаивало и даже создавало некоторый уют. После Валенсии никаких заторов на дорогах не было, однако к границе они подъехали уже за полночь, где их остановили военные патрульные. Обычные фонари и фонари-«молнии» освещали внутренности заброшенного железнодорожного вокзала — пустое гниющее помещение со множеством деревянных скамеек, где находилось несколько людей.

Здесь им грубо приказали покинуть автомобиль и разложить багаж на козлах для проверки, и они, зевая, подчинились. После досконального досмотра им разрешили двигаться дальше. Констанс пришлось отшагать примерно сто ярдов, тогда как послу как дипломату разрешили проехать на его же автомобиле по грязной дороге. Таким образом они одолели ограждение из колючей проволоки, определявшее швейцарскую границу. Прячась в тени, какой-то мужчина поджидал Констанс.

«До чего же она бледненькая, вид совсем боль-

ной, — думал он, глядя на нее со своего места в тени здания. — И волосы у нее грязные, концы слиплись, похожи на крысиные хвостики». У него возникла мысль исчезнуть, в конце концов его появления не ждали, значит не заметили бы и отсутствия. Однако сердце удерживало его на месте, будто компас со стрелкой, устремленной на Полярную звезду. Но все же ему не хватало смелости выйти из тени и подойти. Максимум, чего она могла ожидать, это служебного автомобиля с шофером. Он с болью вспомнил копну белокурых волос. А теперь ее голова небрежно покрыта цветным шарфом, завязанным под подбородком узлом. Она ничем не отличалась от французской крестьянки из оккупированной зоны — до того она была грязной, безразличной и усталой. Он и представить не мог, что увидит ее такой измученной и вялой, возможно даже, что он нечаянно ее унизит, застав, так сказать, врасплох. Итак, он не мог уехать и не мог подойти к ней, не в силах решить, как лучше поступить.

Сонный взгляд Констанс разглядел его, когда один из милиционеров неожиданно открыл дверь, и он попал в золотистый поток света, хлынувшего из вокзала.

— Мистер Аффад!

Не могло быть никаких сомнений, что она обрадовалась и даже воспряла духом, потому что сразу направилась к нему, по дороге решая, протянуть ему руку или нет. В конечном итоге они минуту простояли, прижавшись друг к другу, оба изумленные тем, что им так хорошо быть рядом. Как чудесно было чувствовать его теплое живое тело в своих объятиях. Нежность. Как раз этого Констанс больше всего не хватало все это время; только сейчас она поняла, как ее тело изголодалось по нежности. А ведь она почти не вспоминала об Аффаде и, кажется, даже ни разу не помечтала о нем. А теперь он словно зажег ее своим прикосновением, твердой решимостью обнимавших ее рук. С сожалением высвободившись, Констанс сказала, что должна представить его своему спутнику. К ее огромному удовольствию, прекрасное лицо Аффада помрачнело от ревности. До чего же приятно было видеть, как он снова напустил на себя холодность, которой на самом деле не было и в помине, воображая бог знает что по поводу представительного пресного господина, который не чаял от нее избавиться и отправиться наконец домой. Констанс как полагается поблагодарила его и обещала поддерживать с ним контакт, если возникнет служебная

необходимость, после чего отвернулась и последовала за Аффадом, успевшим взять ее вещи. Его личный автомобиль, старый американский «седан», стоял на обочине, и они с удовольствием нырнули в его теплое нутро. Поворачивая ключ зажигания, он попросил:

— Констанс, посмотрите на меня.

Она подчинилась, и тут же, представив, как сейчас выглядит, сняла шарф.

— Зачем?

Он улыбнулся.

— Я хотел посмотреть, какая вы, когда трудитесь.

— Как видите, грязная и старая.

— Это ненадолго, — утешил он. — Вы очень устали? Я попросил парикмахера быть к завтраку.

— Вот спасибо. Это чудесно.

— Но сначала новости — прежде чем заснете. Констанс, нам удалось вывезти Обри по обмену тяжело раненными военнопленными — пятьдесят немцев на пятьдесят англичан. Они прилетят сюда примерно через неделю. Здесь Обри уже будет сам по себе, и нам надо обеспечить ему медицинский уход — он должен иметь все, что ему сейчас требуется. Вот так. У меня есть его история

болезни, и вы сможете прочитать ее, а там судите сами. Вы меня слушаете?

— Конечно же, слушаю! — возмутилась Констанс. — Просто я никак не могу поверить! Это же чудо!

Она хотела добраться до своей квартиры, однако ничего не получилось, в это время суток ехать было трудно. Тяжелый туман и грязно-серый свет не прибавляли красоты городу на берегу озера, к которому они приближались с разумной осторожностью. К счастью, для автомобилей было еще рановато, но все равно приходилось почти постоянно жать на клаксон, поскольку дорога в гористой местности то и дело петляет, и упреждающие гудки отзывались печальным эхом в их ушах. Они приближались к пригороду и ехали между горами, покрытыми свежим снегом. Констанс до того раззевалась, что Аффад не смог сдержать улыбки.

— Бедняжка Констанс! — посочувствовал он. — Вы могли бы, наверно, проспать месяц — но сегодня поспать не удастся, зато потом… — Он ткнул длинным указательным пальцем в часы на приборной доске, которые показывали четыре часа. — Получается ни то ни се. До половины седьмого нам делать нечего. Самое лучшее — это

поехать ко мне. Вы же знаете, у меня много места. У вас будет как бы собственная квартирка с ванной комнатой и всем прочим. А есть во что переодеться? Отлично. Тогда успеете вымыться и вздремнуть. Сегодня же побываете у парикмахера — короче говоря, сделаете все, что посчитаете нужным. У меня есть для вас письма, они в моей комнате. Что скажете?

— А Обри? Когда он приедет? — спросила она с изумлением, словно она говорила о чем-то небывалом и невозможном, канувшем в прошлое. Она тут же представила Сэма и Обри, идущих рука об руку через мост в Авиньоне; это видение вернулось к ней, словно старая пожелтевшая фотография, найденная на дне чемодана.

— Даже не верится, — повторила она несколько раз, а потом, зевая, провалилась в глубокий сон, от которого очнулась, только когда почти утих мотор. Оказывается, они уже подъехали к отелю, и Аффад звонил в дверь. Сонный ночной портье открыл им и взял вещи. В лифте Констанс прислонилась к Аффаду, почти засыпая, поэтому он мог смело обнять ее за плечи, чтобы отвести в свой номер. Прежде ему никогда не приходило в голову осмотреть все апартаменты, и теперь они вместе восполнили этот пробел. В номере были

две спальни с отдельными ванными комнатами, в которых чего только не было — мыло, духи, различные масла — такого рода мелочи служили рекламой отелю.

— Я буду спать тут, — сказала Констанс, забирая у Аффада свои вещи. — Сначала я долго-долго буду лежать в ванне, а потом приду *chez vous*,[176] если обещаете быть добрым и не особенно показывать свою силу. Мне нужна забота.

У Аффада защемило сердце — и душа ее, и тело действительно были в плачевном состоянии.

— Я понимаю, — проговорил он печально, пока она пристально вглядывалась в него, не отводя своих прекрасных глаз.

А она в это время спрашивала себя: «Что же так привлекает меня в *близоруких?* И еще чуть вытянутые оленьи головы…»

Однако вслух твердо произнесла, словно решила предупредить заранее о своей возможной холодности:

— Понимаете, я больше не могу любить; представьте человека, которому из-за грыжи или еще по каким-то причинам нельзя поднимать тяжести. Вот и мне нельзя; таинственные символы

---

[176] Примечания: 176
К вам *(фр.)*.

привязанности, метафизический багаж — для меня это теперь опасный груз. Я всего лишь младший психиатр, ученица волшебника. Адвокат дьявола…

Не закончив фразы, Констанс опять зевнула.

— Но я же ничего не требую от вас, — проговорил Аффад, понимая, что говорит неправду. Его рассердили ее слова.

— Знаю и прошу прощения за свою неромантичность. Вы очень заботливы, а я не могу даже достойно вас отблагодарить. Во всем виновата усталость, да еще странное чувство нереальности происходящего — большая горячая ванна и мыло после моей крохотной ванны и чайника с водой там.

— Я собираюсь немного поспать, — произнес Аффад, хотя знал, что вряд ли может заснуть в теперешнем своем состоянии.

Констанс одобрительно кивнула.

— Может быть, я тоже посплю — в ванне.

Для нее было чудом слышать шипение льющейся горячей воды, трогать туалетные принадлежности на полках. Ей хотелось использовать все сразу, в одном безумном порыве вылить содержимое многочисленных пузырьков в ванну, но она удержалась, потому что ни к чему хороше-

му это не привело бы. Но все равно она устроила себе гнездышко из густой пены и юркнула в него со вздохом наслаждения с головой, так что все звуки стали отдаленными и гулкими. В первую очередь она вымыла волосы, которые давно пора было стричь, и завернула их в полотенце, и только после этого наконец-то заснула, положив голову на край ванны. С таким сном — умиротворяющим до самой последней клеточки — не мог сравниться никакой наркотик, и, уменьшив поток горячей воды до ровного ручейка, она постаралась расслабиться, словно на веки веков.

Аффад тоже чувствовал себя усталым, потому что не спал все то время, пока ждал Констанс на границе — только немного подремал на заднем сиденье автомобиля. Теперь, переодевшись в толстый «зимний» халат, он лег и почитал недолго при свете ночника. Проспав сколько-то, он вдруг проснулся и обнаружил, что на часах ровно шесть, а за окном над озером набирает силу желтый свет. Констанс рядом не было, и он подумал, что она, скорее всего, спит в одной из двух свободных комнат его номера. Ему ни в коем случае не хотелось ее беспокоить. Но тут он услышал незатихающий звук льющейся воды в ее ванной. Аффад долго стоял, затаив дыхание и пытаясь

понять, что бы это могло значить. Неужели она не выключила воду, когда пошла спать? Или заснула в ванне, забыв повернуть кран? Наверно, все же лучше проверить, завернут кран или нет. Любопытство и волнение все-таки пересилили его нежелание вторгаться к Констанс. Аффад тихонько приоткрыл дверь. Как ни странно, Констанс вылезла из ванны и расположилась на широкой скамейке — так называемом массажном столе, — завернувшись в тяжелый белый махровый бурнус, предоставленный отелем. В белом бурнусе на фоне белых стен, она крепко спала, и ее голова, все еще обернутая полотенцем, напоминала морскую раковину. Приоткрытые губы будто хотели раздвинуться в широкой улыбке, но не успели; она не услышала, как он вошел. Окутанный этой сплошной белизной и паром, он на цыпочках подошел к кранам и уже собирался уходить, как вдруг увидел тоненький ручеек крови, струившийся между слегка раздвинутых ног и сбегавший на скамью из разошедшегося халата — на полу уже успела набежать лужица, в которую он наступил босыми ногами, оставив потом отпечатки на плитке. Констанс разбудила неожиданная тишина, и еще не совсем открыв глаза, почти не осознавая, что с ней, она все-таки

заметила его присутствие и радостно протянула ему руку, не имея в виду ничего особенного, но он сразу же оказался рядом и прижал ее, теплую, послушную, к себе.

— О боже, — простонала Констанс. — Кровь. Что-то слишком рано.

В ответ он лишь все крепче сжимал ее в объятиях, все более жарко целовал, страша ее изощренностью своих поцелуев, и возбужденно шептал: «Кровь! Спасибо, Констанс! Кровь!» Он был переполнен благодарностью, ведь это для него, для него одного льется темная менструальная кровь.[177] Легонько повернув Констанс и опустив ее ноги, он подтащил ее к себе и вошел в нее нежно, осторожно, не обращая внимания на протесты, похожие на кошачье мяуканье, которые скоро затихли, когда она вся открылась ему, совершенно и абсолютно, сделавшись рабыней его страсти, чего прежде с ней не случалось. Откуда, не понимала она сама, она научилась так реагировать на происходившее с ней? Ей было недостаточно сказать себе, что она осознала, как отчаянно влюблена в него. Он надолго замер,

---

[177] Примечания: 177

В тантрической йоге менструальная кровь считается священной; адепты Тантры верят, что соединение с женщиной в этот период помогает достичь духовного совершенства. *(Прим. ред.)*

наклонившись над ней, только целуя и обнимая. Он был внутри нее, но не двигался. Он поджидал с осознанным коварством, когда она сделает первое движение, поджидал, когда ее ожидание станет нестерпимым.

— Ты будешь весь в крови! — в конце концов произнесла она, и чтобы скрыть нетерпеливый спазм своего влагалища, попыталась встать и освободиться. Но Аффад тут же стал ритмично двигаться, с роковой решимостью соединив их дыхание в одно, добиваясь единого ритма. Констанс принялась себя ругать, твердила, что не должна была допускать ничего подобного, но он проникал в нее все глубже.

Но и теперь она старалась сохранить, хотя бы частично, свою женскую независимость, получить любовную власть над ним, хотя бы пользуясь исключительно физической выносливостью. Она решила, что сначала доведет до оргазма его, ей это будет нетрудно, благодаря ее молодости, звериному умению контролировать себя, силе своих сфинктеров; и он почувствовал брошенный ему вызов, когда она завладела им, а ему потребовались все его силы, вся его гибкость, чтобы не случилось преждевременного выброса энергии.

— Вижу, ты улыбаешься, — проговорил он между двумя короткими вдохами.

— Да, — ответила Констанс, прерывисто дыша. — Потому что ты будешь первым.

— Нет, — покачал он головой.

Она все еще улыбалась, когда он закрыл глаза и склонил голову набок.

— Ну пожалуйста! — попросила она. — Мои мышцы в порядке. Я *приказываю* тебе сдаться, — хвастливо заявила Констанс.

Он, обессиленный, упал на нее под градом поцелуев, которыми она осыпала его, гордая своей победой и жаждущая разделить ее с ним. Лишь позднее она поняла, что он сам отдал ей победу, которую вполне мог бы и не отдавать. А пока она вовсю торжествовала. Они лежали усталые, измазанные кровью, окутанные клубами пара, похожие на израненных мучеников счастья. Констанс все знала заранее, знала, что так будет, что он будет вот таким; но почему же она старалась не думать об этом и по собственной воле оставалась в Авиньоне, несмотря на искушение? Как ни странно, хотелось сохранить верность Сэму! Эта мысль поразила ее — до чего же старомодно!

— Я ничего не вижу, — сказал Аффад, ослепленный паром, — даже твое лицо как в тумане,

как мокрая акварель. Кстати, на всем кафеле отпечатки моих ног — в твоей, Констанс, крови.

Он вновь наполнил ванну, аккуратно повесил полотенце и шагнул в воду, чтобы полежать спокойно, погрузившись в свои думы, наблюдая, как темная кровь смывается с его кожи и на некоторое время зависает в воде, прежде чем раствориться.

— Я чувствую себя Петронием.[178]

Констанс же пришла в ужас от беспорядка и принялась тереть пол мокрым полотенцем, не желая, чтобы горничные видели кровь.

— Иди ко мне, — позвал ее Аффад. — Это их работа, Констанс. Иди ко мне. Вода не горячая, как раз, какая тебе нужна.

Констанс вдруг застеснялась, но все-таки, смеясь, преодолела себя и легла рядом, но скрывшись в воде по шею. Они были, как два угря в кувшине. Неожиданно Аффада охватило уныние, и она сказала со слишком страстной горячностью, которой тут же устыдилась:

— Ну же, что такое? Что случилось? Я разоча-

---

[178] Примечания: 178

Петроний, Арбитр — римский писатель, высокопоставленный чиновник, автор гениального сатирического романа «Сатирикон», в 66 году Нерон вынудил его покончить с собой за предполагаемое участие в заговоре. Аффад сравнивает себя со смертельно раненным Петронием, умершим от потери крови. *(Прим. ред.)*

ровала тебя?

Аффад покачал головой.

— Нет. Но мне так хочется, чтобы ты забеременела, — это желание сводит меня с ума. Несколько лет я ни с кем не спал и на самом деле не был готов к встрече с тобой. Это я думал, будто готов, тешил себя надеждами, как ты могла заметить. А сейчас я в замешательстве. Ты лишила меня равновесия. Я будто оцепенел, умер, стал мумией. Ты можешь вернуть меня обратно? Сомневаюсь.

— Что случилось в последнюю нашу встречу?

Аффад печально улыбнулся, но не ответил. Только чуть погодя:

— В Александрии мужчина, который живет один, не интересуется сексом, вызывает недоверие и беспокойство. Арабы говорят: «У него пенис с тремя головками». Таким пенисом не попользуешься — в этом смысл.

— Я слишком молода для тебя?

— Даже если бы и так, это не имеет значения. Дело вот в этом.

Он прижал ладонь к груди в том месте, где билось сердце. Тогда она взяла обе его руки и приложила к своим пылающим щекам.

— Значит, ты хочешь приковать меня к миражу и тем самым разрушить карьеру многообещаю-

щего врача?

Все еще опечаленный, он однако ответил шутливо:

— Я мог бы, да.

Какое-то время Констанс лежала молча, вытянувшись рядом с ним, как молодая львица, по-хозяйски положив руку на его пенис, прикрыв ладонью его мощную мошонку, как птичку в растрепанном гнезде. Легким облачком ее душа проникла в его душу, и Констанс почувствовала себя шхуной, отзывающейся на каждое движение ветра, с мачтой, взмывшей в небо его нереализованного желания. Но он еще не все ей сказал и заговорил снова:

— Однако сперма может стать ядовитой, если она застаивается, слабой или больной, как, например, сперма несчастных шизофреников; долгое воздержание может закончиться болезнью, мозговой горячкой, усыханием мозга, это наблюдается у народов с ханжеской культурой, основанной на пуританизме, как у вас, англичан. Сперму надо культивировать, это настоящее богатство, это деньги, только физиологические, женщина должна все время их приумножать, лаская мошонку, подсчитывая барыши. Женщина должна физически ощущать это богатство,

которое капля по капле сочится из уретры, должна с радостью принимать эти капли и рачительно их использовать, чтобы ее истомленное жаждой лоно жадно их впитывало, спустив с привязи яйцеклетку, которая подобна стае голодных волчиц. И мужчина и женщина должны с осознанным усилием двигаться навстречу друг другу, и чем органичнее, осознаннее оргазм, тем он будет глубже и разнообразнее, и тогда ребенок получится более совершенным, и народ в целом будет более гармоничным. Объяснять это долго, но никакого откровения тут нет — настоящие женщины всегда это знали. Когда же культура начинает деградировать, то в первую очередь это сказывается на качестве секса и насыщения спермы кислородом — я имею в виду кислород вот какой: расовый интеллект, генетический разум. И запасы «информативного» кислорода постепенно оскудевают.

Сонно обнимая друг друга, они копили в себе желание, которое становилось сильнее с каждый вздохом, а тем временем он нашептывал ей на ухо историю секса: почему он всегда вызывал страх и примерное благочестие. Он был мотором, получающим топливо от разума, и одновременно чисто физическим производителем спермы,

которую жаждала иссушенная почва лона. Мужчина один ничего не мог, и женщина одна не могла удовлетворить свои диктуемые лоном потребности. Вот что было в основе мысли и чувства — в естественном порядке вещей. Первое осознание, что есть мужчина и есть женщина, первый фиговый листок, первая звездочка — они существовали на территории, находившейся под проводами высокого напряжения, и опасная хрупкость этого союза была очевидна каждый раз, когда поцелуй так и не сбывался или когда страстный взгляд попадал мимо цели.

— Это ужасно, что мы не можем существовать друг без друга. Каждый обречен быть судьбой другого… ты со своей сумочкой с пасхальными яйцами и фартингами, но на самом деле думающая совсем о другом, над чем ты имеешь лишь преходящую власть, а надо бы постоянно держать это при себе, как сумку, в которой у твоих современниц лежит пудра, губная помада и презервативы; ну а я: сомнамбула с начала времен, околдованный твоими округлыми грудями, источником вечной юности, впервые давшими мне напиться и укрывшими меня от нападения света и звуков, мучительное опробование собственного желудка и легких, когда обрезана пуповина. О мама!

Их общение постепенно перешло на уровень прикосновений, когда физическое уже было невозможно отделить от духовного; однако Констанс поняла, что своими словами он открыл какой-то клапан в ее разуме, воспламенил ее, и если они не проявят осторожность, то она непременно забеременеет. Казалось, будто он загипнотизировал ее, ввел в состояние восхитительного сатириаза;[179] ей безумно хотелось довести его до оргазма и насладиться им, однако Аффад сопротивлялся, поддавался словно бы нехотя — на самом деле нарочно еще больше обостряя ее желание. Обоих терзало нетерпение, и мысли о любовной покорности лились полноводным потоком.

— Сейчас! — сказала она.

— Подожди! — ответил он, думая лишь о том, чтобы попасть в ритм ее дыхания, в ритм биения ее сердца. Он уже предчувствовал ту радость, которой они насладятся потом, когда будут лежать, словно опьяненные чудом, в объятиях друг друга, загнанные в сон, как овцы — в загон. Аффад легонько повернул Констанс к себе и перестал сдерживаться, чувствуя, как дыхание их

[179] Примечания: 179

Болезненно повышенное половое влечение с постоянным чувством половой неудовлетворенности (у мужчин).

делается все более ровным, как слаженно они расслабляются и напрягаются, как черпают силы в разделенном наслаждении. Констанс поняла, что прежде ничего не знала о любви, о том, какой она может быть. Это даже пугало — что она может так глубоко чувствовать по его воле, по своей воле. Быть послушной, подчиняться, отрекаться от себя и получать… она вдруг ощутила, что стала опасно уязвимой. И печально произнесла:

— Ах, тебе все шуточки, а я серьезно; ты разочаруешься во мне. В душе я только лишь ученый. И верю в причинно-следственную связь.

Аффад приподнялся на локте и внимательно посмотрел на нее, словно видел в первый раз, словно она была диковинным насекомым, оказавшимся на покрывале.

— С точки зрения алхимиков ничего нельзя достичь без женщины, то есть без тебя; твои бедра — камертон мужской интуиции. Вы, женщины, высекаете искру, мы зажигаем огонь в очаге, и вот уже в тебе живет ребенок!

— О да, герр профессор, — смиренно произнесла Констанс.

Оба рассмеялись.

— Ну нет, ты не должен, — заявила она теперь уже окончательно расслабившись и с полной

доверительностью. — Это мужская сказка, из-за которой наши отношения станут нервозными. Я так не играю. Давай начнем с нас, сразу с нас. Ведь я всего-навсего давняя ученица Фрейда и не вижу дальше своего носа.

— Ты живешь на скудном рационе снов и мечтаний других людей, среди неологизмов чужих кошмаров, которые проецируются в твои дневные кошмары, наполненные насилием и ужасом. Какое somnifère[180] ты принимаешь? Констанс, мы переполнены идеями, которые, увы, вечно остаются бездомными, невостребованными. А я хочу разделить их с тобой, все до единой.

В дверь постучали, и, когда она открылась, появилась официантка, катившая столик с завтраком. Не сговариваясь, они спрятались с головой под простыни и лежали, не шевелясь, словно крепко спали, пока она не поставила столик рядом с кроватью и не удалилась, закрыв за собой дверь. И тогда они с хохотом сбросили с себя все и со вновь обретенными силами предались любви, по доброй воле позволяя себе более жесткие игры, чем прежде. Его неистовство оказалось очень приятным, и Констанс и с ужасом, и с удо-

---

[180] Примечания: 180
Снотворное *(фр.)*.

вольствием почувствовала вампирский *suçon*[181] на шее возле уха. Наверняка останется синяк, который придется тщательно припудривать. Проклятье! Но на сей раз музыку заказывал он, и ей оставалось только удивляться искусно сдерживаемой мощи длинного, несколько неуклюжего костистого тела с женственными движениями. В то же время она была в восторге, всем своим естеством чувствуя, что он настоящий мужчина и способен заставить ее тихонько стонать от боли, насиловать ее, не оставляя при этом ни ссадин, ни синяков, за исключением того, на шее — но это-то как раз было обычным проявлением вульгарного сексуального бахвальства, о чем она непременно ему скажет. Констанс вся трепетала от его прикосновений, трепетала от счастья, убедившись, что способна такое испытывать — это она-то, считавшая себя опустошенной, лишенной всяких чувств. Вдруг явилась мысль о Ливии и на миг отрезвила Констанс, она представила ее мертвое лицо и, разрываемая между мучительным воспоминанием и наслаждением, заплакала. Аффад сразу замер и принялся просить прощения, кляня себя за то, что не подумал, как она устала. А потом

---

[181] Примечания: 181
Засос *(фр.)*.

произнес и вовсе поразительную фразу:

— У тебя еще не прошел шок от смерти Ливии.

Она села в кровати, натягивая на себя кимоно.

— Но откуда тебе…

Он покачал головой, нежно успокаивая ее.

— Конечно же, от Смиргела. Он уже давно работает на нас.

Это не должно было удивить ее, но тем не менее удивило.

— На кого это на нас? — спросила Констанс.

— Глупенькая, я имел в виду совсем не Красный Крест, а, скажем так, египетскую армию. Это независимая сеть. Британцам нравятся их устаревшие методы и такие люди, как Катрфаж, у которых очень узкий кругозор. Мы работаем независимо, хотя, конечно же, делимся нашими результатами, когда это действительно важно. А они нам никогда не верят — тому же Смиргелу.

— Я ему тоже не верю, — заявила Констанс. — Он настоящий нацист. Он ведь откровенничал со мной, произнес целую проповедь. Нет, ему нельзя верить. Правда, нельзя, ни на йоту.

— Он, вероятно, человек с двойным дном, — спокойно согласился с ней Аффад. — Но мы давно знакомы. Должен тебе сказать, что не один раз мы спасали его от гнева Гитлера и Риббентропа.

Жизнь за жизнь, как говорится.

Они встали с постели, и за завтраком Аффад, улыбаясь, поведал Констанс кое-что еще своим негромким голосом.

— Ты видишь бедняжку Смиргела совсем в другом свете, а ведь этот несчастный очень умен и проницателен. Ему надо было держаться поближе к Риббентропу, но он не учел нетерпеливое стремление Гитлера проникнуть в ересь тамплиеров и во все тайны, с нею связанные. Ладно бы только это, но еще его интересуют слухи о сокровищах тамплиеров, которые они где-то спрятали и которые пытались отыскать всякие психи вроде Галена. Гитлер считает тамплиеров еретической сектой, виновной в религиозном беззаконии, и однако же сам он хочет создать орден черных рыцарей — скажем так — занять их место. Сумасшествие, естественно, самое настоящее сумасшествие! Но когда ему больше не о чем думать, он устраивает выволочку Риббентропу или его заместителю, и это немедленно сказывается на Смиргеле. Недавно пошли разговоры об отставке Смиргела, но нам удалось спасти его, подсунув им кое-какую информацию. Ты когда-нибудь видела высушенную голову крестоносца, которую Хассад возит с собой в красной шляпной

коробке? Видела? Так вот, мы позволили Смиргелу сделать это открытие, якобы опираясь на признания Катрфажа. Все остались довольны. Наконец что-то реальное! Более того, мы придумали голове историю. Теперь считается, что это пророчествующая голова Помпея, которая, как думали крестоносцы, была заключена в пушечном ядре, венчающем Колонну Помпея в Александрии. Время от времени она якобы предсказывает будущее, но через спящего человека, который должен держать ее около кровати. Знаешь, где она сейчас? Возле кровати Гитлера. Он верит и не верит, напуган и заинтригован, и всем показывает ее. Кто знает, что известно сморщенной голове? И правда, кто? Увы, нельзя было заложить в нее подготовленную заранее речь, чтобы повлиять на мысли живого монстра; так или иначе, Смиргела пока оставили в покое, и он занимается своими привычными делами, сосредоточившись на строительстве и «экспорте» того, что готовит новая власть, являясь вестником никто не знает чего.

— Когда мы увидимся? Что ты сегодня делаешь?

Констанс собиралась заглянуть в свою квартиру и, если нужно, прибраться там, потом заехать на работу, а потом попытаться где-нибудь перехва-

тить Сатклиффа и сообщить, что она вернулась. Знает ли он уже о намеченном приезде Обри?

— Конечно, знает. Застонал, когда ему сообщили, и сказал: «Тяжелая у нас жизнь, у тех, кто живет чужой жизнью».

— Робу Сатклиффу пора чем-нибудь заняться и перестать бесконечно выспрашивать о жене, — произнесла она довольно бесцеремонно. — Он до того выставляет напоказ свою преданность, что скоро вызовет подозрения у врачей, занимающихся ею, то есть у Шварца и у меня.

— Вот и скажи ему это.

— Скажу.

Несмотря на благие намерения Констанс, вскоре они опять заснули в объятиях друг друга, а когда время от времени она вдруг просыпалась и сознание становилось ясным, то перед ее мысленным взором тут же возникало нечто туманное и абстрактное, это нечто предвещало новую жизнь — новое отношение к жизни. Констанс не узнавала самое себя! Она ощущала необратимые изменения.

Ну да, все, что произошло так бурно, так внезапно, помогло Констанс в полной мере осознать свою женственность, которая всегда воспринималась ею, как какая-то выдумка, бесплодный

символ. В этом смысле быть женщиной вовсе не обязательно означало быть матерью, или женой, или монашенкой, или проституткой — все эти формальные разграничения были вторичными по отношению к главному. Профессия врача — вот чему она была обязана этим открытием первостепенной важности! Лучше понять и осмыслить роль женщины, ее сущность — это же неотъемлемо от искусства исцеления, это изначально заложено в мастерстве истинного врача. Если использовать космические категории, женщина — это первопричина обновления и восстановления, благодаря ей все появлялось, а появившись — развивалось и росло. Она была основой и источником плодородия, даже если попадала в ловушки миссис Джоунз.[182] (Один раз он был грубым с ней — его наслаждение превратилось в хозяйскую похоть, и боль, которую он причинил ей, было трудно выдержать, а она радовалась ей, как мученица радуется горящему костру.) Он чуть не разрубил ее надвое, словно топором. «Повернись!» — крикнул он, и она, подчинившись, повернулась, готовая умереть в

[182] Примечания: 182

Намек на поговорку «жить как Джоунзы», то есть не хуже соседей. В данном контексте имеются в виду «ловушки» все более комфортной жизни. *(Прим. ред.)*

его объятиях — здесь уместна поэтическая фигура, потому что она «умерла» в елизаветинском смысле слова, и у нее неожиданно вырвался крик наслаждения, разорвавший тишину и выразивший много чего, но в первую очередь самое главное: «И все-таки я могу любить!» — хотя и до этого мгновения она никогда не считала себя неспособной на любовь. Похоже, она попросту не представляла, что это за зверь такой — любовь. На его лице было напряженное и отрешенное выражение: она почувствовала всю его изначально свойственную мужчинам слабость, страх, что испытываемое чувство сейчас исчезнет, почувствовала, насколько остра его потребность в поддержке, без которой невозможно продвижение вперед, невозможно реализовать свой творческий потенциал. А поняв это, она мгновенно осознала собственную силу. Как будто теперь научилась использовать все свои мышцы, многие из которых до встречи с Аффадом постепенно атрофировались от бездействия. Она все-таки вняла его рассказам о тантризме левой руки,[183] ритуалы которого раздражали ее как ученого.

[183] Примечания: 183

Тантризмом левой руки называют индуистский тантризм, в котором активным считается женское начало, тогда как в буддийском тантризме (правой руки) активно мужское начало. *(Прим. ред.)*

Он дал ей больше, чем свою любовь, он помог ее целительскому дару, ее профессиональному мастерству обрести зрелость.

— О, спасибо тебе, спасибо!

Однако он с едва заметным безнадежным жестом простонал:

— Не знаю, какого черта я тебе все это рассказываю — в конце концов, ты полюбишь меня, и все остальные мужчины будут казаться тебе пресными еще лет десять после того, как мне придется тебя покинуть. Проклятье!

Однако что было то было: Констанс постигла секреты своей собственной души, и ее щедрые поцелуи и смеющийся взгляд говорили ему, что им обоим не о чем сожалеть. Чертенок выскочил из бутылки.

...Где-то прозвонил колокольчик, и Констанс села в постели. Господи Иисусе! Скоро вечер! Она проспала целый день, и Аффад опять лежит рядом. Как он ухитрился не разбудить ее?

При звуке колокольчика Аффад тут же очнулся от своего глубокого — как при состоянии транса — сна и долго тер глаза.

— Это означает, что в аппарате кончилась бумага. Смиргел стал слишком разговорчивым, болтает и болтает. Наводит на мысли о конце эпо-

хи молчаливых шпионов, ведь хранить секрет всегда трудно, не легче, чем не описаться во время парада. Он не имеет права ни с кем болтать. Только со мной. Вот и превратился в балаболку. Я было попытался его остановить, но без толку.

— Ничего не понимаю, — проговорила Констанс.

А он встал и отправился за халатом в ванную комнату, крикнув на ходу, чтобы она шла следом за ним, если хочет понять, что происходит. На цыпочках они одолели длинный коридор, в конце которого, видимо, была уборная. — На самом деле там оказалась вполне солидного вида комната со стальной дверью, снаружи которой висела табличка с предупреждением о высоком напряжении. «Вход воспрещен, — было написано на табличке. — Руками не трогать».

— Да это просто камуфляж, — сказал Аффад и маленьким ключом отпер дверь в комфортабельную комнату, напоминавшую рабочий кабинет, с телетайпным аппаратом, периодически подававшим признаки жизни. — Это Смиргел, — хмыкнул Аффад. — Он очень напуган после первой попытки высадки союзников. Я просто тону в информации. — Скривившись, он показал на стопки желтой линованной бума-

ги. — Я даже боюсь спать, как бы меня не задушил этот инфернальный аппарат. Во всяком случае, Смиргел отрабатывает свои деньги. Смотри!

Аппарат щелкнул, и из него стала выползать бумажная лента. Аффад открыл крышку и заменил использованные барабаны с бумагой другими, вставив их в челюсти ротора и убедившись, что они нормально крутятся.

— Где он это делает? — с любопытством спросила Констанс, находясь под впечатлением явно рискованного предприятия.

— В так называемых опасных палатах в Монфавеле-Роз, отделенный от полудюжины буйных сумасшедших занавеской из бус и хлипкой дверью. Боится он страшно. Но это самое безопасное место. Его предложил доктор Журден, которому мы многим обязаны. Кстати, что он за человек?

— Доктор? Несколько манерный, весьма образованный и настроенный проанглийски. Носит блейзер своего колледжа — он учился в Эдинбурге. На столе у него лежит чья-то посмертная маска. Думаю, он втайне влюблен в Нэнси Квиминал, хотя мы с ней никогда об этом не говорили, да и она ни разу не упомянула о нем. Вот и все, что мне известно!

Аффад сел на стул и стал пропускать широкую

бумажную ленту между пальцами, медленно читая отчет своего агента.

— Огромный список подлежащих депортации евреев — почти сорок тысяч, просто не верится, — грустно проговорил он. — Смиргел всегда безжалостен и даже как будто оправдывает депортации. Впрочем, не как будто; судя по твоим рассказам, так оно и есть на самом деле.

— Ужасно.

— Да. Вдвойне ужасно, потому что нам не дано услышать, чем завершится эта злосчастная акция. Евреи исторгнут всю до последней унции кровь из нашего ужаса и покаяния, они на это мастера. По меньшей мере, лет сто нам придется покаянно опускать голову в их присутствии.

— Не похоже, чтобы ты к ним благоволил.

— Я же из Александрии. Живу рядом с ними и знаю, что нельзя решить их проблемы — настолько они талантливы и слабы, настолько высокомерны и боязливы и так нас презирают… В конце концов, Констанс, не язычники и не христиане придумали гетто — они сами пожелали запереть себя вместе со своей мономанией, своей гордыней и своим космическим солипсизмом. То немногое, что мне известно о расовой дискриминации, я узнал от них — когда-то у меня

возникло безрассудное желание взять в жены ортодоксальную еврейку из Каира. Я сделал ей честное и официальное предложение. Какой же тут поднялся шум! Все вплоть до главного раввина вмешались в это дело, а родители девушки упрятали ее для собственного спокойствия в сумасшедший дом — под тем предлогом, будто бы она не совсем в себе. Пришлось мне похитить ее, что развязало им руки, вот так. Но, по крайней мере, у меня открылись глаза на проблемы расы и религии — на все, что связано с монотеизмом, монолитной организацией, с любым «моно», которое приводит к паранойе под названием Западная Цивилизация… Немцы просто-напросто довели идею обособленности и избранничества до абсурда, иначе они не умеют. Бессердечные, бесчувственные варвары. Но ведь и евреи не помогают сами себе! Что ж, будем надеяться, что мы успеем спасти хотя бы половину людей. А еще в помощи нуждаются цыгане, бродяги, преступники и «рабы» иных вероисповеданий. Знаешь ли, преследуют не одних евреев, хотя, конечно же, из-за них больше всего шума, потому что их много. Через определенные промежутки на бумажной ленте имелись дырочки перфорации, чтобы легче потом было оторвать кусок и сложить по-

том эти листочки вместе в виде книги — чтобы удобнее было читать. Констанс помогла Аффаду собрать бумаги с переданной ему информацией. Странно было вдруг увидеть город с иной точки зрения, то есть увидеть его целиком, так сказать, не ограничиваясь знаниями, доступными представительнице Красного Креста, работающей в узкой сфере. Из присланных сообщений она могла узнать о передвижении войск, о наказаниях за отдельные акты саботажа, о резервном фонде, накапливаемом под Пон-дю-Гар. Привезли несколько тысяч чехов и поляков для выполнения работ, в основном потому, что они не могли разгласить информацию — тем не менее, уже возникли определенные языковые проблемы, не говоря уж о проблемах благопристойности в окружающих Ним и Авиньон городках. Так как рабочие эти постоянно напивались, то в сумерках перед комендантским часом по улицам стало опасно ходить — а ведь как раз в это время хозяйки отправлялись за покупками. К счастью, они не были вооружены. Разве что старшие в группах имели револьверы и ножи. По вечерам специальные грузовики объезжали город, подбирая напившихся до бесчувственного состояния рабочих, и горожане облегченно вздыхали. Однако в

донесениях Смиргела упоминались два шумных происшествия, в результате которых погибло двое полицейских из Виши и была изнасилована десятилетняя девочка. Там же говорилось и о карательных операциях, которые проводились в окружавших Авиньон горах — против так называемых «террористов». На самом деле там прятались девушки и парни, уклонявшиеся от принудительных работ, которые пытались спастись от отправки в Германию. Немцам ничего не стоило сжечь всю деревню, хотя и нескольких показательных повешений было бы достаточно, чтобы пресечь саботаж. И все-таки ход войны изменился, насчет этого уже не оставалось сомнений: железные челюсти военной машины союзников начали сжиматься, правда медленно, но неумолимо. Каким будет новый мир, который родится, когда смолкнут ружья? Ничего неизвестно, потому что старый мир будет так или иначе похоронен в неизбежной тишине наступившего мира. Ее терзало беспокойство при одной мысли о мирном времени, она словно боялась, что так и не сможет избавиться от бессонницы военного времени и от постоянного чувства, что сердце сейчас разорвется, не выдержав людской жестокости.

Расставаться им совсем не хотелось, но у каждого были обязанности и неотложные дела. В следующий раз они договорились встретиться в ее маленькой квартирке за обедом.

И опять ночью кровать их вынесло в открытое море, словно бесценный катафалк. Реальность и сны смешивались между собой, то же происходило со временем и пространством. Когда же ими завладел сон, он был глубоким, как сама смерть.

Наверно, все же не настолько глубоким, потому что время от времени они просыпались. И оказывались в новом мире, где царила предельная близость и Прометеева наивность — ибо боль примешивалась к их наслаждениям и утоленной страсти. Все же, несмотря на эту необыкновенную близость, на любовную игру их самых сокровенных мыслей, она жаждала быть еще ближе к нему, завладеть им по-своему, по-женски. Почти со злобой она воскликнула:

— Ах, Аффад, неужели у тебя нет других имен?! Нет христианского имени? Можно я придумаю тебе прозвище, которое будет только нашим?

— У меня действительно есть христианское имя, — ответил он, несказанно удивив ее. — Но после смерти моей матери мне оно разонравилось, я не любил, когда меня так называли. Она

произносила его по-особенному.

— Скажи мне! Можно я тоже буду так тебя называть?

— Себастьян.

— Как же она произносила его?

Аффад долго медлил, глядя на Констанс странным взглядом. Потом произнес:

— Себастианн с ударением на последнем слоге. Ну вот! Я продал свою душу дьяволу!

— Почему же, любовь моя? Конечно же, нет, *Себастианн!*

Он ничего не сказал и лежал не шевелясь, словно дремал с крепко закрытыми глазами, не решаясь открыть их и увидеть восторженное лицо своей любимой. Видимо, он молча яростно спорил с самим собой, стараясь скрыть слезы радости и накатившую усталость. Шепотом она повторила его имя.

— Похоже?

Он покачал головой.

— Нет, не надо. Зови меня Аффадом, как все остальные. А другое имя сохрани для себя.

Совершенное ею открытие еще крепче сблизило их. Но так как насущные обыденные потребности проигнорировать было невозможно, то, помолчав, она рискнула сказать:

— Боже мой, как же хочется есть. Я сейчас умру от голода.

Он тотчас вынырнул из своего сна.

— Я приготовлю завтрак, которого ты достойна. Скажи, где что стоит, и предоставь это мне.

Но и этого она не смогла сделать, так как вдруг ослабела и, что-то прошептав, вновь задремала.

— Бекон, колбаса, яйца. Ах, Бог все-таки существует, — прошептала она.

И он благочестиво добавил:

— Благослови, Боже, наш счастливый дом. После этого влез в найденное кимоно, наслаждаясь сознанием того, что она ждет его.

— Из тебя получился бы чудесный раб, — проговорила Констанс, все еще мысленно гладя себя, свою душу, чем-то напоминая себе кошку, вылизывающую шерсть после любовных утех.

Аффад изображал полное подчинение, словно пребывал в глубоком шоке. А она была не в силах сдержать возбуждение, чувствуя его покорность, его рабское смирение. Потом, измученная, вся в поту, она с укоризной проговорила:

— Ты, черт тебя побери, никогда не даешь себе волю, всегда где-то *там.*

Он обнял ее, желая утешить в ее разочаровании.

— Нечему давать волю. Я все время *там,* внутри тебя. Пытаюсь съесть тебя заживо, проглотить, как удав. Но это нелегко, тебя надо долго переваривать.

Они лежали так близко, что смешивалось их дыхание, наполненное целительной сладостью блаженного забытья, временного ухода из жизни, и страсти стаями скитались по их телам, все еще не-угомонившимся — всего лишь тени истинных порывов, спрятанных в этом покое.

— Во время близости, — сказал он так, будто ему потребовалось долго думать над точной формулировкой того, что он хотел сказать, — ты рабыня эго, а я начинаю с *Vor-Ich,* с прежде-меня, да, *прежде-меня,* моя дорогая Констанс. Потрясающее маленькое прежде-меня, как желудь, как спрятанный в скорлупе пенис, как нераскрывшийся лотос…

Он рассмеялся, поняв, как сильно истомлена Констанс. Не одиножды она делала попытку подняться, но каждый раз всем своим влажным телом падала обратно и неизменно в его объятия, не в состоянии проснуться. Наконец она со стоном повернулась на бок и, разорвав паутину сна, отправилась, зевая, в туалет, остановившись лишь для того, чтобы включить горячую воду

для ванны.

— А ты лежи отдыхай, — сказала она. — Ты хорошо поработал. И позволь мне сделать для тебя ванну, которой ты достоин!

Позднее они опять расстались, хотя очень не хотелось; и он смотрел, как, склонив голову, словно погруженная целиком в свои мысли, она идет к озеру, потом вдоль набережной в сторону офисов банкиров. Его взгляд не отрывался от ее гибкой фигуры, от упрямой головки на худеньких, но сильных плечах, немного приподнятых — с юношеской строптивостью. Казалось, будто она совсем забыла о нем — выпила его, как бокал вина, и вновь вернулась к своим проблемам. Но это было не так. На самом деле она была глубоко потрясена, и когда наконец зашла в свой кабинет, то довольно долго сидела перед стопкой медицинских карт, уставившись на свои пальцы, но ничего не видя. Ей вспомнилась фраза доброго доктора Шварца, произнесенная на семинаре.

— *Aber,* Констанс, человек не есть естественный продукт природы — он уродство, нарост, как трюфель, раковая опухоль, и только благодаря дурманящему аромату вечного желания он более или менее приемлем!

Естественно, доктор Шварц улыбался, хотя

сказанное им было совершенно серьезно. Он считал, что когда человек пренебрег рамками естественного брачного сезона, которому подчиняется все живое, то обрел свободу, с которой не умел обращаться. Ему не по зубам оказалась свобода выбора, о чем свидетельствует вся история человечества.

Целый день Констанс то и дело впадала в сон, и ей снилось нечто архаическое, навязчивое и бессвязное. Откуда-то из самых дальних уголков памяти всплывала на белые ширмы, огораживавшие ее кровать, — сон был про больницу — картина, которую она прежде очень любила, «Прощание» Кирико[184] с ее клинической безжалостностью, ледяной беспристрастностью, которая замораживает глазной нерв, словно анестезия; сдержанные приглушенные тона и, одновременно, римская чувственность, словно и этот диссонанс несет в себе печаль — слишком глубокую, ее невозможно выразить. Измысленное растение из колючей проволоки, свернутой в сухие иглы пальцев, листьев, волос; из кучи палочек птицы строят колыбели и гнезда, а птенцы улетают в неуютное будущее, сотворенное ими

[184] Примечания: 184

Кирико, Джорджоде (1888–1978) — итальянский живописец, предвосхитивший сюрреализм.

же. Он взял недрогнувшими пальцами свой ***** и ощутил напряжение в ней своим длинным ***** и внимательным ****. Вряд ли он мог сказать, что такое *****, ибо расшатал классический кокон всякого порока, открывая и закрывая ее губы своим *****, пока она, со своей стороны *****, и проникая внутрь нее, стонущую, когда она *****. Тогда она сконцентрировалась на воспоминаниях, отраженных на ширмах, чтобы унять боль. (Живопись приносит облегчение.) До чего же больно он делает ей своим ***** и своим жестоким *****, при каждом страшном содрогании пронизывая чуть ли не насквозь ее *****? цветок и сук любовного сексуального сближения. Все же она еще цепляется за расставание влюбленных, за желание отвернуться, за печать первородного греха, за первое падение; мысль катапультирует, и Сатурн фиксирует ее в истерии тлена. О боже! Это друзья расстаются на картине, а не любовники, потому что любовников нельзя разлучить, они срастаются навсегда. Такие раны будут опасны для жизни. «Скажи мне еще раз *****? ты же знаешь, как мне стыдно».

Хрупкие, как кораблик на плаву, органы любви запечатывают входы, бессердечные как забытые убеждения, а оглушающая боль истерзанных

костей приносит с собой забвение. Значимость любовного искусства усиливается расставанием. Дыхание становится сипящим, как сбежавшее молоко, плеть поднимается и опускается, но на изображении твоя ***** совершенно *****, и тебе ничего не слышно, пока воображаемые фигуры не должны чувствовать ударов. Себастьян, Себастьян, Констанс, Констанс. Камни поддаются под ногами. Картина завершена. На церковной башне часы бьют два раза, а влюбленные все еще вместе, все еще не желают расставаться со всеми своими *****, столь свеж аромат гениталий, созданных, чтобы проникать и принимать. Зачем куда-то идти? Почему бы не остаться? Скоро утро, и все начнется сначала.

Но пока глядишь на *****, любящая пара постепенно растворяется, кислота уже под мышками, уже на белой груди, на шее. «Я *****», — кричит она в неожиданном восторженном порыве, и он до опасного предела усиливает ритм своего любящего ***** Потом капля по капле ***** льется, словно зелье на барабанную перепонку. Сегодняшний вечер станет роковым для чьих-то надежд. Плеть поднимается и падает, картина меняется. Мы — любовники, соединившиеся под давлением истории. Когда-нибудь придут ученые

и, обмерив нас, определят особенности современного сексуального темперамента.

… Картина будто исчезла в тумане, и на ее месте, из недр Авиньона,[185] воссиял, словно сам Грааль, старый потускневший шедевр Клемента, полузабытый из-за накопившейся на нем грязи; вновь Констанс совершенно ясно увидела причудливое сочетание элементов — нечто вроде изображения «Возвращенного рая», наложенного на изображение «Тайной вечери» на прозрачной ткани. Художник назвал это «Кокейн»,[186] а Смиргел получил субсидию на реставрацию испорченного полотна. Спавшие спали в креслах, свечи растопились и растеклись, Странно, но это было не в доме, а на заросшем травой луге в тени большого шатра. В траве лежали золотые монеты, носовые платки, отдельные предметы одежды, все это из семнадцатого столетия, и у Иисуса Христа была голова Спинозы. У Иуды — взгляд, как у морского угря. Может, в вино подмешали наркотик? Неужели они все заснули за столом?

---

[185] Примечания: 185

Имеется в виду Авиньонский замок, резиденция пап с 1309 по 1377 гг. *(Прим. ред.)*

[186] Примечания: 186

Кокейн — сказочная страна изобилия и праздности в средневековых легендах.

Не исключено, что к ним тайком пришли цыгане и, пока они спали, всем перерезали глотки.

Констанс вздрогнула и, проснувшись, увидела, что Шварц улыбается ей, перегнувшись через стол.

Наблюдая за ней, Шварц улыбался, но в его улыбке, как всегда, была крупица серьезности, его старое уродливое морщинистое лицо было необыкновенно обаятельным и выразительным. Он вздохнул и сказал:

— Давно уже мы не занимались любовью. Я вспомнил об этом, потому что сегодня день рождения Лили.

Его жену звали Лили. Они были вместе со времени учебы в медицинской школе. Потом разошлись, а когда к власти пришли нацисты, он бежал из Вены, бросив ее там. Судя по слухам, ее отправили в Бухенвальд, и он сполна испытал угрызения совести, обвиняя себя в трусости, в бесчувственности, что привело к ужасному срыву, из которого Констанс пришлось его вытаскивать. В общем-то, она считалась его ученицей, а он — ее преподавателем, так что ситуация сложилась более чем парадоксальная. Чтобы сохранить их личные отношения, выходящие за рамки профессиональных и не являющиеся предметом

всего того, что ассоциируется с психологическим «трансфером», ему было позволено несколько раз переспать с ней, до того как он сумел взять себя в руки, вернувшись, конфузясь, к исполнению своих обязанностей.

— Это было так давно, да, так давно, что, стоит мне задуматься о нас с вами, такое чувство, словно ничего и не было. Ничего не осталось. Но вот вы здесь, мой друг, ведь мы все еще друзья? Какой же мудрый урок вы преподали мне — вы были на голову впереди меня в своей целостности. *Ах!* Звучит глупо. Не обессудьте. Я ведь думаю на немецком.

Шварц недовольно щелкнул языком. В самом деле, когда он говорил по-английски и по-французски, всегда слышался венский акцент.

— У вас был критический момент, — сказала Констанс, — вы потеряли равновесие. К счастью, я оказалась рядом и смогла вам помочь. Но ведь вы сделали бы то же самое для меня, разве нет? А теперь вы можете аттестовать меня! Мое теперешнее поведение…

— Но вы ведь не жалеете, что влюбились?

— Нет. Конечно же, нет, разве можно об этом жалеть? Однако мой египетский возлюбленный выбрал стратегию, совершенно отличную от той,

которую вы считаете необходимой для соединяющейся пары.

— Вы имеете в виду сексуальные отклонения, вариации?

— Нет, нет! — со страстью воскликнула она. — Совсем нет. Не было даже намека на какие-то там восточные утехи. Однако у него совсем другая техника любви, незнакомая мне, нам; правда, она дает великолепные результаты. Для него главное быть в согласии с природой вещей. Поначалу я думала, что мы просто идеально подходим друг другу, и в этом все дело. Но нет, здесь нечто большее, заслуживающее нашего профессионально внимания.

Она долго сидела молча, откинувшись на спинку кресла и что-то соображая. Потом заставила себя встать и подойти к висевшей на стене доске. Старик Шварц хохотнул.

— Знаю, — сказала Констанс. — Знаю. Это прозвучит слишком помпезно, но ведь совершенно уникально то, что так называемый гностик думает о нас. Когда пара была создана из первого человека, неаккуратно разделенного на мужчину и женщину, эмоциональное разделение не совпало с биологическим. Половой орган мужчины, на самом деле, принадлежит женщине, а

ее груди принадлежат мужчине. Подождите! Я знаю, это похоже на безумие, и если бы Аффад не разъяснил мне свою точку зрения… но она работает, это не розыгрыш. Сперма и молоко. Вот связующие элементы в сексуальном общении мужчины и женщины — ими обмениваются во время полового акта. Груди женщины дали мужчине жизнь и наделили его вечной жаждой созидания — Тиресий![187] Груди — это пророчество, предвидение! Молоко женщины заставляет мужчину строить города и мечтать об империях, чтобы прославить ее!

— Погоди, Конни, погоди! — воскликнул Шварц. — Давай запишем это, пока ты все хорошо помнишь. Постарайся ничего не забыть, сохрани свежесть восприятия.

Он быстро поменял бобину в магнитофоне и включил микрофон, висевший рядом с доской. Констанс нарисовала две примитивные фигурки, мужскую и женскую, стоящие лицом друг к другу. Потом соединила их тремя линиями на уровне глаз, груди и половых органов.

— Вот так, — задумчиво произнесла она, — мы представляем любовь, которая реализуется в сек-

[187] Примечания: 187

Тиресий — в греческой мифологии прорицатель, по воле богов на семь лет был превращен в женщину *(Прим. ред.)*.

суальном соединении — рот атакует рот, грудь атакует грудь, половой орган — половой орган. Однако, по его мнению, любовная связь должна выглядеть иначе: мужской орган на самом деле должен, вроде дамской сумочки, висеть у женщины на боку, чтобы всегда быть при ней, а ее груди — это его достояние, потенциальный источник пищи. Их души меняют сперму на молоко. Но, конечно же, в практическом смысле качество продукта зависит от ее заботы и от обращения с мошной. Обмен, но не инвестиция! Бартер!

— А когда же вы занимаетесь сексом? — с некоторым удивлением спросил старик.

Оба рассмеялись.

— Он отказывается от себя и позволяет мне владеть тем, что мне принадлежит. Женщина, говорит он, должна постоянно подсчитывать наличность в его кошельке, так сказать, манипулировать с мошонкой мужчины, чтобы там вырабатывался качественный продукт, который биологически обогатит расу, а не истощит ее — как это происходит сейчас. На самом деле, женщина полностью отвечает за эрекцию, она может вызывать ее когда захочет, даже если мужчина устал. В этом смысле он абсолютно зависим. Бедняжка Аффад, он был бы в ужасе, если бы

представил, что я с научной точки зрения разбираю его чудесные нежные ласки и деликатность. Это совсем другое дело — когда занимаешься любовью, приняв за истину такой «перевертыш» любовных отношений[188] одновременный оргазм обеспечен, причем почти каждый раз. Так закладывается система обмена. Чепуха, правда?

— Правда.

Констанс была настолько увлечена своими странными рассуждениями, что Шварц не удержался и ласково пошутил:

— Что я слышу? — проговорил он, изображая характерный гнусавый еврейский выговор. — Каждый раз одновременный оргазм и почти постоянная эрекция у мужчины? Наверняка грядет Рождество! *Aber,* Конни, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. — Констанс стало немного стыдно из-за того, что она так увлеклась, и она даже покраснела. — Понимаете, — продолжал старик, — возможно, это просто счастливый случай совпадения темпераментов — такое все же бывает. И как следствие все те истинные чудеса, о которых вы упомянули. Однако большинство людей не обретают единения, гармонии, боже-

[188] Примечания: 188

То есть когда активная роль при сексуальном контакте переходит к женщине. *(Прим. ред.)*

ственной искры. Они попросту уныло насилуют друг друга, или эксплуатируют друг друга, или раньше времени становятся импотентами, понемногу озлобляются и уходят в политику. Возможно, ваша любовь уникальна, и его любовь тоже уникальна.

Констанс печально кивнула: нельзя вывести универсальный принцип, располагая лишь единственным примером. Принцип должен работать в каждом случае, стать правилом, а не исключением. Решив, что обидел ее своим подшучиванием, Шварц подошел к ней и потрепал по плечу.

— Дорогая, я разделяю вашу пылкую увлеченность этой проблемой, да и кто остался бы равнодушным? Каждый день мы имеем дело с сексуальной жестокостью и бесчувственностью — решение данной проблемы было бы истинным для нас подарком. Именно тогда, когда мы все жаждем противоядия от жестокости именно в виде упомянутых вами «нежных ласк и деликатности».

— Да. Я говорю о нежности и уважении к партнеру, а еще о понимании того, что сексуальный акт является к тому же и актом духовным, контактируют тела, но управляют ими наши души.

Однако «перевертыш»…

Констанс снова заулыбалась и положила мелок. В этот момент зазвонил телефон, и, сняв трубку, старик, погрузился в долгую беседу с коллегой. А Констанс, не обращая на него внимания, погрузилась в собственные мысли, все еще производя психологическую оценку своего любовного опыта. Ей вдруг захотелось очутиться в объятьях Аффада — и, чтобы подавить желание, она, нахмурившись, закусила губу. Однако желание никуда не девалось, и она стала вспоминать, как лежала ночью рядом с ним, умело мобилизуя его мужскую силу, как ей было велено, то есть «подсчитывая наличность», по его непочтительному определению, наличность «мошны», которую она могла взять себе, с нежной старательностью добиваясь эрекции, которую сама же потом уничтожит… Шварц, продолжая разговаривать по телефону, бросил ей через стол один документ, выхватив его из высокой стопки монографий и оттисков.

Это была недавняя статья из женевского медицинского журнала на мрачную тему — насилие над женщинами во время полового сношения; это касалось и лесбиянок, но в первую очередь речь шла об агрессивности мужчин в постели.

Американцы назвали одну из таких жестоких «игр» силовым сексом, или кулачным сексом. Это когда во влагалище партнер всаживает сжатый кулак. Хирург, написавший статью, бил тревогу: после подобных причуд у многих женщин зафиксированы повреждения шейки матки. Всеобщее убеждение в том, что настоящий мужчина должен быть грубым и свирепым в постели, приводит к физическим страданиям партнерши. Вот какой вывод делал хирург. Пока Констанс пролистывала статью, Шварц многозначительно и загадочно на нее поглядывал, полагая, что этой статьей дал убедительный ответ на ее рассуждения о деликатности в сексе, о гармонии желаний, о стремлении партнеров вместе создать такой мощный накал любовного соучастия, который обеспечит любовникам одновременный и обоюдный оргазм. Констанс мрачно кивнула, поняв, что это его ответ. Кулачный секс! Это же надо!

Шварц наконец положил телефонную трубку.

— Причиной жестокости является неспособность к эякуляции, или ее преждевременность, или просто шизофрения! Но, Конни, боль тоже доставляет наслаждение.

— Надеюсь, у вас не создалось впечатления, что мы открыли воскресную школу. Боль — часть

игры, однако жестокость не может стать заменой нормального секса. Восточный стиль допускает все, но требует умеренности, так как целью является разделенный оргазм, который и лежит в основе сексуального диалога — даже в генетическом смысле.

— И это, с моей точки зрения, присуще далеко не всем мужчинам!

— Да, конечно, — покорно отозвалась Констанс. — С моей стороны глупо выводить общие законы из того, что, возможно, является уникальным опытом. Интересно, что подумал бы бедняжка Аффад, если бы услышал нас?

— Что у вас несколько холодный, аналитический склад ума — это не очень хорошо для романтической любви, если у вас такая любовь.

— Ну, не совсем, — отозвалась Констанс, чувствуя себя дура-дурой из-за того, что вела себя как восторженная школьница.

Она выключила магнитофон, вынула бобину с пленкой и положила ее в карман. Однако затронутая тема не давала ей покоя, и она чувствовала, что нужно продолжить обсуждение, пока еще свежи в памяти ночные диалоги с Аффадом. А где еще она найдет такого слушателя и критика, готового понять и оценить то, что говорил ей

ее возлюбленный? Шварц наверняка почуял ее настрой, ему и самому все это любопытно, и наверняка он попытается вдохновить ее на продолжение анализа. Они молча курили, Констанс медленно бродила по комнате, погруженная в свои раздумья.

— Итак, ты его любишь, — наконец произнес Шварц очень серьезно.

Но Констанс покачала головой, тоже очень серьезно.

— Нет. Тут что-то другое. Это, в определенном смысле, даже больше любви, потому что у нас с Аффадом есть нечто, что мы можем дать друг другу. Обычно люди следуют сиюминутным желаниям, а потом оказываются у разбитого корыта. Они сосредоточены только на своих ощущениях, не помышляя о создании чего-то, что возникает только при обоюдных усилиях. Мы теперь стали гораздо ближе, чем большинство женатых людей, хотя мы лишь на пороге наших отношений. Это хуже, чем любовь, которую вы упомянули, зато намного надежнее. Истоки, насколько я понимаю, где-то на Востоке, наверно Индия, однако и у них там существуют вполне научные, просто отличные от европейских, обоснования.

Констанс рассказала доктору Шварцу о теории

Аффада, касающейся «интеллектуального» кислорода, основы всего, генетической составляющей и спермы и яйца, без которого они, по словам Аффада, «не могут быть полноценными», следовательно, не могут стать источником здоровой расы, а еще об элементе, или качестве, о настоящем нусе:[189] генетической «документации», от которой зависит почти все, включая качество спермы и молока.

— Если качество спермы снижается, то под угрозой может оказаться целая культура — что и происходит теперь на всем гегельянском Западе! Первый знак, первый сигнал опасности подает женщина, ведь она биологически более уязвима, чем мужчина, но и более ответственна за будущее, ткань которого они с возлюбленным, так сказать, ткут своими поцелуями и ласками. Шпулька, на которую они наматывают время, если пользоваться античными греческими представлениями, — вот что такое будущее. Я не говорю уже о ребенке, о зародыше, который начинен теми элементами, которые постепенно станут настоящим скелетом с руками-ногами, станут зубами, мозгом, волосами… Куда нам

[189] Примечания: 189
Интеллект, мировой разум.

поместить человеческую любовь в этом грандиозном контексте? Да, вы правы, я *люблю* его, но не так, как вы думаете. Я люблю его, потому что он нарисовал мне эту схему мироздания, в которой я отчаянно нуждалась. Наконец-то я могу употребить свой интеллект на постижение чего-то надежного. Он говорит: «Когда звездочка вступает в брак с фиговым листком, это хорошо». Остальное — чудесная амнезия любовного акта, в котором мы только и должны что собрать урожай. Это совсем другой мир, в котором люди не обсуждают «любовь», в котором пары не выясняют отношения, в котором браки не становятся рутиной и не разваливаются. Но дело не только в этом, мой дорогой профессор: то, что я теперь знаю, поможет мне в работе самым непосредственным образом, увеличит багаж моих знаний в психиатрии. Теперь мне легче понять мисс Квинт, чем прежде!

Они засмеялись. Старушка мисс Квинт была одной из весьма оригинальных пациенток Констанс. Богатое воображение и викторианская робость стали причиной ее странного психического состояния, мир ее фантазий был настоящим цветником из каламбуров и перевертышей, достойным самого Льюиса Кэрролла.

— Когда я рассказала Аффаду о мисс Квинт, о том, как она назвала свою вагину в честь любимой кошки и всерьез считала, что та не только печально мяукала, когда скисало молоко, но также следовала за ней по пятам и прыгала на кровати ее друзей, он был совершенно счастлив. И сказал: «Природа всегда поставляет необходимую информацию в виде болезней. Но она права: ее «киска», действительно была бы опечалена прокисшим молоком». Когда материал беден или в нем чего-то не хватает, женщина сразу же это чувствует — и возникает тревожное состояние страха. Любовное и сексуальное общение постепенно угасает, мужская эрекция скомпрометирована, мы вступаем в период мужской стерильности. Эгоисты, уставшие друг от друга, разумеется, ничего подобного не замечают, но в космическом масштабе — это катастрофа, угрожающая человеческой расе и ее духовной стабильности. Поэтому разумный подход к половому акту отнюдь не проявление женской агрессии, он вполне логичен. Шварц явно погрустнел.

— Неужели мы придем к брачному руководству или матримониальному содействию? — с горечью спросил профессор. — Вчера милый старый

философ Гинзберг совершил самоубийство, — печально продолжал он, — вот так, Конни, а ведь он обещал поведать мне тайну вселенной. Даже послания никакого не оставил — а может быть, акт самоубийства и был посланием, подобно тому, как любовный акт должен, по идее, совершаться по любви?

Констанс улыбнулась.

— Вы справедливо ставите меня на место — наверно, я кажусь слишком прозаической, когда говорю обо всем этом. Но мне никогда не приходилось слышать ничего подобного, тем более испытывать такую страсть — словно она была бездонной. И дело тут не в мужчине, а в отношении. Почему бы мне не попытаться понять? Может быть, другим это тоже понадобится, таким, как я, таким, какой я была до этой встречи с Аффадом, — страдала и ныла в пустыне логического позитивизма.

— Правильно! Правильно! — воскликнул растроганный старик.

Но мысленно он произнес: «Здесь пахнет ведантой! Ох, уж эти восточные мудрецы, что им у нас тут понадобилось! Стоит только появиться какой-нибудь чертовой болезни, и вся наша культура для них уже под вопросом! Проклятый Аффад!»

— Правильно!

— Врачи со всеми их фобиями и филиями похожи на статуи из греко-римского музея, — сказала она. — Разве мы не напоминаем каннибалов в маскарадных костюмах?

— Всё без толку! — мрачно произнес он.

— Без толку! — повторила она печально.

Медицинская сестра принесла поднос с кофе и печеньем, и на мгновение они отвлеклись от неразрешимых вопросов.

— Фу ты! — удивленно воскликнула Констанс, наливая себе кофе. — Я и не знала, что так хочу есть! Удивительно!

— Интересно, почему? — сухо поинтересовался доктор Шварц, отпивая кофе.

Чудесно, когда есть человек, с которым можно поговорить, с которым можно обсудить наболевшее. Констанс благочестиво поцеловала старика в лоб и поблагодарила за терпение.

— Мне нужно, пожалуй, самому определить стоимость консультации.

Эти слова подвигли Констанс продолжить обсуждение своего нового опыта, с прежним горячим азартом.

— Любить восточного человека довольно страшно, потому что мы совсем разные. Он как от-

лично настроенное фортепиано, но без педалей. Я хочу сказать, что у нас разные исторические корни и разные интеллектуальные предпочтения. Моя душа, мое сердце сделаны из более новой ткани, из ткани шестнадцатого-семнадцатого столетий — они сформировались в мире, в котором чувство, чувственность, чувствительность были объектом бесконечных обсуждений и выражений, в котором романтическая любовь впервые взрастила своих нарциссов и своих донжуанов. Его прошлое — огромная космическая дыра, что-то почти безмерное, Египет с его абсолютным безразличием ко всему актуальному, сиюминутному. Я живу в мире условностей, а он — в вечности — скорее в прозе, чем в поэзии. Она выше в своем роде, хотя и чуть более прагматична: я могу укрыться за ней со всем своим юмором, он орудие моей интуиции. Я отказалась от него отречься — благодаря его мужественности, и он точно так же вел себя в отношении меня — из-за моей женственности. Теперь я понимаю, что моя любовь к Сэму была лишь предварительным опытом и не предполагала полной самоотдачи — мы были съедены заживо взаимными чувствами. И еще я понимаю, что совокупление, так сказать, старого образца — это случайное создание

похоти; зато любовный акт будущего, конечно тоже инициированный страстью, может быть нежным, как вино или акварель, тоже обрести эстетическую ценность, может быть прекрасным и совершенным с точки зрения геометрии, как гнездо птицы или колыбель для младенца. В первый раз я чувствую себя оптимисткой в отношении любви, вы слышите? Любовь!

— О боже! — проговорил Шварц, не скрывая своего еврейского пессимизма, отягощенного венским воспитанием.

Он думал: человек рожден свободным, свободным, как ночной кошмар. Мы живем, но на нас беспрестанно посягают будущее и прошлое, мертвые и еще не рожденные. И те и те пребывают в диком ужасе от нескончаемого настоящего. *Aie!* А она в восторге от полифонического совокупления или возможности всю ночь целоваться, истекая медовым потом, как поется в вульгарной кабацкой песне! Врачи — люди не очень сообразительные, с ограниченным интеллектом, не проницательные. В их функцию входит всего лишь открыть то, что уже известно, но пока еще не признано. Скучная и жалкая роль, как у навозного жука, — который постоянно перекатывает навозные шарики. Ну и кому до этого есть дело?

— А что особенного, Конни, если вы получите давно вами заслуженное счастье? Вы меня пугаете своими слишком четко выраженными мыслями. Так вы быстро *наскучите* ему. Констанс кивнула.

— Знаю. Боюсь, как бы не стать слишком властной — и тогда я точно наскучу ему, как вы говорите. Он уже заявил мне, что женщин, которые много думают, психиатры должны побивать камнями.

— Хорошо бы, вы перестали ходить по комнате, — заметил Шварц, — словно вас тащит за собой огромный пес или подталкивает в спину ветер. У меня голова идет кругом.

— Прошу прощения, — виновато отозвалась Констанс и с деланным спокойствием села за стол. — Я просто думала, как это лучше сформулировать. Знаете, такая же разница между собором и мечетью. В мечети нет алтаря, нет фокуса, на котором сосредоточивается внимание. В ней истина как бы повсюду, хотя в целом она ориентирована и устремлена на Мекку. Собор географически ни на что не ориентирован, зато внутри все сфокусировано на одно особое место, на алтарь, где приносится главная кровавая жертва. Это, скажем так, стол мясника в хри-

стианском производстве. Здесь наливают вино, здесь режут и освящают хлеб. Это место также своего рода телефонная будка, из которой можно позвонить Богу и постараться выкупить по дешевке одну отдельную душу — потрясающая выдумка! Ладно, я знаю, что похожа на старину Сатклиффа, который мучает вас насчет Пиа. Но между нами действительно огромная разница — как между мечетью и собором. Однако любовь все уравновешивает, потому что она существует у всех. Аффад сказал, когда мы разговаривали, что это подсчитывается «инженером любви в терминах *puissance massique* — могучей власти коэффициента тяжести». Звучит красиво и загадочно, но я понимаю, что он имел в виду.

— Черт меня побери, если понимаю я, — угрюмо проговорил старик.

— Конечно же, понимаете.

Констанс казалось, что наконец-то она отделена от мира, с которым воевала, боролась их с Аффадом наука — от мира безответных привязанностей, легковесных приключений, объятий без озарений! Аффад совсем по-другому обнимал ее, и его объятия действовали на нее, как капля горячего оливкового масла, упавшая на щеку спящего Эроса. Наверно, она излечилась от вечной мечты

всех женщин — стать неотделимой от чьего-то счастья — от этой гноящейся болячки самоуважения, застарелой дизентерии человеческого нарциссизма… Или на это нельзя надеяться?

— Я иду домой, — вдруг заявила Констанс. — Не могу работать, да и мне надо еще к столькому привыкнуть, что…

— Понимаю, — смиренно произнес доктор Шварц, — Идите.

Констанс показалось, что она не выдержит, если немедленно не увидит Аффада, поэтому она покинула клинику и сломя голову побежала к нему — но нашла лишь пустую комнату, неубранную постель, рядом с которой, чувствуя изумление, презрение и одновременно тревогу за его здоровье, обнаружила маленькую трубку, предназначенную для курения гашиша. И ею, к тому же, недавно пользовались! Аффад вошел, когда Констанс нюхала трубку, словно насторожившаяся кошка. Она спрятала ее за спину, когда они обнялись. Потом она протянула трубку Аффаду со словами.

— Ты не говорил, что куришь.

— А должен был? В конце концов, я египтянин и, да, я курю.

Однако потом Аффад прибавил, что курит ред-

ко и понемногу.

— Это имеет значение? — спросил он.

— Только потому, что касается тебя.

— Это безвредно. Но ритуал есть ритуал.

Констанс вздохнула с облегчением. Она отправилась в кухню, чтобы заварить чай, Аффад же стал внимательно осматривать книжные полки в поисках чего-то, что могло бы его заинтересовать.

— Ох, уж это ваше мошенничество под видом науки! — воскликнул он, когда ему на глаза попалась серия книг в синих переплетах, психоаналитическая серия. — Она ничего не дает.

— Откуда тебе знать?

Он сел, аккуратно держа в руках чашку, чтобы не расплескать чай.

— Ну, слушай. У меня были очень богатые родители, и они заботились о моем воспитании, возили меня по всей Европе, чтобы я изучал чужие языки и чувствовал себя свободно в любом обществе и в любых обстоятельствах. Но я был застенчивым ребенком и, поскольку рос в тепличных условиях, развивался медленно. Мне было трудно общаться с другими детьми. Больше всего мне нравилось запираться в своей комнате и предаваться изучению таких таинственных

наук, как алхимия и математика, — лучше места, чем Египет, для этого не придумаешь, там всё тайна. Я был единственным ребенком, и когда умерли мои родители, почувствовал себя очень одиноко, запертый в своей большой квартире в Александрии, в компании нескольких друзей. Изучение гностицизма свело меня с немногочисленной группой людей, ищущих знаний, среди которых был принц Хассад, и с тех пор я, так сказать, прилепился к нему. Ни у кого, кроме этих людей, — а они принадлежали ко всем слоям общества — я не бывал. Через некоторое время совершенно случайно очаровательная и пылкая молодая женщина вошла в мою жизнь и совершенно пленила меня. Наш брак длился семь лет, однако наш ребенок, как мы выяснили, был слабоумным, это был шок — мы расстались. Моя жена поселилась отшельницей в коптском монастыре в Натруне. Ее немолодая мать взяла на себя заботы о мальчике: она жила в Женеве, поэтому я регулярно приезжал сюда посмотреть на него и рассказать ей о египетских новостях. После случившегося я все это время жил один, не желая больше заводить близкие отношения, понемногу привык к такому образу жизни, а потом полюбил одиночество. Пару раз у меня были

случайные встречи с женщинами, но я не шел дальше эфемерной близости — однажды с усталой актрисой кабаре, в другой раз со случайной прохожей. Но они были исключением, и лишь из-за одиночества — насколько мне помнится, три встречи за все годы. Так что я безнадежно отвык от совместной жизни, и ты можешь, ни в чем себя не виня, прогнать меня, если считаешь, что я слишком многого требую. В таком состоянии я встретил тебя и был очарован, не знаю уж почему, — ведь я знал красавиц и умниц получше тебя. Итак, я набрался храбрости и с не свойственной мне дерзостью сделал ставку на опыт, который — естественно, я был неправ — казался мне единственно возможным, если я не хотел умереть от сплина и скуки во время бессмысленной войны! И он зевнул самым неприличным образом.

— Никогда еще мне не приходилось слышать такого по-мужски эгоистичного признания в любви! — проговорила Констанс с удивлением, но сердце ее при этом затрепетало от восторга, ибо бессовестный эгоист сопровождал свое признание искупительными ласками. И вот они уже лежали рядом и сбрасывали туфли.

— Разве тебе не нравятся всезнающие мужчины, которые слишком уверены в себе? Говорят,

с ними очень спокойно. Когда я впервые увидел тебя, смутное предчувствие подсказало мне, что ты простишь мне любую глупость.

— И напрасно, — сказала Констанс, окутанная паутиной сна, которую он плел каждым своим размеренным вздохом.

Силы небесные, подумала она, скоро они опять будут любить друг друга, и это было немного печально, потому что неизбежно. А еще за усыпляющей шутливостью его речей — опровергаемых нежным, но решительным ритмом его ласк — она чувствовала в глубине его естества тревожную вибрацию, неуверенность в себе, которая заставляла его делать подобные выпады — так он зондировал мир, проверял, нет ли в нем враждебности. Или ему просто было трудно отказаться от холостяцких привычек, и общество женщины, даже любимой женщины, он воспринимал как угрозу своему покою?

— Нет, ничего такого, — сказал он, будто в ответ на все эти пробегавшие в ее голове мысли, — я совсем не то имел в виду, ну разве что со временем… Для меня было главным, чтобы ты не покинула этот мир; у меня появилось такое чувство, что в Авиньоне тебя потянет на самоубийство, как твою сестру — и при первой же возможности я

должен был вытащить тебя обратно в Женеву, где мог бы быть рядом. Вот почему я попросил Смиргела хорошенько за тобой приглядывать. Он отвечал за тебя своей головой!

Констанс удивилась.

— Так *вот* почему он преследовал меня своими заботами. А я-то думала…

— Бедняга! Он исполнял свой долг. Один раз я даже сам приезжал в Авиньон — велико было искушение заехать к тебе. Не знаю, как удержался, но все-таки удержался. Я знал твою жизнь там чуть ли не по минутам. Такой вот героизм!

Констанс вдруг пожалела, что он не приехал к ней, но, возможно, там и тогда, в той жизни, ничего не случилось бы. Тогда не Аффад занимал ее, она даже не смогла бы вспомнить его, каким он был в реальности; мысли о нем лишь изредка мелькали в ее голове, как тени.

— Какую роль во всем этом играла Ливия?

— Никакую, — сонно ответил он. — Совсем никакую. Смиргел любил ее, вот и все. Знаешь, он был в Провансе, когда вы все отдыхали в Ту-Герц, работал в городской галерее, реставрировал средневековую живопись. И с Ливией встретился там. Это он познакомил ее с нацистской философией. И в Германию она отправилась, чтобы быть с ним

— он тогда занимался художественной критикой в Гамбурге.

— Они жили вместе, в общепринятом смысле?

— Не знаю. Никогда его не спрашивал. Они встретились в Авиньоне, где он тогда жил. Из-за него она стала членом партии, а потом поменяла гражданство. Сначала он использовал ее, заставлял следить за Галеном, а потом взял и влюбился.

Все это было ужасно, и Констанс вдруг почувствовала неведомую ей прежде жалость к мертвой сестре. Молчание затягивалось, и Констанс испугалась, что они сейчас заснут, прежде чем заговорят о чем-то еще, поэтому она произнесла первое, что пришло ей в голову: или, *может быть*, она уже думала об этом, кто знает? Как бы то ни было, она сказала:

— Ты женишься на мне?

Это произвело желанный эффект — он до того не ожидал ничего подобного, что даже открыл глаза.

— Ты сказала «может быть» или не сказала? — осторожно спросил он и поцеловал ее в щеку, после чего услыхал ясный ответ:

— Я спросила «ты женишься?».

— Конечно, нет, — мгновенно отреагировал

он. — Во всяком случае, официально — нет. Почему ты вдруг об этом подумала?

— И не думала думать, — довольным голосом произнесла она. — Мне просто захотелось тебя помучить, вот и все.

— Имей в виду, что в некоторых неопределенных и пока немыслимых обстоятельствах я бы женился, я бы мог, я был бы *обязан.* Но, конечно же, я не женюсь.

— Отлично сказано.

— Ты поняла, о чем я?

— Естественно. Ну а представь, что я действительно забеременею?

— Зачем мне представлять, если ты не беременна?

— Казуист и развратник!

— Констанс, ты как католическая церковь. Это самое настоящее мошенничество. «Ты сделаешь, не сделаешь ли ты, не сможешь ли ты, ты должен, почему бы тебе?...» — с отвращением произнес он. — Катехизис, с которым борется правоверный

гностик.[190] Конечно же, я не женюсь!

— Отлично. И прощай!

— Прощай, — повторил он спокойно (до чего же страшно это прозвучало для ее слуха) и вновь закрыл глаза. — Брак может уже умереть, не подавать признаков жизни, а настоящей близости еще и в помине не было. Во всяком случае, так происходит на Западе. Он нуждается в новой психологии — скорее, в очень старой — чтобы торжественно встретить грядущий закон. О боже! Звучит ужасно схематично, словно режешь по заранее нанесенной пунктиром линии. Но ведь мы с тобой не можем жить так, как все живут. Мир близится к концу быстрее из-за расточительности и беспорядочности в любви. Я хочу начать с тобой новую эру.

— По правде говоря, — отозвалась Констанс, — мне наплевать на теоретические рассуждения. Я просто хочу, чтобы ты любил меня, вот и все.

Однако она говорила неправду, и оба это знали.

---

[190] Примечания: 190

Гностицизм — название ряда религиозно-философских систем, возникших на Ближнем Востоке в эпоху поздней античности и раннего средневековья. Гностическое учение отвергает иудео-христианские и неоплатонические принципы, согласно которым мир был создан благой разумной первопричиной для венца творения — человека. *(Прим. ред.)*

Их привязанность друг к другу теперь была привязанностью сексуальных партнеров, что предполагало более глубокую ответственность и новые проблемы — именно из-за иных, абсолютно свободных отношений. Однако их это будто бы не коснулось — все, что он говорил, убеждало ее в этом. И все же в целом система его рассуждений до сих пор была полна загадок — возможно, даже была абсурдна, кто тут может точно определить? Констанс же, что бы там ни было, все еще была заложницей логиков, опирающихся на причинно-следственные связи, и потому не могла избавиться от скептицизма. Аффад казался ей слишком самоуверенным — интеллектуально — плохая черта для мужчины, особенно для восточного мужчины. Она лежала рядом и смотрела, как он мирно спит, чуть отвернувшись. Интересно, а что это за тоненькая ниточка у него на шее? Обычно на таких носят крестик или святой талисман, на котором выгравировано имя. Наверно, как настоящий средиземноморец, он тоже носил ее от сглаза — но тогда где синяя бусинка? Рядом с кроватью лежали маникюрные ножницы, которыми он чистил трубку, прежде чем положить в нее порцию гашиша. Сама не понимая, зачем делает это, Констанс взяла

ножницы и примерилась ими к нитке, словно собираясь разрезать ее. Как раз в это мгновение он открыл глаза и сразу все понял. На его лице появилось выражение ужаса и мольбы, и он прошептал:

— Ради бога!

Довольная произведенным эффектом Констанс убрала ножницы со словами:

— Так я и знала! Это от сглаза!

— Нельзя отвернуться ни на миг! Ты ведь собиралась перерезать нить моей жизни, разве не так? Да еще как бы между прочим! А если бы я взял и умер? Что бы ты делала?

Констанс не понимала, шутил он или нет.

— Объясни же, — попросила она. — Что значит эта нитка?

Неторопливо поглаживая нитку пальцами, Аффад сонно сказал, что это знак его принадлежности к маленькой группе орфиков,[191] о которой он уже не раз говорил; это пуповина, соединяющая его с миром мертвых, который они пытались постичь.

— Нитка эта из льна, что растет на берегах Нила. В этом мы последователи индусов. Она знак

---

[191] Примечания: 191

Орфики — последователи древнегреческого религиозного движения, возникшего в VI в. до н. э. в результате реформы культа Диониса.

йога, его умеренности и духовного целомудрия. Тамплиеры носили такую нить на поясе — и идиоты-инквизиторы приняли ее за тайный сексуальный символ, знак гомосексуальной любви. Идиоты! Как раз совсем наоборот — сизигия[192] любви мужчины и женщины.

— Ты бы умер, если бы я перерезала ее?

— Постарался бы наказать тебя! Но должен с сожалением заметить, что это совсем другое — моя судьба, сотканная мойрами, греческими богинями судьбы, моя пуповина, которая соединяет меня с ритмами земной йоги. Нет, я бы не умер, но я бы очень расстроился.

— Извини. Я не подумала.

В ту ночь она спросила своего любовника:

— Ты знал, что так будет?

Он поглядел на нее, медленно кивнул головой, но ничего не сказал, потом закрыл глаза и как будто всерьез задумался о ее вопросе.

— Это правда?

Констанс положила ладонь ему на грудь и почувствовала, как она поднимается и опускается — архаичный кислородный насос, поставляющий пищу его мозгу и энергию чреслам — для

---

[192] Примечания: 192

Соединение (от греч.: сопряжение); обозначение для соединения и оппозиции Солнца и Луны: (т. е. полнолуния и новолуния).

любовных ласк.

— Но это совсем не любовь, — громко произнесла Констанс, словно подтверждая мысль, осенившую ее.

Их отношения выросли в нечто такое, что было похоже на череду маленьких сюрпризов, а их ласки были как шаги по камням в направлении… в направлении чего?

— На самом деле, в нашем случае, к счастью, нам выпала прежняя, истинная любовь, прототип, а не современный вариант, или, скажем так, мы получили проект, для которого нам не хватает мудрости. Сегодняшняя любовь суть обесцененная валюта, скудное вложение не восстановленных в правах банкротов, которым нечего предложить, кроме небогатой спермы, банальной агрессивной похоти, худосочной наследственности. Сперма без кислорода, с малоподвижными сперматозоидами, которым никогда не выиграть «большой шлем» в этой игре. Все это, Констанс, пространство нелюбви, и нас оно не касается.

— Ну, а мы? — едва слышно и едва дыша, спросила Констанс. — Сейчас мы как будто неразделимы. Времени прошло совсем немного, а я очень изменилась.

— Это лишь начало — поэтому я никак не мог решиться. Мне не хочется уходить, хотя вскоре мне придется уйти.

Вот так, медленно, их любовь делала шаг за шагом.

И все-таки в душе Констанс оставалась настороже, потому что время от времени он становился рассеянным, и она замечала выражение величайшей печали у него на лице; он мог стоять и смотреть на озеро, или завязывать перед зеркалом галстук, как вдруг она появлялась — тень великого страдания… требовалось усилие, чтобы ее отогнать. И потом его сменяло выражение восторженного изумления, с каким он всегда смотрел на Констанс, разговаривал с ней. Констанс пугали эти неожиданные перемены настроения, и однажды, проснувшись (он стоял возле балкона, с отчаянием глядя на озеро), она крикнула:

— Что на тебя находит, что вдруг становится между нами? Ты должен сказать. У тебя другая женщина?

Он засмеялся и, подойдя к кровати, сел в изножий.

— Ты права, надо рассказать, потому что, в конечном счете, это касается нас обоих — ибо

нацелено и на нас. Только это до того фантастично, что нелегко поверить, нечто совсем новое и неожиданное. Констанс, я был в Канаде и видел ее — они называют ее «игрушкой». Я имею в виду бомбу, совсем новую бомбу.

Аффад долго молчал, не сводя взгляда с рисунка на ковре.

Он посетил мастерскую Гефеста, так сказать кузницу, где хозяйничает огонь и где огромные атомные гранаты рычали и дрожали, словно собирались рожать, из перемычек вырывались кипяток и пар, наполняя воздух теплой едкой сыростью; снаружи валил сплошной снег, совсем как в суровой России, падал в каменоломню, где, похожие на длинную гусеницу, замерли соединенные вместе вагонетки. Его мысленно передернуло, когда он вспомнил дрожащие, истекающие потом гранаты с новой начинкой, таящие бациллы неслыханно жестокой лихорадки.

— Мне надо было сообщить об этом маленькой группке александрийских исследователей, к которой я принадлежу и которой иногда управляю. Не буду утомлять тебя всем этим. Но то, что я видел… дорогая моя, это уже происходит… нынешняя война уже вчерашний день, анахронизм,

как битва при Гастингсе.[193] Мы воюем луками со стрелами. Я имею в виду в сравнении с тем, что уже появилось на свет, с «игрушкой».

— Я что-то такое слышала об этом от пациента, от венского математика.

— Это уже не поддается определению «война», не вписывается в ее рамки. Эта штука направлена на наш костный мозг, на костный мозг планеты, на которой мы живем. Она приведет к бесплодию или к генетической деформации — мы будем рождаться без голов или без ног, как иллюстрации к предположениям Эмпедокла.[194] Констанс, природа потеряла к нам всякий интерес, отныне мы сироты! И до чего же логично то, что еврей нажал на курок, приводя в действие механизм этого убийственного экстракта из чистого вещества, — вот вам ужасная месть семитского ума, нас ждет Фаустово разоблачение. Из-за этого изобретения война становится незначительным событием, и уже абсолютно не важно, кто выиграет ее и кто проиграет. Это похоже на спектакль

---

[193] Примечания: 193

В 1066 г. войска Вильгельма, герцога Нормандии, высадились в Гастингсе и разгромили войска англосаксонского короля Гарольда II.

[194] Примечания: 194

Эмпедокл (495–435 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, считал, что среди живых существ могут возникать случайные образования, но сохраняются лишь целесообразные.

в театре теней, потому что обе стороны осиротели одним махом. — Аффад так дрожал, что Констанс пришлось взять его ладони в свои сильные руки, чтобы этим жестом успокоить его. — И не только это, — заговорил он вновь чуть менее тревожно, — как будто и этого недостаточно. Женщина скомпрометирована, в ней мы убиваем нашу сиделку и музу, нашу землю.

Они долго сидели неподвижно, словно позируя фотографу. Она положила голову ему на плечо, а он обнимал ее за плечи.

— Вот видишь, что делается, пока мы тут целуемся, — прошептал он наконец, гладя внимательное и прекрасное лицо. — Как только человек начинает чувствовать не сердцем, а разумом, исходить из причин, Месье тут как тут!

— Месье? Какой Месье?

— Мы слишком серьезны, — вдруг резко произнес Аффад, стряхивая с себя невыносимый груз этого отвратительного видения и в то же время почувствовав облегчение, потому что он все рассказал ей, высказал вслух. Наконец-то нашелся человек, которому он мог все рассказать.

Одеваясь, Констанс задумчиво проговорила:

— Но должен существовать какой-то способ обретения счастья. Наш долг найти его!

Как это по-женски, подумал он.

— В данной ситуации его не существует, — сказал Аффад.

Некоторые его мысли казались Констанс необыкновенно интересными, но были и попросту глупые.

— Как это по-мужски, — проговорила она, — просто это выше твоего понимания, вот и все, тебя пугает современная полиандрия.[195] Но, милый, женщина всегда была свободной, хотя не всегда позволяла себе заявить об этом открыто. Разве плохо обрести эту возможность? Теперь она может и это — воплотить в реальность вечную мечту стать бесплатной проституткой — из чистой благотворительности, так сказать, публичной благодетельницей. Она стала собирательницей — семь мужчин для одной женщины как раз то, что надо. Я сделала этот вывод на основании того, что мне рассказывали мои пациентки. Крестьянская математика!

— Не срабатывает. Если бы это было правильно, то сработало бы!

— Знаю. Но почему бы и нет?

— Потому что женщина тотчас почувствует

---

[195] Примечания: 195

Полиандрия *(греч.)* — многомужество.

бедную сперму, ведь на сей момент она атакующая сторона. Еще считай страх и недостаточную эрекцию. *Ejaculatio praecox!*[196] Несчастная маленькая вагина все равно что вечно голодный зверек. Она кормится спермой, которая омывает стенки со слизистыми оболочками, пропитывает и плоть и душу. По дыханию можно понять, каков запах спермы. Вагина начинает умирать от истощения, меняться от голода; сотня мужчин с такой спермой не может накормить ее. В гностическом смысле спермы, бедной кислородом, недостаточно; в ней не хватает нужных веществ, в ней мало кислорода и плодов размышлений.

— Продолжай, — попросила Констанс, так как ее заинтересовал новый для нее, необычный взгляд на сексуальную близость, на ее экономическую сторону.

Однако ему вдруг захотелось обернуть все в шутку, словно он на мгновение засомневался в ее доверии к его теориям.

— Стенки у зверька, — тем не менее продолжал он с улыбкой, — чаще всего прекраснее, чем рот их владелицы, они издают мурлыканье, если сперма насыщена нужными веществами, — ска-

---

[196] Примечания: 196
Преждевременное семяизвержение *(лат.)*.

жем так, богатая: это похоже на жужжание улья, гул небольшой динамо-машины или кошачье мяуканье. Любовники в душе радуются возможности произвести на свет здоровое дитя с хорошими мозгами и сильной сексуальной потенцией. Но если сперма обеднена, то и несчастный зверек сохнет и вянет; сперма без духовной оси не может удовлетворить разум и чувства женщины. Чем больше она вкладывает сил, тем униженней себя ощущает. Она голодает на генетическом уровне, ее мысли становятся жалкими, вымученными, от радости жизни не остается и следа. А потом наступает последняя стадия. — Он изменил тон и предостерегающе поднял палец. — Знаешь, какая? *Нимфомания!* — проговорил он со всей возможной уверенностью, а Констанс хлопнула в ладоши, услышав это откровение. — Женщины зацарапывают себя до смерти, а мужчины выясняют, что им не так-то легко довести себя до оргазма, даже молодые мужчины. У них редеют волосы. Они идут в политику…

— Или к психоаналитику. Мне удалось восстановить волосы двум усталым мужчинам, и мне приходилось слышать о способе избавления от импотенции. Но тебе-то об этом наверняка известно. Где ты поднабрался знаний психологии?

— Всюду понемножку. Я отправился к женщине, которая не могла устоять перед моей честностью — и влюбилась в меня.

— И?

— И!

Он взял ее руку и приложил ладонью к своей щеке.

— Твоя жизнь полна опасностей, потому что в твоей науке пока еще нет ничего точного. Она сошла с ума, и ее посадили под замок: она пишет мне длинные-длинные письма, в которых осуждает себя за то, что полюбила меня. А ведь между нами ничего не было — она все придумала!

— Любовь! Она создана зеркалами!

— Правильно. Но мне все равно. Я отдаю тебе себя! Я готов инвестировать! Я тебя люблю!

— Докажи.

Аффад покачал головой.

— Мы изгоняем смерть из нашей близости, а ведь это краеугольный камень мировой культуры.

— Ты как будто не здесь и не в настоящем.

— Не здесь и вне моды, точнее сказать.

— Слишком всё быстро, — сказала Констанс. — Ты много знаешь и многое понимаешь, а я слишком скоро начала использовать тебя. Я вооб-

ражала, что наши отношения будут развиваться медленно, будут полны сомнений, разных нюансов, глупой наивности. Мне хотелось строить их не спеша, шаг за шагом, как кораблик в бутылке.

— Я думал, ты слишком красива, чтобы оказаться по-настоящему умной.

— Ты не против того, что я фрейдистка и врач? Меня до смерти пугало, что это может стать между нами — что я знаю слишком много и недостаточно женственна для тебя, что я не сумею зацепить тебя своими коготками, однако оказалось очень просто скатиться с горы, *en pente douce*.[197] Я даже забыла, как надо пользоваться тормозами.

— Это знак нашего интеллектуального убожества, которое психология с ее немногочисленными физическими категориями и заложенными в ней позитивистскими предубежденьями и тенденциозностью обязана объявить освобождающимся и обогащающимся, что она и делает; она доказывает, что душа серьезно поражена анкилозом из-за строгости наших *moeurs*.[198] Настоящий источник невроза таится в вере в абстрактное эго; чем быстрее ты лечишь их современной метафи-

---

[197] Примечания: 197
По пологому склону *(фр.)*.

[198] Примечания: 198
Нравы *(фр.)*.

зикой, которую придумали иудео-христиане, тем больше «я» становятся больными «я». Даю слово Профессора!

— О господи, ты еще и против Фрейда.

— Нет. Я уважаю его, я даже уважаю чистоту его неколебимой веры в научное мышление. Его открытие было таким же важным, как открытие микроскопа или бензинового двигателя; оно внезапно расширило наш кругозор. Разве *можно* не восхищаться этим?

— Ладно. Я прощаю тебя. Но есть еще одно отягчающее обстоятельство — лучше мне сказать об этом теперь, в самом начале наших отношений, чем ждать, когда мы будем разводиться…

— Ты о чем?

— Ты рассуждаешь так, будто располагаешь особой информацией, недоступной мне. Это типично мужская черта, и из-за нее невольно начинаешь симпатизировать нашей «тяжелой бригаде», как мы называем в клинике «клиторный клуб».

— Серьезное обвинение.

— Так ты ею располагаешь?

— Нет.

Глава десятая
Генерал

Несчастье, из-за которого фон Эсслин лишился зрения, как ни странно, спасло ему жизнь, так как оно произошло примерно в то время, когда начался откат назад и ненависть внутри и вокруг его провансальской твердыни достигла наивысшей точки. В результате генерала поместили в глазную клинику недалеко от Нима, где он должен был лежать в темноте с повязкой на глазах, размышляя о том, где и когда допустил ошибку. Несмотря на неподвижность тела, его солдатский ум продолжал активно работать, тем более что маленькое радио, стоявшее возле кровати, сообщало генералу неутешительные новости, несмотря на препоны цензуры. Одному Богу было известно, сколько всего оставалось недосказанным. По правде говоря, упадок сил случился у генерала не в один день, усталость потихоньку накапливалась уже больше года; неожиданная перемена статуса вверенного ему региона, повлекшая за собой приток множества новых офицеров и военного имущества, лишь

усилила усталость, которая постепенно овладевала им с тех пор, как он получил приказ взять на себя командование Авиньоном. Не привыкший к самокопанию, генерал все же частенько задумывался о причине всего происходящего. Дело было не в злосчастьях на русском фронте, которых больше не скроешь, и не в неудачах в Египте и Италии. Нет. Причина крылась в невозможности открыто обсуждать неудачи и таким образом искать новые пути и способы остановить откат их военной мощи и перегруппировать силы. Он не верил в то, что война проиграна, это еще не факт, ведь у потомков старых германских «псов войны» оставалось еще много сил, они могли бы исправить просчеты и добиться победы. Но это раньше, в иные времена создавшееся положение можно было бы обсудить, разработчиков стратегии собирали бы для честного разумного нелицеприятного разговора. А теперь попробуй произнеси что-нибудь еще, кроме как слов восхищения фюрером и его абсолютной мудростью; под угрозой была святость фюрера — и никто не смел посягнуть на нее.

А потом… Фон Эсслин старел, он чувствовал, как постепенно удлиняющаяся тень его жизни перемещается вперед, как замедляются его реакции.

Подчиненных его все больше раздражала нерешительность генерала, до сих пор не знавшего, как лучше расположить войска, а ему не давали покоя три притока реки. В крепости, стоя перед большой картой Европы, поделенной на секторы, он все еще не терял надежды и подводил итог своим рассуждениям прежним, когда-то многозначительным жестом, то есть, уперев большой палец в Авиньон, он растопыривал остальные пальцы и медленно описывал ими круг, чтобы показать вверенное ему стратегическое пространство — помимо всего прочего, ворота в Италию и на Лазурный берег. План прорыва дальше на север он не принимал во внимание: пусть об этом думают другие. Однако людей и машин становилось все больше, они требовали присмотра, народу скопилось слишком много: прибывающие с русского фронта раненые, целые орды рабов-рабочих, добровольцы-фашисты всех национальностей, среди которых были даже русские, которые пробивали новые туннели-склады под акведуком Пон-дю-Гар. Генерал подумывал об отставке — в ближайшие годы, и о том, чем он будет заниматься на покое, однако все это было пугающе неопределенным. Каким станет мир, когда он подаст в отставку? Чтобы призвать

мысли к порядку и взбодриться морально, он принялся старательно штудировать «Протоколы сионских мудрецов» и «Завещание» Петра Первого, русского императора, обе брошюрки он всегда возил с собой в небольшом пластиковом пакете. Эти ежевечерние занятия бодрили и успокаивали. Однако во время встреч с нетерпеливыми энергичными младшими офицерами ему делалось нехорошо; он чувствовал себя безнадежно устаревшим, видя, с каким насмешливым вниманием они слушают его речь. Он почувствовал досаду, узнав, что его называют «дедушкой». Это еще сильнее углубляло пропасть между двумя поколениями, между историческими эпохами. Фон Эсслин начал много пить.

Как раз в это время его поставили в известность, что он, если пожелает, может получить одного пленного — взамен своего денщика, которого призвали на строевую службу. Поначалу генерал сожалел о потере, потому что привык к денщику, однако сожаления растаяли как дым, едва в доме появился Кров с его подкупающей улыбкой, одновременно умной и приниженной. Он был недурен собой, строен, и всю свою юношескую сообразительность употребил на то, чтобы стать незаменимым. Среди окружавших генерала же-

стоких мастиффов он резко выделялся, был как лучик солнца в кромешном мраке. Этот парень умел делать все! Иногда фон Эсслин с удивлением мысленно подсчитывал его таланты. К тому же, Кров сам признался, его предки были богатыми буржуа, а отец — врачом. Он готовил, содержал в чистоте дом, прислуживал, полировал мебель, что-то вечно чинил… Старый дом Банко никогда еще не выглядел таким ухоженным — Кров был садовником, каменщиком, электриком, мастером на все руки… все проблемы легко решались его новым слугой, чья улыбка всегда излучала доброжелательность. По-немецки он говорил неважно и делал иногда очаровательные ошибки, которые порой были похожи на меткие каламбуры. Фон Эсслин пересказывал их в своем кругу. И все добродушно смеялись над его новым рабом. Кров очаровывал своего хозяина с поистине мефистофельским искусством. Он с горячим усердием следил за его гардеробом, иногда сам что-то чинил, он счищал щеткой сигарный пепел с кителя, когда генерал отправлялся на службу. Старик себя не помнил от свалившейся на него удачи — никогда еще ему не приходилось сталкиваться с такой услужливостью, да еще приправленной постоянным благодушием. «Ах, Кров, — однажды

посетовал он, — почему ты не женился? Из тебя вышел бы отличный муж. Скорее, жена. Ха! Ха!»

— Я женат. Был женат. У меня двое детей.

— Где они?

— Не знаю, — убрав с лица улыбку, но ничем другим не выразив свои чувства, ответил Кров. — Где-то должны быть.

У фон Эсслина стало тяжело на сердце, словно его залили свинцом. Это же Польша.

— Ладно, ладно, мне пора, не то я опоздаю, — и зашагал к двери.

Иногда, возвращаясь к ланчу, он заставал Крова сидящим на ступеньках виллы; тот начищал хозяйские сапоги и ботинки. Завидев генерала, денщик вскакивал с сияющим видом, счастливый, что вновь видит своего господина; у фон Эсслина теплело на душе, он даже становился разговорчивым, несмотря на официальное предостережение не вступать в тесные отношения с рабами-рабочими. Или он замечал, как Кров, забравшись на садовую лестницу, приводит в порядок решетку для вьющихся растений на балконе. Трудно, когда о тебе столь неустанно заботятся, да еще с такой готовностью, не стать жертвой подобного отношения, не расслабиться и сохранить независимость. Стоило лишь сказать:

«Кров, мне нужен чистый носовой платок», — и молодой человек мчался, как олень, за указанным предметом. Время от времени, лежа без сна в постели, генерал обращался мыслями к дому и мимолетно, но с грустью, вспоминал польку-служанку. Загородный дом Крова был примерно там же, где жила ее семья, — он купил его, когда отец собрался удалиться от дел, объяснил он. В ответ фон Эсслин хмыкнул, но не задал ни единого вопроса о предвоенной Польше. Однако, с неуклюжей игривостью, выучив несколько слов из разговорника, который слуга всегда носил при себе, он иногда приятно его удивлял, произнося «доброе утро» на польском, естественно, если в доме не было посторонних. Потом фон Эсслин заболел гриппом, и Кров терпеливо ухаживал за ним, даже кормил с ложечки, словно ребенка, когда тот лежал с высокой температурой. Старик был растроган и очень благодарен, но открыто не благодарил, в конце концов слуга выполнял свой долг, с формальной точки зрения.

Это были желанные перемены. Кров составлял компанию генералу, занимал его, когда тот уставал от грубых шуток и филистерских развлечений своих подчиненных, среди которых постоянно появлялись новые лица.

Фон Эсслин даже ненавязчиво попытался облегчить рабскую долю молодого человека, однако пойти против инструкций он не мог, а в них прямо говорилось, что «раб не представляет собой ценности» и должен «использоваться на тяжелых работах». Фон Эсслину приходилось опасаться, как бы его Крова не сочли слишком ухоженным, слишком сытым. Однако безрассудство одерживало верх, и фон Эсслин отдал слуге кое-что из отслужившей срок одежды и обуви, а также порванный зеленый китель, в котором тот подавал на стол, что всегда делал с профессиональной гордостью. Кстати, у него обнаружились и неординарные кулинарные способности. Слуга настолько покорил фон Эсслина, что он даже написал о некоторых его добродетелях матери, которая ответила: «Ты будто бы пишешь о своем сыне». Это было для генерала настоящим потрясением. Однажды он поцарапал руку, открывая дверцу автомобиля, и заботливый Кров сначала обработал ее эфиром, а потом быстро перевязал — он знал, где что в доме лежит. Его проворство, тактичность, добродушие совсем покорили старика, который мысленно произнес: «А ведь он в самом деле ведет себя *как* сын». Таким сентиментальным он еще никогда не был… Фон Эсслин

почувствовал, как слезы подступают к глазам.

— Вот, — наконец произнес Кров, довольный своей умелой повязкой. — Она не развяжется до вечера, а потом мы поменяем ее. Вам не нужно сделать противостолбнячный укол?

Генерал не удержался от смеха.

— Из-за такой ерунды? Только этого не хватало.

И Кров сказал:

— Ну, указательный палец в порядке, так что стрелять вы сможете.

— Да.

Фон Эсслин улыбнулся.

Погода стояла настолько изменчивая, что никто не мог приспособиться к ней; не успевал пройти снег, как начинался дождь и дул теплый ветер, потом — опять мороз, потом — опять яркое солнце. Средняя температура то опускалась, то поднималась, будто морские волны. Пока фон Эсслин приходил в норму после гриппа, установилась солнечная, почти летняя погода, и теперь можно было гулять целыми днями, бродить по винограднику на краю молодого леска, читать или писать письма, пока Кров занимался своими делами по дому, мурлыча без слов или тихонько напевая что-то на своем родном языке — эти

песни нравились генералу не меньше, чем великолепный тенор слуги. Правда, генерал ни разу не похвалил его. Вечера тоже стали более терпимыми с тех пор, как Кров научил старика раскладывать пасьянс. До чего же странная штука — жизнь! Как бы там ни было, а генерал часто размышлял о том, как Кров умудряется сохранять доброжелательность, — ведь его страна оккупирована, семья разбросана по свету и потеряна, его соотечественники отданы в рабство — это было поразительно! Должен же он когда-нибудь испытывать печаль! Однако не стоило давать волю таким мыслям, потому что при Новом Порядке ничего нельзя повернуть вспять.

Кров отыскал на чердаке старомодную качалку и поставил ее в глубине сада, чтобы генерал мог по вечерам сидеть в ней — читать или писать. Если вечер выдавался прохладным, то Кров обычно накидывал ему на плечи старую шинель. Собственно, это сидение в качалке и привело потом к занятиям стрельбой. Среди сданных фермерами по требованию оккупантов ружей — дешевых ружей двенадцатого и шестнадцатого калибра попадались и очень хорошие. Они считались как бы «позаимствованными», и во время охоты распределялись среди высшего немецкого офицерства.

Таким образом фон Эсслин «унаследовал» два замечательных ружья, которые использовал пару раз, когда стрелял уток в Камарге — в устье Роны. Теперь же, сидя в качалке, он обнаружил, что когда дует мистраль, холм, на котором стоял дом, был на пути вечернего перелета голубей и куропаток. Голубям не хватало сил противостоять мистралю, поэтому они не могли набрать высоту; прижатые к земле, голуби летели медленно, задыхаясь, с трудом прорываясь сквозь ветровой заслон, и при каждом новом порыве их относило назад, они теряли время. Даже для такого стрелка, как фон Эсслин, птицы были легкой добычей, и в подобные вечера он без труда и довольно быстро убивал дюжину — на обед.

Кров всячески поддерживал азарт хозяина, так как умел разделывать дичь и знал, как нужно готовить птиц, становившихся жертвами генеральских ружей; время от времени, когда птиц летело много, а делать Крову было нечего, он заряжал хозяйские ружья, чтобы фон Эсслин мог стрелять чаще. В тот вечер, когда случилось несчастье, опять поднялся ветер, но было на редкость тепло, словно в августе, и разве что обрезанные голые лозы в винограднике напоминали о действительном времени года: на черных распятиях

не появилось пока ни одного зеленого листика. Зато птиц было в избытке, и генерал стрелял в них, тогда как его раб заряжал дымящиеся ружья. Что в точности произошло, известно немногим и тщательно скрывается — некоторые считают, что беда случилась из-за беспечности генерала. А на самом деле было вот что. Качалка стояла рядом с отсыревшим земляным бруствером, который отсырел еще больше из-за проливных дождей, не прекращавшихся несколько дней подряд перед несчастьем. Непреднамеренно — естественно, он настаивал на этом, хотя ему никто не поверил — кров, меняя местами ружья, нечаянно слегка утопил стволы второго ружья в размокшей земле, таким образом в них забились плотные комки грязи. Обтерев одну двустволку, он отдал ее фон Эсслину и занялся другой. Вот тут-то все и случилось. Старик привык стрелять сразу из двух стволов, целясь немного впереди стаи, так чтобы птицы сами налетали на горсть смертельного свинца. На этот раз, когда курки одновременно щелкнули, ружье выстрелило в обратную сторону, стволы взорвались, приклад отвалился, и генерал получил весь заряд в лицо. Он мог бы и погибнуть, как говорили потом хирурги, занимавшиеся его изрешеченным дробью лицом.

Весь в крови, порохе и грязи, генерал в ужасе и отчаянии обернулся, словно ожидая помощи от Крова, но в свете вспышки увидел, что его слуга как будто ждал взрыва, так как предусмотрительно спрятался за старой оливой, подняв руки, будто желая закрыть уши. Фон Эсслин заревел, словно бык, и встал, весь дрожа от шока и боли, однако в этом реве слышались также иные ноты — горечь и боль душевная из-за предательства любимого польского раба. Содрогаясь всем телом, с развороченным лицом, не сводя с взгляда с поляка, генерал постоял несколько мгновений, а потом рухнул на колени, схватившись за качалку, качалка опрокинулась, и генерал упал ничком в траву.

К сожалению, все это видел юный солдатик в форме генеральского адъютанта; он как раз искал фон Эсслина, чтобы передать срочное послание, а так как в доме не нашел никого, то отправился в сад, и там, едва разглядев своего командира, увидел и остальное, в том числе и подозрительно прятавшегося за оливой слугу. Не было никаких сомнений в том, что Кров знал, что произойдет, следовательно, был в этом виновен. Юный немец впал в оцепенение, когда на его глазах генерал упал, рыча от боли и ярости.

Пули со свистом пронеслись по кустам. Все было настолько неожиданно, что адъютант словно прирос к земле и простоял несколько мгновений, прежде чем броситься к генералу и одновременно свистнуть в свисток, призывая на помощь караульных, которые, стуча каблуками и тяжело дыша, примчались на балкон, держа наизготовку бесполезные винтовки. Кров был уже рядом с хозяином, на коленях, когда прибежал офицер, так что они вместе подняли все еще содрогавшееся тело и понесли его на веранду. Кто-то, не растерявшись, разыскал носилки, и генерала, яростно ругающегося и стонущего, положили на них. В громоздком служебном фургоне было довольно просторно, имелись откидные сидения, так что «скорую помощь» вызывать не пришлось. Главное было как можно скорее доставить генерала в находившийся в крепости госпиталь. Раненого уложили в фургоне. Потом офицер достал свой «люгер» и сказал Крову: «Поедешь с нами».

Кров не выказал особых эмоций, только попросил разрешения отлучиться в уборную. Офицер разрешил, но дверь приказал не закрывать и сам встал возле нее с оружием наизготовку. В полном молчании они доехали до крепости, где была вызвана охрана, и дежурный офицер получил

приказ назначить на вечер военный трибунал. Потом он рассказал о случившемся всем, кто был на дежурстве, и сообщил по телексу, что генерал фон Эсслин тяжело ранен и что сведения о его состоянии будут получены от медиков этим же вечером. Врачи, не медля, смыли кровь, порох и грязь с лица генерала и с облегчением увидели, что все раны поверхностные, но вот его зрение под угрозой. Генерал почти ничего не видел, и тут прогнозы были неутешительные, по крайней мере на ближайшее будущее. Командование войсками исключалось, и оставалось только надеяться на скорый приезд нового командующего. Безусловно, это была катастрофа для *amour-propre* совершенно здорового мужчины — вдруг оказаться в темноте, а впереди — госпитализация и неминуемая отставка. Кроме боли и шока, кроме ноющих швов на щеке и на подбородке, его мучило страшное ощущение безысходности и абсолютной беспомощности. К нему приходил окулист, светил в глаза разными фонариками, но не сказал ничего определенного. Глазам надо дать время, объяснил он, ведь на них тоже сказался шок, вызванный несчастным случаем.

Несчастным случаем? В тот же вечер военный трибунал в тягостном молчании заслушал по-

казания адъютанта относительно виновности польского слуги; члены трибунала пришли к выводу, что спрашивать у раненого, согласен ли он с показаниями адъютанта, нет необходимости — все было и так ясно. Крова приговорили к расстрелу, назначенному на следующее утро. Кстати, расстрелять его должны были в компании двух *franc-tireurs.* Генерал сидел в кресле возле окна. Его лицо уже было обработано и перевязано. Сидел он, покорный, придавленный тяжестью почти полной слепоты — еще не привыкший к ней! Однако он узнал голос адъютанта, который пришел сообщить о приговоре, вынесенном Крову, надеясь, вне всяких сомнений, порадовать своего командира скорым возмездием. Но старик промолчал. Помедлив немного, адъютант удалился, тихонько прикрыв за собой дверь. Когда в комнату вошла медицинская сестра, фон Эсслин все так же сидел у окна, но только подбородком упирался в грудь и дышал чаще обыкновенного, что говорило о нервном стрессе; необходимо было сказать генералу что-то приятное, чтобы вдохнуть в него немного оптимизма. Сестра действовала весьма грамотно. Вскоре он уже вовсю болтал с обычным своим добродушием, ласково благодаря ее за все, что было для него сделано.

Когда он спрашивал у окулиста, возможно ли выздоровление, тот пригласил генерала в глазную клинику в Ниме, где за ним какое-то время будут наблюдать. Надо было собраться — но как это сделать без Крова, который легко справился бы с этой задачей? Наконец нашли пару неуклюжих ординарцев, которые сложили вещи старика и помогли ему сесть в служебный автомобиль. Вот так он освободил место для своего преемника.

Обо всем этом, но только в сокращенном виде, Смиргел тайно сообщил в Женеву, и ему даже удалось узнать фамилию нового командующего. Фон Риттер превыше всего ценил дисциплину, состоял в партии и был столь же уродлив, сколь беспринципен. Новость о его назначении породила некоторое волнение, потому что он должен был прибыть в Авиньон сразу после предпринятых им эффектных «ответных мер» по отношению к гражданскому населению России. Его приезд был торжественно отмечен повешением двадцати «партизан» в Ниме: на самом деле, это были юноши, которые, чтобы избежать трудовой повинности, отправились в горы и жили там как пастухи. Оружия у них не было, но какое это имело значение? Главное — преподать урок всем остальным.

Итак, весть о назначении нового командующего просочилась через непроницаемые заслоны любящих посудачить разведывательных учреждений, а фамилия фон Эсслина постепенно исчезла из сводок. И в Женеве и Авиньоне вновь установилась холодная погода с сильным ветром и снегопадами.

Глава одиннадцатая
Противостояние

Вокруг биллиардного стола с зовущим к общению зеленым сукном бродили двое мужчин, Аффад и Тоби, отчасти занятые расположением шаров, а отчасти насущной проблемой, то есть: последует ли за назначением Риттера изменение политики или это военная хитрость? По мнению Тоби это «плохо пахло». Несчастный случай стал отличным предлогом для замены старомодного вояки со старомодными взглядами на закусившего удила молодого генерала, который готов перевернуть горы. Аффад покачал головой.

— Вы все усложняете. Я верю Смиргелу.

— Как всегда, — смиренно вздохнув, сказал Тоби. — Погодите. Этот человек подведет вас.

— Я попросил провести независимую медицинскую экспертизу, так что посмотрим, кто окажется прав. Кстати, — проговорил Аффад, желая насыпать соли в открытую рану британской разведки, — я не спрашиваю вас, когда будет открыт второй фронт, но из Каира пришло сообщение. Не хочу смущать вас, но вот тут, на

визитной карточке, я написал фальшивую дату, которую передал Смиргелу. Если вы поинтересуетесь, то обнаружите, что довольно много войск переброшено на север, на место предполагаемой высадки. Но, уверен, вам уже об этом известно.

Тоби мысленно выругался, потому что не имел ни малейшего представления о переброске войск, хотя и не собирался в этом признаваться, тем не менее на лице его промелькнула досада, и Аффад улыбнулся, так как любил поддразнивать англичанина. В результате Тоби промахнулся и выразил свое раздражение довольно громким проклятием, на самом деле, так были выражены обе досады разом.

Английская разведка и в самом деле ни на что не годилась. Ее вечно обходила какая-нибудь другая разведка, все оттого, что ей навязывали устаревшие, годившиеся разве что для театра методы, часть которых была разработана еще на стыке веков. Сказывалось влияние плохой беллетристики в духе серии «Приключения Шерлока Холмса» (которые он обожал). В Министерстве иностранных дел почему-то считали, что все шпионы ни днем ни ночью не должны расставаться с лупой — на случай непредвиденных отпечатков пальцев. А этот чертов мошенник-принц, не

скрываясь, ходит везде и нагло подслушивает телефонные разговоры…

— Нам же ничего не говорят, — жалобно произнес принц и, удачно ударив по шару, сравнял счет.

Констанс задумчиво наблюдала за мужчинами из своего угла, стенографически записывая ответы на письма.

— Мне даже обидно вас слушать, — сказала она. — Об Авиньоне вам известно больше, чем мне, хотя я там жила и работала и повсюду ездила. Несчастный генерал; это ужасно — лишиться зрения!

Между тем, новый генерал не терял время даром. Он разогнал всех «стариков», назначил своих людей, в «твердости» которых не сомневался, и нагнал страху на все отделы, которые помимо всего прочего занимались отловом шпионов.

— Смиргел тоже напутан и хочет хотя бы на неделю отключить трансмиттер, пока не уляжется шум. Должен признаться, когда я слышу об отступлении и о тяжелых потерях в России, то не могу не думать о том, что голова, подаренная нами Гитлеру, дает ему нехорошие советы.

— Позвольте мне сообщить самую главную новость — в первый раз у меня появилась слабая

надежда на то, что мы выиграем войну. Лорд Гален *уволен со своего поста.* — Оба от удовольствия захлопали в ладоши. — О, дело совсем не в том, что мы не любим его, — уточнил Сатклифф. — Но мы ведь хотим выиграть, правда?

Сатклифф и Тоби пояснили, что лорд Гален, желая, по его выражению, показать, как они отличаются «от этой сволочи», убедил военный кабинет объявить, что в Европе ни один памятник исторической или художественной ценности не будет подвергнут бомбардировке. Более того, он всех оповестил об этом по радио. Результат было нетрудно предвидеть. Нацисты тотчас сообразили, где лучше всего устраивать склады с боеприпасами.

— Вот, например, — сказал Тоби, — таинственный склад, который они закодировали как ВК, в Авиньоне прячется точно под Пон-дю-Гар — наверняка вы обратили внимание на возросшую активность в Ремулене. Огромное количество иностранных рабочих расселено во времянках по всей пустоши. Это что-то да значит. В конце концов кто-то смекнул, что лорд Гален оказал всем сомнительную услугу, и его попросили больше не заниматься информацией. Дай бог, чтобы он не натворил чего-нибудь с колониями. Теперь он

за них отвечает.

— Какие еще колонии? Он слишком умен для них. В один прекрасный день он станет адмиралом.

— Ну, а у вас какие новости? — спросил Тоби, виновато поворачиваясь к Констанс. — Как там было?

— Лучше не вспоминать, — ответила Констанс. — Ничего героического, сплошь неудобства и несчастья, да еще опасности, жестокость, стрельба и облавы на людей. Хлеб из кукурузы с соломой и бог знает с чем еще. Кофе не пойми из чего. Голодные дети. Очереди к врачу. Мне было стыдно жить, как я жила, и есть то, что я ела, спасибо Блэзу, Красному Кресту и черному рынку.

— А что с Ливией? Она действительно умерла?

— Да.

Констанс рассказала все что знала.

— И неизвестно, почему?

— Я не знаю, разве что эта жуть была заложена в ее характере. Возможно, ее смерть каким-то образом связана с разочарованием в идеалах — хотя она ничего такого не говорила. Однако стоит увидеть нацизм вблизи, любого стошнит. А ведь она не была дурой. Впрочем, я убеждена, что вам известно гораздо больше, чем мне. Наверно,

известны и ответы на эти вопросы.

— Нет, — произнес Сатклифф. — Может быть, Аффаду. У нас разные источники информации.

— Смиргел?

— Да.

— Но Катрфажу тоже не стоит особенно доверять. Вспомните его романтические рассказы о дочери Галена и тамплиерах. Он все скажет, что от него хотят услышать.

— Он не один, есть и другие.

Мужчины поднялись, чтобы продолжить игру, а Констанс вернулась к своим стенограммам, делая наброски карандашом, чтобы потом перепечатать их на машинке. Тоби очень удачно начал игру.

— Вы неплохо защищаете евреев, Сатклифф, а вот меня раздражает их поведение. Последние сведения просто поразительны. Они не только доносили друг на друга в Париже, но даже записались в милицию. Как будто им недостаточно быть более трудолюбивыми и самодовольными, чем все остальные.

— Что бы ни говорили о евреях, — вмешалась Констанс, — лично мне было достаточно посмотреть на эти переполненные поезда и послушать хихиканье Смиргела.

— С точки зрения историка, — отозвался Тоби, — если бы это не было столь трагично, то было бы смешно. Вам понятно, чего хотят немцы? Они хотя быть Избранным Народом — они сами заявили об этом. Вот им и надо избавиться от евреев, чтобы самим занять их место. Совершенно невероятно — если бы я сам об этом не знал, то никому бы не поверил. Избранная раса! Чья кровь гуще? Если уж на то пошло, в крови какого агнца они омыты? А все презренный Лютер виноват! Совсем как дети — выхватывают друг у друга разноцветные шарики. Но скатиться до полного уничтожения евреев — надо быть по-настоящему метафизической нацией, чтобы придумать такое!

— Аффад считает, что под этим есть метафизическое основание: это непроизвольная органическая реакция — наподобие отказа желудка принимать некачественную пищу — против иудео-христианства в том виде, в каким оно представлено современной философией, а в ней, насколько вам известно, господствуют блестящие еврейские мыслители.

— Пожалуйста, поподробнее, — попросил Тоби, делая неудачный удар, означавший проигранную партию. — Проклятье!

— Триада великих евреев, которые определяют направление мысли, — Маркс, Фрейд, Эйнштейн. Великие авантюристы — каждый в своей области. Маркс приравнял счастье человека к владению деньгами. Фрейд обнаружил, что понятие ценности произошло от фекалий, и благодаря ему любовь стала называться инвестицией. Эйнштейн, как самый главный приспешник Люцифера, освободил силы, спавшие в материи, чтобы создать игрушку, которая…

— О господи, — в раздражении воскликнула Констанс, — только не говорите, что вам нет дела до нацизма! Я ведь только что приехала из страны, которая не может ни на что решиться. Очень многим французам как будто нет дела до «очищения», которое Лаваль называет «профилактическим», вот так.

— Не думаю, чтобы русские были лучше, — заявил Сатклифф. — У нас есть выбор, но все варианты довольно отвратительны — мир как один кибуц с обязательным психоанализом, который будет длиться всю жизнь и заменит католичество… а потом атомистическая[199]

[199] Примечания: 199

Согласно атомистическим теориям, общество следует рассматривать как сущность, состоящую из индивидов («атомов»), взаимодействующих между собой. *(Прим. ред.)*

роботизация, так я понимаю. Я сразу начинаю чувствовать себя старомодным; не знаю, что сказать.

— *Honi soit qui Malebranche*,[200] — произнес Тоби.

— Отлично, что вы такой благонамеренный, однако все началось с французов, ведь Республика не нуждалась в *savants*.[201] И евреям нравится мазила Давид, который председательствовал в комитетах, чтобы отрубить голову Андре де Шенье. Повозка с осужденными и приговоренными к гильотине переполнилась, и теперь весь мир — сплошь осужденные на казнь. Подумать только, что первая статуя была воздвигнута революционерами в честь Богини Разума!

— Все эти революционные веянья и поныне актуальны; обычно я ждал ее около укрытого плющом здания на бульваре Распай, которое частично занимает университет, и там я учил ее есть палочками. Такого больше никогда не было. У нас были мокрые лица от мелкого дождичка, и

---

[200] Примечания: 200

На самом деле, есть выражение "Honi soit qui mal y pense" («Пусть будет плохо тому, кто плохо об этом подумает»). Malebranche — Николя де Мальбранш (1638–1715), французский философ, утверждавший невозможность взаимодействия души и тела.

[201] Примечания: 201

Ученые *(фр.)*.

мы буквально клеили наши поцелуи, как марки, на губы друг другу. А над нами, на стене, были написаны, нет, навсегда выбиты роковые слова: *"Université. Evolution des étres Organisés. Ville de Paris"*.[202] Все равно что «Оставь надежду, всяк сюда входящий»,[203] хотя тогда мы еще ничего этого не знали… а теперь Шварц держит ее в темноте, вроде бы полезной для нее. По крайней мере, так вы говорите.

— Не понимаю, — сказала Констанс.

— Подождите, вот Обри приедет, он расскажет вам о Гитлере и его идеях.

— Вы в первый раз с ним встретитесь? Да?

Сатклифф как-то странно на нее посмотрел, но ничего не сказал. В этот момент знакомый голос произнес:

— Они прилетают из Каира в понедельник.

Аффад стоял у двери и протирал очки носовым платком. У Констанс вдруг сжалось сердце, и это удивило ее: оказывается, она до сих пор не знала, как вести себя с ним в присутствии других людей. А он тем временем легким шагом пересек залу,

---

[202] Примечания: 202

Университет. Эволюция Организованных Существ. Город Париж.

[203] Примечания: 203

Надпись над вратами Ада в «Божественной комедии» Данте. *(Прим. ред.)*

обойдя игроков, поцеловал ее и уселся рядом, обняв за плечи.

— Вся эта путаница, да и разговоры о Гитлере и евреях порождены одним-единственным фактором — нежеланием понять, что еврейская вера не конфессия, что евреи — это *нация,* лишенная родины и вынужденная стать кукушкой. Вот с этого момента мы позволили себе противостоять англичанам и их притязаниям на Палестину. Естественно, англичане напуганы тем, что могут остаться без арабской нефти, тем не менее чрезвычайно важно, чтобы евреи обрели свою землю. Тогда уж будет не столь существенно, какую форму примет их иудаизм, монотеистичекую или еще какую-нибудь. Мы настаиваем на том, чтобы к ним относились, как ко всем остальным людям, у которых есть своя особая религия. Только и всего.

— Как убежденная фрейдистка я скомпрометирована. С этой точки зрения и я, возможно, еврейка.

— Знаете, что сказал бы Обри? — вмешался Сатклифф. — Он сказал бы, что вы занимаетесь, как говорят американцы, «массажем души». Ну как можно подвергать анализу Психею, не принимая во внимание Купидона?

— Вот и Фрейд говорит то же самое.

— Правда?

— Конечно.

— Но ведь Купидон всего лишь инвестор, а не бог.

— Это совсем другая материя.

— Замечание в духе Люцифера, насколько я понимаю.

— Я не это имела в виду.

— А как насчет либидо?

Констанс тяжело вздохнула и решила не пороть горячку. Она встала.

— Пошли, я хочу есть.

Довольный Аффад тут же вскочил со стула.

— Я собирался предложить то же самое. Куда пойдем?

— Куда-нибудь, куда мы сможем подойти попозже и выпить с вами кофе, — проговорил Сатклифф, — прежде чем откроется моя контора.

«Старая баржа» — вот какое название всем сразу пришло на ум — судно, переоборудованное под ресторан и поставленное на якорь рядом с набережной, в той ее части, где были элегантные и ухоженные сады. Ресторан находился в центре города, не слишком красивый и не слишком дорогой, но от него было рукой подать до посоль-

ства. Оставив биллнардистов — так Тоби назвал себя и Сатклиффа, — Констанс и Аффад поехали на «Старую баржу», вдруг непостижимым образом застеснявшись друг друга. Понять это было невозможно.

— Я знаю, — наконец произнес Аффад. — Все потому что ты мне неожиданно показалась совсем другой: опытной соблазнительницей и отличной актрисой, слишком красивой, и потому — опасной.

— Опасной для кого?

— Для меня! Для всех!

— А мне вдруг показалось, что я должна побыть одна, без тебя, чтобы получше разобраться в тебе; после ланча я покину тебя и отправлюсь в клинику

— посмотреть, как там справляются с моими прежними пациентами.

— А ночью?

— Ночью я буду спать в моей квартире — одна.

Он еле слышно разразился целой тирадой из ругательств — на французском, арабском, греческом, английском, но почему он это сделал, объяснить бы не смог, — эта брань никоим образом не относилась к Констанс, исключительно только к его непонятной робости. И как раз в тот

момент, когда ему больше всего на свете хотелось выглядеть светским человеком, искренним, но при этом вполне цивильным.

— Что ты бормочешь? — подозрительно спросила Констанс.

Покачав головой, Аффад ответил:

— Я ругал себя за неловкость. Купил бы билеты на концерт, тогда мы могли бы быть вместе и в то же время не замыкаться только на себе.

Надо ли удивляться, что обоим расхотелось есть. Правда, Констанс оправдывала себя тем, что совсем недавно приехала из голодающего Авиньона и еще не привыкла к женевскому изобилию. Тем не менее, она выпила пару рюмок неразбавленного виски — и ему это не понравилось. Довольно скоро к ним присоединились биллнардисты, которые, как всегда, были поглощены своими бессвязными спорами.

— Только потому, что наш старый друг Блэнфорд собирается прибыть сюда, Робин разыгрывает из себя второго Эйнштейна, желая эпатировать его. На зеркале в ванной комнате он написал губной помадой $E=mc^2$, а под этой формулой поместил пояснение: ЭРЕКЦИЯ РАВНА МЕДИТАЦИИ УМНОЖЕННОЙ НА СОГЛАСИЕ В КВАДРАТЕ. Этого ему показалось недостаточно, на зеркале в

холле он сделал еще одну надпись: МЕДИТАЦИЯ, ПОДЕЛЕННАЯ НА ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ, РАВНА МАССЕ, ПОДЕЛЕННОЙ НА СИЛУ, ПРОИЗОДНУЮ ОТ РЕИНКАРНАЦИИ. Не думаю, что Блэнфорд или Эйнштейн одобрили бы эти формулы, но что сделано, то сделано.

— Это результат моих научных изысканий, — с напускной скромностью произнес Сатклифф. — Не представляете, какая скука быть игроком в крикет. — Он намекал на своего знаменитого тезку,[204] теперь уже почетного пенсионера. — А что если сменить катафалк, пока он в пути? Почему бы не стать Джеком Потрошителем или еще какой-нибудь экзотической личностью? Я спрошу Обри, когда он приедет, как он к этому относится.

— Вы собираетесь с ним встретиться? — не скрывая любопытства, спросила Констанс.

— Конечно же собираюсь, если вы отвезете меня к нему.

Однако Констанс не поверила. Почему-то ей показалось, что он постарается избежать встречи. Поддавшись порыву, она решила пойти домой

---

[204] Примечания: 204

См. роман «Ливия». Там говорится, что Блэнфорд дал своему литературному герою «фамилию одного из знаменитейших в ту пору игроков в крикет». *(Прим. ред.)*

и лечь спать, но едва переступила порог своей квартиры, жуткое одиночество чуть не задушило ее. Она позвонила Аффаду, и он приехал — так быстро, что это показалось ей чудом.

Они долго смотрели друг на друга, а потом, не говоря ни слова, вышли на улицу и сели в автомобиль. Он чувствовал, что ему трудно дышать, и, к тому же, он сильно побледнел. Приехав в отель, они вызвали лифт и, все еще не произнося ни слова, отправились в его номер, где он тотчас сдвинул шторы, чтобы изгнать дневной свет, тогда как она в одно мгновение разделась и бросилась в его объятия. Констанс была до того возбуждена, что жаждала пережить своего рода искупление, и прошептала сквозь стиснутые зубы:

— *Fais-moi mal, chéri. Déchirez-moi.*[205]

Причинить ей боль, впиться ногтями в упругое тело — он был не против, но хотел дождаться подходящего момента, когда совпадет ритм их дыхания. Из-за него они того и гляди пустят на ветер бесценный оргазм! Он распылится, как ртуть из разбитого термометра…

— Ты нарочно отступаешь! — со злостью крик-

---

[205] Примечания: 205
Сделай мне больно, милый. Разорвите меня *(фр.)*.

нула она и расцарапала ему спину.

— Да нет же, Констанс!

Она стала хохотать над их торопливостью, над беспорядочными движениями, а потом смех обернулся слезами, и она спрятала лицо у него на плече, оставив на великолепной смуглой коже синяк. Две руки, две ноги, два глаза… аппарат для пресыщения и счастья. *Tristia!*[206] Каким же нескончаемым ученичеством стала для нее любовь — не слишком ли серьезно она относится ко всему? А тут всего лишь красота и наслаждение. Мысленно Аффад сказал себе: «Такое чувство, будто медленно опустошаешь медовые соты. О Святая Энтропия — даже Бог распадается и растворяется. Ах, моя бедная мечта о преданной любви, которая больше невозможна из-за устремлений современных женщин».

Неожиданно он влепил ей пощечину, а потом, прежде чем она успела опомниться от удивления и боли, лег на нее, удерживая ее за руки, и вошел в нее. Чтобы она не кричала от ярости и раненой гордости, он закрыл ей рот поцелуем. На сей раз не было никаких сомнений в том, кто хозяин положения, ибо он раз за разом овладевал

---

[206] Примечания: 206
Печально *(лат.)*.

ею, вызывая оргазм за оргазмом, подвергая вожделенному наказанию. В какой-то момент она перестала сопротивляться, смирилась с ролью рабыни, понимая, что ее абсолютное подчинение скорее утомит его и вновь бросит к ее ногам. Очарование этой внутренней уступчивости возбуждало его невыносимо долго; и потом он сказал ей, что ему казалось, будто он весь обмазан медом, привязан к муравьиной куче, и муравей за муравьем неторопливо откусывают от него по кусочку. Так шло время, пока оба, вымотавшись вконец, не заснули.

— Я знала, что так будет, — много позже проговорила Констанс, расчесывая перед зеркалом волосы. — Я, правда, знала, что могу завоевать тебя… Какая же я дура! — добавила она.

Теперь почти каждый день они вместе обедали в ее квартире, и ей пришлось демонстрировать свое кулинарное мастерство, которое оказалось довольно высоким — для одинокой женщины, Аффад оценивал и хвалил по достоинству, не скупился на похвалы. Потом он помогал ей собирать посуду, чтобы оставить служанке, и немного играл на маленьком сладкозвучном пианино, которое иногда скрашивало ей грустные минуты. На нем громоздкий Сатклифф, вздыхая, погру-

жался в мелодии Шопена. Аффад играл не так хорошо, как она, тем лучше!

— Ты была счастлива в детстве? — поднимаясь, спросил Аффад. — Я, наверное, был, потому что ни разу не задавал себе этого вопроса. Я стоял между папой и мамой и держал обоих за руки, словно стоял между королем и королевой, между богом и богиней. О чем вообще можно было сожалеть и в чем сомневаться! Я жил, как во сне, и в самой глубине души мне кажется, что я и теперь еще так живу. Да, так оно и есть. Себастианн, — тихонько произнес он имя, которое не любил слышать из уст других.

Погруженные в свои мысли, они прямо в одежде лежали рядышком на кушетке.

— Знаешь, — сказал Аффад, — война медленно, но все же идет к концу. Италия вывернулась наизнанку, как рукав пальто. Я просмотрел все отчеты. Теперь нам известна дата высадки союзников в Европе. Это обязательно произойдет, все силы будут задействованы — немцы уже знают. И теперь, пока их еще не сломили, они будут вести себя намного отвратительнее. Прав был Тацит,[207] он совершенно точно описал

[207] Примечания: 207

Тацит, Публий Корнелий (ок 55 — ок. 120 гг. н. э.) — римский историк. Здесь имеется в виду его трактат «Германия». *(Прим. ред.)*

характер этой нации. А англичане держались великолепно; не знаю уж, чем мы сможем их потом отблагодарить…

— А что будет потом — каким ты представляешь мир потом?

— Разбитая Европа, похожая на старые сломанные часы; понадобятся шесть или семь лет, чтобы этот механизм снова заработал, если только русские не помешают. Они выйдут из войны сильными, это мы будем совсем истощены.

— Я останусь тут, — проговорила Констанс. — Буду распоряжаться отсюда, если получится. Посмотрим. А пока, на теперешний момент, мы не должны забывать, что завтра прилетает Обри. Сатклифф запаниковал и слег с сильной простудой. Похоже, боится посмотреть в глаза своему Создателю.

Он незаметно заснул, лежа рядом с ней, а потом и она заснула, но перед этим переоделась в шелковый халат и, зайдя в ванную комнату, расчесала растрепавшиеся волосы. Радио было включено, но совсем тихо. Констанс услышала, как Морис Шевалье поет свою «Луизу», и очень растрогалась, слезы покатились из глаз, размыв тушь и пудру, которые она поленилась смыть. Протерев лицо бумажной салфеткой, она сказала

своему отражению в зеркале:

— Вот увидишь, все это закончится острой невралгией.

Развязав шнурки, она тихонько стащила с него ботинки, так что он даже не пошевелился; чем же он занимался, что так уставал? Потом накрыла его и себя пледом, устроилась поудобнее, почти не дыша, как птичка, и стараясь не разбудить Аффада. Среди ночи Констанс проснулась и увидела, что он смотрит на нее широко открытыми глазами, так пристально, что сначала ей показалось, будто он все еще спит. Нет, Аффад не спал.

— Как чудесно! — прошептал он и после этого опять заснул.

Констанс ощутила гордость и покой, словно покормила грудью младенца. Сама она спала плохо, так как ее теперь тревожило будущее — мысленно она строила гнездо, то самое гнездышко, которое так осуждала. Ей показалось, что и часа не прошло, когда зазвонил будильник, и они неохотно поднялись в темноте, представив себе далекое летное поле в заснеженной долине. Автомобиль тоже не хотел заводиться, но наконец мотор заработал, и они поползли по спящим улицам в сторону озера, где было больше света, обещавшего скорое ясное утро.

— Можно мне покурить?

— Нет. Или я тоже закурю.

— Отлично.

Довольно долго они еще сонно молчали, потом Аффад спросил:

— У тебя уже есть план, как лечить Обри Блэнфорда? Ты говорила, что внимательно прочитала его карту.

— Да, есть. Надо сделать одну большую операцию и две уже менее серьезные, все не так уж безнадежно. Я попросила Кессли положить его в свою клинику — на сегодняшний день он лучший хирург в этой области. Обри еще молодой, и он в хорошей физической форме. Так что в его случае не стоит делать мрачных прогнозов. Я все организовала — у него будет неплохая палата с видом на озеро, и, разумеется, тут же под рукой горячая минеральная вода. Интересно, что он скажет.

Аэропорт еще только начинал просыпаться, так что в баре им подали невкусный слабый кофе и круассаны. Однако они довольны были и тем, что оказались в теплом уютном помещении, потому что снаружи дул сильный холодный ветер. Через некоторое время вдали послышалось ровное гудение трех «энсайнов», которые доставили пятьдесят избранников судьбы в безопасный

город, готовый предложить им медицинскую помощь. Совершив посадку, самолеты, дважды обогнув поле, остановились на некотором расстоянии от них, прежде чем выпустить на волю пассажиров: группу медицинских сестер и санитаров, после которых сразу вынесли большое количество носилок и инвалидных колясок. Аффад и Констанс терпеливо ждали, стараясь разглядеть в толпе Блэнфорда.

— Вот! — наконец-то воскликнул Аффад.

Узнал он, правда, не Блэнфорда, который сидел, съежившись, в кресле и крепко спал, укрытый пледом, а его змееголового слугу Кейда, который вез кресло, направляясь в их сторону. На нем было нечто вроде формы, которую носили в пустыне: вместо кителя охотничья куртка, а на форменной фуражке красовалось петушиное перо.

— Доброе утро! — весело крикнул он, завидев Аффада. — Вот он, целый и невредимый. Только сейчас он крепко спит. — Словно в подтверждение своих слов, Кейд порылся в ногах спящего и извлек из-под пледа пустую бутылку, в которой прежде было виски. Он нахмурился. — По мне так слишком много, но разве скажешь? Мое дело — выполнять приказы.

Он по-собачьи оскалился, показав желтые зубы.

Это означало улыбку. Больной в кресле пошевелился.

Констанс показалось, что Блэнфорд очень похудел с тех пор, как они виделись в последний раз; в своем теперешнем состоянии он выглядел гораздо моложе и был на удивление загорелым, что придавало ему сейчас, пока он спал, вполне здоровый вид.

Но вот он проснулся, то ли из-за резкого толчка кресла-коляски, то ли из-за внезапной тишины, или, наоборот, из-за шума или неожиданного холода — пронизывающий ветер не утихал, и воздух был полон приветственных возгласов. Так или иначе, он проснулся и, смущенно улыбаясь, протянул каждому руку со словами:

— Прошу прощения — меня несколько развезло. Перелет был долгим, двенадцать часов, и из-за боли в спине пришлось пить виски, хоть Кейд и возмущался.

Констанс с искренним удовольствием сказала, что он ничуть не изменился — ну, если не считать появления маленьких усиков. И она тоже не изменилась, проговорил он и покраснел от удовольствия и смущения, расчувствовавшись при встрече с человеком, сумевшим как-то выжить после того их лета в Провансе. И оба тотчас

оговорились:

— Зато внутри! — воскликнула Констанс, и он согласился, что перемены есть, правда, невидимые. В душе они считали себя стариками. Пока они разговаривали, он держал ее за руку, словно так ему было теплее и надежнее. Чувствуя себя лишним и не желая усугублять скованность и смущение обоих, Аффад, сердечно поприветствовав Блэнфорда, удалился. Решили, что Констанс поедет в автомобиле «скорой помощи» вместе с Обри, а он потом пришлет за ней в клинику служебный автомобиль.

Надо было еще пристроить Кейда и коляску, и Констанс договорилась с шофером «скорой помощи», после чего втиснулась рядом с ним и всю дорогу молча держала Обри за руку.

— Не могу поверить! — воскликнул он один раз и больше ничего не сказал, однако она обратила внимание на то, что его лихорадит и он немного нервничает, вне всяких сомнений, от усталости и дискомфорта, испытанных в тесном самолете устаревшего образца. Во всяком случае, он громко и с неожиданной суровостью бранил Кейда за какие-то дурацкие мелочи. Слуга не отвечал, но щерился, приоткрыв зубы, с выражением страдания на лице, а, может быть, наоборот, как

пес, готовящийся к нападению. Свое неудовольствие он выражал частыми вздохами и громким сопением. Поняв, что Констанс подметила раздражительность, эту новую черту в его поведении, и смотрит на него с любопытством, Обри покраснел, деланно засмеялся и попытался отшутиться:

— Как видите, превращаюсь понемногу в старую деву. Мы ссоримся как старая супружеская чета — Кейд в роли жены.

Кейду были явно противны эти рассуждения, и он сделал вид, будто ничего не слышит. Все с тем же угрюмым упрямством он смотрел в окно, нетерпеливо ожидая, когда они приедут в клинику доктора Кессли. И довольно скоро они свернули на ухоженную территорию с пихтами и зеленой травой, уставленную элегантными шале. Возле одного из них «скорая» остановилась, и они выгрузились и отправились в апартаменты Блэнфорда. Ему понравился и красивый вид из окна, и уединенность этого места.

— Я мечтал о снеге, — сказал он. — Так хотелось опять увидеть снег.

Пришел доктор Кессли и сразу завоевал расположение Обри своей скромностью и информированностью о его положении. Констанс он называл по имени, что усиливало ощущение домашности

и взаимного дружеского расположения.

— Несколько дней вы будете принимать только горячую минеральную ванну и водный массаж и много спать; постарайтесь как следует отдохнуть и расслабиться, прежде чем мы предпримем следующий шаг. В Каире вы получили все, что требовалось на первом этапе — они сделали все что нужно. Так что мы можем спокойно обсудить теперешнюю ситуацию. Полагаю, вы представляете, в каком вы положении.

Блэнфорд сказал, что представляет, доктор Дрексел в Каире все подробно ему рассказал.

— Отлично, — отозвался хирург и ушел.

После его ухода Кейд и Констанс помогли Блэнфорду умыться и привести себя в порядок перед тем, как уложили его в постель. Когда слуга ненадолго вышел из палаты, Констанс сказала:

— Знаете, тут у них отличный уход, так что можете избавиться от Кейда, если пожелаете.

Блэнфорд покачал головой.

— Не сейчас.

Оба замолчали, и Констанс испугалась, не обиделся ли Блэнфорд из-за ее предложения; тем временем вернулся Кейд и, не говоря ни слова, занялся необходимыми делами. При нем они чувствовали себя скованно, поэтому лишь улы-

бались друг другу, не в силах выдавить ни слова. Потом слуга опять за чем-то ушел, и Блэнфорд сказал:

— Я не могу его выгнать, он единственная ниточка, связывающая меня с моей матерью. Каждый день он рассказывает мне что-нибудь о ней, о какой-нибудь мелочи, и я лучше понимаю, почему так сильно и так несправедливо ненавидел ее, но разве я мог тогда относиться к ней иначе? Потому сейчас и оказался в таком положении — в случайности я не верю. Учитывая все это, я вряд ли когда-нибудь захочу иметь детей.

— Но ведь это то, что Фрейд говорил о женщинах, — с удивлением произнесла Констанс.

— Все, что он говорил о женщинах, касается и мужчин, — сказал Обри Блэнфорд знакомым менторским тоном старого священника, из-за которого они над ним безжалостно когда-то насмехались.

Он с такой милой важностью это произнес, что Констанс совсем по-детски захлопала в ладоши, словно они вновь оказались в Ту-Герц. Не утерпев, она чмокнула его в щеку, и он покраснел от удовольствия.

— О бездетное чадо мое! — произнесла она, имитируя насмешливый тон Сэма, пародирующего

святого отца. — Вы позволите Кейду подвергнуть вас психоанализу?

Блэнфорд с раздражением отмахнулся.

Пришла дежурная сестра — познакомиться с новым пациентом, и Констанс начала прощаться, поскольку ожидавший ее шофер уже несколько раз сигналил. Ему нужно привыкнуть к новой обстановке, а она придет завтра, и он покорно кивнул в ответ. Поцеловав его почти восторженно, она воскликнула:

— Слава богу, вы не изменились — все тот же степенный Обри Блэнфорд, эсквайр. Я очень счастлива!

Увы, он не мог сказать того же о себе.

— Я очень изменился, — серьезно произнес он, но подмигнул ей, — правда, в худшую сторону. Я стал циником. Передайте Робину, что я его презираю — за то, что он струсил и не пришел повидаться. Мне известно, что он сейчас живет в доме с таким маленьким лифтом, что мне ни за что туда не влезть с моей коляской. А он притворяется, будто у него грипп. Передайте ему, что в качестве наказания я напущу на него одну темнокожую женщину, в ней столько силы и очарования, что ему придется с ней переспать.

Однако Констанс решила, что Блэнфорд должен

сам разбираться с Сатклиффом — без ее посредничества. Но ничего ему не сказала, и когда они прощались, лишь попросила:

— Не очень сердитесь на Робина, он и вправду подвержен простудам.

— Я сержусь, — мрачно отозвался Блэнфорд, — потому что он стал чересчур строптивым и дерзким — в конце концов, он мое творение, и негоже ему рваться на свободу, тем более демонстрировать собственную волю. Выходит, что моя власть над ним не так уж безгранична, черт бы его побрал. Я велел ему быть в аэропорту. А он ослушался меня. Значит, должен быть наказан!

Выйдя от Блэнфорда, Констанс поехала в свою старую клинику к Шварцу, как всегда, обрадовавшемуся ей. Переживавшие довольно спокойный период, Пиа и Трэш вместе работали над невероятным гобеленом. Это была копия находившейся в Авиньоне знаменитой картины из папской коллекции «Страна изобилия: Кокейн», которая наряду с прочими шедеврами была превращена Гобеленами[208] в источник наживы. Умиротворяющая работа, мотки разноцветной пряжи отвлекали обеих женщин от внешнего мира,

[208] Примечания: 208

Имеются в виду братья Гобелены, которые на своей фабрике в 1450 году начали производить шпалеры (гобелены). *(Прим. ред.)*

они сидели перед белым окном тихие, как монашки. Констанс пришлось подождать, пока Шварц разговаривал с ревностным американским психоаналитиком, который работал с ним вместе и часто прибегал к его «контролируемой беседе» при лечении некоторых очень сложных пациентов; это были «отступники» из числа многочисленных теперь в Женеве приверженцев Рудольфа Штейнера.[209] Их астральная теология молодому американцу абсолютно незнакома. Из кабинета Шварца доносились печальные протяжные фразы:

— Я дал ему свечку, которую вы прописали, но в его теперешнем состоянии не могу подавить его.

— *Подавить?*

— Извините, поддержать.

— Понимаю.

Очевидно, хотя пациент и был отступником, он еще не отделался от некоторых теософских представлений.

— Что вы предлагаете? — спросил Шварц.

— Из них двоих он более религиозен; ему, как говорит он сам, довелось добиться глубокого по-

---

[209] Примечания: 209

Штейнер Рудольф (1861–1925) — немецкий философ-мистик, автор оригинального эзотерического учения — антропософии, создатель соответствующей эзотерической общины. *(Прим. ред.)*

гружения — до уровня, на котором «астральное общение» оказалось возможным. Погрузился он так глубоко, что его настигло поэтическое прозрение — так он это называет. А потом его жена отказалась спать с ним. Она сказала, что от него пахнет, как от мумии, — бальзамирующим составом. Черт, прозрение, это, конечно, паршиво. Пока я запер его, напоив успокоительной микстурой.

— Что еще мы можем сделать? — спросил старик, когда они стали говорить о Пиа. Этот вопрос он всегда задавал с утрированным еврейским акцентом, это был излюбленный его вопрос. А теперь он был задан и Констанс. — *Aber,* Констанс, что мы можем сделать?

Он уже подумывал о шоковой инсулиновой терапии, но Констанс так решительно воспротивилась, что он отказался от этой идеи.

— Вы совсем лишите ее разума, — говорила Констанс. — В конце концов, ее болезнь связана с определенной ситуацией, и существуют люди, которых это тоже очень серьезно затрагивает.

Открыв для себя Аффада и познав головокружительное счастье в его объятьях, Констанс стала намного добрее к тем, кто по-настоящему любит — даже неуклюжая любовь Сатклиффа стала

казаться ей скорее трогательной, чем смешной и нелепой; ну а маневры наивной и добродушной негритянки добавляли их отношениям очарования и трагичности. Пиа хныкала и поскуливала, как больной ребенок, кем она, в сущности, стала, тогда как Трэш отвечала ей энергично, уверенно, с убежденным видом излагая очередную отчаянную глупость своим прекрасным порочным голосом, низким, как звуки виолончели.

— Я хочу, чтобы мы спали в одной большой кровати, — заявила она однажды Шварцу. — В ней хватило бы места для всех — для Робина и Пиа, для их друзей, если они захотят присоединиться к нам. Моя мама всегда говорила «никому не отказывай», и проповедник в церкви тоже говорил, мол, отдавайте все, что имеете. Но Робин не такой, и Пиа не такая. Может, мне лучше уехать?

— Нет. Вы уже пытались. Пиа все еще очень слаба для каких-либо неожиданностей. Ей опять станет хуже. Она пока должна находиться в нашем поле зрения.

Это была чудовищная растрата времени, таланта, лекарств. Нынешним врачам приходится лечить все, даже душевные раны. Впрочем, священник тоже вряд ли сумел бы ей помочь!

Глава двенадцатая
Визит Трэш

Болезнь, которая уложила Роба Сатклиффа в постель, случилась по его собственной вине из-за потребления в непомерных количествах крепких напитков и *tabac gris,* из-за нерегулярного питания и чудовищного количества лекарств: аспирин, всякие витамины и плюс еще таблетки от старости, придуманные неким швейцарцем Никсом, якобы омолаживающие. И вот он лежал теперь с высокой температурой, сопел, как козел, в своей измятой постели и страдал от насмешек соседа и коллеги, которому совсем не нравилось играть роль сиделки при человеке, отказавшемся посетить посольского врача только потому, что того звали Брюс Хардбейн.

— Я суеверный в отношении имен, — объяснил свой отказ Сатклифф.

Не пошел он и к швейцарскому врачу, потому что тогда ему пришлось бы платить за визит; Министерство иностранных дел обеспечивало своих сотрудников бесплатной медицинской помощью, но в определенных границах. Опаздывавший на

службу Тоби все же задержался — приготовить больному грог, чтобы тот выпил с аспирином, после чего надел потертое пальто и исчез. Сатклифф вздохнул; впереди был длинный день, который предстояло провести в постели, да еще с головной болью, мешавшей хотя бы почитать; лежать тут, в полном одиночестве и во власти мрачных, навязчивых мыслей о Блэнфорде, который тоже сейчас лежал в постели с дыркой в спине, правда в несравнимо более приятной комнате, с видом на озеро. Он бы позвонил Обри и сказал ему что-нибудь обидное, но телефон был вне пределов досягаемости. Вот он и лежал, как братья Гримм, как братья Карамазовы, как целое племя плачущих братьев Гонкуров, ввергнутых в печаль.

Сатклифф неожиданно услышал шум поднимающегося лифта, это удивило его, но еще больше он удивился, поняв, что лифт остановился на его этаже; из него кто-то вышел, отослав лифт вниз, потом этот кто-то подошел к двери, побарабанил по ней ногтями, потом толкнул ее — она всегда была открыта. Обрадованный Сатклифф решил, что это Констанс вдруг решила его навестить: он восторженно окликнул ее по имени; но кто кроме негритянки Трэш умел передвигаться с такой

эффектной медлительностью?

— Чудовище! — крикнул он, тихо ругнувшись. — Как ты нашла меня?

Трэш была на диво хороша, как черная жемчужина — кстати, на ней были длинные жемчужные серьги, которые смотрелись божественно на атласной черной коже. Она куталась в великолепный мех и, попав в теплое помещение, тут же слегка вспотела, распространяя вокруг божественный аромат своего прекрасного тела. Робин приподнялся и принялся вдыхать ее запах, словно экваториальный бальзам, которым веяло от этих волнующих Бермуд, ставших роковыми для его сердца. Ему было известно, что она подрабатывала манекенщицей для фирмы «Полакс», и ей иногда разрешали брать на время вещи — так что темный плюмаж, достойный шлема Черного Принца,[210] тоже, вероятно, принадлежал не ей.

— Мне просто захотелось увидеть тебя, милый Робин, — сказала она и, приблизившись, села на край кровати, одновременно кладя крупную, изящную, как кофейный столик, руку ему на лоб. — Да у тебя высокая температура, — сообщила она, когда он откинулся на подушки, изобразив

---

[210] Примечания: 210

Черный Принц — прозвище Эдварда, принца Уэльского (1330–1376).

обычную свою брюзгливую гримасу.

— Что тебя привело ко мне? — спросил он, стараясь говорить «скрипучим» голосом, как написали бы в романе.

Некоторое время его «скрип» оставался без ответа. Он с досадой наблюдал, как она отпивает из чашки его грог, обжигая вишнево-красные губы.

— Случилось что-то с Пиа?

Трэш отрицательно покачала этим черным мавзолеем, сооруженным у нее на голове из волос и плюмажа.

— Она будет спать до двух часов. Но мы говорили с ней, и я обещала зайти к тебе и поделиться тем, что мы задумали. — Она открыла красный рот, как какая-то большая морская шлюха, которая охотится за планктоном; чужие меха делали ее похожей на тюлениху. — Робин, ты не болен, — доверительно проговорила она. — Ты просто не хочешь бороться, тебе бы уцепиться за что-нибудь приятное и, как в песне поется, плевать на все остальное. Тебе лишь бы полежать! Думаю, Робин, ты такой горемычный, потому что у тебя нет доброй подружки. Ваши дамы в посольстве похожи на замороженных индеек, разве не так?

Он подумал: «Я не мог бы любить тебя, дорогая, любимая столь многими, я говорю серьезно».

Но в общем-то она была права, эта эбонитовая блестящая постельная специалистка. Ему была нужна постельная музыка или даже постельная потасовка с веселой монашкой. Самое ужасное, что она как будто сама была немножко влюблена в него и даже, пожалуй, ревновала к замороженной индейке, судя по тому, что ее теплая рука скользнула под пижаму, и, продолжая говорить, Трэш нежно расчесывала волосы у него на груди и легонько касалась сосков.

— Послушай, Трэш, я болен.

В ответ на это она игриво покачала головой.

— Неправда, Робин.

Он не борется, повторила она, но, видимо, собиралась еще больше его размягчить, чтобы не сопротивлялся, а потом огорошить каким-то сообщением, что бы это ни было. В любом случае, пахло от нее чудесно, как от целой кокосовой рощи, а ласкающая рука между тем медленно опускалась все ниже, отчего его так долго невостребованное тело покрылось мурашками, словно гладкая поверхность пруда — рябью. Она начала тихонько напевать что-то своим глубоким мелодичным контральто, что-то вроде чувственной спиричуэл, чтобы преодолеть его оборону — которая всегда была его слабым местом. Она напевала

свою распутную колыбельную песенку, чтобы прогнать грипп и восстановить здоровье, а также стойкую непобедимую эрекцию. Роб застонал от удовольствия, и как только это случилось, ее шубка распахнулась, и он обнаружил, что под шубкой на Трэш были только чулки и туфли.

— Не надо, Трэш, — прохрипел Сатклифф.

Но она уже вложила его медлившие пальцы во влажную алую щель, ее второй рот, где они нашли одно нежное местечко, отчего она сразу подняла голову и втянула воздух, словно тигрица, слегка поворачиваясь, чтобы лучше чувствовать, как его палец ласкает курок, благодаря которому грянет взрыв наслаждения. Когда она поняла, что настало нужное время, то совсем сбросила шубку и с удовольствием оседлала его, словно ребенок свою первую игрушечную лошадку. Это разозлило его, и он решительно ее перевернул, устроив великолепное доктринерское — каноническое — представление, от которого у нее кругом пошла голова. В конце концов они соединились в высшем наслаждении соития, во тьме страстного и всесильного оргазма. Трэш, нимфа, была создана для любви! Поцелуй, еще поцелуй, добродетельная уступчивость — ничего мрачного, ничего тайного, одно лишь загадочное видение целого.

Эрос versus[211] Агапе.[212] Вот он, обреченный провести жизнь, выхолащивая свои мозги, потому что эта нимфа не желает совокупляться. Он лежал, не приводя себя в порядок и чувствуя, что от него должен исходить запах младенческого стула и антисептического мыла, а она тяжело дышала рядом с ним, и ее груди были свежи, как вечерняя роса. «Боже мой, Трэш!» — проговорил он с печалью, которая могла сравниться размерами с кочаном цветной капусты. Трэш шепотом процитировала первые стихи шестнадцатого псалма.

— *Не надо,* — с мукой в голосе произнес Сатклифф.

— Она сказала, если я сделаю это, ты скажешь «да», ты согласишься.

Сатклифф разозлился.

— Давай. Выкладывай! Чего ты хочешь?

Но она опять стала возбуждать его желание, умелыми руками возводя песочный замок, снесенный приливом страсти.

— Дай-ка мне своего малыша, милый, — прошептала Трэш, беря в руки самое ценное достоя-

---

[211] Примечания: 211
Против *(лат).*

[212] Примечания: 212
Духовная любовь *(греч.).*

ние Сатклифа и страстно его лаская.

Однако Сатклифф восстал, отказываясь дать волю эрекции. Пусть сначала скажет, зачем пришла. Он закрыл глаза и стал представлять холодное мороженое. Недовольная таким проявлением независимости, Трэш слезла с кровати и отправилась помочиться, причем проделала это с таким шумом, который не произвели бы и четыре воспитанных дамы. Вернувшись, она встала возле их ложа и спросила прямо и многозначительно:

— Мы решили, что хотим отправиться в кругосветное путешествие. Ты разрешишь?

Это было настолько неожиданно, что Сатклифф на мгновение лишился дара речи.

— В кругосветное? — наконец переспросил он.

— На да. Война скоро закончится. И мы сможем отправиться в путешествие. Понимаешь, Робин, она хочет показать мне все то, что ты показал ей.

— Какого черта? — Сатклифф не мог скрыть своего изумления. Наверняка, она слышала о высадке союзников и о последних победоносных сражениях, отбросивших немцев обратно к границам фатерлянда. — Война еще далека от завершения.

— Нет, она скоро закончится, — упрямо повторила она, — после высадки американских морских пехотинцев. Робин, ты не знаешь их. А я знаю. Во всем христианском мире ни у кого нет таких больших мерзавчиков.

Сатклифф не знал что сказать.

— Значит, они самые большие мерзавцы?

— Нет. У НИХ самые большие мерзавчики, — решительно покачав головой, ответила Трэш.

— Господь милостив, — сказал он, прося небеса, чтобы помогли ему быть предельно вежливым. — Садись, Трэш, и позволь мне объяснить, что такое война.

Он сделал глубокий вдох и, подражая манере продюсера «Часа малышей» на Би-Би-Си, стал объяснять Трэш, что даже если случится чудо, если война завтра закончится и будет объявлен мир, пройдут годы, прежде чем жизнь нормализуется; и, естественно, пройдут годы, прежде чем частным лицам можно будет путешествовать, ну а теперь разве что в качестве представителей какой-нибудь гражданской или военной организации. Трэш с блестящими глазами слушала безупречно логичные рассуждения Сатклиффа, время от времени кивая ему и облизывая губы, словно желая что-то сказать. Но он не давал ей

вставить ни слова, припоминая все чудовищные бедствия прошлого и настоящего и стараясь нарисовать портрет будущего, до которого не достать рукой, потому что сначала надо провести демобилизацию, потом восстановить города, экономику, цивилизованные отношения… на все это потребуется вечность! О каких путешествиях вообще можно говорить! О каком туризме?

— Неужели ты не понимаешь, Трэш? — с надрывом завершил он свою речь.

Сама же Трэш, похоже, думала совсем о другом, пока он рисовал перед ней все эти картины.

— Роб, ты можешь поехать с нами. Вот что она просила меня передать. Если ты не будешь сердиться. Она лишь хочет приобщить меня к культуре, которую ты когда-то ей открыл.

Сатклифф громко фыркнул. От старой тетки он унаследовал некую сумму денег с условием, что потратит ее на путешествия. Что могло быть лучше, тем более в ожидании войны — во всяком случае, никто не сомневался в том, что она будет. И он увез Пиа в просветительский тур, желая показать ей главные достопримечательности мира, в первую очередь Европы, а потом и Востока, насколько позволяли возможности железных дорог и самолетов. Вернулись они

потрясенные, ошеломленные, без денег, но с целой библиотекой туристических проспектов и брошюр. Пиа приняла все с несказанной благодарностью — одному богу известно, что она запомнила, однако путешествие оставило на ней свою печать. Оно стало бесценным опытом и для него как проводника по тем местам, которые ему вроде бы не хотелось больше видеть. Например, сильное впечатление произвела Индия, в которой нет спасения от насекомых; наверняка, первый *меланхолик* был родом с ее равнин. А вот в Гималаях можно было бы поселиться навсегда. Оказалось, что Пиа совсем необразованная, едва ли не неграмотная, однако монашка из Непала, которую они повстречали в дороге, сказала, что она очень продвинута духовно — по сравнению с ним. «Не обязательно быть умным, чтобы быть мудрым», — заявила эта милая женщина, которая училась в английской школе и свободно объяснялась на языке друидов. После этого Сатклифф еще сильнее полюбил Пиа и душил ее поцелуями и знаниями, словно Индийский океан летучую рыбку. А Пиа воротила свой носик от «Камасутры», называла ее «нездоровой» и говорила, что Тадж-Махал лучше смотрелся бы, если бы его возвели из кирпича. Теперь же она собирается

передать всю эту мудрость Трэш, милой Трэш, которая сидела перед Сатклиффом, сложив руки на коленях — ее шубка была распахнута, и бедра тоже. Она сидела с удрученным видом, словно поняла, что ее миссия провалилась.

— Когда вы хотите ехать?

Трэш пожала плечами.

— При первой же оказии. От тебя требуется лишь сказать «да», потому что без твоего согласия она никуда не хочет ехать. Робин, как только ты скажешь «да», мы начнем подбирать путеводители и проспекты. Милый, ты можешь спасти ее мозги, и для этого надо лишь отпустить нас.

У него прояснилось лицо.

— И это всё? Тебе надо лишь мое «да»?

Трэш кивнула.

— Да езжайте куда хотите, — забыв о вежливости, крикнул он. — Ради бога! На все четыре стороны!

Вне себя от радости, Трэш вскочила с криком:

— Ура! Ура! Ура!

А потом с ее губ слетел короткий, но выразительный стишок:

Что я хочу,
То я беру,

И нет причин
Терпеть насест,
Коль есть охота к перемене мест!

Было ясно, что она уже мысленно в пути.

— Дареная лошадка, вот ты кто, — сказал Сатиклифф и уже собрался было вновь заняться сексом, но Трэш надо было немедленно бежать, чтобы сообщить о его согласии Пиа. Она исчезла в мановение ока, забыв у него сережки.

Сатклифф примерил их и, обнаружив, что они ему к лицу, аккуратно отложил в сторону. В один прекрасный день он отправится в них в консульство. Это непременно, подумал он, произведет впечатление. Зазвонил телефон, и, когда он взял трубку, ему сообщили, что линия восстановлена. У него сжалось сердце, потому что больше не было причин не звонить Обри, то есть Блэнфорду-Блошфорду,[213] который распоряжался его жизнью. В конце концов он взял в руки телефонную книжку, в которой Констанс написала номер телефона клиники. Взволнованным фальцетом он спросил миссис Бензедрин Пападопулос, однако Обри, естественно, узнал его голос.

— Говорите, — отозвался он, и Сатклифф громко

---

[213] Примечания: 213
Блошфорд — прозвище Блэнфорда в романе Сатклиффа.

застонал. — Почему вы стонете, как Хитклиф в родах, — спросил ментор, — когда вы всего лишь Сатклифф в нефаворах? Чем вы там занимались, приятель, когда меня тут крутили-вертели?

— Я болел, — произнес Сатклифф с драматическим надрывом. — А теперь я звоню и сообщаю о том, что меня изнасиловала Трэш — я получил колоссальное удовольствие, но против воли. Чистой воды насилие!

— Это невозможно; вы ведь моя фантазия.

— Значит, у нас нет будущего?

— У вас есть контекст, но нет ни будущего, ни прошлого.

Он засмеялся.

Скажи, как трахают придумка?
Кого не возбудит такая шутка?

Сатклифф тоже сымпровизировал в ответ:

Молотит боль тебя, как цеп зерно,
Но с болью опиаты заодно.

Тем временем он не переставал внимательно прислушиваться к изменениям в голосе Блэнфорда. Ему ли было не знать, как часто тот маскировал свои чувства, связанные со стрессами, под нарочитым своенравным легкомыслием

— он уползал в свое отчаяние, как краб под камень, и вытащить его оттуда не умел никто. Самое главное, в нем не было страсти, словно отключили подачу энергии, о чем свидетельствовало постоянное физическое бессилие, от которого он очень страдал. Сатклифф крякнул, и Блэнфорд, следивший за его мыслями, сказал:

— Все, что вы говорите, правда.

— Я ничего не говорю, — отозвался Сатклифф. — Зато много чего думаю. Это как если бы мы были двумя версиями одной и той же личности, но только в разных временных пластах. Реальность ужасно утомляет.

— Точно, — подтвердил Обри Б. — Мы как бы половинки друг друга — вас создала хорошая книга.

Б. Какая книга? Ваша или моя?

С. Моя. Думаю, у нее лучше заглавие.

Блэнфорд вздохнул.

— Моя еще не закончена, но у меня куча заметок, которые помогут мне ее довести. А когда вы закончили свою?

— Когда узнал, что вы прилетаете.

— Как она называется?

— «Князь тьмы».

— Хм.

Сатклифф не мог удержаться и не процитировать Шекспира: «Князь тьмы по сути — джентльмен».

— Вы должны наконец объявиться, — произнес Блэнфорд изменившимся резким тоном, и его раб, распознав мрачную ноту, согласился с поразительной покорностью.

— Я знал, что рано или поздно нам придется встретиться и обменяться вариантами — это в порядке вещей. Не исключено, что мы поможем друг другу решить кое-какие проблемы — у вас, например, есть непростые проблемы. Как насчет этих любовников?

— Поскольку вы так любите Шекспира, то должны знать, — с раздражением произнес Блэнфорд, — что путешествия обычно заканчиваются расставаниями.

— Ах, жалость какая! — сыронизировал Сатклифф. — И как вам это видится? Мой вариант соответствует реальности. Она будет расстроена его уходом, но не уничтожена. В моей версии он предлагает ей ехать с ним, но она отказывается.

— Ну, надо же! — с удивлением и удовольствием воскликнул Блэнфорд. — Как вы узнали?

— Вам же известно, что я знаю!

Блэнфорд помолчал, а потом произнес:

— Вы должны приехать, и чем раньше, тем лучше. Приезжайте в четыре, к чаю, и не забудьте захватить с собой ваш вариант, если он закончен. Это поможет, а то у меня каша в голове. Вчера она провела со мной всю вторую половину дня, и я читал ей кое-какие сцены из книги, но потом нечаянно задремал, и, боюсь, она, не спросясь, проглядела всю книгу, пока я предавался сну. Теперь я мучаюсь, потому что она ничего не должна была знать, пока он не вернется обратно в Египет.

— Подсознательный саботаж?

— Естественно. Я ревную.

— Тогда вы не художник.

— Давайте оставим этот вопрос открытым. Жду вас сегодня в четыре часа. Я сразу же узнаю вас и, сняв свой пробковый шлем, крикну: «А вы, как я понимаю, доктор Либфраумилх!»

Он положил трубку и долго размышлял, неожиданно ощутив вселенскую усталость. Почему бы ему не утопить проклятую рукопись в озере? Его испугало то, что случилось накануне, не давало покоя, как ноющая зубная боль. Пришла Констанс на часок, но, к сожалению, когда он обычно спал. Он прочитал ей кусок из своей книги, но не смог справиться со сном. Теперь он вновь открыл

это место и перечитал его, вспоминая то, что произошло. Итак:

«В замызганной коричневой аббе[214] Аккад выглядел на редкость слабым и почти невесомым, когда, сидя на песке, говорил:

— С космической точки зрения, иметь мнение или предпочтение значит быть больным; ибо, имея их, человек преграждает дорогу неотвратимой силе, которая, подобно реке, несет нас в океан абсолютного незнания. Реальность все равно что брошенный аркан, который останавливает человека мгновенной смертью. Мудрее — взаимодействовать с неизбежностью, учиться извлекать выгоду из несчастливого положения вещей, осмысляя смерть и приспосабливаясь к ней! А мы не можем, мы позволяем нашему «эго» гадить в собственном гнезде. Поэтому нас преследуют опасности, стрессы — плоды бессонницы, целый народ молит о сне. Как исправить это положение, если не посредством искусства, не с помощью тех даров, которые предоставляет нам наш язык, освобожденный чувствами, не посредством поэзии, которой предназначено проникать в самую суть вещей?»

---

[214] Примечания: 214

Абба — свободная верхняя одежда из верблюжьей или козьей шерсти.

— Посредством искусства? — с неприязнью воскликнула она. — Чепуха!

— Искусства! — твердо отозвался Обри Блэнфорд.

— Нет!

Констанс почувствовала себя усталой, сверх меры измученной умышленно лживым рассуждением и, опершись на подоконник, стала смотреть, изредка вздыхая, на спокойную гладь озера. Неожиданно он прервал молчание, словно пытаясь опровергнуть ее мысли:

— Понимаете? Он не шутит, братство решительно идет на смерть, совершая добровольное самоубийство, — можно назвать это и так, хотя на самом деле удар наносится неожиданно кем-то или чем-то, орудием их общей судьбы, так сказать. О боже, неужели вы не понимаете?

Он увидел откровенную неприязнь на ее лице.

— Что ж, это один из способов попрощаться, — холодно произнесла Констанс.

В самом деле, Аффад, наверное, потому и расщедрился на то, что было между ними, что расцвело пышным цветом, как тропические джунгли, — знал с самого начала о бесперспективности их отношений, ведь рано или поздно они должны были подойти к глухой стене его

добровольного исчезновения — с помощью незнакомой руки, выбранной неизвестным комитетом на тайном собрании где-то в египетской пустыне. И ее воспитание, и ее профессия, и весь ее жизненный опыт восставали против этого трусливого самоубийства, отречения от жизни. А они тут беседуют о целебных свойствах искусства, словно оно своего рода витамин.

— Искусство! — с отвращением проговорила она.

Констанс была ошеломлена мужским малодушием! Ей тут же вспомнились все известные ей особенности аутизма и кататонии, порожденные нарциссизмом, разрушенным реальностью. С сочувствием и ненавистью Констанс вспомнила застенчивый неуверенный взгляд зеленых, как морская вода, глаз своего возлюбленного. Итак, он был слабаком, а не настоящим мужчиной. И игра в темный гностицизм была не для него, она лишила его душевного покоя. Констанс мысленно произнесла: «Когда разум сам себя не любит, не вылизывает, как кот, своего иллюзорного тела, то теряет способность заботиться о себе и восстанавливать себя через самоуважение. Тогда и плотская оболочка высыхает, и человек превращается в скелет, в машину».

Искусство! Кому оно нужно? В душе она разразилась язвительным хохотом, внешне — осталась холодной, бледной, разрываемой на части собственной нерешительностью.

— Полагаю, мне нужно оставить Красный Крест и вернуться к своей работе, если это еще возможно, — проговорила она, и он удивленно посмотрел на нее. — Знаю, — сказала она, отвечая на его взгляд, — это похоже на бегство, я сама этого не одобряю. Но мне нужно время, чтобы все обдумать.

Однако бегство назад, в Авиньон, как она понимала, было уже невозможно; в любом случае, всплеск ее чувств случился не вовремя, потому что все были приговорены к смерти, весь мир. Вся Европа представляла собой клуб самоубийц, разве нет?

От этих мыслей ее раздражение лишь усилилось. Почему ей так страстно хочется упрекнуть его, ведь он всего лишь член нелепого суицидального, так называемого братства, из трусости не желающий видеть мир таким, каков он есть. А все потому что (думала она) Эрос требует ложного утешения, обещания вечной жизни, чтобы расцвести — тогда как «расцвет» означает всего лишь выносить ребенка. Вот так! В глубине души

Констанс рассчитывала долго любить его и даже родить ребенка. Неожиданное напоминание о том, что в любой момент он может исчезнуть, лишило ее покоя. Вечная любовь оказалась скомпрометированной — чистейшей воды иллюзией, — и Констанс отшатнулась от нее. Теперь она была в ярости, но злилась не только на него, но и на саму себя. Она, скажем так, позволила обмануть себя в этой карточной партии. Сонный Блэнфорд с любопытством наблюдал за игрой мыслей и чувств на ее сердитом лице.

Они долго молчали, потом он взял в руки свою рукопись со словами:

— Это всего лишь роман, всего лишь хребет истории, основанной на фактах. Прежде всего, меня привело к ней беспорядочное, бессистемное чтение — тайна очевидной капитуляции тамплиеров и их очевидная вина. Аффад рассказал, что они были обыкновенными гностиками, чьим предназначением стало скрестить мечи с Месье вместо того, чтобы мириться с его правлением. Потом кое-какие ниточки я нашел в Александрии. Знаете, там с этим не шутят! Культ человеческой головы процветает и сегодня. В романе карта смерти, принадлежавшая Пьеру, была попыткой просчитать его собственные шансы — он написал

на ней имена своих друзей, замаскировав их под именами рыцарей-тамплиеров. Неожиданно он понял, что подошла его очередь — но кто нанесет удар? Я еще не закончил книгу, но в окончательной версии это будет Сабина. — Он помолчал немного, потом заговорил медленнее. — Им было запрещено самоубийство, значит, предполагалось некое ритуальное убийство. Естественно, лишь очень небольшой круг членов братства давал обет, это были избранные. Аффаду пришлось ждать много лет, так он сказал. И, конечно же, нет никакого способа узнать, когда он получит послание — короткие соломинки, приклеенные к рисовой бумаге с его именем. В письме с египетской маркой. Блэнфорд умолк.

— Мальчишество! — в отчаянии воскликнула она.

— Аффад уезжает послезавтра. Он звонил мне, спрашивал, где вас можно найти. Думает, что вы будете сердиться на него и ругать за то, что однажды назвали наивной чепухой.

Она печально улыбнулась.

— Наверно, так оно и будет, когда мы встретимся.

Констанс отпустила служебный автомобиль и отправилась пешком вокруг озера на их старое

место свиданий — напротив мыса, на самой окраине города. Там она увидела автомобиль Аффада, стоявший с открытым капотом; наверное, что-то случилось с мотором. Аффад неумело пытался его наладить, но со стороны это выглядело и смешно и грустно. В машинах Аффад ничего не смыслил, он сам об этом всегда говорил, и машины чувствовали это. Заметив Констанс, он не сразу решил, какую линию поведения избрать, — ему казалось унизительным застрять тут на берегу, имея в своем распоряжении дорогой автомобиль. Поэтому он не двинулся с места, просто стоял и печально ей улыбался, весь взъерошенный и несчастный. Когда она подошла относительно близко, он спросил:

— Ты уже знаешь? Обо мне наконец вспомнили.

Констанс ничего не ответила, продолжая приближаться, всматриваясь в него с таким жадным вниманием, что казалось, будто она хочет запомнить эти мгновения, прежде чем Аффад навсегда исчезнет из ее жизни.

— Ты будешь меня ругать, — произнес он, но она отрицательно покачала головой.

Констанс в конце концов увидела его таким, каким он был на самом деле, она увидела его

eidolon[215] во всем его кротком безволии и женственной теплоте. Аффад был весь в бензине, с растрепавшимися волосами, он по-настоящему страдал из-за унижения, в которое его вверг вероломный автомобиль… Констанс охватила острая жалость, сердце затопила жаркая волна, и на глаза выступили слезы счастья; она обняла его, словно хотела утешить. Внезапно ее пронзила острая боль, и она почувствовала невесть откуда взявшееся великодушие.

— Да, я тут, чтобы отругать тебя, будь ты проклят.

Однако это «будь ты проклят» прозвучало совсем не злобно — скорее ласково. Аффад посмотрел на нее своими печальными, недоверчивыми, зеленовато-серыми, как море, глазами. И она сказала:

— На самом деле, я пришла поблагодарить тебя за то, что ты подарил мне ключ от себя самой — научил жить и творить без мужчины. Этим я обязана тебе. — Они радостно поцеловались. — Я знаю, ты хочешь увезти меня с собой, но я останусь тут, потому что принадлежу этому городу; ты же, может быть, еще вернешься сюда. Или

---

[215] Примечания: 215

Эйдолон *(греч.)* — в эзотерике — астральная форма человека. *(Прим. ред.)*

не вернешься. Это уж как получится. — В его взгляде она прочитала восторг и глубокую признательность. — В мире так много смерти, что мы, наверняка, имеем право на толику любви. Давай ничего не портить, не будем принижать ее мелочностью и комедиантством.

Она села в автомобиль и нажала на стартер. Каким-то чудом мотор заработал. Они поехали вдоль берега. Никогда еще дружба и любовь не соединялись в жизни Констанс так полно, так органично. Ей казалось, что теперь она все понимает, и больше нет пути назад. Именно так им надо было попрощаться, даже если это не навсегда.

— Что будешь делать? — спросил он, обнимая ее за плечи, потому что она предпочла сесть за руль. — Не исключено, что у нас еще много времени.

— Постараюсь одолеть препоны моей суровой теологии — построить свой Тадж-Махал на плавучей льдине, как ты это называешь.

— Решая, сколько психоаналитиков может танцевать на булавочной головке?

— Если евреев, то бесчисленное множество, в этом я уверена.

Они долго молчали, глядя на синюю поверх-

ность озера, постепенно разворачивавшуюся рядом с ними.

— Знаешь, — сказал Аффад, — это ведь разговор с принцем заставил меня вдруг остро осознать, что я не был честен с тобой — мы в первый раз поссорились. Он сказал, что в моем теперешнем положении — ты ведь уже все знаешь — у меня нет права любить тебя. Буквально так. Я не могу оспорить свои обязательства перед комитетом — это было бы все равно что разорвать цепочку веры, которая связывает нас. Все равно что разорвать цепочку роковых писем-предупреждений. Принц считает, что моя любовь — обман, и он не собирается это терпеть!

Аффад, не удержавшись, улыбнулся, передразнивая манеру принца говорить. Констанс тоже улыбнулась.

— Очень мило с его стороны. Хоть кто-то меня любит.

— Мне надо вернуться и обсудить с членами нашей общины возможность моего ухода — могу ли я снова стать свободным. Если я смогу их убедить, то получу право вернуться к тебе — и тогда все будет по-другому. Представляешь, какой тогда станет жизнь? Ну, как тебе моя идея?

— Ты этого не сделаешь, — помолчав, ответила

Констанс. — Ведь в этом вся твоя жизнь. Даже пытаться не стоит. Уверена, когда ты хорошенько подумаешь, когда дело дойдет до дела, ты поймешь, что связан накрепко с ними, со своим братством, а не со мной. Внешне все будет выглядеть замечательно, я буду с тобой, и никто не запретит нам видеться. Но в действительности внутри все уже изменилось навсегда, и, может быть, это к лучшему.

— Для любви — серьезное испытание, — не мог не согласиться Аффад. — Но я не хочу упреждать будущее. Сейчас у меня нет сомнений, что я хочу освободиться и быть с тобой, пока еще есть время. Констанс, посмотри на меня. — Она посмотрела на него блестящими глазами и вновь сосредоточилась на дороге. — Могу я оставить тебе залог — не совсем обычный залог? Я хочу, чтобы ты посмотрела моего сына и поставила диагноз. До сих пор я не решался, а теперь понял, что должен попросить тебя осмотреть его. Пока я буду в отъезде. Ты сделаешь это?

Констанс ничего не ответила, но ее глаза медленно наполнились слезами, правда, не пролившимися. Жуткая мысль пришла ей на ум, отвратительная в своей низости: «Он хочет, чтобы я лечила его ребенка, чтобы вернуть любовь

своей жены». Как только она могла додуматься до такой ужасной несправедливости? Желая очиститься от страшных мыслей, Констанс потянулась к Аффаду и быстрым поцелуем коснулась его губ.

— Конечно, милый, я все сделаю, — сказала она. — Не сомневайся.

Он поблагодарил ее.

— Лили предлагала это уже давно. Она обрадуется. И это будет связывать нас в разлуке.

Они подъехали к конторе Красного Креста и оставили автомобиль во дворе. Лучшего места для прощания было не найти — даже для прощания ненадолго. Констанс поцеловала Аффада и отправилась в тот бар с бильярдом. А он с нежностью и сомнением, словно это было все-таки прощание навсегда, смотрел ей вслед. Идя по улице, она мысленно слышала голос Сатклиффа, говорившего: «Великой любви больше нет, остается лишь играть в «Змеи и Лестницы»[216]».

Скоро у нее останутся одни воспоминания, которые возвращаются вглубь времени. Будто кто-то распускает время, словно старый свитер, вспять, петля за петлей, пока не попадется первая спу-

[216] Примечания: 216

Игра индийского происхождения, привезенная в Англию в имперские времена.

щенная петля, первородный грех. Как правило, любовь уходит из-за пресыщения и безразличия, прочитанная книга. А он дал ей старинный текст, который можно читать и перечитывать, как дивный диалог, который продолжается даже в отсутствие собеседника. Диалог, помогающий осмыслить оргазм как обоюдное творчество, разделенный опыт, это было сродни научному открытию! Потом мысли об Аффаде, наверное, станут причинять боль, подобно отравленным стрелам, но пока она ощущала лишь восторг, свою общность с ним.

Эта любовь сама по себе была отдельной культурой. Целым миром. Она напоминала огромный экспресс, который сам меняет направление, не спрашивая разрешения ни у каких диспетчеров, в котором то курят, то пьют вино, плывут то на пароходе, то на яхте, в котором есть и сатир и фавн, в котором одно исчисление сменяет другое: и мы рабы дорожных символов на этом маршруте. Один недосмотр, запоздалое переключение, и воющий лязгающий гигант может быть сброшен с рельсов и улететь в ночь, в небо, к звездам. Трудно даже пытаться все понять. Между *vérisme*

и *trompe l'oeil*[217] они обречены жить и любить. В тот вечер, глядя, как сумерки опускаются на невозмутимое озеро, в котором отражалось бессердечное небо, она представила смерть и любовь единым целым — в образе кентавра, идущего к ней по голубым, как лед, водам.

[217] Примечания: 217

Натуралистическое изображение и изображение, похожее на действительность *(фр.)*.

Глава тринадцатая
Игра контрастов

Несмотря на врожденное легкомыслие и любовь к шуткам, Сатклифф, тем не менее, был очень послушным рабом. Наваждения, как правило, такими и бывают. Он материализовался на стуле возле кровати, едва Блэнфорд очнулся от тяжелого сна, в который его погрузил наркотик.

— Ну вот, — грубовато произнес он, — наконец-то мы встретились. Полагаю, доктор Могилоу?

Сатклифф важно кивнул.

— К вашим услугам!

Не сводя друг с друга глаз, они расхохотались.

— Я представлял вас намного толще, — сказал один.

— А я, наоборот, худее, — отозвался другой.

Что ж, придется им приспособиться к реальности — ничего другого не оставалось; скучно быть, так сказать, разными версиями одной личности, или нет? Сатклифф расчесал волосы и облачился в приличный костюм — приобрел

так называемый *tenue de ville*[218] вид. С собой он принес небольшую шкатулку, обитую потертым красным материалом, с монограммой Королевских вооруженных сил на крышке; в ней лежала рукопись романа — «другой» версии.

— Как вы его назвали? — с любопытством спросил Обри и, услышав ответ, кивнул в знак того, что название его устраивает: *«Месье».* Его собственный вариант еще не был завершен, но он рассчитывал закончить работу за время лечения, воспользовавшись кое-какими материалами Сатклиффа.

— Он здесь! — сказал посетитель, протягивая ему красную шкатулку.

— Все пять частей? Ваш *quinx?*

— Нет, *quinx,* скорее, ваш. Мой — *cunx*.[219]

Обри с восхищением посмотрел на своего друга и, хохотнув, проговорил:

— Клянусь пятью женами Гампопы, вы все еще темните. Quinx или Cunx, а?

— Диалог Гога и Магога.

— Мистера Quiquenparle и мистера

---

[218] Примечания: 218

Здесь: праздничный *(фр.).*

[219] Примечания: 219

Quincunx — расположение по углам квадрата с пятым предметом посередине.

Quiquengrogne.[220]

— Бан! Бан! Бан! Калибан.[221]

— Вот это дух!

Великолепно было общаться вот так — с глазу на глаз. Сатклифф уже приметил в углу палаты бутылку виски и поднос со стаканами и сифоном.

— Можно? — вежливо спросил он, откашлявшись и одновременно кивая в сторону бутылки.

Не дожидаясь ответа, он пересек комнату и взял стакан. Потом постоял, любуясь видом на озеро, Обри наблюдал за ним с довольным и несколько отстраненным видом.

— Мое видение, как и ваше, пока еще не стало панорамным, оно избирательное, поэтому есть белые пятна.

Сатклифф нахмурился и кивнул.

— Например, там, где Месье появляется на космическом уровне. Фальшивый демон на страницах, посвященных гностику Зосиме. Или, если использовать более современные термины, демон, фигурирующий в электричестве Фарадея.

---

[220] Примечания: 220

Болтун и Ворчун — названия авиньонских башен, упомянутых в начале романа.

[221] Примечания: 221

Калибан — раб, уродливый дикарь, воплощение зла в пьесе Шекспира «Буря».

— Представляете мою радость, когда я нашел, что он вновь объявился в военно-воздушных силах Великобритании. Командует, как гремлин,[222] и все еще среди нас. Его дядюшки — джокер в карточной колоде и повешенный в картах Таро — гордятся им.

— Неудивительно. У него весьма насыщенная жизнь.

— Война скоро кончится, Робин, и что же будет с нами? С этим нашим чертовым двойным видением и вечным отвратительным ощущением déjà vu?[223]

— Будем понемногу устаревать, отходить от современной жизни.

— Сомневаюсь. Еще многое предстоит сделать.

— Где?

— В городе! Мы возвращаемся!

— Все? В мертвый город?

— Все, кто еще жив. Выжившие благодаря любви. Об этом они размышляли с сомнением, даже с неприязнью.

— В легендах о тамплиерах, — сказал Обри, — есть одна о Тайной вечере, которая будто бы

---

[222] Примечания: 222
Злой гном, приносящий неудачу летчику.

[223] Примечания: 223
Дежавю *(фр.)*.

происходила в Авиньоне. *Если пятеро сели за стол, кто из них Иуда?* Вот вам загадка, не имеющая ответа.

— А Констанс тоже возвращается?

— Конечно! В Констанс ключ ко всему.

Будущее стало казаться немного более ясным. Во всяком случае, для Обри это было бы еще продвижением вперед — дополнительная возможность выздоровления. В клинике он мог бы пролежать еще много месяцев, одурманенный обезболивающими лекарствами, далекий от реальности, которая растворялась бы, как таблетка в слюне.

— В моем варианте романа, — сказал он, — я после войны возвращаюсь в Прованс с *великанами-людоедами,* скрывшись от мирской суеты в Верфеле. Этого мало; что-то не так в их несчастливой любви — надеюсь, с этим вы мне поможете. Наша реальность была более захватывающей, чем литература, и это непростительно. Теперь мы посмотрим на прошлое с разных точек зрения и с разными корабельными командами, так сказать.

— Можно мне выйти из игры, уехать прямо сейчас? — злобно крикнул Сатклифф. — Скажем, в Индию или Китай?

— Вы хотите вернуться обратно к жизни и

не можете, — с горькой улыбкой произнес Блэнфорд. — Я тоже не могу — ведь это снова к чертежам, к копирке. Обратно в Авиньон! Из Авиньона есть только две дороги — путь наверх и путь вниз, что, в сущности, одно и то же. Две розы принадлежат одному семейству и цветут на одном стебле — Маркиз де Сад и Лаура — точка, где встречаются крайности. Страсть, отрезвленная болью, *amor fati*,[224] охлажденная плотью. Старый любовный треугольник, из которого Платон выводил Брачное число, заимствованное у Пифагора, треугольник, у которого гипотенуза имеет значение «пять».

— Фу-ты ну-ты! — непочтительно произнес Сатклифф. — Вам все равно не увести меня от поиска идеальной дамы, хозяйки сексуального тангенса, *les éléments limitrophes*.[225] Я требую права на праздную любовь, на Лауру, не ведающую своей судьбы, *femme fatale, féotale, féodale*.[226]

— Вместо этого у вас будет лишь тибетское дыхание «в пять стадий», «лошадь» или «конь»

---

[224] Примечания: 224
Любовь к року, фатализм *(лат.)*.

[225] Примечания: 225
Смежные элементы *(фр.)*.

[226] Примечания: 226
Здесь: Женщина роковая, зарождающая, подавляющая *(фр.)*.

белого света[227] и колоссальная тишина, не имеющая определенных границ. Высокое дерево с живительным соком, застывшим в жилах.

— Тогда где?

— В Авиньоне, который называют розой мира.

[227] Примечания: 227

Видимо, имеется в виду «конь бледный», и на нем «всадник, которому имя "смерть"». Откровение св. Иоанна Богослова (6;8). *(Прим. ред.)*

Глава четырнадцатая
На берегу озера

Начинавшийся день был необычно теплым, и Блэнфорд почувствовал, что не может больше лежать в палате, глядя на манящие зеленые лужайки и дальше, на тихие голубые воды озера. Почему бы не устроить вылазку на природу? До первой операции еще два дня.

— Кейд, — сказал он, — сегодня у меня день рождения, и я хочу подышать свежим воздухом. Мне хочется прокатиться по берегу озера. Надо отпраздновать день рождения маминой смерти. Давай сюда кресло и плед и не забудь свою Библию. Ты будешь читать мне, как обычно читал ей.

К удивлению Блэнфорда, слуга как будто обрадовался, когда наконец-то сообразил, в чем дело.

— Отлично, сэр.

Завернутый в плед, уложенный в железную колыбель, Блэнфорд практически не чувствовал движения резиновых шин по набережной. Он все еще был немного сонным, немного оглушенным успокоительными таблетками, и его мысли

разбегались в разные стороны, не соединенные единым сюжетом.

— Кейд, нам никогда не увидеть греческую драму такой, какой ее видели сами греки.

— Да, сэр.

— Для них это было искуплением.

— Да, сэр. Мне читать? Откуда? Хотите, начнем с «Вначале было Слово»?[228]

— Нет, лучше с «Господь — Пастырь мой».[229]

— Отлично, сэр.

Слова проникали глубоко в душу, и он чувствовал, что тронут до самого нутра, ненасытно алчущего этого великолепия, этого английского языка, которого больше не существовало. Тем не менее, слушая Кейда, думал он совсем о другом, о пропавшем эссе Ницше об Эмпедокле, о безумии, об эволюции, о появлении мужчины из лона неотделимой от своего времени женщины и вообще о природе. Об иле и тепле, и о растениях, убаюканных журчанием воды, и об инфузориях, и рыбьих зародышах. Создатель просовывает руку в перчатку по локоть, словно в колбасную оболочку, а потом вынимает ее, но взаимодействие

---

[228] Примечания: 228
Первая фраза Евангелия от Иоанна (1; 1). *(Прим. ред.)*

[229] Примечания: 229
Псалтирь (Пс. 22; 1). *(Прим. ред.)*

животворных клеток уже началось. Таинственный, но уже предопределенный набор из рук, ног, глаз, зубов постепенно превращается в нечто завершенное: точно так же развиваются составляющие разума, электрический ток — ощущения, воображение, восприятие, познание: и все это держится вместе, благодаря центробежным силам вращающегося мира. *Здорово!* И потом, этот постепенный переход от одной формы к другой… саженец становится деревом, рыба человеком. Мысленное зрение выведет его к интригующим краскам, словам, мелодиям, а самое главное, понудит его украшать, восславлять и обустраивать свое тело — при жизни как храм, после смерти — как усыпальницу. Это породило постепенно гордыню, а потом и страх. Рога бога выросли на всех его святилищах, и человек сошел с ума, когда посмел *постичь!*

Человек открыл для себя огонь, вино, оружие и инструменты, а также каменные опоры для строительства, загадочную формулу Пифагора, власть золота. (Каждый человек сам себе пирамида.) Но вырваться полностью из-под опеки матери, чтобы понять суть Смерти и прийти к соглашению с ней, даже обуздать ее, как он обуздывал реки, — нет, этого человеку не дано.

(Может, друиды умели это делать?)

Голос Кейда пересыпался, как гравий на дне словесной реки; его корявая дикция возвращала словам их природную мелодичность. Гласные набухали, как надутые паруса. Тем временем разум Блэнфорда играл в «классы» среди его любимых мыслей, которые однажды могли бы войти в его прозу. «Кризис грянул, когда древний человек впервые нарушил границы «брачного сезона», отчего его потом подстерегал риск утраты желания. Само существование человечества было под угрозой — из-за настигших его холодности и безразличия. Напуганное божество, Природа, создало особо прекрасную опору — в виде Красоты, чтобы подстегнуть его пыл. Что может быть более неестественным, более восхитительно порочным? Глядя в глаза друг другу, любовники видят больше того, что помнят друг о друге, они видят «это» и тотчас смиряются и сдаются. Тело преклоняет колени, чтобы войти в образ матери, как в собор, и умереть, — чтобы плодородная личинка смогла выносить свою бабочку, новорожденную душу, а именно — ребенка».

— …Ибо в средине жизни настигает нас смерть, — сказал Кейд.

Конечно же, упрямо продолжал свои размыш-

ления Блэнфорд, греческий идеал красоты был замечательным изобретением, потому что его значение распространялось на все остальное, проецировалось, как луч, из собственного бесценного тела человека. Мастер и его изделие поднимаются до уровня настоящего искусства. Красота может быть, как аромат мускуса, даже в утилитарных механизмах: заменяемые части должны быть пропорциональны и привлекательны (словно callipygous[230] женщины с ляжками великолепных очертаний). Существует не только физический, но и интеллектуальный оргазм, абстрактный, как бумажные деньги, как музыка или дождь. Поэт чахнет, страдает и зовет свою Музу — такова индивидуальная интенсивная терапия для романтического инвалида! Нельзя безнаказанно заглянуть в будущее Евы, потому что она несет в себе семена идеи Смерти!

В течение нескольких смертных часов тела начинают распадаться — распускаться, как старые свитеры, вновь рассеиваясь в неопределенном хаосе, мульче, грязи, *merde*[231] разума. Одержимые жаждой преследования призраки! Тени

---

[230] Примечания: 230
Прекраснобедрые *(греч.)*.

[231] Примечания: 231
Дерьмо *(фр.)*.

мировоззрения лютеранина, осознающего себя лишь червем, перенятого у толстых кишок с их вязкими шифровками. Великие дамбы сознания пропускают лишь струйки реальности — жажда дело обычное, воды жизни вечны. Сознание привычно трудится, но какое мировоззрение может оно выработать у несчастного невротика-христианина, лишившегося своей изначальной невинности? Кейд, между тем, умолк и теперь шагал с опущенной головой, уставясь под ноги.

— Кейд, о чем думаешь? Ты никогда не рассказываешь.

Но слуга лишь отрицательно покачал головой и в нервозной усмешке оскалил желтые зубы.

Прекрасный — в качестве своего рода геометрии несчастного сердца, родился Метод,[232] и венский волшебник все измерил складным футом. Психические разновидности выделены в группы. Ах, маньяки, краснорожие и зобастые! Ах, меланхолики, загадочные, косматые, бледные из-за избытка черной желчи! Любовь стала манией. «Потом я увидел ее там, мою малень-

[232] Примечания: 232
Имеется в виду метод психоанализа З. Фрейда.

кую королеву». Гебефренический[233] синдром накрывает как волной — беспомощный смех шизоидных ниггеров. Ранен,[234] господа, ранен! *Morfondu!*[235] Выбит из колеи!

— Временами, сэр, она была не в себе, — проговорил Кейд. — Она сказала мне: «Кейд, я уже по другую сторону любви, теперь я всех ненавижу, даже сына». Я боялся за ее разум.

Блэнфорд слушал его, склонив голову набок, и чувствовал ритмичное биение своего сердца под пледом. Такие неожиданные озарения бесценны. Живешь и думаешь, будто все знаешь, а потом вдруг истина как молния. Он сказал себе, что любовь превосходит волшебство своим могуществом. И Мерлин[236] и Просперо[237] проиграли, в конце концов сложили оружие, пресытившись

---

[233] Примечания: 233

Гебефрения — юношеская форма шизофрении, сопровождающаяся ребячливым кривлянием и бессмысленным шутовством. *(Прим. ред.)*

[234] Примечания: 234

Здесь вышедшее из употребления английское слово «fordolked», имеющее значение «wounded», то есть «ранен».

[235] Примечания: 235

Здесь: продрог до костей *(фр.)*.

[236] Примечания: 236

Мерлин — волшебник из сказаний о короле Артуре.

[237] Примечания: 237

Просперо — маг и волшебник из драмы Шекспира «Буря». *(Прим. ред.)*

познаньями.

Грааля шифр -

в значении того, что смысла не имеет,

Как Мерлин разгадал, — а кто еще сумеет?

Однажды пресытившись знаньями, Мерлин мог отправиться на Эсплюмиор, свой остров, чтобы до конца жизни под тихий плеск морских волн играть в карты со своим другом Просперо. В старую игру Судьбы картами Таро без «Повешенного»! Эсплюмиор!

Ему послышался наставительный голос Сатклиффа: «Больше работы для Института галлюцинаций и коитуса! Вы хотите соединить умозаключения в пе-ласгийском сексе, а это не работает. Даже Трэш это известно. Она сказала мне вчера: «Сперма иссякает, милый, а любовь никогда. Она остается с человеком до самого конца. Донашиваешь ее, как старый ботинок». При встрече они теперь будут произносить одновременно: *«Salut! Bon Viveur et Mort Future! Salut!»*[238]

Блэнфорд захватил с собой на прогулку больничного кота, который теперь урчал у него на

---

[238] Примечания: 238
Привет! Ныне живущий и будущий покойник! Привет! *(фр.)*.

коленях под пледом, точно небольшой моторчик. Это особое мышление — которое создает художественный продукт, думал он. Выделяешь некие благоуханные флюиды, с трудом исторгаешь эктоплазмический[239] экссудат, память. Говорят, кошка покрывает мышь слюной, прежде чем проглотить ее, — смазывает, чтобы она легче прошла в глотку. Может быть, тут тоже нужна смазка, чтобы вызвать робкую Психею, это дитя любви, спящее на свадебном торте его матери или на гробе его отца?

> Базары тишины — где играм предается
> Она младенческим — заглядывает внутрь колодцев.

Конец смерти есть начало полового влечения и наоборот. Дети — абстрактные игрушки, отображения любви, модели времени, возможность спасения от пустоты — от конечного «ничто».

Представим, некто написал книгу, в которой все персонажи всеведущие, все — Бог. Ну и что? Такое можно сочинить только в убийственном настроении, словно ожидая, что на рассвете при-

---

[239] Примечания: 239

В парапсихологии эктоплазмой называют субстанцию, которую испускает медиум в состоянии транса. *(Прим. ред.)*

дет расстрельная команда. Но именно *творит* художник! Неужели бедняжка Констанс в самом деле поняла то, что ей говорил Аффад, — будто в попытке достичь осмысленного оргазма он старался постичь то, что до сих пор считается рефлективным и не зависящим от логики? Вот это воистину любовь!

Парочка была мертва,
Перед тем обвенчана
Под зеленым деревом!

Наверно, Констанс все-таки считает его бескорыстным поборником человеческой добродетели, хотя он не в состоянии, в отличие от очень многих, воспринять ее как средство защиты от Нечто — от злой судьбы, которой нет дела до теологических различий. Глупость и притворство, неразделимо присутствующие элементы болезни и, соответственно, религиозности! О, укради для меня немного счастья, Констанс, ибо я до смерти устал от гонки с препятствиями, которые устраивает этот мой старый измученный конь! Моя душа живет в индийских руинах, а разум тем временем собирает дельфиньи яйца! *Le double jeu*

de Rimbaud![240] Двойная игра!

Женщина черпает силу в обдуманном самоуничижении, как в Архимедовой точке опоры; юные девушки, едва выскочившие из-под материнского крылышка, выкраденные из тихого гнездышка, все еще нуждаются в материнской опеке. В приятной утренней дреме он увидел, как они идут, крутя бедрами, профессиональные танцовщицы с красивыми ягодицами, *sécheresses, vengeresses, castratrices de choix*,[241] и понял, что гильотина была придумана французской лесбиянкой.

— Кейд, — резко произнес он, — приведи в порядок штаны, а то мухи залетят!

Она была прекрасна: эта темная, цвета черной розы кожа и рот, словно абрикос, липкий, как нетронутый гимен — клейкая дорожка шелковичного червя, тянущаяся по листку тутового дерева. Поцелуи насыщают и пресыщают. Как же звали ее отца, старого банкира, который совокуплялся со своей собакой и проводил зимы в Португалии, — разорившегося и уже почившего канинофила? Сатклиффу запомнилась белая ночная рубашка, ее основная одежда, карнавальный

---

[240] Примечания: 240
Двойное пламя Рембо *(фр.)*.

[241] Примечания: 241
Здесь: иссушающие, мстительные, не оставляющие выбора *(фр.)*.

костюм, игривый, якобы скромный. Ей больше подошел бы халат мясника, заляпанный свежей кровью на скотобойне! Пока мы лежим в одиночестве и муках, они сидят, втыкая спелые сливы себе в задницы, гребут под себя все самое лучшее, счастливые, как крысы, добравшиеся до мешка! Память, будто пес, вцепившийся в твою спину, выгрызающий тебе глаза. Лихорадка сладострастия сотрясает черное дерево сердца. Счастливы немногие — *ceux qui ont le foutre loyal!*[242] Осознав, что любая правда лжива, он как будто пережил себя, и его тень растворилась в воздухе. Все люди, у которых нет тени, гораздо лучше в качестве *привидений!* У кино, прокручивавшемся в его голове, отключился звук.

По общему согласию, красота в науке — это точность, которая там всегда нова, всегда свежа и нетривиальна. В языке красота являет себя в ясности, обнаженности мысли, одетой в звук. Он увидел Констанс, которая, маша рукой, шла к ним через парк. В ее какой-то незнакомой, грациозной походке была чарующая стремительность, нетронутая свежесть целеустремленности, словно предстоящая встреча с ним сулила ей какое-то

---

[242] Примечания: 242
Те, которые совокупляются правильно *(фр.)*.

открытие. Будто она шла по радуге. Когда она взяла его руки в свои, он сказал:

— Вы единственная понимаете, как мне страшно. Спасибо.

Она была влюблена и вся светилась — такое не скроешь. Странно то, что они живы и в своих обличьях, тогда как кругом на много миль сплошные мертвецы, бессчетное количество мертвецов. Правильно, думал он, Констанс и я равноудалены от тьмы на круге возможностей. Не исключено, что завтра его не будет, будет дыра во тьме, которая быстро зарастет.

— Да. Я знаю, как вам страшно, — сказала она, — и в общем-то это неплохо — как реакция.

Прогулка эта, полная лихорадочных умозаключений, утомила Блэнфорда, и ему даже захотелось плакать. Он вытер глаза платком, и Кейд с неожиданной и удивительной нежностью погладил его плечо.

— Я все время говорю себе: «Зачем умирать? Зачем уходить? Здесь очень даже хорошо!»

Требовалось немало терпения, чтобы справиться с его унынием, поэтому она ничего не сказала, но еще раз помогла слуге поправить гору подушек. Неожиданно ему стало гораздо лучше. Сам он уже привык к стремительным сменам

настроений.

— Та порванная тетрадь, которую вы привезли из Ту-Герц, — сказал он, — вы заглянули в нее? — Оказалось, что не заглянула. — Там записи Сэма, и среди них стихи типа:

> Был он парень хоть куда,
> Хвастал, мол, обласкан феями сполна,
> Миссис Гилхрист ох не зря осуждена,
> Так как был он парень хоть куда.

Были в тетрадке и другие пустячки, которые позабавили их, а потом ей пришлось уйти, потому что у нее была назначена встреча, а он выпил снотворную микстуру и заставил свой мозг отключиться, понемногу отпивая зеленый чай, который она оставила ему и который Кейд заварил. В полудреме вновь ему явились слоганы и пиктограммы, когда он попытался увидеть слова, приходившие ему на ум. «Тайная практика — рабство обостряет чувства любовников. Комитет кукол всем заправляет. *Terrain giboyeux à vendre pour roman à clef.*[243] Тот, кто наградит свой роман геральдическим сомненьем, должен решительным образом сбить с себя спесь!»

---

[243] Примечания: 243
Продаются охотничьи угодья, цена — роман под замком.

На этом он наконец-то крепко заснул, и его разбудил лишь серебристый звон его дорожного будильника. Не без удивления он обнаружил, что Констанс сидит возле его кровати и, глядя, как он спит, о чем-то думает. Как бы там ни было, ему приятно с ее помощью восстановить связь с жизнью — из-за боли, лекарств и усталости он уже некоторое время пребывал в сумеречном состоянии, так сказать вне реальности. Констанс же была настоящей, как мелодия. Правда, ужасно печальная мелодия.

— Он уехал! — почти шепотом проговорила она. — Ах, Обри, вот это положение!

В дверь постучали, вошел Кейд с серебряным подносом, на котором лежало письмо. Улыбаясь своей обычной хитрой потворствующей улыбкой, он сказал:

— Письмо для мистера Аффада, сэр.

Ничего не понимая, Констанс и Блэнфорд переглянулись.

— Но он уехал, — наконец произнесла Констанс.

Блэнфорд взял письмо в руки и осмотрел его. Почтовый штемпель местный, марка египетская…

— Ладно, Кейд, — резко проговорил он. — Я по-

думаю, что с ним делать. Можешь идти. — Когда дверь за слугой закрылась, Блэнфорд обратился к Констанс: — Отдаю его вам под вашу ответственность. Не торопитесь. Дождитесь, когда сами сможете вручить его Аффаду — лично. А там уж что будет то будет. Не спешите, не испытывайте судьбу. Подождите!

— А если я вскрою его, чтобы прочитать, чтобы быть уверенной… какое искушение!

— Это, конечно же, вам решать. Новая форма искушения для Евы. Дорогая, делайте, как считаете нужным.

Констанс встала и взяла у него письмо.

— А что если порвать его и бросить в камин? Почему бы и нет?

— Почему бы и нет? — эхом отозвался Блэнфорд.

Она постояла, держа письмо перед глазами.

— Я должна подумать. Обри, мне надо подумать.

— Он смотрел, как она медленным, растерянным шагом пересекает зеленые лужайки больницы, направляясь к стоянке, где ее ждал автомобиль. Что она сделает? Непростое решение ей нужно принять. Ни за что на свете он не взял бы на себя смелость предсказать, как она

поступит.

Глава пятнадцатая
Падение города

Для историка всё — история, для него не существует никаких неожиданностей, ибо все повторяется, в этом он был уверен. В исторических книгах это всегда будет происходить в пятницу тринадцатого числа. Неудивительно, ибо человеческая глупость неистребима, и проблемы у людей всегда одни и те же. Моралист может говорить все что ему заблагорассудится. История с триумфом подтверждает победу божественной энтропии над желаниями большинства — над их надеждой на спокойную жизнь по эту сторону могилы. Для Авиньона так же, как для Рима, все это было не впервые; еще до того, как Авиньон стал городом пап, его жители видели темнокожих воинов Ганнибала, явившихся на тридцати слонах, которые своим запахом и жуткими трубными звуками вселили не меньший ужас в сердца римских легионеров, чем их кавалерия. Сегодня был измотанный Одиннадцатый танковый дивизион, вот и вся разница; много оружия свезли сюда для того, чтобы продолжить

военные действия на севере. А вот препоны были все те же: извилистые реки с быстрым течением и ненадежные мосты.

Давление возрастало в той же мере, что напряженность в новостных бюллетенях; неожиданно небо закрывали тяжелые бомбардировщики, которые летали вдоль железнодорожного полотна на рассвете и на закате, сбрасывая бомбы на кульверты и рельсы, или всю ночь трудились над районом сосредоточения войск в Ниме, где в небо поднимались высокие огненные плюмажи, и видно было, как в воздух взлетали, словно игрушечные, целые вагоны и из них высыпались человеческие фигуры, похожие на муравьев. Естественно, не все бомбы попадали в цель. В каком-нибудь огороде или на сельской дороге среди цветущих иудиных деревьев можно было увидеть старый дом, словно вставший на колени, почти упавший: некоторые средневековые *bergerie*[244] были вывернуты наизнанку, и фермерские вещи оказывались на ближайших деревьях. После бомбардировок наступала тяжелая гнетущая тишина — нестерпимая тишина, во время которой потрясенная реальность вос-

[244] Примечания: 244
Овчарня *(фр.)*.

станавливала свою целостность, так как только по прошествии какого-то времени можно было осмыслить и оценить урон. Говорят, одна бомба упала прямо на лужайку среди олив, где воскресная школа устроила пикник для детей. А потом раздался только многоголосый вопль. Вместе с мисками и стаканами на воздух взлетели и дети, некоторые были обезглавлены, а одна девочка повисла на стоявшем в стороне дереве, на шее у нее висела соломенная шляпка. Старый смуглый священник крепко схватился руками за живот, словно это была вырвавшаяся из поводьев лошадь. Смертельно бледный, он прижимался к стене, которая качалась на опустевшем пространстве, удерживаясь на месте единственно законом тяготения. Не имело смысла вызывать врачей с носилками, потому что опять приближался рев моторов. Опять на фоне заходящего солнца вниз полетели бомбы, но на сей раз они взрывались на мосту; бомбардировщики летели на такой низкой высоте, что можно было видеть равнодушные глаза стрелков, поливавших землю свинцом. Им отвечали пушки, которые были в крепости, однако из-за маленького калибра они издавали звуки, похожие на брехню дворняжек, тогда как бомбардировщики лаяли, как охотничьи псы в

разгар погони.

Далеко над зелеными лужайками, в клинике Монфаве, был слышен лишь смутный рокот, но из-за стрельбы из низко пролетающих самолетов многие деревья стояли с обрезанными верхушками — зеленые платановые листья падали, как дождь, как благословение небес. Пациенты собирали ветки в центральном дворе и махали ими в знак благодарности самолетам. Они не замечали, как то один, то другой из их компании садился на скамейку и сидел, не шевелясь, или укладывался спать на клумбу. Им было не привыкать к странностям в поведении окружающих людей. Катрфаж не участвовал в происходящем, ибо ему удалось достичь такого высокого уровня сознания, который позволял смотреть на него исключительно с исторической точки зрения.

Спал он в монашеской келье в самой старой части здания, и торопливо пробегавший по стене свет от фар проезжающих мимо автомобилей пробуждал картины из прошлого, проецировавшиеся потревоженным сознанием: когда-то так явственно им воображаемые стройные ряды вооруженных рыцарей в великолепных шлемах с плюмажами гнались за неверными — похожие на роскошных огромных птиц на лошадях. Те-

перь то же пространство было населено одетыми в черное представителями новой Инквизиции, жаждущими трофеев, а не знаний. Он громко смеялся, потому что вместе с проезжающими мимо машинами и танками сменялись картинки в его воображении, это было похоже на фильм, картинки были очень разными. Однако у Катрфажа сохранялось ощущение беспрерывности изображения, потому что все картинки объединялись образом Распятия с картины Клемента — страной Кокейн. Поразительно, что это полотно не увезли, подобно многому остальному, несмотря на явную художественную ценность. Более того, Смиргелу даже удалось сделать с него цветной снимок в половину размера, который он пришпилил к стене кельи в отделении для буйных, где писал свои отчеты. До Катрфажа долетали звуки его шифрующей машинки, назойливые, как долбежка дятла. Смиргел переоделся в штатский костюм скучного свинцового цвета и стал похож на оставшегося не у дел чиновника. Теперь он ходил, а не печатал шаг. Казалось, ему было трудно передвигаться, будто на него давило бремя сложившихся обстоятельств, коллеги же его реагировали на это иначе: стали еще более резко отдавать команды и нервозно бегать туда-

сюда, так двигаются персонажи старых немых фильмов. Танки ушли, и немцы почувствовали себя брошенными, незащищенными; появились новые сообщения о высадках на Лазурном берегу, недалеко от Ниццы. Три роты воздушных наблюдателей, на которые немецкое командование очень рассчитывало как на эффективную службу разведки, были разбомблены в пух и прах. Не было никакой возможности привлечь внимание верховного командования к ситуации в Провансе, потому что все взоры были обращены на Нормандию, где происходили решающие сражения — не только для тамошних войск, но и для армий, стоявших южнее, не говоря уж об итальянцах!

Что касается Катрфажа, то его больше всего удручало любовное затишье у лягушек, водившихся в прудах с водяными лилиями. Ему нравились щекотавшие нервы фаготные звуки, ему нравилось наблюдать за любовными актами лягушек: их шеи раздувались от лирических песнопений, они напоминали теноров на музыкальных фестивалях в Марселе. Его учили, что их любовные крики точнее всего переданы Аристофаном, фраза «брек-эк-кек кек ко-акс-коакс», действительно довольно адекватно передавала

их. Но через несколько дней Катрфаж отметил, что крики лягушек явно стали другими: «Бук-бук-бук-агент-шпион». Да, так было правильнее! И более злободневно. Обычно он лежал часами возле пруда, прижавшись щекой на земле, и наблюдал за любовными ристалищами лягушек, которые иногда соединялись в цепочки, забираясь друг на друга исключительно из «стадного» чувства — скажем, три самца, а в конце цепочки одна лягушка — мертвая, но, все еше соединенная со своим возлюбленным, который не может избавиться от нее и не может отбиться еще от трех более молодых самцов, лезущих ему на спину. В душе Катрфаж был добрым юношей, и некоторое время он отделял мертвых от живых, используя длинную металлическую лопаточку, которую украл из кухни. Маленькие существа были в такой горячке, что не могли расцепиться. Более молодые и менее опытные приходили в такой восторг от своей любовной оргии, что карабкались на всех подряд, живых и мертвых, самцов и самок. Такая полная самоотдача в пылу жестокой страсти была потрясающей. Иногда, засыпая, Катрфаж подражал их стенаниям, смеясь от удовольствия и игриво обнимая себя. Потеряв разум, в формальном смысле, он обрел изумительное

ощущение свободы. А теперь еще в воздухе веяло великими переменами. Ненавистные милиционеры неожиданно разбежались, сняв форму, хотя некоторые все же оставили при себе оружие, прежде чем уйти в горы, где их ждали засады, организованные Сопротивлением.

Катрфаж слышал, как доктор Журден передавал эту важную информацию Смиргелу, то ли запирая, то ли отпирая одну из дверей в отделении; информацию привез какой-то человек на велосипеде. До чего же, верно, пусто в городе! Катрфаж начал подумывать о том, чтобы вернуться туда на некоторое время и произвести мысленную инвентаризацию постигших его перемен. Он никогда не видел осаду, зато много о них читал и мог заранее предугадать кое-что из сегодняшней реальности, например, это: бегающие по городу стаи оголодавших собак, обезумевших от шума и недостатка пищи; они нападали на горы неубранного мусора и помойки. Появились и странные банды без вожаков, не очень многочисленные, но тоже безумные — то ли поляки, то ли русские, этого никто не знал, — они бегали по городу, вооружившись палками. Забирались на паромы, которые все так же регулярно переправлялись через реку, хотя пассажиров не было.

Однако до конца еще далеко, вот о чем можно было подумать, взглянув на Риттера и его сотрудников, бледных, но решительно снующих по крепости, выполняя поручения, и по-прежнему держащих под контролем дороги и мосты — с помощью увеличенного количества патрулей, которые маячили на фоне изредка появлявшихся тяжелых танков. Они палили по противоположному берегу реки и по горам, откуда время от времени доносились единичные выстрелы то ли партизан, то ли просочившихся к ним милиционеров, то ли беглецов из рабочих бригад, спрятавшихся в лесу. Лишь пачка сигарет под рукой — с отрезанными фильтрами — говорила о том, что Смиргел нервничает, ибо ритм птичьего стука по клавишам оставался размеренным и спокойным. Он перепечатывал записи, сделанные скорописью на обратной стороне служебных бумаг или серых конвертов, компонуя из них донесения, которые Аффад получал на берегу Женевского озера и, возможно, пересылал Тоби в подвал. Смиргел давал краткую и точную характеристику новых сотрудников партийного командующего, отмечая высокий боевой дух, появившийся у них под началом генерала, у которого вечно болели зубы, отчего казалось, что он

всегда усмехается. Этот болезненный оскал сделался постоянным. Невысокого роста, со слегка округлыми плечами и длинными обезьяньими руками, которыми было удобно размахивать перед картой, партийный генерал перенял у фон Эсслина старомодную риторику, но несколько ее обновил, то есть включил в нее современные ругательства и причудливые шутки, после которых он с деланным восторгом хлопал себя по ноге, не изменяя вызванной болью усмешки на лице. Ему они были обязаны очень важной идеей. Лакомым кусочком для бомбардировщиков всегда был и всегда будет железнодорожный мост через Рону. Поскольку партийному генералу было сказано, что рано или поздно придется отступить в Тулузу, то ему пришла в голову мысль: если бомбардировщики союзников сбросят бомбы на поезд с боеприпасами, стоящий на мосту, тот взлетит на воздух и нанесет потрясающий, невиданный вред городу, который генерал успел возненавидеть от всей души. С другой стороны, если союзники узнают о поезде, то, возможно, не станут бомбить мост. Обмозговав это, он приказал отогнать пустой поезд в сторону, в Ремулен, и, не привлекая внимания, загрузить его самыми разрушительными взрывчатыми веществами,

которые находились в подземном хранилище в горах возле Вера. Это станет его прощанием с Авиньоном! Темной безлунной ночью поезд прикатили и поставили на мосту, после чего отцепили от него локомотив. В поезде не было ни единого человека. В городе немцы тоже якобы никого не оставили. Но на самом деле он находился под надежным прикрытаем новой базы в Вильневе, на противоположном берегу реки, и был защищен боковой средневековой стеной на случай взрыва поезда. На днях город все равно предстояло покинуть, немецкое командование знало об этом, но было необходимо поддерживать видимость прежней силы, чтобы обезопасить отход войск. Немцы позволили информации о поезде «просочиться» к союзникам, так что в течение этого времени было разбомблено много других объектов, в том числе и мосты, но этот мост и поезд на нем оставались целыми и невредимыми. Лишь когда отступление стало непреложным фактом, Риттер подумал еще раз и решил, что неплохо все-таки устроить взрыв; почему бы поезду не взорваться в последние минуты перед отступлением?

Он отдаст приказ, размышлял Риттер, поставить дистанционные взрыватели по всей длине

поезда, и пусть вагоны взрываются, пока войска будут уходить. Ему было нетрудно вообразить себя в горах, ближе к Ниму, в тот момент, когда раздастся глухой скрежещущий звук взрыва, и он увидит, как побледнеет небо за его спиной, словно оттуда вытечет вся кровь, а потом покраснеет, станет багрово-красным! До чего же он ненавидел этот город, тем более теперь, когда все дома были заперты и на улицах можно было встретить разве что кошку. Половина населения перебралась в подвалы под главным собором, которые отлично защищали от бомб, но в которых никто не предусмотрел необходимых бытовых удобств. Более того, французы, видимо, были не способны сами организовать свою жизнь. Ну и грязь, ну и нищета!

Однако установка взрывателей требовала особой квалификации, а в подчинении Риттера осталось лишь немногочисленное саперное подразделение, состоявшее из австрийцев, которым было предписано утопить паром и взорвать восточный подход к городу. Но Риттер решил, что прикажет им в первую очередь заняться поездом. Однако когда австрийцев привезли на мост и объяснили задачу, они неожиданно взбунтовались и категорически отказались участвовать в

операции, которая могла нанести непоправимый вред городу. Это был жестокий удар, он показал Риттеру, как низко пал моральный дух в оккупационных войсках. Согласно военному кодексу Риттера, бороться с этим можно было лишь одним способом. Саперам связали руки, после чего завели в крепость и поставили к стене, которая, судя по следам от пуль, постоянно использовалась для расстрелов. Когда длинная колонна вытянулась в ночи, пересекая мост и беря направление на Ним, позади остались пятнадцать убитых саперов и невзорванный поезд. Благодарные жители Авиньона похоронили австрийцев в освященной земле и украсили могилы розами.

В городе было тихо; почти все жители переселилось в подземелье либо пустились наутек, прихватив с собой лишь то, что могли унести на себе. Все двери и ворота в крепости были открыты. Уходившие войска попрощались с городом способом, который стал традиционным во время войны. Повсюду были экскременты — на столах, на стульях, в дверных проемах, на лестницах. И, естественно, лежали записки, предупреждавшие о минах-ловушках, — еще одна специфическая «визитная карточка» немецких солдат. Смиргел провел свои последние армейские дни, стараясь

никому не попадаться на глаза, но было ясно, что он, подобно другим агентам, сворачивал свои дела в Авиньоне и собирался отбыть, в соответствии с планом передислокации. Он разрешил своему шифровальщику упаковать необходимое оборудование скромного кабинета, сжечь все сохранившиеся инструкции и послания, погрузить вещи в грузовик, который находился в его распоряжении. Сам он якобы собирался чуть погодя последовать за остальными в служебном «фольксвагене». Однако на самом деле он отправился в Монфаве, надежно спрятал автомобиль на самой обычной ферме, переоделся в неброский гражданский костюм и, не дрогнув, перевоплотился в провинциального репортера, пишущего о своем родном городе. Собственно, после множества пережитых приключений, Авиньон практически стал его родным городом. Собрав свои вещи, он не забыл о бесценном томике «Фауста», который всегда лежал у него на ночном столике — пара строф обеспечивала ему хороший сон, имел обыкновение говаривать он со смешком. Все ушли. Последний солдат собирал вещи. Это был круглоголовый шваб-капрал, не лишенный чувства юмора. Он отсалютовал Смиргелу и спросил:

— Господин офицер, можно показать вам кое-что смешное?

Смиргел ответил «да», после чего солдат повел его в сад и открыл дверь уборной; на стульчаке, как на насесте, сидел некто, оказавшийся Ландсдорфом. Поначалу Смиргел не удивился, что у него выпрямлена спина, так как он опирался на стену. Но голова была откинута назад, как у пьющего цыпленка. Ландсдорф умер. Он выстрелил себе в рот из табельного «люгера». Капрал разразился смехом, и Смиргел послушно его поддержал, однако его нервозный хохоток завершился хриплым кашлем и вздохом. Ему нравился старик Ландсдорф.

Однако этот немец был не единственным «сюрпризом» такого рода. В Ту-Герц почти не происходило никакого движения, только ночью — небольшими группами; основные силы двигались по главным дорогам, и бомбили, в основном, другой берег. Если бы Блэз захотел, он мог бы видеть все со стороны, — достаточно было подняться на горку в лесу, с которой открывался вид на город. Ночью он прятался в норе, как лиса, запершись на все замки и погасив свет. Как же он не услышал выстрелов, которые оборвали жизнь пчеловода Людо? Засада, в которую

тот угодил со своим фургоном, была устроена всего в трехстах ярдах от лесной дороги. Блэз ничего не слышал и ничего не узнал бы, если бы не проходивший мимо дровосек: он вышел тайком из леса, чтобы одолжить огонька для сигареты. Он-то и рассказал, что видел на дороге их общего друга, пчеловода, забитого до смерти ребятами из Сопротивления — перевернутый и так и оставленный в яме фургон был вымазан красной краской, то есть несчастного обвиняли в доносительстве. Дровосек был не на шутку зол. Как они могли так ошибиться, просто не верится… В такие ошибки никогда не верится. Однако на войне все происходит так же, как в мирное время, — человек становится жертвой тех, кого считал своими.

В Провансе не принято бросать мертвых, тем более друга, без погребения, и Блэз с тяжелым сердцем окликнул жену, а потом принес три лопаты.

— Возьми мешки, — сказал дровосек, — его там на куски разорвали.

По дороге они шагали в мрачном молчании и скоро прибыли к месту трагедии. Фургон торчал из ямы, рядом лежала мертвая лошадь, вытекший мед смешался с кровью. Сам пчеловод лежал

немного впереди — он упал с раскинутыми руками, словно пытался защитить свою лошадь, все объяснить, упросить. Его тело как будто дымилось, но это был всего лишь ковер из сонных пчел; они укрыли окровавленного хозяина, у которого были разорваны рубашка и шарф; время от времени пчелы шевелились, придавая мертвому телу видимость жизни. Автоматная очередь несколько раз прошлась по фургону, изрешетив ульи. Пули рассекли свою цель на несколько кусков. Дровосек был прав, старые мешки, в которые собирали оливки, оказались весьма кстати. В них они положили рассеченное тело пчеловода и голову лошади и понесли в лес, туда, где можно было вырыть глубокую могилу. Фургон вытащили из ямы и спрятали в кустах, куда отнесли и туловище лошади. Пчелы не кусались, они продолжали дремать в кровавом меду, словно были в шоке. Нигде не было видно следов мальчика, сына Людовика, которым он так гордился. Может быть, это и хорошо? Да, наверно, он успел сбежать. Когда такое творится, дети всегда прячутся. Только таким образом история может себя увековечить.

Предстояло основательно потрудиться. Земля в этой части леса была не особенно мягкой. Од-

нако жена Блэза догадалась прихватить с собой хлеб с сыром, пару сигарет и маленькую бутылку огненной marc.[245] Мужчины, закатав рукава, разметили могилу. Но прежде чем они начали копать, жена Блэза обняла его и решительно поцеловала в губы — этого она никогда не делала.

Методично, неторопливо они проработали чуть не до самого утра, и все это время слева слышались взрывы и небо становилось белым, когда бомбардировщики подлетали с шипением, похожие на громадные веялки, освобождающиеся от груза.

Кризис зрел, как отвратительный нарыв. Однажды утром Журден проснулся и обнаружил, что в кухне никого нет, более того, нет и еды для больных. Положение было критическое, следовало что-то делать, но что? Телефон не работал. К кому обратиться? Чтобы успокоиться, он посидел немного, скрестив ноги, перед большим зеркалом, сделал несколько упражнений из йоги, стараясь правильно дышать. Потом он долго и неспешно принимал душ и мыл голову, чтобы как следует насладиться, возможно, последней горячей водой. Надел блейзер своего колледжа,

---

[245] Примечания: 245
Виноградная водка *(фр.)*.

темную рубашку и галстук колледжа. Рядом с кроватью лежали гранки его новой книги о шизофрении, и он остановил на них сразу потеплевший взгляд. Потребовались годы, чтобы сформулировать разрозненные наблюдения над его «паствой» и выстроить из них теорию. Шепотом он придирчиво прочитал один параграф, хмурясь, но не без удовольствия: «Таким образом, я утверждаю, что состояние шизофрении не связано с умственной неполноценностью, но является состоянием человека, живущего по другим законам. Когда вы кричите мухе «прочь!», то вряд ли уверены в ее знании французского языка. И если она все же улетает, разве можно предположить, что она поняла вас? Для шизофреника…»

Журден сидел на кровати и с горечью размышлял о своем положении; он тут, в клинике, совсем один, у него на попечении сто пятьдесят пациентов, которых надо кормить и мыть — и нет никого, чтобы помочь ему совершить это чудо, более того, нет ни крошки еды в кухне.

— *Merde!* — воскликнул он мгновением позже, утешая себя криком разгневанной души Кам-

бронна.[246] — *Triple merde!*

Однако ему было ясно, что этим он многого не добьется. И тут он услыхал шаги в коридоре, а еще звуки шпионского аппарата, напоминавшие жужжание насекомых. Главный генератор работал, но долго ли еще? Вскоре и он затихнет — остается не больше трех часов! Тогда и шпионского аппарата не будет слышно. Журден с мрачным видом прислушался. Потом достал из укромного места последнюю бутылку виски, взял два чистых стакана в ванной комнате и отправился к Смиргелу.

В эту минуту на дом и сад с грохотом обрушились бомбы, сразу лишив его способности мыслить. Поднялся высокий столб пыли; Журден обнаружил, что стоит, зажав в руке бутылку виски, и одежда его дымится — словно он стоит на костре. Невидимая рука прижала его на целых десять секунд к стене, а потом отпустила, и врач, точно тряпичная кукла, упал на колени, потом распростерся на земле, исторгнув крик, — такой, что он не узнал свой собственный голос. Прошла целая вечность, прежде чем пыль улеглась и он

---

[246] Примечания: 246

ПьерКамбронн (1770–1842) — французский генерал, участник битвы при Ватерлоо. Знаменит своим отказом сдаться в плен, который предварил словом: «Merde» (дерьмо).

убедился, что не пострадал, более того, не разбилась бесценная бутылка. Что же до воя, ударов в двери, криков и хохота его подопечных, то он привык к подобным проявлениям чувств, часто не имеющим основания. А тут, по крайней мере, был повод; половина здания оказалась в дырах, словно волшебник проделал их, выпуская «на волю» пленников — что всегда бывает пределом желаний всякого узника. Журден все-таки добрался до Смиргела, и без лишних слов они выпили животворную дозу алкоголя, мрачно прислушиваясь к шуму рушащихся стропил и распадающегося здания. Город как будто перестали бомбить, и теперь они стали центром действа. Психиатрической больнице досталась лишь одна порция бомб. Но этого хватило, чтобы в корне переменить жизнь обитателей клиники, ввергнуть их в панику и ужас. Во всех палатах были темные дыры в стенах, все двери слетели с петель. Целый мир, существовавший «снаружи», открылся Катрфажу, которого также прибило взрывной волной к стене в его «келье», к тому же он ударился головой о железную спинку кровати. Однако теперь он видел из окна, как отовсюду вылезают люди, идут с опаской, на цыпочках, с удивлением глядят на мир «снаружи» из своего

«нутра», словно рожденные заново. Площадка быстро заполнялась людьми, у каждого из которых был свой язык, и это был триумф судьбы над разумом! Крестоносцы новой реальности!

Главные ворота все еще были на месте, но едва держались, поскольку от петель почти ничего не осталось. До чего же медленно выползали обитатели клиники на тихую площадку, усаженную деревьями, правда, в большинстве своем поваленными! Тишина казалась чем-то новым и незнакомым после этой громовой бомбежки. На верхнем этаже Смиргел и Журден, наблюдали в окно за происходящим со стаканами в руках, однако забыв про свое виски, настолько их внимание было поглощено открывшейся им сценой. Лестницы, которая вела в «буйное» отделение, как не бывало, осталась лишь по-театральному выглядевшая теперь арка, через которую голодные пациенты клиники робко входили в реальную жизнь, когда-то мучительную для них и потому отвергнутую. У Смиргела мурашки бегали по телу, потому что он боялся сумасшедших, как все лживые люди; как будто эти преступные субъекты, такие с виду благочестивые, были ядовитыми змеями, нечаянно выпущенными на свободу в ванной комнате.

— Боже мой! — произнес он. — Ваши буйные!

Однако в докторе проснулся профессиональный интерес, и он даже подался вперед, чтобы ничего не пропустить, словно болельщик родной команды, преисполненный любви и сочувствия.

— Очень интересно посмотреть, что они будут делать, — сказал он, и немец поглядел на него, как на сумасшедшего.

Неожиданно все встало на свои места, и благодаря бомбежке пациенты снова обрели реальность.

К клинике, расположенной вдали от города, примыкали две фермы, и часто врачи отправляли своих подопечных помогать фермерам; а обширные подвалы и конюшни на территории больницы сдавались в аренду. Двери в них были пробиты, внутри обнаружили четырех животных, двух лошадей и двух коров, которые обычно трудились вместе с людьми. Они робко опустили головы и пофыркивали в темноте, вероятно понимали, что снаружи происходит нечто необычное, поскольку их сегодня никто не гнал в поле, и в это время все сельские работы уже, как правило, завершены; и к тому же пришедших к ним людей было слишком много. Некоторая нерешительность завладела толпой, которая, вы-

бравшись на свет, не представляла, что ей делать дальше. И тут их выручил Катрфаж, именно он поставил перед ними цель и определял последовательность действий. Вскинув руки, он издал несколько подбадривающих возгласов, призывая всех следовать за ним в конюшню, где больные отыскали четыре длинные телеги и устаревшие сенокосилки, которыми в прошлом не раз с удовольствием пользовались, помогая фермерам.

— *Allons, mes enfants!*[247] — крикнул он с такой горячностью, что все тут же оживились и бросились к нему со счастливым щебетаньем и радостными стонами.

Они вдруг осознали красоту четкости, красоту целенаправленного слаженного действия. Доктор в окне наблюдал за ними внимательно и ревниво, за собравшимися вместе буйными и тихими, опасными и неопасными. Что будет? Опасные были его особым достоянием, он дорожил ими.

— Бодуэн! — вдруг позвал он.

Бодуэн Сент-Жюст был печально известным убийцей, причем вполне благочестивым на вид — все годы, проведенные здесь, он ходил

---

[247] Примечания: 247
Вперед, детки *(фр.)*.

на исповедь и ни разу не упомянул о своих преступлениях. Он задрал голову и весело помахал доктору, совсем как школьник.

— Упряжь на стене внутри! — крикнул ему доктор Журден, и Бодуэн послушно шагнул в темноту.

И вот лошади появились снаружи — все в пене от возбуждения. Безумцы поглаживали их, успокаивая, и даже пытались почистить листьями. Под руководством Катрфажа они с равнодушными криками впрягли лошадей и коров в телеги. Потом началась свалка из-за того, кто поедет в телегах, но это не было похоже на потасовку здоровых людей, просто несколько человек ударились в слезы, а у одного заболел живот.

— Все тут? — с явным интересом спросил Журден. — Я что-то не вижу мясника Торрвиля и Джин Тэйллефер. Ах, нет! Вот он. Интересно, где он взял нож? Ну и народ! Сегодня он точно что-нибудь натворит.

— Надеюсь, не с нами, — произнес Смиргел.

Ренье де Ларшан произносил проповедь — он не был опасен, если ему разрешали играть на рояле. Более того, он понимал, где находится. Ему сообщила это его мать, прежде чем он… Молэй, Перод смотрели на всех удивленно и угрюмо,

что было неважным признаком. Телеги стояли наготове. Хватило одного удара, чтобы ворота упали на землю, и теперь они легонько подпрыгивали в пыли. Падение ворот было встречено дружным криком. Телеги были забиты до отказа. Народ будто ощутил сходство теперешней ситуации с полузабытыми праздниками урожая и ярмарками, деревенскими fêtes[248] и плясками на знаменитом старом мосту. Катрфаж взобрался на лошадь и возглавил процессию. По-детски радостно оглядевшись, он угрожающе взмахнул топором, словно боевым мечом.

— Еду и воду мы найдем в городе, — сообщил он своему воинству, и в ответ раздались хриплые смешки. Перехватив взгляд Журдена, стоявшего на балконе, он отвесил ему насмешливый поклон. — В город! — крикнул он. — Я поведу их на Рим! — проинформировал он доктора.

Как ни странно, сидевшие в телегах, услыхав его, заорали, зарычали, заревели:

— На Рим! Вперед, на Рим!

Журден вздохнул.

— Наука — это прекрасно! — воскликнул он, непонятно к чему.

---

[248] Примечания: 248
Праздники *(фр.)*.

Он и Смиргел смотрели, как разношерстная толпа выстраивается позади телег, словно собираясь идти на уборку урожая, на похороны или на ярмарку.

— Вот так, волей случая, и начинаются революции, — произнес он, услышав, как кто-то запел «Марсельезу»; и по мере удаления процессии песня набирала силу.

— Только песне под силу заставить людей шагать на голодный желудок, — покачав головой, сказал Смиргел.

И тут вдруг оба заметили, что бомбежка как будто прекратилась. Доктор вытянул руку, словно проверяя, не идет ли дождь. И дождь действительно шел. Воцарившуюся тишину нарушало сейчас лишь кошачье мурлыканье капель. Смиргел попросил налить ему еще виски.

— Знаете, швейцарская армия закрыла границу. Союзники двигаются к нам из Ниццы. В моей машинке достаточно бензина, чтобы добраться до какого-нибудь места, где есть еда. Выбирайте сами, куда нам ехать, на север или на восток.

— Вы обратили внимание на то, как они быстро объединились? И всего-навсего им потребовалась музыка, чтобы найти ритм шага?

В самом деле, двое из буйных отыскали бубны и

трубу, сохранившиеся от какого-то деревенского ансамбля, и начали совсем неплохо отбивать на бубнах ритм, правда труба скрипуче ревела и задыхалась. Прислушиваясь к стихавшему шуму, доктор опять вздохнул и припомнил «Cock Lord's Boate»[249] и «Bateau Ivre».[250]

— Вы когда-нибудь слыхали о «Корабле дураков»?[251] — спросил он Смиргела, и тот покачал головой. Слишком много времени заняло бы изложение средневековых представлений о лечении сумасшедших, тем более немцу, так что доктор оставил эту тему. — Я что-то не заметил одного человека, нашего знаменитого начальника вокзала Имхофа, кстати он англичанин. Интересно, где этот неистовый машинист может быть.

Имхоф же спокойно проспал все события, умиротворенный тем, что под подушкой у него лежала модель поезда; он едва пошевелился, когда у него проверяли пульс.

Журден и Смиргел направились в хлев, где был

---

[249] Примечания: 249

«Корабль капитана Лореля» — английская анонимная сатирическая поэма (примерно 1510).

[250] Примечания: 250

«Пьяный корабль» — поэма Артюра Рембо (1854–1891).

[251] Примечания: 251

Произведение немецкого сатирика Себастиана Бранта (1458–1521).

припрятан автомобиль немца, так и не решив, какое избрать направление. Лишь одно казалось непреложным: не было смысла ехать в город вслед за процессией сумасшедших. Там их ждала беда — во всяком случае, так они предполагали. Значит, надо незаметно добраться до Фонтен-де-Воклюз, потом повернуть на север. И будь что будет.

Как только бомбардировщики улетели, небольшая процессия вновь преисполнилась азарта и довольно быстро стала продвигаться по авиньонской дороге. Когда идущие уставали распевать гимн, боевой настрой поддерживали бубнами. Катрфаж преобразился, словно актер, в средневекового рыцаря, высоко несущего свой штандарт. Время от времени он вспоминал о широкой стене в номере отеля «Принц», завешанной схемами с «его» тамплиерами и датами их жизни — торжественная процессия забытых рыцарей. Нет, не забытых, пока хотя бы один человек помнит о них! История похожа на негатив, с которого делают распечатки, получая позитив. Он думал: «Напрасно люди полагают, что каждый человек представляет собой обособленную индивидуальность, все мы суть вариации на темы, заданные окружающей жизнью. Подумать только: дочь

Галена могла бы стать Сильвией, которая лишь плод воображения, которая могла бы быть Сабиной, дочерью Банко. Потерянные остаются потерянными, найденные — найденными. Апельсины и лимоны![252]»

Труба вопила.

Нелепая в своем неколебимом оптимизме, процессия храбро двигалась вперед, сумасшедшие вели слепых, слепые — мудрецов.

— Вариации на разные темы, — громко повторил Катрфаж. — Как бриллиант является вариацией угля, а гусеница — бабочки.

К Авиньону они приближались уверенным шагом, не сомневаясь в сердечном приеме, а также в том, что получат вдоволь еды и питья. Авиньонцы же, со своей стороны, начали понемногу просыпаться от вынужденного сна. Тихие, пустынные улицы оживали; до жителей дошли плохо напечатанные листовки с новостями, помогавшими преодолеть отчаяние и безнадежность, в которых они пребывали очень долго, истерзанные врагом и собственными фашистами, то есть милицией. Как только мэр Авиньона по-настоящему осознал, что пустой город начи-

[252] Примечания: 252

«Апельсины и лимоны» — детская игра, где двое водящих стараются поймать проходящих мимо остальных игроков. *(Прим. ред.).*

нает оживать, он осторожно открыл парадную дверь и оглядел безлюдные улицы с опаской, смешанной с возрастающей радостью. Не было слышно ничего, кроме шума дождя, тихого шороха дождя Воклюза. *«Ils sont partis»*,[253] — произнес кто-то у него над головой, — за плотно закрытым окном. Будто пробовал на зуб фразу, которую столько раз повторял в уме; хотя пока еще не было достоверных подтверждений, и люди не смели распахнуть ставни. Мэр тихонько всхлипнул и отправился за старым велосипедом. Очень медленно, с оглядкой, он ехал и осматривал стены, бастион за бастионом, чувствуя на шее капли дождя — как благословение свыше. Да, они ушли; опять авиньонцы стали хозяевами своей жизни, а он — хозяином своего города. Мэр вернулся в мэрию и широко распахнул двери. После этого из всех щелей и углов, подвалов, конюшен и мансард стали вылезать люди, они шепотом здоровались и оглядывались. Охваченный внезапно головокружительным восторгом, мэр помчался вверх по лестнице в свой кабинет и выскочил на балкон. Он решил сделать то, чего не делал многие годы, то есть крикнуть своему

---

[253] Примечания: 253
Они ушли *(фр.)*.

другу Ипполиту, *pompier de service*,[254] который жил на площади напротив мэрии. Сложив руки рупором, он заорал: *«Hippolyte-e-e-e-e!»* Когда он проделал это в третий раз, то увидел, что его друг бежит через площадь, размахивая руками. *«Ils sont partis, partis, partis, partis!»*[255] Это слово было мгновенно подхвачено и повторялось, словно на барабан высыпали горох. Теперь первым делом надо было в подобающей манере, то есть с помощью глашатая, сообщить городу радостную весть, и Ипполит, уже успевший надеть форму, немедленно приступил к исполнению своих обязанностей. Он засунул за пояс фальшивящую литавру и прикрепил к ручке велосипеда резиновый гудок. В четырех частях города ему предстояло сначала нажимать на гудок, потом долго бить по литавре, прежде чем прокричать: *«Oyez! Oyez! Oyez!*[256] *Официальное сообщение мэрии. Немцы оставили город. Комендантский час отменен впредь до особого распоряжения».* После каждого повторения толпа становилась

---

[254] Примечания: 254
Дежурный пожарный *(фр.)*.

[255] Примечания: 255
Они ушли, ушли, ушли, ушли! *(фр.)*.

[256] Примечания: 256
Слушайте! Слушайте! Слушайте! *(фр.)*.

все более многочисленной. Люди выбирались из руин, многие плакали, некоторые были почти без сил — от старости, ран и по многим другим причинам. Ипполита зацеловали чуть ли не до беспамятства. Понемногу толпа стала двигаться в сторону кафедрального собора — к главной площади над рекой. Праздновать, благодарить небеса, выражать восхищение — такой была первая инстинктивная реакция на радостную весть. Наверное, месье мэр скажет свое слово? Но когда они пришли на площадь, то обнаружили своего мэра во главе плотной толпы, готового вести ее в кафедральный собор на благодарственную молитву.

Внутри гулких приделов (было лишь свечное освещение, так как электричество еще не включили) атмосфера была такой же, может быть еще более напряженной, люди плакали, стонали, рыдали, голосили — у всех было, что или кого оплакать, и совсем немногие оправились настолько, чтобы предаться настоящей радости. А ведь многие были еще и голодны!

Служба шла долго и, хотя была импровизацией, получилась очень яркой и запоминающейся. Не дай нам, Боже, вновь пережить прошедшие годы. А тем временем в городе формировалась новая

толпа, совсем другая по духу и внешнему виду. Это были самые разные мужчины и женщины из нижних слоев общества — рабочие, швеи, ночные сторожа, поденщики с ферм, механики и железнодорожные рабочие — мир рабочих, резко контрастировавший с буржуазным, который являл себя в соборе. Дюжина таких групп кружила по городу в жажде нарваться на скандал или еще на что-нибудь в этом роде, которая тоже была отчасти спровоцирована праздничной атмосферой. Поступки этих людей определялись лишь их настроением, к тому же они еще не решили, придать действу политическую окраску (среди них было много коммунистов, как всегда, отлично организованных) или всего лишь патриотическую. Появились и цыгане, выползли, как змеи, из ниоткуда, за ними арабы, с обычной своей ленивой грацией выжидающие, когда можно будет набить карманы, следом неорганизованная шайка «рабов» из чехов, русских и еще бог знает кого, принесенных на юг волной войны. Хуже всего (но это неизбежно) было то, что откуда-то взялись большие бочки с красным вином, и из них тотчас выбили пробки на площади возле Памятника Погибшим с его униженными львами и летящими героинями, отдаленно напоминающи-

ми Марианну[257] и Мирей, милую сердцу поэта Мистраля. Открылись все кафе, и там делалось все возможное ради праздника. В начале войны некоторые заложили кирпичной кладкой свои погреба и теперь с удовольствием освобождали вино, созревшее в темноте для тех, кто любит покрепче — *marc, calva,*[258] *fine...*[259]

Процессия из Монфаве наконец соединилась с городской толпой возле Ворот Magnagnon, где ей устроили овацию — как сельским жителям (за которых их, похоже, приняли), оказавшим сопротивление немцам, возможно даже уничтожившим кое-кого из них, судя по героическому виду Катрфажа. Он продолжал фиглярствовать, играя роль вожака, то и дело взывая к толпе: «Граждане!» — словно собирался сказать речь; но в глубине души оставался очень серьезным и мысленно разговаривал с самим собой от имени матери, ее голосом подбадривал и утешал себя. Страх перед сценой мучил его. К тому же он боялся, как бы кто-нибудь, возможно мили-

---

[257] Примечания: 257
Имеется в виду символ Франции *(Прим. ред.)*

[258] Примечания: 258
Кальвадос *(фр.)*.

[259] Примечания: 259
Коньяк высшего сорта *(фр.)*.

ционер, не бросил в него с балкона горшок. Тем временем процессия решительно продвигалась вперед, направляя свои телеги в центр города, и восхищенная толпа вокруг росла. Обступала их со всех сторон. Уже темнело, а так как не было электричества, то кругом горели костры, словно накануне дня Святого Иоанна;[260] почти на каждом перекрестке искры летели от костра ввысь, в изморось, чтобы вскоре погаснуть в свете суровой луны. Длинные языки пламени и прыгающие тени, крики людей и треск сучьев напоминали разгульный *kermesse*,[261] происходивший в соответствующих декорациях средневековых стен Второго Рима. Но если Катрфаж кричал слово «граждане!», то его эхо, Ренье де Ларшан, безумный проповедник из Андуза, извергал из себя нечто более мощное, воспламенявшее некоторые души. С шапкой седых волос и глубоко посаженными глазами, он производил сильное впечатление — целое поколение протестантов было в его власти. Откинув назад голову, он рычал, словно лев: «Месть!» и «Праведный суд!» И

---

[260] Примечания: 260

Имеется в виду праздник Ивана Купалы, Иванов день.

[261] Примечания: 261

Ежегодная ярмарка-карнавал в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге *(голл.)*.

этот рев подбадривал толпу не хуже литавр. Он был безумцем, и, тем не менее, хорошо знал, как вести за собой толпу, ведь каждому было, что сказать, и все жаждали возмещения убытков. Возбужденная разношерстная толпа достигла центра города. Откуда-то принесли хлеб, но еды было очень мало, поэтому реки вина и более крепких напитков быстро делали свое дело. То там, то здесь люди стали заметно пошатываться. На фоне зарева происходили несчастные случаи — например, какой-то мужчина упал в костер, и его вытащили из огня дети. Не было полицейских, чтобы воспрепятствовать этим безрассудным играм с огнем. Они все переоделись в гражданскую одежду, опасаясь мести милиции, чей пропагандистский центр с портретами Петэна был взят приступом и подожжен.

То тут то там, независимо друг от друга, люди пускались в пляс: вокруг каждого музыканта собирался свой кружок, словно водоворот в огромном людском потоке. Невесть откуда взялся знаменитый Жако со своим страдающим одышкой аккордеоном. Где он был, все спрашивали друг у друга. При немцах его не было ни слышно, ни видно, и вот он вновь тут, молниеносно осушает стакан за стаканом и играет *«Sous les toits*

de Paris» и «Madelon»,[262] словно весь мир был *guinguette*,[263] а все люди гуляками и кутилами. В другом месте неполный городской оркестр изо всех сил старался собрать *farandole,* так как этот народный танец вполне годился для национального и патриотического праздника. Уже поставили трибуну и украсили ее флагами и национальными гербами. Все заранее представляли, как мэр, за спиной которого расположится городской оркестр, произнесет длинную речь, а потом сожжет нацистский флаг под одобрительными взглядами собравшихся.

Церемония началась, действительно так, но должной торжественности не получилось. Из оркестра были всего три музыканта, и им не удавалось завладеть вниманием толпы, потому что солировала скрипка. Тем не менее, они вполне прилично сыграли национальный гимн, после чего мэр, с лентой через плечо, начал свою речь, правда, его было почти не слышно из-за гула и рева толпы. Кроме того, толпе хотелось чего-то еще, иных развлечений, скажем, немедленно расправиться с какими-нибудь нацистскими

---

[262] Примечания: 262
«Под крышами Парижа», «Мадлон» *(фр.).*

[263] Примечания: 263
Харчевня *(фр.).*

преступниками, чтобы отплатить за все пережитые беды и страхи. Это было естественно — многие потеряли друзей и родственников за годы кровавой бойни. Бесконечные жестокости, депортации, пытки, убийства… все это прочно сидело в сознании, воспоминания об этом, словно миазмы, отравляли музыку и танцы, радость освобождения.

Крики безумного проповедника, взывавшего к справедливости и возмездию, были как нельзя кстати. Стоило процессии с факелами ворваться на площадь, настегивая коров и лошадей, как с другой стороны из старого квартала вышла другая процессия, состоявшая из одних женщин, грязных, с опущенными головами, которые шагали под конвоем из молодых женщин, проституток и старух, у которых были факелы в руках. Поначалу их можно было принять за кающихся грешниц, которые хотели поблагодарить, совершить своего рода жертвоприношение в честь освободивших их людей. Но нет, это были женщины, так или иначе сотрудничавшие с оккупантами. Некоторые были любовницами солдат, другие просто любезничали с ними, не подозревая, что уже попали на заметку отвратительным моралистам, бичующим вполне добропорядочных горожан

(таких моралистов хватает в любом городе) своим пуританским рвением. Многие и вовсе ни в чем не провинились, просто оказались достаточно хорошенькими, чтобы вызвать ревность старых дев, которые «сообщали» о них полиции, преданной правительству в Виши, или анонимно докладывали об их «сочувствии» немцам. Теперь им надлежало заплатить за свои «грехи». Толпа заревела — после всего пережитого жаждали отомстить, выместив гнев хоть на чем-то или на ком-то. «Ножницы! — кричали собравшиеся на площади. — У кого есть ножницы?»

Толпа расступилась по всей длине площади, освободив коридор, и на одном его конце поставили всех жертв, которые выглядели очень трогательно, словно школьницы, собравшиеся участвовать в соревнованиях по бегу. На самом деле, их силой заставляли бежать сквозь строй старые ведьмы, где-то отыскавшие несколько больших ножниц, которыми швеи отрезают от рулона ткани нужный кусок. Всем несчастным старухи обрезали волосы, надавав по ходу дела пощечин; они разорвали каждой платье или оголили плечи, а потом толкали их, чтобы те бежали сквозь строй, и толпа с удовольствием хлестала их ремнями или прутьями. В первые ряды лезли

старухи, которые этой расправой мстили за свою неудавшуюся жизнь, за житейские разочарования, даже за свое бесплодие. Они вкладывали в удары всю силу, будто хотели таким образом наделить плодовитостью молодые тела каких-нибудь девственниц — известно, что в Древнем Риме женщины били статуи, желая забеременеть. Со своей стороны, жертвы, хоть и возмущались тем, что их называли проститутками, были рады и тому, что избежали смерти. От толпы, которая под воздействием спиртного возбудилась и стала неуправляемой, можно было ждать чего угодно. Уже и среди зрителей начались потасовки, в том числе и среди вооруженных зевак, вступавших в споры, весьма горячие из-за выпитого вина. Однако этим дело не кончилось.

Наверное, то же самое происходило во время римских триумфальных шествий, когда самые известные, самые богатые и самые высокородные пленники, чья слава ставила их выше обычной толпы, появлялись в конце процессии. Вот и теперь тоже. С барабанным боем из темноты возникла не очень большая группа людей, которая сопровождала всего одну пленницу,

pièce de résistance[264] на пиру прославляемой в тот вечер добродетельности. Она, ибо это была смертельно бледная женщина, шла внутри выстроившихся в форме квадрата стражников, которые напоминали церковных сторожей, хотя и несли короткий трезубец камаргских ковбоев как часть карнавального костюма. Они зорко следили за женщиной, хотя ее поведение отнюдь не требовало столь ревностного рвения. Шла она спокойно, стараясь держать себя в руках, но голова ее была опущена. Только бледность выдавала ее смертельный ужас — кожа светилась почти перламутровым блеском в теплом розовом свете факелов. Руки у нее были связаны за спиной.

— Попалась! Попалась! — закричали ведьмы, когда она подошла ближе. — Вот и она наконец!

Ясно было, что они имели в виду воплощение ада! Женщина услышала крики и подняла голову. Ее великолепные светлые волосы рассыпались по плечам, взгляд широко открытых глаз был холодным. Она нервничала, и оттого казалось, будто ее губы кривятся в усмешке. Она как будто испытывала страх перед выходом на сцену, так сказать, дожидаясь за кулисами своей очереди

---

[264] Примечания: 264
Основное блюдо *(фр.)*.

— потому что прежде ей не приходилось играть такую роль.

— Наверх! Наверх! Наверх ее! — кричала толпа, показывая на возвышение, на которое в конце концов взгромоздили женщину, привязав за руки к дереву.

И тут начался кромешный ад. Старухи тоже взобрались наверх и по-театральному размахивали ножницами, как будто собирались кромсать прекрасные волосы, вытягивая их во всю длину, отчего они блестели, как смертельный дар шелковичных червей.

— Правосудие! — орал внизу безумный проповедник, и толпа вторила ему:

— Месть! Правосудие! Проститутка! Предательница!

Между тем, ножницы были пущены в ход, и отрезанные волосы летели в толпу, словно старухи бросали мясо своре псов. Вскоре от волос ничего не осталось. Тем временем новая фаланга с литаврами — подоспело музыкальное подкрепление — устроила хватающий за сердце перезвон, которым можно было бы сопроводить последний и самый опасный трюк гимнаста. На женщине уже разорвали платье, она осталась в одной сорочке, но чем старательнее ее унижали, тем прекраснее

она становилась. У нее были заостренные, как у олененка, ушки. Старухи стали лить воду ей на голову и брить ее остро наточенной бритвой, и вскоре голова стала голой, как яйцо. «Позор!» — злобно кричали крутом, потому что женщина как будто совсем не раскаивалась, она не плакала. На самом деле, она была слишком напугана. Ей все виделось как в тумане. Она чувствовала, как ее дергают за привязанные к столбу запястья. Наверное, хотели, чтобы она стояла прямо, а она едва не теряла сознание.

Потом началось нечто неожиданное, хотя вполне предсказуемое в контексте всего происходившего в тот вечер. В нее стали швырять мусором с помойки. Увы, чего-чего, а мусора хватало. Ее ноги уже утопали в мусоре. Вот яиц было мало. И вдруг молодой человек, совершенно пьяный, взобрался на возвышение и неверным движением вытащил большой револьвер. Толпа взревела. Он принял несколько угрожающих поз, то поднимая револьвер, то наставляя его на женщину, чтобы показать толпе, как с ней поступили бы, не будь кругом истинные патриоты и цивилизованные граждане. Во всяком случае, так думали в толпе.

Что же до молодого человека, уже с трудом

державшегося на ногах, то его раздувало от гражданской гордости, но в то же время в самой глубине души он был собой недоволен: очень уж скромным был его вклад в Сопротивление. Ему отчаянно хотелось каким-нибудь эффектным способом доказать, что он уже взрослый мужчина и настоящий воин. Стоя напротив несчастной, он подался ближе к толпе и услышал крики одобрения, так ему показалось. Он решил сделать несколько выстрелов, просто чтобы попугать, может быть, сделать *feu de joie*[265] или… сказать по правде, он и сам не знал, чего хотел. Но ведь перед ним стояла ненавистная шлюха гестаповского начальника. Слова «месть» и «правосудие» постепенно завладели его помутненным незрелым сознанием, и он, не раздумывая, приставил холодное дуло револьвера ко лбу связанной женщины, прямо между глаз, и нажал на спусковой крючок.

В таких случаях всегда находятся люди, которые говорят, будто совсем не это имели в виду, что произошла ошибка, что они не так все поняли; и, действительно, стон удивления и ужаса прошелся по толпе, но быстро утонул в одобрительном

---

[265] Примечания: 265
Здесь: выстрел ради забавы *(фр.)*.

грохоте литавр. Тем не менее толпа затихла, по крайней мере, шум стал не таким громким, и многие заплакали, так как люди поняли, что зашли слишком далеко. Потом к возвышению пробилась немногочисленная группа монахинь, они молча, но решительно проложили себе дорогу в толпе и взяли на себя последние заботы об останках Нэнси Квиминал.

После этого, словно чтобы полностью смыть, чтобы навсегда уничтожить все до единого следы постыдного действа, прогремел гром и полил такой сильный дождь, какой бывает только в Папском городе. Канавы наполнились до краев, и вода потекла через край, с деревьев посыпались листья, костры зашипели, зафыркали и — погасли. Толпа стала понемногу редеть и расползаться, люди прятались от дождя под карнизами и в дверях ближайших домов, а потом и на всякий случай разбежались. От укоренившейся привычки соблюдать комендантский час так быстро не избавиться. К полуночи дождь прекратился, и в небе появилась белая луна. На площади не осталось ни друзей, ни врагов. Даже сумасшедших не осталось. Все отправились по своим неожиданно прерванным делам, словно возвращаясь после выходного дня. Де Ларшан вошел в собор, напу-

ганный до смерти ризничий узнал его и покорно протянул ему ключи от хоров с органом. Строгие мелодии Баха вдруг поднялись, как черный парус, в неосвещенной «пещере» собора. Начальник вокзала отправился на железную дорогу, чтобы вновь вернуться к своим обязанностям. Бодуэн де Сент-Жюст сидел под дождем за столиком, вынесенным из кафе на улицу, и раскладывал пасьянс где-то найденными картами.

Ближе к утру ночной сторож в морге услыхал стук копыт, а потом резкое дребезжание звонка. Он только что закончил смену, тем более тяжелую, что пришлось сидеть в темноте, и настроение у него было не из лучших.

— Что там еще? — громким злым голосом крикнул он, открывая дверь и ожидая увидеть какую-нибудь жертву чрезвычайного происшествия в городе. Но перед ним стояли бледный мужчина и две девочки, его дочери. Он принес записку от мэра с разрешением проститься с покойной женой. Это был муж Нэнси Квиминал, которого никто не видел, потому что он постоянно лежал в постели, из-за болезни. Когда-то он был музыкантом и работал в городском оркестре. Бледный, худой, измученный своим недугом, он был настолько слаб, что дочерям приходи-

лось поддерживать его под руки. Ночной сторож неловко коснулся рукой головы, выражая ему соболезнование. Монахини обмыли, обрядили тело и завернули в белый саван. Оставалось только дождаться пастора, чтобы организовать похороны. Еще была нужна бумага от врача. Ему предстояло дать заключение. Что это было? Убийство? Казнь? Или что-то еще? В конце концов, он напишет, что произошел несчастный случай. Семья была не в том положении, чтобы оспаривать официальный вердикт.

Ночной сторож поднял белую занавеску и крутанул длинную ручку, чтобы развернуть «комод» у стены. Потом он выдвинул один из ящиков и показал обмякшее тело убитой женщины. С лентой на голове она была похожа на спящего гнома безволосая, как младенец; ушки настороже, напоминавшие крокусы, словно к чему-то прислушивались. Но больше всего пришедших поразил взгляд широко открытых глаз, голубых глаз француженки, в которых все еще сохранился блеск ироничной улыбки. На лице не осталось никаких следов пороха — лишь одна аккуратная дырочка между глаз. Девочки с трудом сдерживали слезы — пора было уходить. Тогда муж протянул руку и коснулся ладонью бледной ще-

ки, постоял так недолго, потом убрал руку. Он сказал, что придет утром и обсудит детали похорон с властями. Но он не пришел. Лишь дочери проводили свою мать до общей могилы — *fosse communale.*

Через пару дней французские войска вошли в город, и наконец-то авиньонские колокола опять возобновили свой пугающий перезвон, который когда-то, очень давно, приводил в неистовство Рабле. Для Папского города война закончилась.

Приложение
Последняя воля и завещание Петра Великого

Во имя Святой и Неделимой Троицы мы, Петр Первый, обращаемся к наследникам на наш престол и другим правителям русского народа.

Всемогущий Господь дал нам жизнь и корону, одаривал нас своим светом и поддерживал своей властью, и Ему мы обязаны пониманием того, что русский народ призван в будущем обрести главенство в Европе.

Мое убеждение основано на том известном обстоятельстве, что большинство европейских наций уже достигли старости, граничащей с дряхлостью, к которой они стремительно приближаются. Посему для нас ясно и непреложно, что они будут завоеваны новой молодой нацией, когда она достигнет апогея в своем развитии и расширит свои владения. Я полагаю, что завоевание Запада и Востока северными народами — их великая миссия, предопределенная Провидением — в точности так же в прошлом возродились, благодаря варварам, римляне.

Переселение народов северных регионов все равно что разлив Нила, который в определенное время года обогащает своим илом оскудевшие земли Южного Египта. Когда я взошел на царство, Россия была маленьким ручейком, а теперь я оставляю моим наследникам великую реку. Им надобно сделать из нее большое море, которому дóлжно обогатить оскудевшую Европу; его воды разольются широко, несмотря на преграды, воздвигнутые слишком слабыми руками, чтобы сдержать их; те самые воды, которые мои наследники направят в нужное русло. Памятуя об этом, я передаю следующие наставления, к коим требую отнестись с должным вниманием и никогда не забывать.

(1) Русский народ должен быть в постоянной военной готовности, чтобы русский солдат пребывал в подобающей форме; передышку давать ему лишь при необходимости пополнить государственную казну; реформировать армию, а также выбирать наиболее благоприятные моменты для использования оной. Вести дела так, чтобы мир служил интересам войны, война — интересам мира, а вместе они — величию и процветанию России.

(2) Налаживать отношения с наиболее сведу-

щими людьми в Европе, находя к ним подходы всеми возможными средствами — к офицерам в военное время и к ученым в мирное время, чтобы русский народ имел выгоду от достижений других народов, не поступаясь своими интересами.

(3) Повсюду в Европе, где явится такая возможность, принимать участие в делах, всех касающихся, и судебных прениях — особливо тех, что касаются Германии, которая интересует нас более других стран, ибо находится ближе к нам.

(4) Разделить Польшу, постоянно разжигая внутренние противоречия, подозрительность, зависть, ревность противоборствующих сторон, искушая их золотом. Влиять на власти и подкупать их, чтобы они высказывались в пользу избрания короля; искать раскольников и поощрять оных. Посылать русские армии в иностранные государства и держать их там, доколе не найдется удобный предлог оставить их там навсегда. Если соседние страны будут доставлять нам неприятности, временно умиротворять их, отдавая им земли — до той поры, пока мы не сумеем взять назад то, что было отдано.

(5) Провоцировать, сколь возможно, Швецию совершить нападение на нас, тем самым предоставив нам предлог ее завоевать. Имея это в виду,

надо поддержать отделение Швеции от Дании и Дании — от Швеции, с превеликой осторожностью разжигая распри.

(6) Русским царевичам надобно всегда брать в жены немецких принцесс, дабы становились крепче семейные связи; таким образом интересы обоих государств будут сближаться, и в конце концов Германия станет на нашу сторону, утверждая наше влияние в Европе.

(7)Наша восточная торговля должна превзойти английскую, и для этого до́лжно строить корабли и укреплять российский флот; предлагать наш лес и другие товары в обмен на золото, устанавливать прочные связи между их моряками и торговцами и нашими, чтобы мы могли расширять нашу торговлю и усиливать наше присутствие на морях.

(8)Расширять безостановочно наше влияние на Север, на Балтийские страны, и на юг, за пределы Черного моря.

(9) Сколь возможно близко подойти к Константинополю и Индии, ибо тот, кто возымеет власть там, станет правителем мира. В соответствии с этим до́лжно постоянно мешать добрым отношениям Турции и Персии. Нам необходимо иметь судоверфи по всей береговой линии Черного

моря, постепенно расширяя наше влияние там и на Балтике, что жизненно необходимо нам, дабы осуществить наши планы. Надобно ускорить падение Персии; сколь возможно дальше продвинуться в Персидский залив; восстановить прежние торговые пути через Сирию в Индию, на *entrepots*[266] всего мира. Утвердившись там, мы более не станем нуждаться в золоте Англии.

(10) Добиваться, но с осторожностью, союза с Австрией, как будто поддерживая ее растущие притязания на превосходство над Германией, но в то же время тайно разжигать ревность немецких княжеств. Действовать следует так, чтобы оба эти государства просили помощи у России и позволяли нам осуществлять их якобы защиту, которая приблизит наше будущее владычество.

(11) Следует заинтересовать королевский дом Австрии планом очищения Европы от турок, но и обезопасить себя от его зависти, когда будет завоеван Константинополь, либо спровоцировав войну между старыми европейскими государствами, либо поделившись с ним частью завоеванной территории, которую мы впоследствии снова отберем.

---

[266] Примечания: 266
Склады *(фр.)*.

(12) Объединить всех православных греков, которые разделены или поддерживают еретиков в Венгрии и Польше; собирать их вместе и давать им возможность организовать влиятельное сообщество; таким образом, у нас появится много друзей среди множества врагов наших.

(13) Итак, Швеция расчленена. Персия завоевана. Польша покорена. Турция побеждена. Наши армии вновь объединены. В Черном и Балтийском морях господствуют наши суда. Настало время предложить — совершенно секретно — сначала Версальскому двору, потом Венскому разделить с нами нашу мировую империю. Один из них согласится — непременно, если мы будем знать, как пошатнуть их самонадеянность, — и мы натравим их друг на друга, а сами пойдем против обоих, чтобы Россия получила полную власть над Востоком и большей частью Европы.

(14) Ежели волею случая оба двора пренебрегут нашим предложением — что кажется нам невозможным, — нам следует внутри этих государств разжигать распри, которые рано или поздно непременно погубят их; после чего Россия, выбрав наиболее подходящий момент, все свои силы устремит на Германию.

(15) В это время две большие флотилии выйдут

— одна из Азова, другая из Архангельска — с азиатскими армиями, чтобы воссоединиться с Черноморским и Балтийским флотами. Наши армия и флот пересекут Средиземное море и Индийский океан и с одной стороны завладеют Францией, а с другой — Германией. Как только эти государства падут, с остальной Европой справиться будет нетрудно.

Вот так может и должна быть покорена Европа.

По поводу "Протоколов сионских мудрецов" см: *www.kuzbass.ru/moshkow/koi/POLITOLOG/AE/protokoly.txt*

LAWRENCE DURRELL
THE AVIGNON QUINTET
CONSTANCE OR SOLJTARY PRACTICES
1982